

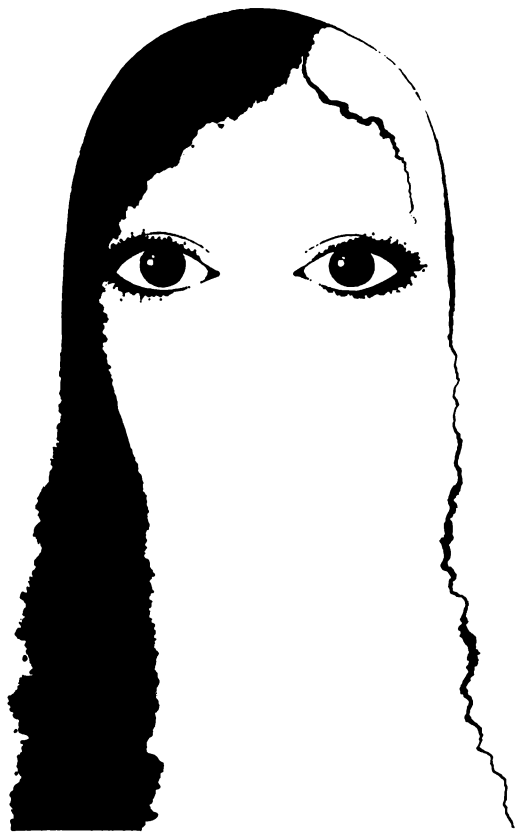
КРОВЬ НА
ПОДРАМНИКЕ

Валерий
Горбунов

Валерий
Горбунов



КРОВЬ
НА
ПОДРАМНИКЕ



Валерий
Горбунов



КРОВЬ
НА
ПОДРАМНИКЕ

РОМАН

МОСКВА
Издательство „Надежда “
1994

ББК 84Р7
Г67

Выход издания осуществляется
совместно с ТОО «Тезей»

Горбунов В. А.

Г67 Коллекция: Роман. — М.: Издательство «Надежда-1», 1994. — 480 с.

«...Ясно просматривается кровоподтек на передней поверхности шеи слева, ушибленно-рваные раны головы с кровоизлиянием в мягкие покровы... Проникающе колото-резаное ранение грудной клетки.» Видимо, на старика напали сзади, оглушили, а потом нанесли решающий удар...»

Жестокая смерть страстного коллекционера Лукошко явилась загадкой для всех. Для близких, соседей, коллег по работе и общей «страсти». Тем сложнее было подполковнику МУРа Коноплеву вести розыск убийцы. Тем интереснее читателю поскорее приблизиться к развязке, которая оказалась еще более неожиданной, чем случившаяся трагедия.

В настоящее время писатель работает над новым произведением, которое, мы надеемся, тоже выйдет в свет в нашей серии.

Г 4702010200-005-3
583(03)-94

ISBN 5-86150-005-0

© В. Горбунов, 1994
© Оформление, Издательство
«Надежда-1», 1994

...Москва-река обычно вскрывается ото льда что-то около 10 апреля. Если, конечно, лютая зима не наложила на нее слишком крепких оков.

В центре города по причине обильного стока теплых вод река останавливается не часто. Так что льдины, которые проплывали в раннее апрельское утро мимо стоящего на Крымской набережной цирка шапито, наторопливо кувыркаясь, будто акробаты под брезентовым куполом, были не местного происхождения, а, так сказать, «пришлые». Их принесло течением откуда-то сверху, может быть, от самого села Павшина, возле которого Москва-река вступает в город. Она опоясывает столицу кушаком длиной в сто километров, и каждый этот километр — да что там километр! — каждый метр неразрывно связан с городом. С его судьбой. С его прошлым и настоящим. С его радостями и невзгодами, с красотой и уродством.

13 апреля в 5 часов 17 минут от Крымской набережной по направлению к ЦПКиО имени Горького, вернее, к телефонным будкам у входа в парк, с трудом преодолевая сопротивление встречного ветра, бежал человек. Старенький кожаный шапка-ушанка с развевающимися тесемками, валенки, облитые понижу красной резинкой, — амуниция человека, которому по роду службы много времени приходится проводить на свежем воздухе. В руках у него была широкая фанерная лопата, которую бежавший не выпускал из рук — то ли из боязни утратить казенный инвентарь, то ли по причине сильного душевного волнения.

Не меньше трех минут потребовалось водителю снегоуборочной машины Силуянову, чтобы захолодевшими на ветру, негнущимися пальцами отыскать в кармане среди всякой мелкой дребедени — обкусанного пластмассового мундштучка, ключа от неизвестно какого замка, огрызка карандаша, крошек табака и хлеба, медной денежной россыпи — двухкопеечную монету и опустить в специальный приемничек, укрепленный на кожухе автомата.

Он быстро набрал 02 и тотчас же вспомнил, что по этому номеру можно звонить и без двушки, но поздно было — раздался щелчок, и монета безвозвратно сгинула, провалилась внутрь.

— Милиция слушает! Кто говорит? Вас слушают! Говорите!

Девушка, судя по голосу, уже теряла терпение, сейчас возьмет и положит трубку. Силуянов заторопился:

— Там в реке... плавает! Чтоб ее!..

— Кто плавает? Человек?

— Какой человек? — Силуянов засмеялся. Скажет тоже, какой такой человек будет плавать об эту пору, когда холодище и по реке идет лед. — Да нет! Тюк какой-то, в целлофане... И веревками перевязан... Выловить бы надо! Чего пропадать добру! И отпартовал: — Докладывает водитель Силуянов!

(Это на тот случай, ежели из реки выловят что-либо ценное и тогда ему как человеку, подавшему сигнал, будет полагаться благодарность или даже премия.)

— Назовите адрес!

— Чей? Мой?

— Экий вы, папаша, бестолковый! Что вы делаете в такое раннее время там, на набережной?

— Как что? Снег в реку сбрасываю!

— Определите свое местонахождение.

— Да тут, рядом... — Силуянов ткнул рукой в сторону набережной, будто девушка могла не только слышать, но и видеть его.

— Где рядом?

По голосу чувствовалось, что девушка сердится.

— Да здесь, милая. У Крымского моста. Напротив этой самой...

— Какой?

— Ну где картины выставляют...
— Напротив Выставочного зала? Понятно. Теперь назовите ваш адрес.
Силуянов назвал.
— Будьте на месте. Скоро приедут!

ОТПУСК ПО БОЛЕЗНИ

Вот уже месяц, как старший инспектор уголовного розыска Николай Иванович Коноплев жил на подмосковной даче в Лесном городке. Жил так, как никогда еще не жил: тихо, размеренно, отрешенно. С давних пор, когда семнадцатилетним парнишкой, прямо со школьной скамьи, попал он на фронт, и потом, все годы службы в милиции, Коноплев, сам того не замечая, постепенно находился в состоянии внутреннего напряжения, когда все силы ума, энергии, нервы — все подчинено одной цели. Дела, которыми приходилось заниматься Коноплеву, были разные, но цель всегда оставалась одна — сделать тайное явным и помочь торжеству закона.

И вот теперь, после неожиданного сердечного приступа и последовавшего вслед за этим неприятного разговора с известным кардиологом, все оборвалось. Бездействие, звонкая пустота в голове, непривычная слабость в вышедшем из-под контроля теле.

Обследовав на его груди побелевший шрам — памятку о ранении, полученном юным сержантом Коноплевым под Витебском, и бегло просмотрев данные ЭКГ — испещренные черненькими зигзагами голубоватые бумажные полоски, наклеенные на лист, кардиолог, сцепив пальцы и пристально глядя ему в глаза, сказал:

— Вот что, Николай Иванович... Вы, следует полагать, человек мужественный. Во всяком случае, должны быть таким по роду своей службы. Так что я буду говорить с вами откровенно. Дела ваши блестящи. Просто говоря, дрянь дело. Если сейчас не возьметесь за ум, потом поздно будет. Между нами говоря, все эти таблетки, уколы, процедуры и прочее — ерунда, бирюльки. Ничем они вам не помогут. Я вам скажу самое неприятное из того, что врач может сказать больному...

Он сделал паузу, чтобы дать Коноплеву возможность как следует поволноваться, и закончил:

— Надо решительно менять образ жизни. Коренным образом! Учтите, это потруднее, чем ежедневное глотание лекарств или даже операция. Ваши лекарства — тишина, движение, воздух, деревья, трава, птичий гомон. Поняли?

Говорил он резко, отрывисто.

Этот знаменитый кардиолог вовсе не был похож на того профессора, какого ожидал увидеть Коноплев, — сухонького старичка с седой бородкой клинышком, к месту и не к месту вставляющего «батенька мой», «голубчик» и тому подобные мягкие, успокаивающие словечки.

Рубил плеча:

— Я не буду говорить вам: живите спокойно, не волнуйтесь. Для того, чтобы жить спокойно, нужно работать не в уголовном розыске, а в планетарии. Билетером. Но вы же, наверное, не хотите билетером? Тогда делайте то, что я вам скажу!

Проводив жену в гастрольную поездку, Коноплев поселился на затерянной в лесу даче, в полном одиночестве, с глазу на глаз с природой. Конечно же «с глазу на глаз — это, если вдуматься, преувеличение! Ни о какой дикости, первозданности природы здесь, в Подмоскovie, и речи быть не может. Город давно превратил эти места в свою зеленую зону, пронизал их артериями железных и шоссейных дорог, настроил уютные платформы с четкими, издали бросающимися в глаза названиями станций, разбросал тут и там дачи и дачки — от огромных бревенчатых теремов с покатыми островерхими крышами и резными столбами, поддерживавшими легкие балконы, до маленьких, невзрачных халуп, слепленных бог знает из чего — фанерных ящиков, досок, старых дверей...

Во многих поселках — электричество, газ, водопровод, будки телефонов-автоматов, палатки, магазин, а кое-где даже кафе и рестораны.

И все же при наличии определенного воображения (а у Николая Ивановича оно имелось, он даже пописывал на досуге рассказы из жизни милиции) можно было ощутить себя здесь, на даче, таким Робинзоном, существование которого зависит лишь от его собственной сообразительности и ловкости...

Дачу предоставил в распоряжение Коноплева некий Борис Никифорович Заяц, историк.

Хоромы что надо! Не тесные, заставленные старой рухлядью клетушки, а просторный зал с высоким потолком из темных балок, с камином, выложенным из неотесанных камней. На каминной полке — ваза с засушенным мудреным растением и пара сверкающих бронзовых канделябров с красными свечами. Внизу — чугунные щипцы, какие-то совочки, топоры, кочерга с витой ручкой. У стен — высокие застекленные книжные шкафы. В одном из простенков висела заключенная в белую раму репродукция картины Джотто, под нею — скрипка.

По долгу своей службы Николай Иванович привык с подозрением относиться к подобным богатым дачам и их владельцам, но тут, кажется, все было чисто. Заяц — известный ученый, угрозыск не раз обращался к его услугам эксперта.

Узнав о болезни Коноплева, Борис Никифорович сделал ему предложение — пожить месяцок-другой на даче.

— Ваше пребывание на моей даче, Николай Иванович, сулит мне прямую выгоду: никто не залезет, не разворует. Вы ведь не кто-нибудь, а один из лучших инспекторов уголовного розыска! Так что это не я, а вы делаете мне одолжение. Учтите!

— Если даром, то не согласен, Борис Никифорович. Это не в моих правилах... Назовите сумму, за которую вы согласны сдать мне комнатенку в ваших хоромах.

— Ну, ежели вам так угодно... извольте. Десять рубликов. Устроит?

— Сорок, — твердо сказал Коноплев.

Заяц засмеялся, и тотчас же лицо его изменилось: живые, быстрые глаза совсем скрылись в рыжих ресницах, глубокие морщины, как волны на прибрежный песок, набежали на веснушчатый лоб, оттопырились и заходили ходуном крупные уши, покрытые рыжеватым пушком. Глядя на Бориса Никифоровича, который, прихрамывая (одна нога у него была немного короче другой), передвигался по комнате. Коноплев невольно подумал, что человеку с такой внешностью трудно совершить преступление и скрыться незамеченным: весь состоит из «особых примет».

Коноплев, смеясь, сказал об этом Борису Никифоровичу. Тот на мгновение затих, задумался.

— Так, значит, вы полагаете, что если бы я... ну, что-нибудь натворил этакое противозаконное, то отыскать меня не составило особого труда?

— Именно...

— Ну-ну, — Заяц казался растерянным.

— Уж не замышляете ли вы, Борис Никифорович, и в самом деле преступить закон? Если так, то не советую.хлопотно и опасно.

Заяц очнулся от задумчивости, улыбнулся:

— Что вы, мой друг! Мы с вами относимся к числу тех людей, которые ловят, а не тех, кого ловят...

— Как, вы тоже?

— Ну конечно же! Историк, исследователь — тот же сыщик. Сколько раз по самым малозначительным уликам приходится восстанавливать картину того, что происходило тысячелетия назад!

— В самом деле?

— Вот послушайте... Однажды мне было поручено исследовать записку, найденную в ящике с останками мощей Александра Невского. Она была датирована по-славянски 189 годом, т. е. 7189 годом от сотворения мира. Надлежало установить, относится ли эта записка действительно к названной дате или это ловкая подделка.

— И с чего же вы начали?

— С анализа почерка, разумеется...

— Могу с уверенностью сказать, что ваша записка написана была полууставом, — заметил Коноплев. — Насколько мне известно, бумаги церковного содержания пишутся этим шрифтом вплоть до настоящего времени.

— Вы и это знаете? Bravo! Однако по мере вытеснения полуустава из повседневного употребления даже церковные рукописи стали писаться не столь аккуратно, как прежде. Буквы сделались менее однообразны, менее ровные, строки менее прямые. И это вырождение полуустава шло так постепенно и правильно, что дает нам возможность сличить между собой достаточное число образцов с достоверными датами, по почерку определить время написания с точностью до десятилетия! Мне удалось определить, что почерк записки примерно соответствует ее дате...

— Но этим вы, конечно, не ограничились?

— Конечно, нет. Я принялся за изучение самой бумаги. К сожалению, водяных знаков, по которым, как вы знаете, легко установить время ее выделки, на записке не было. Тогда сделал с записки снимок на просвет — контактом, знаете, как печатают карточки с негатива. На фотографии отчетливо была видна сетка, на которую отливалась бумага. Ширина полосок, а также ширина расстояний между пересекающимися эти полоски продольными линиями, общий вид бумажной массы, несомненно, ручной выделки — все это не оставляло сомнений, что бумага не новее XVIII века.

— Но она вполне могла быть и старше, потому что между бумагой с XVI до XVIII века существенной разницы не имеется, — заметил Коноплев. — Надо было особое внимание обратить на чернила...

— Чернила были того единственного типа, который находился в употреблении на Руси в течение нескольких веков, вплоть до нынешнего, — железно-орешковые. Так что они с одинаковым успехом могли быть использованы в любое время, — парировал Заяц. — Однако вполне можно было довольствоваться выводом, что подделка всех перечисленных выше признаков столь сложна, что ее практически можно исключить.

— Что ж, вполне логично, — сказал Коноплев. — Но на вашем месте я сделал бы еще кое-что...

Борис Никифорович самолюбиво вздернул брови:

— Я что-нибудь упустил?

— Железно-орешковые чернила, о которых вы упомянули, при некоторых условиях — отсутствии доступа воздуха, сырости, колебаний температуры (все это, насколько я понимаю, имело место в данном случае — записка-то лежала в закрытом ящике), так вот эти чернила, проникая в бумажную массу, образуют со временем вокруг букв невидимую глазом желтоватую каемку. Ее можно обнаружить посредством особого фотографического приема — цветотделения. Вот каемку-то эту подделать невозможно!

— Следовательно...

— Следовательно, обнаружь вы ее, и у вас имелись бы все основания утверждать, что подделка

этой записки совершенно исключена. По крайней мере, в последние пять лет!

Борис Никифорович, задетый за живое замечанием Коноплева, вскочил с кресла и, хромая, прошелся по кабинету. Взял себя в руки, успокоился:

— Я вижу, вы со своим опытом криминалиста можете оказаться полезным и нам, историкам...

— Ну, вряд ли, — скромно ответил Коноплев.

В тот же вечер Заяц уехал в Москву и несколько дней не появлялся. «Тактичный человек, не хочет беспокоить гостя», — подумал Коноплев. Он чувствовал себя неловко: взял и выжил человека с дачи, и с какой дачи! Да еще, кажется, обидел его своим бестактным замечанием насчет железно-орешковых чернил... Решил при очередной встрече проявить по отношению к хозяину максимум внимательности.

Заяц приехал в субботу. Был он непривычно тихим, задумчивым. Сидели в холле, не зажигая света. В камине приятно потрескивали сухие дрова, отсветы пламени скользили по лицу Бориса Никифоровича, погруженного в какие-то свои, видимо, не совсем приятные мысли.

Николай Иванович первым нарушил молчание:

— Вы не расскажете, чем занимаетесь в настоящее время?

Заяц, встрепенувшись, повернулся к Коноплеву и, с видимым облегчением сбросив с себя груз размышлений, ответил:

— Почему же? Охотно расскажу... Понимаете, в библиистике до сих пор нет единой точки зрения на то, существовал ли реальный исторический прототип Иисуса или же он просто порождение мифа. Лично я являюсь противником...

— Мифологической теории, — закончил фразу Коноплев.

— Вам это известно?

— Разумеется. Я сам в свое время, конечно, на любительском уровне, интересовался библией и библиистикой.

— Вы?!

— Да я, — в глазах Коноплева прыгали лукавые искорки.

— Ну и...

— Мне, например, удалось по косвенным признакам установить, как выглядел Иисус. Если, конечно, допустить, что он был реальной личностью...

— Любопытно, — оживился Заяц. — Тем более что в евангелиях об этом ни слова. Даже намеком не сообщается, был ли Иисус высок или мал, красив или уродлив, какого цвета у него волосы, глаза, как одевался...

— И тем не менее методом дедукции кое-что установить можно...

Борис Никифорович был само внимание. Рукой, украшенной кольцом с крупным камнем, пригладил прядку на голове, проговорил:

— Слушаю!

— Как известно, Иуде пришлось поцеловать Иисуса в Гефсиманском саду, чтобы палачи-первосвященники могли его узнать. А почему? Да потому, очевидно, что Иисус ничем не отличался от окружающих, то есть имел самую заурядную, неброскую внешность. То есть не имел особых примет.

— В отличие от меня?

— В отличие от многих... скажем так... Известно также, что Иисус умер на кресте гораздо быстрее, чем другие. Из этого факта нетрудно сделать вывод, что он не отличался крепким здоровьем, был хилым, тщедушным. Пойдем дальше. Мы знаем, что римские солдаты, стоявшие в карауле у креста, бросали жребий, чтобы решить, кому достанется одежда Христа. Следовательно, он не был в лохмотьях, а одевался достаточно богато...

— Интересно! — воскликнул Борис Никифорович и, вскочив со своего кресла, захромал по комнате. Подошел к шкафу, взял в руки небольшой томик. Его взгляд остановился на лупе, лежащей на письменном столе. Лукаво улыбнулся:

— А теперь позвольте, Николай Иванович, и мне проявить свои дедуктивные способности. Чрезвычайно любопытные розыскания относительно Христа вы сделали уже здесь, на моей даче. Из чего я это заключаю? Лупа была спрятана в ящике стола. А теперь она на виду. Вы ее достали, чтобы читать вот эту библию, которую я держу в руках... Шрифт

здесь чрезвычайно мелок, и разобрать его невооруженным глазом трудно. Так?

Коноплев рассмеялся и поднял руки:

— Сдаюсь! Ваша правда. Библию вы мне оставьте. Я ею заинтересовался. А вот магнитофон «Грюндиг», альбом с марками и скрипку захватите в Москву. Я часами брожу по лесу, дача остается без присмотра, мало ли что может случиться. И к чему здесь, на даче, вся эта роскошь?

Борис Никифорович сделал округлый жест рукой:

— Надеюсь, вы меня не осуждаете за все эти... излишества?

— Вас лично — нет, я еще мало вас знаю и для каких-либо широких выводов не имею оснований. Но в принципе погоню за дорогими, модными, чаще всего ненужными вещами, которой сейчас увлекаются многие, осуждаю... — Хотя Коноплев и дал себе слово вести себя с Зайцем отменно вежливо и учтиво, однако его так и подмывало вступить с ним в спор.

— Ну, надо еще доказать, что эти дорогие и модные вещи, о которых вы говорите, людям не нужны! — с вызовом произнес Заяц. — Нужны, если не для удовлетворения самых насущных потребностей, то для более высокой цели... Ведь потребности бывают не только насущные. Вы помните, один поэт сказал: «Я могу обходиться без необходимого, но не могу без лишнего».

— Потребности не могут складываться стихийно, их надо формировать.

— То есть вы готовы взяться за формирование моих потребностей, милейший Николай Иванович?

— Ваших? Ни в коем случае. А вот свои я формирую.

Зяец посмотрел на Коноплева с жалостью:

— То-то и видно... Этот лыжный костюм вырвиглазового василькового цвета с начесом где достали, если не секрет?

— Купил в «Галантерее»... Там есть трикотажный отдел...

— Вы неподражаемы! Но оставим ваш костюм в покое. Возьмем проблему во всем ее объеме. Когда вы впервые увидели мою дачу, она вас смутила. Не отрицайте, смутила, я это определил по вашему лицу.

«Куда я попал, — подумали вы. — Откуда у него такие хоромы?» Потом вспомнили о моих гонорарах, о положительном отношении к моей персоне со стороны вашего руководства и успокоились. Я на вас не обиделся. А за что обижаться? Вы, сами того не желая, отдали дань распространенному у нас предрасудку, мол: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Но давайте задумаемся: когда возникла эта поговорка? До революции, когда страна была отсталой, а большинство людей жило бедно. Не так ли? С тех пор много воды утекло. Страна богатеет, богатеют и люди. Причем заметьте — богатеют именно от трудов праведных... Так что хотите вы этого или нет, а все эти бирюльки я и не подумаю увозить с дачи. Магнитофон вам пригодится, долги-ми вечерами так приятно послушать Моцарта! Марки особой ценности не имеют. Если и украдут — не жалко. Скрипка... Разве вы не помните, что великий Шерлок Холмс играл на скрипке? Да, я знаю, вы не играете, но один вид скрипки должен действовать вдохновляюще! А если произойдет несчастье, кто-нибудь покусится на мои сокровища, то вы же, без сомнения, вскоре его поймаете. С вашими-то способностями!

И надо же было такому случиться: 24 мая, в самый канун отъезда Коноплева с дачи, скрипка пропала!

Был уже конец мая, однако погода, на удивление, никак не могла установиться. С утра совсем полетнему начало пригревать солнце и полураздетые дачники потянулись к пруду — купаться, вдруг внезапно налетел не то циклон, не то антициклон, небо заволокло тучами, подул холодный ветер, зарядил мелкий, противный дождь.

В тот день Николай Иванович, как обычно, вышел на послеобеденную прогулку, но быстро продрог и уже через полчаса вернулся домой.

Поднялся по скрипучим ступеням на высокое крыльцо. Открыл ключом дверь. Здесь же, в прихожей, скинул мокрые, в рыжей глине сапоги, надел тапочки.

В первую секунду пропажи не заметил. В полу-

тме сияли медные подсвечники на каминной полке, светились стекла книжных шкафов. Репродукция картины Джотто спокойно висела не месте. И вдруг Николая Ивановича точно током ударило: нет скрипки! Под картиной на выцветших обоях отчетливо проступало темное пятно в форме то ли песочных часов, то ли перехваченной в талии женской фигуры, то ли восьмерки, то ли бог знает чего! Пятно было, а скрипки не было.

Все остальное оказалось нетронутым: в нижнем ящике шкафа по-прежнему лежал магнитофон «Грюндиг», на столе — альбом с марками и лупа с черной пластмассовой ручкой, тусклым зеленоватым пятном в углу проступал экран «Темпа». Целы свитера, рубашки, обувь... Не было только скрипки. Еще утром она висела на своем обычном месте, помнится, он даже смахнул с нее пыль, еще раз подивившись тому, что чудаковатый Заяц не хранит инструмент в футляре, а держит в качестве украшения на стене.

Кража произошла совсем недавно, пока он блуждал по лесу, с двух до двух тридцати.

Коноплев внимательно осмотрел дачу и обнаружил, что окно в кухне полуотворено. А он отлично помнил, что, уходя, тщательно проверил все запоры на окнах и дверях. Значит, преступник проник на дачу через окно. Честно говоря, сделать это не составляло труда. Замочек на форточке слаб, стоило подцепить фрамугу чем-нибудь острым, потянуть на себя, как язычок замка погнулся, форточка поддавалась... Отворить после этого раму было делом одной минуты.

Не успел Коноплев собраться с мыслями, как на крыльце послышались шаги, в дверь постучали. На пороге стоял рослый милиционер.

Оказывается, сторож кооператива тоже заметил полуотворенную раму и позвонил в местное отделение милиции.

— Сержант Ивакин, — сообщил вошедший. — Что тут у вас произошло?

— Да вот... скрипка со стены пропала, — нехотя произнес Коноплев.

— Украли?

— Это еще надо выяснить.

У Коноплева мелькнула мысль: а вдруг скрипка зачем-то понадобилась Зайцу, он приехал и увез ее.

Николай Иванович подошел к телефону и набрал номер московской квартиры Зайца. Трубку сняла жена.

— Борис Никифорович дома?

— Спит. Разбудить?

— Нет-нет... Пусть отдыхает.

Значит, Заяц скрипку взять не мог, иначе он еще был бы в пути.

— Боюсь, сержант, что скрипку действительно того... Украли скрипку. Только понять не могу: кому она могла понадобиться? Тут у вас подростки по дачам не лазают?

— Всякое бывает, — отозвался сержант. — Кстати, сегодня это не первое ЧП. Пропали вещи из коляски...

— Из какой коляски?

— Из детской... Одна бабка зашла в дом, чтобы внучонка переодеть, а коляску на улице оставила. Через минуту выходит: коляска стоит, а одеяльца, как не бывало. На всякий случай выслали наряд... Но пока, ничего подозрительного обнаружить не удалось. Разрешите осмотреть место происшествия?

Рослый сержант Ивакин обошел вокруг дома по опоясывавшей его асфальтовой дорожке. Тщательно вглядывался в раскисшую землю — нет ли где следов. Следов не было.

— Скорее всего, — сообщил он Коноплеву, — злоумышленник спокойно вошел на участок через калитку, благо она закрывалась на засов, который каждый, просунув руку сквозь щель между досками, мог отодвинуть без особого труда; по асфальту проследовал к крыльцу, завернул за угол и очутился возле кухонного окна... Разрешите воспользоваться телефоном?

Сержант позвонил в местное отделение милиции, спросил, нет ли новостей.

Ему ответили:

— На станцию выслан наряд. Ничего подозрительного не обнаружено.

— Так вор, должно быть, давно уже в Москву укатил, — сказал Коноплев. — Еще до вашего наряда.

— Этого быть не могло, — солидно ответил сер-

жант. — Сегодня в связи с ремонтными работами движение на нашей ветке приостановлено с 12 до 18.00.

— Это облегчает вам дело, — сказал Коноплев. Мысленно он уже решил возложить поиск скрипки на сержанта. Во всяком случае, до разговора с владельцем дачи.

Сержант Ивакин тем временем отправился в контору. Там за колченогим письменным столом сидел сторож и огрызком карандаша вписывал буквы в клеточки кроссворда.

— Вы с какого часа заступили? — поинтересовался Ивакин.

Сторож поднял от «Огонька» лицо в трехдневной щетине и ответил:

— Как положено — с двенадцати...

— Какой дорогой шли в контору?

— Дорога тут одна: шоссе... — ответил сторож. — По лесу сейчас без резиновых сапог не пройдешь: мокроть.

— По дороге никого не встретили?

Сторож задумался, почесал скулу желтыми от табака ногтями:

— Почему не встретил? Встретил. Сначала слесаря Василия, он какую-то трубу волочил. Потом малец на мопедке мимо проскочил, всего, паршивец, грязью обдал. Я еще погрозил отцу на него пожаловаться...

— А отец-то кто?

— Да ваш начальник, товарищ Сорокин. Других уму-разуму учит, а своего на путь поставить не может. Ну и еще бабка Степанида с кошелкой, в переулок свернула.

— С кошелкой?

— Ну а как же... Она все время по дачам с кошелкой бродит, овощем и фруктом торгует.

— А сегодня чем торговала?

— Моченым яблоком. Я вчера у нее брал.

— Больше никого не видели?

— Нет... В такую погоду люди по домам сидят.

Сержант снова вышел на улицу. Холодный дождичек приятно остудил разгоряченное лицо.

Шоссе прямой стрелой пролегало между двумя рядами дач и упиралось в водонапорную башню,

стоявшую на краю леса. Эта башня, темные очертания которой четко выделялись на фоне серого неба, напоминала гигантскую шахматную ладью.

«С 12-ти до 18-ти поезда не ходили. Значит, электричкой он уехать не мог. Голосовать на шоссе опасно, слишком много свидетелей — все проезжающие мимо, да и на милицию можно напороться. В этих обстоятельствах выгоднее всего затаиться, переждать. Для этой цели пригодилась бы вон та водонапорная башня», — подумал Ивакин. И ускори́л шаг.

Темный лес полукругом обступал башню. Темно, мрачно, сыро. С трудом поднимая вязнувшие в размокшей глине ноги, сержант подошел к забору, которым обнесено было подножие башни. Наверх вела металлическая лестница. Недолго думая, Ивакин полез. Одной рукой крепко держась за лестницу, другой поднял над головой маленькую дверцу. И оказался в темном помещении. Пахло пылью и мышами.

Сунул руку в карман, достал электрический фонарь, навел на пол световой луч. И замер. На досках пола явственно видны были следы. Вернее, мокрые пятна, еще недавно бывшие следами.

Ивакин быстро посмотрел на циферблат часов. Стрелки показывали шесть часов. И тотчас же до него донесся шум отъезжающей электрички.

Он испытал досаду. Если бы чуть раньше пришла в голову мысль подняться сюда, на башню... А теперь ищи ветра в поле! Шевельнулась слабая надежда: может, злоумышленника задержал наряд милиции на станции?

Он быстро спустился с башни, почти бегом вернулся в контору. Еще раз позвонил в отделение:

— Никого не задержали?

— Никого.

— Кто уехал с шестичасовой электричкой?

Дежурный ответил:

— Подозрительных не обнаружено. Отбыло всего пять человек... Председатель дачного кооператива Козлов с женой, продавщица продмага Юркина, сын товарища Сорокина да незнакомая женщина с грудным ребенком.

Ивакин положил трубку на рычажки, потер лоб. Как он мог не обратить внимания на сообщение о

краже детских вещей из коляски? На языке криминалистики это называется «сопутствующим деянием». Преступник, должно быть, украл детское одеяльце, чтобы скрыть, замаскировать от постороннего глаза похищенную им скрипку. Ивакин обязан был предупредить наряд милиции: обратить особое внимание на женщину с грудным ребенком. Он этого не сделал.

Сержант еще раз взглянул на часы.

Поздно! Как раз в эту минуту электричка подходила к платформе пригородных поездов Киевского вокзала, и женщина с ребенком (если, конечно, она еще в тамбуре поезда не сменила своего обличия) сошла на перрон и бесследно растаяла в многомиллионном городе.

Пока энергичный сержант метался по дачному поселку, осуществляя казавшиеся ему необходимыми «розыскные мероприятия», подполковник Коноплев находился в странном бездействии. Порывшись в письменном столе хозяина, он извлек оттуда пеструю пачку тонких и длинных дамских сигарет и закурил. Пуская ровные кольца дыма, он разглядывал пятно на стене, где еще недавно висела скрипка, и думал. Потом посмотрел на часы и встал. Борис Никифорович, должно быть, уже проснулся. Что за странная привычка — спать днем и именно в то время, когда крадут скрипки!

Николай Иванович снова набрал знакомый номер.

— Я вас слушаю! — ответил ему хриплый голос только что очнувшегося ото сна человека.

— Я вас разбудил, Борис Никифорович?

— А, это вы, Николай Иванович. Нет, не разбудили. Я уже проснулся и пью чай с пастилой.

Николай Иванович сглотнул слюну и поведал Зайцу о пропаже скрипки.

Ответом было минутное молчание. Потом Борис Никифорович поинтересовался:

— А больше ничего не взяли?..

— На мой взгляд, все прочее осталось на месте. Но очевидно, будет лучше, если вы сами приедете и все внимательно осмотрите. Кстати, вам ведь надо заявить в милицию о краже скрипки...

— Нет-нет, — торопливо ответил Борис Никифорович. — Никаких заявлений в милицию я делать не

буду, скрипка, поверьте, ценности для меня не представляет. Вам я тоже не советую принимать это дело близко к сердцу, пропала — и черт с нею!

— И рад бы принять близко к сердцу, да не могу... Завтра мне в Москву на работу.

Заяц заметно обеспокоился:

— Как? Вы уже покидаете дачу? А я думал, проживете месяц-другой. — Он счел необходимым пояснить свои слова: — Если в вашем присутствии, уважаемый Николай Иванович, скрипку утащили, то представляете, что будет без вас? Всю дачу растащат!

— Не беспокойтесь, — утешил его Коноплев. — Здесь есть очень бедовый сержант... некто Ивакин. Он вас в обиду не даст.

В дверь громко постучали.

— Кто там? — спросил Коноплев.

— Милиция!

Он ощутил, как настороженно сжалось в груди сердце, и усмехнулся. Стоило проработать более тридцати лет в Московском уголовном розыске, чтобы вздрагивать при слове «милиция»!

— Сейчас!

Он встал, открыл дверь.

— Вы Коноплев?

— Я.

— Николай Иванович?

— Точно!

— Начальник отдела распорядился доставить вас безотлагательно.

— А что, Ворожеев уже начальник?

Он произнес эти слова вполголоса, как бы разговаривая сам с собой, но молодой милиционер услышал:

— Виноват... ВРИО начальника...

— Ну, в этом-то вы, пожалуй, не виноваты, — усмехнулся Коноплев. И пригласил: — Проходите, садитесь. Я оденусь быстро.

...Аким Федотович Ворожеев едва возвышался над огромным письменным столом. Видны были только голова и плечи. Прежний руководитель отдела был высоченного роста и могучего сложения,

потому и кресло подобрал себе под стать. Ворожеев же, человек средних габаритов, в этом кресле утопал.

— Ты бы распорядился, Аким, чтобы тебе кресло новое подобрали, — входя в кабинет, проговорил Коноплев. Они с Ворожеевым давно знакомы, лет десять вместе работают, не меньше. И отношения у них короткие, можно сказать, дружеские...

— Кресло? — очнулся от невеселых раздумий Ворожеев. — Это, брат, потом...

Коноплев догадался, что означает слово «потом»... Потом, когда минует срок и решится его судьба — отпадет от названия должности неприятная приставка ВРИО.

«Совсем заматался парень», — отметил про себя Коноплев. Еще недавно он выглядел цветущим, кирпичный румянец не сходил с лица. А сейчас напоминал акварельный рисунок, на который попали капли воды, — очертания размылись, сделались расплывчатыми, а краски смешались, образовав бледные, голубовато-серые тона. В Коноплеве было шевельнулась жалость к Ворожееву. «Пока я там гулял, набирался сил, его тут совсем заездили, ишь, даже посерел весь».

Но тот вежливо брякнул:

— Все сачкуешь? Не надоело? — и доброе чувство к Акиме угасло.

— Не сачкую, а выздоравливаю после тяжелой болезни. Могу заключение профессора показать.

— Да что ты! Это я просто так... — Ворожеев махнул рукой и снова быстро сцепил пальцы на крышке стола, точно боясь потерять равновесие.

— А в поликлинику зачем звонил... Тоже просто так? — спросил Коноплев.

Ворожеев покраснел и отвел глаза. По стечению обстоятельств болезнь Коноплева совпала с назначением Ворожеева и должность ВРИО. Начальство выбирало из них двоих и остановилось на Акиме. Он, правда, звезд с неба не хватает, однако надежен — указания руководства выполняет неукоснительно, сроки держит строго, «писанина» в лучшем виде, все отражено и оформлено «как надо». А Коноплева в управлении хотя и ценят, но побаиваются, уж больно самоуверен и самостоятелен, по всем вопро-

сам имеет свое особое мнение. Короче говоря, неизвестно, чего от него ожидать.

Вот Ворожеев и выяснял: уж не дипломатический ли характер носит внезапное заболевание Коноплева? Он поглядел на подполковника бледно-голубыми глазами и вздохнул:

— Любой поступок можно по-разному истолковать...

— Не совсем так, — пробормотал Коноплев, но спорить не стал. — Что-нибудь случилось?

— Установили личность твоего утопленника!

У Коноплева вытянулось лицо:

— Какого утопленника?

Но он уже все понял... Это случилось полтора месяца назад, 13 апреля, когда его ночная вахта в опергруппе при городской дежурной части уже подходила к концу...

То дежурство давалось ему с трудом. Он почувствовал себя неважно еще днем, когда за окном большими хлопьями повалил мокрый снег. Сжало виски, появилась тяжесть под левой лопаткой, стало трудно дышать. «Это все погода», — объяснил себе свое недомогание Коноплев, не давая проникнуть в сознание и утвердиться там другой мысли: уж если организм так реагирует на изменения погоды, значит, дело швах.

Шел шестой час утра. Если правду говорят, что все люди делятся на «жаворонков» и «сов», то Коноплев явно относился к разряду «сов». «Совой» он заделался много лет назад, еще в войну. Часть, где он служил, выполняла особое задание: блокировала в небольшом северном монастыре окруженное подразделение гитлеровцев. Было известно, что в расположении этого подразделения случайно застрял крупный немецкий штабист, и надо было во что бы то ни стало взять его живьем. «Если убежит, ответить головой!» — сказал Коноплеву генерал.

Днем за свою голову Коноплев не очень-то беспокоился: полуразрушенный монастырь был как на ладони — незаметно мышь не пробежит. А вот ночью, хотя местность вокруг и была залита светом специально доставленных в этот район прожекторов,

уследить за противником было трудно. Так что днем Коноплев отсыпался в землянке, а ночью глаз не спускал с проклятого монастыря.

Штабиста поймали, а привычка бодрствовать по ночам осталась. Поэтому, когда жена уезжала с театром на гастроли, Коноплев охотно соглашался на ночное дежурство. Может быть, потому, что, оставаясь как бы один на один с ночным городом, он вновь переживал незабываемое чувство острой опасности, не раз испытанное им когда-то на фронте, в годы боевой юности.

Но сейчас ему нездоровилось. На протяжении ночи, показавшейся бесконечно долгой, он пробовал и ходить и сидеть, даже прилег на диван, но удобного покойного положения для тела не находилось. Поэтому он даже обрадовался, когда громкоговорящий разнес по дежурной части команду:

— Оперативной группе на выезд!

«На свежем воздухе станет легче», — подумал Коноплев.

...По Крымской набережной гулял резкий ветер. Если бы кому-нибудь из жителей выходящих на реку домов довелось подняться так рано и выглянуть в окно, то он увидел бы необычную картину: перегородившая набережную, косо стояли две машины — ярко-желтый милицкий «рафик» и грузовик для перевозки снега с высокими наращенными бортами. В образованном ими замкнутом пространстве, как на сцене, двигались, время от времени обмениваясь короткими фразами, мужчины в форме и в штатском. Лица у них были мрачные.

Получив сообщение из дежурной части, речники сразу же выслали на место бригаду. С помощью багров обтянутый целлофаном и перевязанный веревкой тюк вытащили на набережную. Кто-то вспорол тюк ножом, отогнул край оказавшегося под целлофаном брезента и в испуге отшатнулся...

— Гражданин хороший! Можно ехать-то? А то ведь у меня план. — Водитель Силуянов топтался в своих облитых красной резиной валенках перед следователем прокуратуры юристом III класса Ерохиным. На замерзшем лице водителя было проси-

тельное выражение. — Я только одну езду успел! Можно?

— Всем оставаться на местах! — хмуро проговорил Ерохин, маленький человечек с негнущейся левой рукой, прижатой на высоте груди к старенькому пальтецу.

Силуянов сразу определил, что, несмотря на свой невзрачный вид, следователь прокуратуры здесь самый главный и ему подчинены все — и представительный инспектор Коноплев с бледным лицом и синими подглазьями, и пожилой судмедэксперт Судариков, и молодой эксперт научно-технического отдела горбоносый и загорелый, несмотря на зиму, Подгорцев, и кинолог, а проще сказать — проводник служебно-розыскной собаки здоровяк Санько. А также все остальные — вызванный на место происшествия участковый Тихонов, понятые.

— Приступаем к осмотру места происшествия! — скрипучим голосом объявил Ерохин, хотя надобности в этом распоряжении не было: эксперт НТО Подгорцев уже всюду колдовал над паковкой — мял рукой и просматривал на свет целлофан, разглядывал темно-зеленый брезент, исследовал узлы веревки. Судмедэксперт Судариков неторопливо похаживал вокруг трупа, приговаривая по своей излюбленной привычке: «Ай-ай-ай... Что же с тобой сделали? Ну-ка посмотрим. А это что? Вот мы сейчас поглядим».

Ерохин уже написал вводную часть протокола, зафиксировал место и дату осмотра, время его начала и теперь переписывал фамилии и должности присутствующих, а также их домашние адреса. Дойдя до участкового, он недовольно проговорил:

— Что же это вы, лейтенант, говорите, что на рассвете обходили участок... А почему-то плывущего мимо неизвестного предмета не обнаружили... А ведь это оказалось под силу даже водителю снеговоза! Хотя в его обязанности не входит осмотр участка.

После выговора, сделанного следователем, участковый Тихонов совсем пригорюнился, чувствовал себя так, словно именно на нем лежала главная ответственность за то, что река вместе с льдинами принесла сюда, к подножию Крымской набережной, свой страшный подарок.

Коноплеву захотелось поддержать симпатичного участкового.

— Бодрее, лейтенант! — сказал Николай Иванович и поднял руку, чтобы дружески потрепать парня по плечу, но его качнуло, и, если бы не Тихонов, он повалился бы на заметенный снегом асфальт.

— Подполковнику плохо! — раздался над ухом Коноплева тревожный вскрик лейтенанта. Подбежал судмедэксперт Судариков, сунул ему в рот под язык две таблетки нитроглицерина.

— Быстро в «рафик»!

— Разрешите? — с трудом ворочая онемевшим языком, спросил Коноплев у Ерохина.

Следователь в ответ еще больше нахохлился и дернул плечом. Неясно было, что это означает — разрешение удалиться или крайнее недовольство случившимся. А может, то и другое вместе. Но Коноплеву некогда было разгадывать жесты Ерохина. В сопровождении Тихонова и Сударикова он, медленно переставляя отяжелевшие ноги, добрал до автобуса и с трудом поднялся на высокую подножку.

«Рафик» тотчас же быстро двинулся вверх по набережной. А река катила навстречу свои черные воды, в которых, то всплывая, то вновь уходя в глубину, тяжело переворачивались серые, тускло светящиеся, будто обернутые целлофаном льдины.

Ворожеев прихлопнул тощую картонную папку рукой и сказал:

— Сомнений нет, это был Лукошко, скрипач из музыкального театра.

— Лукошко?!

Семен Григорьевич... Неужели это он? Сослуживец жены по музыкальному театру. Когда-то, до переезда на новую квартиру, Коноплевы жили с Лукошко в соседних домах. Что знал о скрипаче Николай Иванович? Малосимпатичный пожилой субъект, хмурый и замкнутый. При встрече на лестнице никогда не здоровался первым, бочком прошмыгнет мимо и тотчас же хлопнет дверь, загремит тяжелый засов. Музыкант, говорили, неплохой, подавал большие надежды, но, увы, не оправдал... Может, потону и злился на весь свет?

— У него был сын — Митя... — Коноплев не заметил, что последнюю мысль произнес вслух.

— Митя? — отозвался Ворожеев. — Да, Дмитрий Лукошко, будущий наследник отца.

— Наследник, говоришь?

— Да нет, ты не думай... Капитан Сомов им занимался. У Дмитрия — алиби. Лукошко-старший пропал 28 марта. А сын его с 24 марта неотлучно находился в больнице. Заведующий отделением подтвердил.

— А с чего это он вдруг попал в больницу?

— Да он регулярно ложится — то на обследование, то на лечение... С нервами что-то...

— У нас у всех с нервами что-то, — проговорил Коноплев, вспомнив свой недавний срыв. Конечно же этот сердечный приступ — результат нервозности, или, как сейчас говорят, многочисленных стрессов.

— Ну и кому же поручено ведение дела? — уже предугадывая ответ, спросил Коноплев.

— Тебе! Здоровье позволяет?

— Здоров, — кратко ответил Николай Иванович. И действительно, в эту минуту он почувствовал себя по-настоящему здоровым. Ушло тягостное ощущение пустоты, бесцельности существования, не оставлявшее его на протяжении последних недель — все то время, пока он прохлаждался на зайцевской даче.

Итак, погибший ужасной смертью человек, труп которого 13 апреля был извлечен из Москвы-реки, — скрипач Лукошко.

Если при жизни человека не раскусил, многое ли узнаешь о нем, когда его уже нет? Многое, если ты — инспектор угрозыска.

Пройдет некий срок, разрозненные сведения сложатся воедино, вступит в действие пресловутый механизм умственного моделирования, и образ старого скрипача как бы вновь обретет плоть и кровь. Коноплев сможет представить себе, как проявлял себя Лукошко в различных обстоятельствах своей долгой жизни, как вел себя с женой, сыном, товарищами по оркестру, знакомыми женщинами. Короче говоря, из осколков прошлого Коноплев воссоздаст и образ самого Лукошко, и все, что с ним произошло, подобно тому как палеонтологи по частям скелета воссоздают не только внешний облик, но и образ жизни вымершего доисторического существа.

ПЕРВАЯ СКРИПКА

Семен Григорьевич был первой скрипкой в оркестре музыкального театра. Когда-то он мечтал стать дирижером. Может быть, потому, что первых скрипок в оркестре несколько, а дирижер — один. Лукошко сидел по левую руку от дирижера, и, когда тот хотел поблагодарить оркестр, вызвавший аплодисменты зала, то выходил из-за дирижерского пульта и пожимал руку Лукошко. В эти короткие мгновенья скрипач как бы представлял собой весь оркестр.

Дирижер Валерий Яковлевич Смирницкий — высокий, статный, с удлинённым белым лицом и откинутой назад густой гривой седеющих волос. У него были легкие, стремительные руки. В то время как правая отбивала такт, левая обращала внимание оркестрантов на нюансы. Как-то раз Смирницкий сказал Семену Григорьевичу:

— Правая рука — от разума, левая — от сердца... Правая высекает, левая рисует. — Он усмехнулся и добавил: — Но правая всегда должна знать, что делает левая.

На протяжении всего спектакля Лукошко находился в томительной власти этих двух стремительно летающих в лучах софитов рук. И не дай бог ослушаться, вырваться из очерченного ими круга звуков!

— Оркестр — это особая страна! — произнес однажды на репетиции Смирницкий. — Она имеет свои законы. Любой гражданин — музыкант, неповторимая индивидуальность. Да, это так. Но у каждого из этих граждан есть свои обязанности перед обществом, то есть перед оркестром. Стоит скрипке или альту не выполнить эту свою обязанность, и опасности разрушения подвергнется целое!

У Семена Григорьевича была когда-то своя индивидуальность. Он даже находил в себе сходство с великим Паганини. Не внешнее, конечно: черты лица у него были мелкие, рост средний, плечи узкие... Но вот пальцы... Лукошко все знал о пальцах генуэзского скрипача. Пальцы левой руки у него были на целый сантиметр длиннее, чем правой. Но не это было главное. Его рука обладала необыкновенной гибкостью. Без всякого усилия он отгибал большой

палец так, что касался ногтем запястья. Утверждали, что во время игры объем его кисти удваивался — «посредством растяжения и гибкости частей, ее составляющих».

Ну так вот, левая рука Семена Григорьевича также обладала необыкновенной гибкостью и эластичностью. Он мог изогнуть первые суставы пальцев левой руки, которые касаются струн, в сторону, совершенно противоположную их сгибу, и делал это с изумительной легкостью, верностью и быстротой.

Об этой его редкой особенности в оркестре знали. Однажды на репетиции, когда Семен Григорьевич исполнил один из пассажей по-своему, дирижер Смирницкий громко постучал палочкой по пульта и язвительно сказал:

— Не мудрствуйте, Лукошко! Вы же все-таки не Паганини. Вы же знаете: то, что дозволено Юпитеру...

Он не закончил фразы. Сказанного было достаточно, чтобы Семен Григорьевич возненавидел дирижера всеми силами души. Долго искал случая уязвить его. Да вот беда, дирижер вовсе не зависел от Лукошко, зато Лукошко всецело зависел, ох как зависел от Смирницкого!

На разных языках слово дирижер звучит по-разному: по-немецки — *Dirigent*, по-французски — *chef d'orchestre*, по-английски — *conductor*. Но все эти слова означают одно и то же: глава, руководитель, начальник.

Он, Лукошко, начальником не был. Еще в раннем детстве у него обнаружился абсолютный музыкальный слух. В сочетании с редким трудолюбием и необыкновенными свойствами левой руки это давало Лукошко очень неплохие шансы на успех. И он действительно его добился — стал первой скрипкой в своем оркестре. Но дальше дело застопорилось. Сольные концерты не пошли, на международные конкурсы почему-то посылали других. Приходилось молчать, затаиться, ждать своего часа. А этот час все не приходил.

Когда-то Лукошко дал себе слово дожить до ста лет, и не просто дожить. Не беспомощным калекой, вместилищем всевозможных хворей, а здоровым, годным для всех радостей земного существования человеком.

Прежде казалось, что долголетия требует от него его высокое призвание музыканта. Но постепенно музыка как-то отошла на второй план. На первое место вышла Коллекция.

Собирательству старинных вещей, которым Лукошко все более и более увлекался, не видно было конца. Процесс этот, не ограниченный во времени, требующий постоянного напряжения физических сил, игры ума, нечеловеческой выдержки, как бы стал для Семена Григорьевича процессом самой жизни. Жизнь теряла всякий смысл без Коллекции. Значит, для Коллекции и нужно жить.

Все свободное от оркестра время Лукошко рыскал по городу, вынюхивал, искал и находил, вступал в торг, хитрил, обманывал, облапошивал, приобретал, делал своим достоянием. Это было дьявольски трудно, но зато как увлекательно!

Коллекция росла, пополнялась. Как-то раз (это было уже после смерти жены) Лукошко приобрел у одного старика, в скудости доживавшего свой век в Замоскворечье, изумительной красоты фарфоровую тарелку с изображением арфистки.

Семен Григорьевич уже не помнил точно, кто навел его на след этой вещи — Клебанов или Пустянский. Было ясно: если эти «жучки» сами не сумели завладеть ценной вещью, значит, дело швах, орешек попался твердый. Но у Семена Григорьевича было незыблемое правило: не отступаться от самых, казалось бы, неприступных владельцев. При этом он старался найти путь не столько к карману, сколько к сердцу человека. О, это был нелегкий и кропотливый труд! Подобно тому как опытный медвежатник, обследуя заветный сейф, старается угадать тайны мудреного замка, подобрать единственно верную комбинацию цифр, так Семен Григорьевич тщательно изучал человека, владевшего понравившимся ему предметом старины, и подбирал отмычку к его сердцу.

Ему удавалось добиться успеха там, где терпели крах самые пронырливые, самые богатые и настоячивые коллекционеры. Причем чаще всего он задешево покупал именно уникальные вещи. Как ему

это удавалось? По своему опыту знал: настоящих знатоков и ценителей антиквариата на свете не так уж много. Владельцы вещей, как правило, имели самое приблизительное представление об их настоящей ценности. Они не хотели расставаться со своим сокровищем не из-за опасения прогадать, продешевить. Нет, тут было другое. Людям казалось, что, отдав в чужие руки хранящуюся в семье реликвию, они как бы предадут память о своих близких. Стоит освободить человека от владевших им предубеждений, снять табу с ценной вещицы, и тогда она — твоя.

Семену Григорьевичу повезло: старик, владевший тарелкой, оказался его коллегой. Когда-то тоже работал в одном из московских театров. Но не играл в оркестре, как Семен Григорьевич, а пел. Голос у него был хороший, сильный, но вот фигурой не вышел: низкорослый, ноги кривоваты. Нос картошкой, маленькие черненькие глазки-буравчики. Поэтому Петру Антоновичу, так звали старика, роли, как правило, выпадали мелкие, невидные. То он изображал «голос за сценой», то выходил на городскую площадь в солдатском мундире и белых рейтузах, плотно облежавших кривоватые ноги, и, держа в одной руке деревянный жезл, а в другой — длинный бумажный свиток, речитативом зачитывал грозный указ.

Тем не менее Петр Антонович душой и телом был предан искусству. Посвятил ему буквально всю свою жизнь. Ни жениться не успел, ни дома приличного завести. И к старости оказался, что называется, на бобах. Комнатенка у него была скверная, с зелено-ржавыми подтеками на потолке, с маленьким нестандартным оконцем, упиравшимся в кирпичную стену. Мебели — кот наплакал. Спал на матраце с ножками. Рядом — табуретка, не только служившая Петру Антоновичу по прямому своему назначению, но и заменявшая, по-видимому, еще и стол, поскольку на ней стояли стакан крепкого чая и розеточка с вареньем. На стенах, оклеенных выцветшими обоями, — старые театральные афиши, тоже выцветшие, порыжелые, в пятнах. На широком подоконнике, служившем хозяину книжной полкой, свалены были нотные тетради и книги... Одну из них, довольно увесистую, в обложке из дорогой тисненой кожи,

как углядел Семен Григорьевич, украшал портрет Шалапина. Весь угол занимало пианино знаменитой фирмы «Ирмлер», казавшееся инородным предметом в этой скромной обители. Еще был в комнате комбинированный шкафчик, в одном отделении содержалась посуда, в другом — одежда бывшего певца.

Среди дешевой и разнокалиберной посуды хранилась и фарфоровая тарелка с изображением арфистки. Как попала она к Петру Антоновичу?

Однажды во время гастрелей в каком-то провинциальном городе в Петра Антоновича влюбилась одна учительница. Трудно сказать, чем привлек ее Петр Антонович — бархатистым, берущим за душу баритоном или крепкой, как будто выпиленной из мореного дуба, фигурой, прочно стоявшей на своих хотя и несколько кривоватых, но мускулистых ногах. А может, пронизательным своим взглядом женщина угадала в нем человека одинокого, обделенного женским теплом. Как бы то ни было, она не пропускала ни одного спектакля с участием Петра Антоновича. Дожидалась его у служебного входа, дарила ему корзины с цветами, отчего он, не привыкший к такому успеху, сильно конфузился. Петр Антонович не мог не ответить на это пылкое и искреннее чувство. Он чуть было не женился и не остался в этом городе, в просторном двухэтажном домишке, где в достатке и покое его симпатичная поклонница жила после смерти мужа. Но тяга к искусству победила! Театр вернулся в столицу, а вместе с ним вернулся и Петр Антонович, увозя память о своей подруге и подаренную ею тарелку с изображением арфистки — неистовой служительницы муз.

Об этом Семен Григорьевич узнал позже — от самого Петра Антоновича.

А до этого он долго метался по Казачьему переулку, стараясь отыскать нужное ему строение под номером тринадцать. Выяснилось, что дома за номерами двенадцать и четырнадцать есть, а вот тринадцатого нет. Разные люди, к которым он обращался с расспросами: милиционеры, школьники с ранцами за спиной, пенсионеры, медленно совершавшие свой утренний моцион, — все они направляли Лукошко в прямо противоположные стороны.

Но он все-таки отыскал то, что было ему нужно.

Нырнув под арку красивого, только что покрашенного светлой краской дома и миновав шеренгу круглых металлических мусорных ящиков с откидными крышками, Семен Григорьевич свернул за трансформаторную будку и очутился в тесном и мрачном закутке, с трех сторон зажатом слепыми, без окон, каменными стенами. Здесь было темно, пахло кошками и еще чем-то резким, неприятным. Строение № 13, как циклоп, глядело на Лукошко своим единственным подслеповатым узким оконцем. Грудь его стеснило от какой-то непонятной тоски, от дурного предчувствия, что ли...

Поначалу он заробел, оказавшись с глазу на глаз с довольно хмурым костистым стариком, неприятно сверлившим его черными буравчиками маленьких глаз. На старике был халат, пестрый шелк которого посекся во многих местах. Своим ветхим видом халат этот как бы подчеркивал преклонный возраст владельца.

— Что вам будет угодно? — спросил хорошо поставленным голосом хозяин комнаты.

Семен Григорьевич умел разбираться в людях. Он тотчас же понял, что неприступный вид старика, его сердитый взгляд — все это от смущения, застенчивости. Кому в самом деле приятно принимать приличного человека в таком виде!

Семен Григорьевич представился, не позабыв присовокупить: «Музыкант». И тотчас же, не объясняя цели своего визита, все свое внимание обратил на пианино. Разглядев полустершуюся золотую надпись «Ирмлер», пробормотал: «Отличная фирма!» — ласково провел по отполированной поверхности крышки: «Какой лак!» — потом, спросив у хозяина: «Вы разрешите?» — легко прошелся по клавишам: «Звук-то какой, звук!»

— У вас, видимо, прекрасный настройщик! — полуспросил-полусказал Семен Григорьевич.

Старик зарделся.

— Я сам... — пробормотал он.

— Так вы музыкант?

— Певец.

Петр Антонович выпрямился и сблизил голые пятки в тапках без задников, как бы желая щелкнуть каблуками. Он назвал свою фамилию.

Семен Григорьевич не то вспомнил, не то сказал наугад:

— Театр Станиславского и Немировича-Данченко?

И попал в точку! Старик расцвел, черные глазки его заблестели, а изрезанное морщинами лицо с большим, бульбочкой, носом приобрело приветливое выражение. Он вмиг схватил с табуретки и переставил на подоконник стакан с чаем, розеточку с вареньем и усадил гостя.

Но Семен Григорьевич не спешил перейти к делу. Он стал расспрашивать Петра Антоновича, выяснять, не довелось ли им когда-либо работать вместе, принялся называть имена общих знакомых, рассказывал пару старых театральных анекдотов, отчего хозяин прямо-таки зашелся в хохоте.

Через пять минут Петр Антонович был для Лукошко ясен как стеклышко. Человек, отдавший всю свою жизнь без остатка искусству и не проявивший себя в этом искусстве в полную меру своих способностей, — что может быть печальнее! Если говорить откровенно, у них было что-то общее — у уважаемого, одетого хотя и скромно, но добротно Семена Григорьевича (немодное, но крепкое пальто из ратина цвета маренго, каракулевая шапка пирожком) и у этого старика в потертом халате и спадающих с ног стоптанных тапках без задников. В пору своей молодости Семен Григорьевич также подавал большие надежды, но годы прошли, а он по-прежнему сидит со своей скрипкой в оркестровой яме. Не удалось прославиться, прогреметь.

Но у Лукошко (он подумал об этом с острым чувством удовлетворения) имелась Коллекция, а у Петра Антоновича не было за душой ничего, кроме этой несчастной тарелки, которую у него собирались отнять. Старик был измучен мыслями о неудавшейся жизни и страшно одинок. Семен Григорьевич тотчас же решил для себя: вот на это и надо бить. За надежду избавиться от проказы одиночества Петр Антонович отдаст все, не то что тарелку. Последнюю рубашку снимет и отдаст; впрочем, это еще вопрос, есть ли у него хотя бы одна целая рубашка.

Поэтому, не жалея растрчиваемого времени, Семен Григорьевич сидел в темной комнатухе и вел с

хозяином неторопливый разговор об искусстве («Да, ныне уже нет таких голосов, как прежде, хотя училищ и консерваторий пруд пруди. А что толку, на музыканта или певца выучить нельзя, талант, ба-тенька, нужен, талант, а он от бога!»). Под конец ввернул: хорошо бы им почаще встречаться, беседовать, а то ведь душу отвести не с кем. Старик радостно восторженно: «Это было бы замечательно!» — и предложил Семену Григорьевичу чай с вареньем. Гость с детства не терпел варенья, но виду не подал, наоборот, как бы даже обрадовался: «Никак вишневое? Самое мое любимое». И начисто выскреб предложенную хозяином розеточку с густым сладким варевом.

На прощание пригласил Петра Антоновича к себе: «Не чинитесь, заходите запросто, мы ведь не чужие, артисты, нам с вами есть о чем поговорить. Покажу свою коллекцию. Да, кстати, этой коллекции я и обязан нашему приятному знакомству. Говорят, у вас есть уникальная вещица, тарелка с арфисткой, так не уступите ли, разумеется, готов заплатить...»

Услышав о деньгах, Петр Антонович страшно засмутился. Ему неприятно стало, что его принимают за бедняка, человека нуждающегося, он забормотал что-то несусветное: мол, скромно живет лишь потому, что главное для него жизнь духа, а не тела. При этом ткнул рукой в сторону украшавших стену старых театральных афиш и книжного развала на подоконнике и быстро запахнул на груди свой халат, чтобы не видно было несвежей майки с прорехой, неловко стянутой через край ниткой.

Вскоре Петр Антонович навестил Лукошко в его квартире на старом Арбате. На нем был темно-синий бостоновый костюм (по нагрудному карману, расположенному не на левой стороне груди, как положено, а на правой, нетрудно было определить, что костюм перелицован). Лицо чисто выбрито, на подбородке косой порез.

Притихший Петр Антонович осматривал роскошную коллекцию, слушая пояснения гостеприимного хозяина:

— Двести лет назад эмиссары Екатерины Второй колесили по всей Европе, не торгуясь, выкладывали графам да князьям кожаные мешки с золотыми чер-

вонцами, отсылали в Петербург картины, фарфор, хрусталь, изделия из золота, серебра и бронзы. Все это вы можете узреть в Эрмитаже... Вы ведь там, конечно, не раз бывали, мой друг?

Петр Антонович поперхнулся:

— Да, да, разумеется... — и покраснел. Он был честен и сам понять не мог, как слетела с его уст эта ложь. В Эрмитаже он был всего лишь один раз и не запомнил ничего, кроме картины, с которой, повернувшись к нему всем телом, глядела на него, улыбаясь, нагая женщина. Женщина до удивления была похожа на учительницу, с которой он когда-то познакомился на гастролях...

А Семен Григорьевич тем временем рассказывал:

— Екатерина Вторая платила за произведения искусства золотом из царской казны. А то, что вы видите здесь, мой друг, все это оплачено медными грошами, заработанными честным трудом скромного музыканта.

Однако «заработано честным трудом», по-видимому, было немало.

Голосом, прерывавшимся от волнения и гордости, Лукошко перечислял свои сокровища:

— Ваза амфоровидная... с изображением Петра Великого. Фарфор. Ваза, как видите, позолочена, голубое крытье... Роспись завода Сафронова, первая половина XIX века... А вот это — исключительная ценность! Часы настольные, белого мрамора с золоченой бронзой. Французская фирма, конец XVIII века.

А потом Лукошко поил потрясенного гостя чаем.

— Только извините ради бога, варенья предложить не могу. Кончилось. Вот берите пастилку... Свежая, так и тает во рту.

О тарелке с изображением арфистки — ни слова.

Проводил до двери:

— Заходите на той неделе. Буду ждать. Для меня наши беседы — праздник.

Вскоре Петр Антонович появился снова. Под мышкой держал обернутый газетной бумагой сверток.

У Семена Григорьевича екнуло в груди. Тарелка! С трудом сдержал возглас разочарования, когда Петр Антонович извлек из бумаги банку вишневого

варенья, обязанного поверх горлышка белоснежной марлей.

Тогда Лукошко пошел, что называется, ва-банк. Во время разговора как бы невзначай обронил:

— Шестнадцатого день моего рождения. Не хотел отмечать, в нашем с вами возрасте это, знаете ли, невесело. Да вот сын настаивает. Будут самые близкие. Приходите, Петр Антонович.

Расчет Семена Григорьевича, как всегда, оказался верным. Петр Антонович подарил на день рождения драгоценную тарелку с изображением арфистки. Денег за свой подарок, конечно, не взял: «Что вы?! Что вы?! Не обижайте меня! Какие счета между друзьями!»

...Самое трудное было потом отвязаться от Петра Антоновича. Он забрал себе в голову, что Лукошко действительно ему друг, и еще долго надоедал своими визитами.

Благополучно завладев тарелкой, Семен Григорьевич восстановил в памяти мрачное предощущение неудачи, охватившее его при первом посещении строения № 13, и пожал плечами: вот и верь после этого дурным предчувствиям!

Итак, поначалу была одна тарелка с изображением арфистки, та, которую он выцыганил у Петра Антоновича. Потом появилась и вторая. А их лишь две в мире и было. Он это знал и искал вторую. Искал настойчиво. И нашел — не в антикварном магазине и не у коллекционеров, а где бы вы думали? У дирижера Валерия Яковлевича Смирницкого.

Семен Григорьевич едва не задохнулся от негодования. Кровь прилила к вискам, в голове застучало, грудь сдавило — не продохнуть. Он даже испугался — не случилось бы удара, попил сердечных капель, успокоился. Надо взглянуть правде в глаза: ему, Лукошко, Смирницкий ни за что тарелки не отдаст, он не отдал бы ему даже пустого спичечного коробка — не то что такой редкостной вещи. Снова придется ждать.

Сидя во время спектакля на своем месте, в оркестровой яме, Семен Григорьевич пристально вглядывался в подсвеченное снизу лицо дирижера с крупными, словно высеченными резцом скульптора чертами. Отметил: за последнее время Смирницкий

сдал, щеки ввалились, под глазами синева. В движениях рук нет былой силы и власти. Вспомнилось, что когда-то французский композитор Люлли, энергично дирижируя оркестром при помощи довольно увесистой палки, поранил себе ногу, и это явилось причиной его смерти.

«Чем черт не шутит, а вдруг...» — Семен Григорьевич ужаснулся мелькнувшей у него в голове мысли. Неужели он уже дошел до того, что способен желать смерти ближнему своему?

Это открытие было столь пугающе неожиданным, что Семен Григорьевич сбился, пропустил такт. И тотчас же вспыхнул до корней волос. Такого с ним еще не бывало. Какой позор! Шевельнулась слабая надежда: а вдруг Смирницкий не заметил? Какое там! Грозно удивленный взгляд дирижера метнулся в его сторону. Если бы это случилось на репетиции, то Смирницкий громко постучал бы дирижерской палочкой по пульта, призывая всех к тишине, и грозно изрек: «Оркестр — это особая страна! У каждого из ее граждан есть обязанности...» Но сейчас, во время спектакля, он вынужден был ограничиться суровым и неприязненным взглядом.

Лукошко с трудом подавил волнение и унял дрожь своей левой руки, которая давно уже потеряла свою гибкость, перестав быть необыкновенной.

Он ждал эту вторую тарелку долго. Говорил сыну о возможности обладания этой вещью как о чуде. Рассказывал об этом как о высшем благе, дарованном лишь немногим избранным. Одним из них он и надеялся стать, несмотря на то что человек, обладавший этим фарфоровым дивом, не отдавал его, не уступал ни за что.

— Поймите, Валерий Яковлевич... У меня же коллекция, — смирив гордыню, лепетал Лукошко.

— Коллекция — говорите вы? — холодно отвечал Смирницкий. — Есть только один вид ценностей, которые не только можно, а даже должно коллекционировать. Это — ценности духовные! — При этом Валерий Яковлевич указал рукой сначала на голову, потом на сердце. — Все же остальное должны коллекционировать му-зе-и!

Семен Григорьевич не мог не удивиться: по сути дела высказанная Смирницким мысль полностью совпадала с тем, что когда-то ему говорила жена Люба.

Семен Григорьевич сделал еще одну попытку. Умолял, соблазнял, интриговал — Смирницкий, посмеиваясь, говорил, что не отдаст тарелки за все золото мира. Мечта Лукошко оставалась недостижимой.

Тогда он набрался терпения. Говорил себе: люди умирают, а вещи остаются. Он умел ждать. Нетерпение в нем можно было заметить лишь в самые последние недели, когда Валерий Яковлевич, внезапно занедужив, среди ночи попал в больницу на операционный стол. Домой он уже не вернулся.

После смерти Валерия Яковлевича Лукошко навел справки. Выяснил: при жизни дирижер злата и серебра не накопил, жил довольно скромно. Вдове придется нелегко. Семен Григорьевич потирал руки: цель была близка.

Однако вдова, к которой он явился, от его денег, причем немалых, наотрез отказалась. Эта тарелка... Она с нею никогда не расстанется, даже речи быть не может. «Это — память о нем... о нашей любви».

Тогда Лукошко попросил отдать ему тарелку на время. Пусть поймет: он — коллекционер, для него знание о вещи важнее обладания ею. Он только сверит тарелку с каталогами, попытается определить, когда и кем она изготовлена. Через чьи руки прошла, прежде чем попала к Смирницким. Постарается выяснить, сколько подобных тарелок существует в мире. И после этого вернет ее сокровище. Слова Лукошко, а еще больше его интеллигентный, строгий вид ученого, исследователя, в образ которого он вошел, произвели на женщину должное впечатление. Она подошла к стеклянной горке, где была выставлена тарелка, достала ее, держа двумя руками, прижала к груди. На ресницах заблестели слезы. «Муж так любил эту вещицу... Он говорил, что арфистка напоминает ему... Впрочем, это не имеет значения. Берите! Вы сослуживец Валерия Яковлевича, столько лет работали с ним рядом, я вам не могу отказать».

Он обещал вернуть тарелку через неделю, но не вернул. Ни через неделю, ни через две... Он просто

не мог этого сделать. Это было бы выше его сил. Вдова звонила ему по телефону, — заслышав ее голос, он немедленно клал трубку. И стоял у аппарата с сильно бьющимся сердцем, удивляясь своей жестокости и одновременно оправдывая себя. «Тарелка ей не нужна, она нужна мне и моей коллекции», — твердил он.

Однажды вдова явилась к нему сама. Лукошко стоял в дверях, телом загородив вход в квартиру.

— Тарелки у меня нет, — сухо произнес он. — Я отдал ее на консультацию одному специалисту, а он... короче говоря, он оказался непорядочным человеком. Вот, он просил вам передать...

Лукошко протянул вдове Смирницкого пачку десятков. Она бросила деньги ему в лицо. И громко, с отчетливой ненавистью сказала:

— Я ведь чувствовала, ведь знала... Это вы... Вы... Будьте вы прокляты!

Она схватилась рукой за сердце, повернулась и стала медленно спускаться по лестнице.

Лукошко, не поднимая глаз, ползал по площадке, собирал разлетевшиеся деньги. Потом закрыл за собой дверь, вошел в прихожую. Увидел сына, Митю...

— Вот на что иду ради... — начал было Семен Григорьевич и замолк, не найдя продолжения.

Митя, стыдясь, отвел глаза в сторону.

— Зря ты это, отец, — глухо проговорил он.

И тут у Семена Григорьевича не выдержали нервы. Он шагнул вперед и резко ударил сына по щеке.

— Ты... ты... — губы его тряслись. — Ты смеешь меня осуждать?! Ну так знай: тебе ничего не достанется. Лучше отдам первому встречному!

Он выкрикивал эти злые, лишённые смысла фразы, с ненавистью глядя в мучнисто-белое, испуганное лицо Мити.

Нет, не таким Семен Григорьевич мечтал видеть своего сына, продолжателя рода, наследника. Насколько счастливее был старик Леопольд Моцарт, музыкант, давший жизнь музыканту Вольфгангу Моцарту, пошедшему отцовским путем и достигшему вершин! Семену Григорьевичу с сыном явно не повезло. Его отпрыск относился к тому несчастному типу людей, которые всего хотят, но ничего не могут. Конечно, Митя мечтает когда-нибудь, в будущем,

стать обладателем отцовской коллекции. Но толку от этого никакого не будет, не убережет, профинтит, разбазарит... А что делать? Кому отдать свое богатство? Других наследников у него нет.

Семен Григорьевич задышался от злобы и бесилия.

... На другой день после разыгравшейся на лестнице безобразной сцены он проснулся с ощущением не прошедшей за ночь усталости. Двигаться не хотелось. На душе было непривычно смутно, темно.

Он сделал то, чего не делал никогда: остался в постели и, пытаясь разобраться в своих ощущениях, начал перебирать, перетряхивать большие и малые события, которые произошли в его жизни с тех пор, как он потерял Любу.

Потерял... Пожалуй, впервые Семен Григорьевич так подумал о своей жене — «потерял». Даже тогда, после похорон, мысль о потере не приходила ему в голову. Может быть, потому, что Люба угасала медленно и долго и он успел привыкнуть, приучить себя к тому, что наступит время, когда ее не будет и он останется один.

Сначала у нее отказал голос. Это был такой удар! Тихая, молчаливая, покладистая, вполне заурядная женщина. А ведь в молодости у нее был отличный голос. Женитьба на Любе — пожалуй, первый и последний поступок в его жизни, к которому он не готовился долго и тщательно, а вдруг решил и сделал, как в холодную воду бросился.

Семен Григорьевич встретился со своей будущей женой на широких каменных ступенях филармонии в одном старом русском городе. Он, к тому времени уже вполне зрелый мужчина, известный столичный музыкант, прибыл сюда на гастроли. Робкая, то и дело вспыхивающая от смущения Люба приехала в областной центр поступать в местный хор. Все сладилось за неделю. Он увез ее в Москву, отпраздновал свадьбу.

Лукошко не ошибся в выборе. Жена оказалась женщиной покорной и тихой, ровно приветливой к людям, скромной в желаниях. Это ее последнее свойство не могло не радовать Семена Григорьевича.

Он слыл человеком расчетливым, а точнее говоря, скупердям. Злые языки говорили, что, утоляя жажду, Лукошко выпивал в театральном буфете полстакана боржоми, не больше, и требовал, чтобы с него брали половинную плату.

Разговоры о его жадности не могли не достигнуть слуха молодой жены. Семен Григорьевич знал об этом.

Вскоре после того как Люба родила сына, он посел к изголовью ее постели с фарфоровой фигуркой женщины, кормящей грудью ребенка, и прерывающимся от волнения голосом произнес:

— Вот посмотри, Любонька, что я тебе купил... Итальянская работа. Знаешь, сколько эта вещь стоит? Он назвал цену. Смех забулькал у него в горле.

— Пусть они, нежадные, попробуют купить себе такую вещь! Это тебе от меня. Пусть они, те... которые... Пусть они сделают такие подарки своим женам!

Теперь он смеялся беззвучно, тело его сотрясилось. Но неподвижной оставалась крепко зажатая в крепких, будто железных, ладонях — только бы не уронить! — драгоценная статуэтка.

Люба никогда не видела ничего подобного. Но и она не могла не оценить искусства мастера — бледно-розовые фарфоровые кружева были так тонки, что боязно было прикоснуться к ним пальцем.

Не выпуская бесценной ноши из рук, Семен Григорьевич вышел из спальни, по скрипучей деревянной лестнице поднялся на антресоли, чтобы спрятать статуэтку в шкаф. До нее донесся радостно-торжественный возглас:

— Это самое важное событие в моей жизни!

Непонятно было, что он имел в виду — рождение сына или приобретение статуэтки, положившей начало уникальной коллекции фарфора.

Хотя Люба родилась и выросла в деревне, на вольных просторах, в ней не было той силы и крепости, того бьющего через край здоровья, про обладательниц которого принято говорить: кровь с молоком. Часто хворала, причем какими-то непонятными хворями, которым и названья-то нет. Небольшая температура, слабость, головная боль. Работу в филармонии, куда устроил ее Лукошко, увы, пришлось оставить.

Постоянные хвори жены раздражали его, выводили из себя. Сам Семен Григорьевич отличался отменным здоровьем. По утрам занимался зарядкой, а в последнее время, когда это вошло в моду, стал бегать на большие расстояния. Строго соблюдал режим, питался по часам и поглощал только полезное, в меру калорийное, а то, что может пойти в жир, нещадно выбрасывал из своего рациона. Он говорил, что заботится о своем творческом долголетии. В молодости Семен Григорьевич действительно лелеял смелые творческие планы, требовавшие для своего осуществления немалого времени. Но потом творческие планы как-то незаметно сошли на нет, а забота о здоровье осталась.

И еще одно, кроме бесконечных хворей, раздражало его в жене — угадываемое им равнодушие к его Коллекции. Фарфоровая фигурка кормящей матери, которую он преподнес Любе по случаю рождения сына, — только она, пожалуй, и обрадовала ее когда-то. Все последующие приобретения вызывали у нее полуудивленную-полуиспуганную улыбку. «Где же ты это взял?! А деньги откуда?» — всплескивая руками и изображая на лице восхищение, восклицала она. Но он видел, чувствовал, что на самом деле Люба не только не восхищается его покупкой, а, наоборот, расстроена и испугана.

— Зачем это нам? — как-то раз робко спросила она. — Для жизни этого не нужно.

— То есть как не нужно? Ты только подумай: ни у кого нет, а у нас есть. Разве эта мысль тебе не приятна?

— Люди увидят, стыдно будет, — отвечала она.

— Да отчего стыдно-то? — горячился он. — Мы что, украли? Это все куплено на трудовые деньги. Или ты мне не веришь?

— Верю, — видимо, не желая его раздражать, отвечала жена, но твердости в ее голосе не было.

— Ты же ходишь в музей, смотришь, любишь, — он не терял надежды убедить ее. — Значит, тебе для чего-то это нужно?

— Ну так то в музее... А тут дома... — бормотала она и, потупившись, шла на кухню.

«Была деревенщина, деревенщиной и осталась, хотя и числилась артисткой...» — с раздражением

подумал Семен Григорьевич. Он мрачнел, замыкался в себе. Постепенно привык к мысли: никто не понимает его — ни жена, ни сын. Как же ему трудно!

Однажды представилась ему редкая возможность повернуть выгодную, хотя и не совсем безгрешную операцию, и тут вдруг перед его мысленным взором возникло круглое лицо жены с широко расставленными простодушными глазами, и... он отказался от выгодной сделки.

Отказался... Почему? Отчего? Непонятно. Вовсе не потому, что Люба будет расспрашивать, допытываться, откуда взялась новая вещичка. Нет. И слова не скажет. В чем же дело? Просто он взглянул на очередную махинацию ее глазами и отступился.

Была в ней — тихой, покорной женщине — нравственная сила, которую он не мог одолеть. На свое счастье! Но Лукошко этого не понимал. До поры до времени.

Семен Григорьевич сильно горевал, когда Люба умерла. Он по-своему любил ее. Она стала сниться ему. Он видел ее молодой, тихой и нежной, ощущал прохладу ее гладкой кожи, приятную тяжесть светлых шелковистых кос. Но стоило ему, сбросив оцепенение сна, вновь начать жить, и ночные видения отступали, а образ молодой Любы тускнел, рассеивался. Он вновь вспоминал ее такой, какой она была в последние годы — отяжелевшей, бледной, страдающей одышкой. После того как Люба ушла из филармонии (по нездоровью, да и разросшаяся коллекция нуждалась в присмотре и постоянной заботе), он пристроил ее натурщицей к знакомому художнику. Оказалось, что натурщицами могут быть не только молодые, в расцвете красоты, женщины, но и пожилые, и даже старухи. Эта работа не отнимала много времени. От неподвижного и долгого сидения в неудобной позе у Любы в ногах застаивалась кровь. Возвратившись домой, она, спустив чулки, начинала массировать свои ноги — неправдоподобно белые, как будто неживые.

...Перед глазами Семена Григорьевича возникла эта сцена: Люба с лицом, искаженным болью, массирует ноги, и он испытал острый укол совести. Если бы он не заставлял ее, больную, работать, может быть, она бы еще прожила.

Сегодня Лукошко впервые понял: смерть Любы — огромная, невосполнимая потеря!

Усилием воли Лукошко заставил себя встать с постели, сделать зарядку, принять душ. При этом старался не думать о разыгравшейся вчера безобразной сцене. Но не думать было нельзя. Конечно, вдова раззвонит о случившемся по всему оркестру. Семену Григорьевичу будет трудно работать на старом месте... «Плевать! — подумал он. — Перейду в другой театр, и все. Такого скрипача с руками оторвут».

Он взял в руки скрипку, чувствуя потребность доказать самому себе, что еще может и еще как может! Исполнил менуэт, который легкомысленный Моцарт написал когда-то для нищего музыканта. За этот менуэт нищий впоследствии содрал немалый гонорар с издателя моцартовских произведений. Семен Григорьевич не осуждал его: нельзя упускать своего шанса.

Он хотел продолжить свои музыкальные занятия, но раздался звонок в дверь. То была соседка Изольда. Она успела уложить в парикмахерской недавно окрашенные, ярко-рыжие волосы и теперь показала Семену Григорьевичу помолодевшей и привлекательной. «Пожалуй, ей еще нет пятидесяти. Сорок пять — сорок семь — не больше», — подумал он, оглядывая плотную фигуру соседки.

— Получите письмо, — сказала Изольда. — Взяла у почтальонши, чтобы вам зря не спускаться вниз.

Голос ее звучал мягко, участливо.

— Заходите вечером, — неожиданно для самого себя проговорил Семен Григорьевич и смущенно кашлянул. — Посидим, кофе выпьем. Я вам что-нибудь сыграю...

Она залилась краской, как девушка:

— Ну раз вы просите... Может быть, ненадолго загляну.

— Буду рад.

И тотчас же перед его мысленным взором всплыла та вчерашняя сцена. Он стоял здесь, в передней, а за тонкой деревянной перегородкой на лестничной площадке стояла она, вдова дирижера Смирницкого. Семен Григорьевич будто снова ощутил, как лучи ненависти проникают сквозь дверь и жгут его.

— Плохо... Гадко, — сказал он вслух. И подумал:

при Любе этого быть не могло. Ему нужен человек, который мог бы сдерживать его. Изольда? Она женщина неплохая, добрая.

Держа в руках врученный соседкой конверт. Семен Григорьевич подошел к окну, надорвал плотную бумагу. Письмо, казалось, было написано малым ребенком. Буквы огромные, прыгающие, строчки в конце бегут под уклон. Он с трудом разобрал каракули:

«Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!

Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, — и ты достанешься им на расхищение?»

Подписи не было. Но Семен Григорьевич догадался: должно быть, писал старый, вконец обезумевший от одиночества Петр Антонович. В последнее время Лукошко упорно избегал старика. Разглядев в дверной глазок его взволнованную бритую физиономию с покрасневшим от холодного весеннего ветра носом-бульбочкой, он на цыпочках отходил от двери, затаиваясь в глубине квартиры. А то и вовсе ускользал, воспользовавшись таким способом: отодвигал на балконе крышку пожарного люка, спускался по железной лесенке на нижний «общественный» балкон, с него проникал на черную лестницу — и был таков.

И вот теперь, видимо, догадавшийся об его ухищрениях Петр Антонович грозил ему всяческими бедами.

Семену Григорьевичу вдруг вспомнилось, как полгода назад он в первый раз оказался в сумрачном каменном колодце, перед строением № 13, где проживал бывший певец. Что-то тогда случилось с ним: ноги вдруг налились свинцовой тяжестью, сердце сдавила тоска, он чуть назад не повернул, впервые в жизни поверив дурному предчувствию. Но взял себя в руки. И правильно сделал. Все закончилось куда как хорошо. Удалось завладеть драгоценной тарелкой, а теперь и вторая в его руках. Подумав об этом, Семен Григорьевич пытался вызвать в себе чувство удовлетворения. Не получилось.

Его бил озноб. Крупная капля пота скатилась меж лопаток, неприятно холодя кожу.

ДОМ НА СТАРОМ АРБАТЕ

Дом, в котором жил погибший ужасной смертью Лукошко, стоит на улице, которую в Москве знают все. Причем славится она не каким-нибудь одним зданием, памятником или музеем. Нет, вся она, от начала до конца, — памятник, музей, заповедная зона. Коноплев вычитал это в какой-то статье и запомнил навсегда. По своей привычке — уж если проявлять к чему-нибудь интерес, то всерьез — он просмотрел многое из того, что было написано об Арбате. И теперь знал, что «Арбат» — слово арабское, означает «пригороды». Оказывается, в XIV—XVI веках так именовалась вся местность от Кремля до Садового кольца. А позже Арбатом еще долго называли нынешнюю улицу Калинина, хотя особым указом царь Алексей Михайлович нарек ее Смоленской. Однако указ указом, а привычка привычкой.

13 октября 1729 года здесь, на Арбате, родился Суворов. А в доме № 53 после женитьбы жил Пушкин. Накануне свадьбы он устроил в этом доме мальчишник, на котором были Денис Давыдов, Языков, Баратынский и Вяземский...

И прежде на Арбате было много лавок. А сейчас, это Коноплев подсчитал сам, на 850 метров улицы — почти сто магазинов и мастерских. Уже в советское время на Арбате появилось здание Театра имени Евг. Вахтангова, вырос красивый многоэтажный дом, где среди прочих проживали потомки А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. А также был построен дом № 2, в котором разместился знаменитый ресторан «Прага».

Было в истории Арбата и нечто такое, что могло бы вызвать, так сказать, профессиональный интерес Коноплева. Например, в доме с колоннами, принадлежавшем князю Оболенскому, по ночам являлись привидения, из-за чего здесь долгое время никто не хотел жить. Однако позже выяснилось, что в подвале дома поселились не привидения, а грабители и воры, которые нарочно пугали жильцов, чтобы те убрались восвояси и не мешали.

Стоило Николаю Ивановичу вступить на камни этой улицы, где и он жил когда-то, и она всецело овладевала его мыслями. Но сегодня ему было не до

того. Он промчался по Арбату на казенном ярко-желтом с синей полосой «Москвиче», не видя перед собой ничего, кроме серого, в трещинах и выбоинах полотна асфальта, и не думая ни о чем, кроме работы.

Почему же все-таки Ерохин обратился к руководству с просьбой именно ему, Коноплеву, поручить розыск убийцы (или убийц) старика Лукошко? Коноплеву стало плохо в самом начале важной работы — осмотра выловленного из реки трупа, и он мало что сумел тогда уяснить и запомнить. Кроме того, его неожиданное недомогание и последовавший вслед за этим отъезд с места происшествия вызвали у следователя явное неудовольствие. Почему же он теперь вдруг отказывается от услуг инспектора Сомова и требует его, Коноплева?

Верный своей привычке обо всем говорить начистоту, Николай Иванович задал этот вопрос Ерохину. И добавил:

— Не понимаю вас... Сомов исполнительен, настойчив в достижении цели... Если надо, гору свернет...

Ерохин прищурился:

— Вы хотите сказать, что у нас с ним много общего? Возможно. Но именно это меня и не устраивает... Я предпочитаю, чтобы люди, с которыми я работаю, умели что-то такое, чего не умею я сам. А иначе — зачем они мне нужны?

«А он не так прост, как кажется», — подумал Коноплев и принялся за дело.

Прежде всего изучил акт медицинской экспертизы:

«Ясно просматривается кровоподтек на передней поверхности шеи слева, ушибленно-рваные раны головы с кровоизлиянием в мягкие покровы...» Нет, смерть Лукошко наступила не от этого. Вот: «...Проникающе колото-резаное ранение грудной клетки». Видимо, на старика напали сзади, оглушили, а потом нанесли решающий удар. В этот момент он сидел или стоял? Судя по характеру ударов, сидел...

При внимательном осмотре у покойного было обнаружено утолщение на левой щеке... Нечто вроде мозоли. Это позволило инспектору Сомову предположить, что убитый был скрипачем. Так оно и оказалось. Сомов дотошен и сообразителен, ничего не

скажешь. Что же в нем не нравится ему, Коноплеву? Нахрапистость, что ли? Впрочем, и она иногда бывает полезна...

Так, а что говорит НТО? Коноплев внимательно прочитал другой акт, под которым стояла подпись эксперта Подгорцева. Любопытно. К пиджаку покойного прилипло несколько зеленых ворсинок от обивочной мебельной ткани. Ткань импортного производства и, по-видимому, новая, поскольку ворс еще не вытерся. Это уже кое-что.

Установив личность убитого, Сомов тотчас же поехал к нему на квартиру, где обнаружил мебель, обитую зеленой тканью. Его ждало разочарование. Ткань была другая... Еще с прошлого века.

«Ну, конечно, — размышлял Коноплев, — это было бы слишком просто — обнаружить на квартире Лукошко следы убийства. Так не бывает. Вернее, бывает, но редко. Придется нам с вами поработать, товарищ Сомов».

Неожиданно для себя Николай Иванович принял решение не отстранять капитана от расследования, а включить в свою группу. Может быть, сказался урок, полученный у следователя Ерохина? Работать интереснее с людьми, обладающими свойствами, которых нет у нас самих. Хотя это и не всегда бывает приятным... Что поделаешь: дружба дружбой, а служба службой.

Коноплев снова погрузился в чтение акта. Труп Лукошко был тщательно упакован в брезентовый, а затем в целлофановый мешок... И обвязан веревкой... Один из концов ее был обрезан, другой — перетерт. Узлы на веревке, как утверждает Подгорцев, завязаны альпинистским способом. Ему можно верить: сам альпинист. Брезент — отечественного производства, из которого, кстати, делают альпинистские палатки. Целлофан — импортный, используется для упаковки мебельных гарнитуров.

Что ж, данных не так уж мало, есть над чем поразмыслить.

Но их — этих данных — было бы еще больше, если бы неожиданный приступ не помешал Коноплеву самому принять участие в осмотре. Теперь приходится выкручиваться, по крохам собирать недостающие сведения. В последние дни Николай Иванович

лично встретился почти со всеми участниками оперативной группы, выезжавшей на Крымскую набережную. Его интересовало то, что не вошло, да и не могло войти в протокол: догадки, подозрения, мимолетные мысли, даже домыслы!

Как ни странно, наиболее смелую гипотезу высказал человек, не имевший непосредственного отношения к следствию. Молодой участковый лейтенант Тихонов.

— Под веревкой, которой был перевязан тюк, был обнаружен обрывок другого куска целлофана, — возбужденно блестя голубыми глазами, проговорил он.

— Ну да, в акте экспертизы об этом говорится. Подгорцев, это наш эксперт НТО, высказывает предположение, что к тюку был привязан груз, который и удерживал его на дне... — заметил Коноплев.

— А если то был второй труп?

— Вы думаете, лейтенант, что трупов было два?

— А почему бы и нет?

Коноплев с интересом взглянул на сидевшего перед ним голубоглазого участкового.

— Вы правы — почему бы и нет. У брезента одна половина оторвана... Вполне может быть, что его разорвали пополам, чтобы хватило на две упаковки. Но это — из области предположения. А на одних предположениях далеко не уедешь. Во всяком случае, буду благодарен за любую помощь, которую вы мне сможете оказать...

Тихонов встал с места, но не уходил, медлил.

— Вы хотите еще что-то сказать?

Вспыхнув, словно красна девица, и опустив глаза долу, молодой лейтенант переминался с ноги на ногу.

— Смелее! Ну...

Тихонов с трудом выдавил:

— Товарищ подполковник... Насчет работы.

Коноплев удивился:

— Насчет работы? Да вы же, кажется, не безработный... Разве работа участкового вам не нравится?

Тихонов ответил с неожиданной прямоотой:

— Нет, не нравится. Да я временно... Замещаю капитана Денисова. Он в больнице.

Коноплев со все усиливающимся чувством симпатии смотрел на стоявшего перед ним лейтенанта. Конечно, работа участкового — не для него. Парень, должно быть, спит и видит бандитов с оружием в руках ловить, а его заставляют квартирные склоки разбирать да гонять пьяниц в подъездах...

— Попробуем что-нибудь придумать, лейтенант. А пока ступайте. Отыскивайте второй труп.

В голосе Коноплева звучала насмешка, но не злая, скорее, дружеская.

Весь тот долгий срок (почти полтора месяца), который выздоравливающий Николай Иванович провел на подмосковной даче, Сомов занимался тем, что допрашивал людей, знавших скрипача и коллекционера Лукошко. Через его кабинет прошло более ста человек.

Листая протоколы, Николай Иванович еще раз убеждался, как мало дает допрос, когда он ведется без ясно намеченной цели, без продуманного плана. Впрочем, кое-что полезное все-таки удалось извлечь. Яснее становилось, что за личность был покойный Лукошко, вернее, каким он представлялся окружавшим его людям.

Вот показания Нины, жены Мити, сына Лукошко:

— Когда я вышла замуж за Митю, мне захотелось сделать что-нибудь приятное Семену Григорьевичу. У меня была картина, оставшаяся еще от родителей. Я подарила ее свекру. Он при нас, при мне и при Мите, повесил ее на стену. Но когда через некоторое время мы пришли к нему, картины на стене не было. Я поинтересовалась у Семена Григорьевича, где же она. Он сухо ответил, что картина большой ценности не представляла и он продал ее через комиссионный магазин. Это меня возмутило: так поступить с подарком! Я наговорила ему грубостей. После этого старалась как можно реже бывать на старом Арбате. Митя тяжело переживал мой разрыв с отцом, но я, как ни старалась, ничего не могла с собой поделать, этот человек был мне неприятен. По той же причине отказалась переехать на старый Арбат. Мы остались с мужем в моей малогабаритной

однокомнатной квартире, хотя нам было там довольно тесно...

Максим Максимович Дуганов, коллега Лукошко:

— Лукошко был человеком очень замкнутым, скрытным. Мы с ним просидели в оркестре рядом, бок о бок почти десяток лет. И все равно я знал о нем очень мало. Он не любил тратить деньги, сквалыжничал. Однажды мы в составе одной бригады выехали на концерты в Поволжье. В каждом городе он бегал по антикварным магазинам, покупал какие-то вещи. Только тут я понял, что он человек материально обеспеченный, деньги у него водятся, но он их тратит исключительно для пополнения своей коллекции.

Пенсионерка Мария Ивановна Шаповал:

— Лукошко несколько раз бывал у меня дома, дарил коробки с мармеладом. Говорил, что достает их в театральном буфете и что мармелад очень вкусный. Я в мармеладе ничего особенного не находила, мармелад как мармелад. Думаю, он дарил мне его потому, что в отличие от шоколадных наборов мармелад дешево стоил. Я думала, что интересую его как женщина, но однажды он сделал мне предложение продать ему антикварную тумбочку, что стоит у меня в спальне. Мне неловко было ему отказывать, я согласилась, попросив его самого назвать цену. Он пообещал уплатить мне 250 рублей. Тотчас же достал из кармана, как он выразился, залог — 50 рублей. Вытащил из тумбочки ящички с фарфоровыми медальонами и унес. Через час принес еще 200 рублей и унес тумбочку. Позже я узнала, что моя тумбочка стоит не меньше тысячи рублей и что Лукошко, воспользовавшись моим неведением, просто надул меня. Я позвонила ему и потребовала вернуть тумбочку. Он отказался. Сказал, что я могу обратиться в народный суд, однако из этого ничего не выйдет. Тогда я пошла к нему вместе с подругой. Он дал еще 50 рублей. Я отказалась взять их. Тогда он добавил тридцатку и потребовал, чтобы я написала расписку. Я написала. После этого с Лукошко никогда не виделась.

Анна Владиславовна Титова, продавщица комиссионного магазина:

— Лукошко я хорошо знаю как коллекционера. Он часто бывал у нас в магазине, присматривал и

приобретал антикварные вещи. Меня он просил звонить ему, если появится хороший фарфор. Я ему звонила, за это он снабжал меня билетами в музыкальный театр. Билеты были бесплатные.

Вечером, возвращаясь с работы, Коноплев вернулся в дом, где жил покойный Лукошко. Поразмыслив, нажал на кнопку звонка у двери напротив квартиры коллекционера.

— Что вам угодно?

Перед ним стояла перезревшая дама в засаленном капоте из пестрой фланели. Волосы ее были неестественного красного оттенка (красится хной, определил он), у корней проступала седина.

— Подполковник Коноплев, — представился он.

Увидев перед собой высокого, представительного мужчину, дама придала своему одрябшему, жирно намазанному кремом лицу умильное выражение:

— Меня зовут Изольда Аркадьевна. Впрочем, мы знакомы. Вы ведь прежде жили тут недалеко.

Да, люди, живущие по соседству, подумал Николай Иванович, встречаются на лестнице, в лифте, в ЖЭКе, в булочной напротив. В зависимости от настроения обмениваются полупоклонами или, отвернувшись, проходят мимо. Знают друг друга в лицо, даже обмениваются, когда случается что-либо из ряда вон выходящее, информацией, горячо обсуждают местные новости. Но что они всерьез знают друг о друге? Пожалуй, ничего.

— Я хочу поговорить с вами насчет покойного Лукошко... Он был вашим соседом.

Лицо дамы изменилось: покраснели глаза, набрякли мешочки под ними, губы приняли плаксивое выражение.

— Что творится! Что творится! Посреди бела дня... И в воду...

Она прошла в комнату и плюхнулась на обшарпанный диван, как будто ноги отказывались держать ее тело.

— Он погиб, потому что был один! Сколько раз я ему говорила: вам нужен друг, надежный друг, который... который... — она всхлипнула и закрыла лицо отворотом халата.

— Вы хорошо знали его? — Коноплев осторожно выбирал слова.

— Да, для меня он был больше чем другом, — всхлипнула женщина.

— Что он собой представлял... как человек?

— Он был мужчина! Этим все сказано!

— Я не совсем понимаю...

— Я хочу сказать, что главное место в его жизни, как у большинства мужчин, занимало дело, его коллекция... А все остальное: семья, дети, женщины были постольку поскольку. В этом была его ошибка! В жизни главное — дружба, любовь, он этого не понимал. И вот результат...

Она снова собралась плакать. Коноплев поспешил с вопросом:

— Вы часто встречались?

— Раньше часто. По вечерам, когда он был свободен, вместе пили у него кофе. Он говорил, что любит кофе в зернах моего помола, и я приносила кофе с собой.

— Ходили в гости со своим кофе? — удивился Коноплев.

Она кивнула. Сделав усилие, сказала:

— Да, он был расчетлив. Но под влиянием любящей души мог стать совсем другим. Совсем другим.

— Вы сказали, что в последнее время встречались с ним реже...

— Я так сказала? Что скрывать: верность и постоянство не относились к числу его достоинств. У него появились другие особы, которые...

У Николая Ивановича было такое чувство, словно речь шла не о шестидесятилетнем Лукошко, а о каком-то другом человеке, более молодом и привлекательном.

— Под другими особами вы подразумеваете женщин?

Вместо ответа она всхлипнула.

— Вы можете кого-нибудь назвать конкретно? Имя, фамилия, место жительства или работы...

Она отрицательно покачала головой.

— Он пользовался у слабого пола успехом?

— Семен Григорьевич любил говорить, что перед его коллекцией не устоит ни одна красивая

женщина. А между тем были люди, которые любили этого человека не ради его сокровищ, а ради него самого!

Губы у нее задрожали, по лицу пошли красные пятна, казалось, у нее началась крапивница.

Коноплев стал прощаться.

Когда Николай Иванович пришел домой, жена его сидела за туалетным столиком и колдовала над своим лицом. Она ведь оперная актриса, сам бог велел ей заботиться о своей внешности.

— Ждала, хотела вместе поужинать, а тебя все нет и нет, — с осуждением сказала она.

— Раньше не мог. Знакомился с показаниями свидетелей по делу Лукошко.

Танюша всплеснула руками:

— Какой ужас! Бедный, бедный!

Прикусила губу, помолчала.

— Ты знаешь, Коля, он был не такой, как все. Я всегда терялась в его присутствии. Он смотрел как бы сквозь тебя... Такое было ощущение, что люди его вовсе не интересуют. Ты знаешь, в театре любят посудачить друг о друге...

— Не только в театре...

— Всех все интересует: кому жена изменила, кто горько запил или выиграл машину по лотерейному билету. А он как услышит, тотчас повернется и уйдет. Лицо, как утюг, сверху широкое, книзу острое, сам сухонький, крепенький... Мог жить до ста лет. Но почему-то у меня было предчувствие, что он плохо кончит.

— А почему, Танюша? — с интересом спросил Коноплев. Сам того не сознавая, он и родную жену готов был допрашивать как свидетеля.

Однако она тотчас же почувствовала это и прервала разговор.

Николай Иванович задумался.

Люди многое поведали о том, как жил старик Лукошко. Но никто не знал, при каких обстоятельствах он умер. Пожалуй, больше могут рассказать о последних месяцах и днях старика принадлежавшие ему вещи, коллекция. Ради нее он жл. Из-за нее, скорее всего, и умер.

И вот Коноплев вместе с Сомовым ехал на квартиру покойного Лукошко. Как только уселись в «Москвич», капитан тотчас же прилип к окошку, словно приезжий экскурсант, жадно всматривающийся в лицо незнакомого города, в картины его кипучей и шумной жизни. Такой повышенный интерес Сомова к тому, что происходило за стеклами машины, объяснялся очень просто — его терзала обида: по требованию прокуратуры расследование по делу об убийстве Лукошко, которое сначала было поручено ему, только что передано (и он сам вместе с ним) Коноплеву.

Что касается Николая Ивановича, то он на поведение коллеги никак не реагировал. «Ну и дуйся, раз ты такой обидчивый», — подумал он в первую минуту и больше уже не обращал на Сомова никакого внимания.

Молча они вышли из машины, молча вошли в подъезд и затем — в уютную деревянную кабину старинного лифта.

В присутствии понятых, ожидавших их на лестничной площадке, — главного инженера ЖЭКа и соседки из квартиры напротив — они открыли дверь.

— Проходите, товарищи, присаживайтесь. Работа предстоит долгая! — сказал понятым Коноплев.

Квартира была пустая, мертвая и все-таки — она говорила! На разные голоса она рассказывала о жизни тех, кто здесь жил когда-то. В глаза Коноплеву бросилось вопиющее несоответствие между заполнявшими большие комнаты рокошными, видимо, не служившими для жизни предметами коллекции и мелкими, жалкими вещами, которыми ежедневно пользовался ее владелец. Тапки со стоптанными задниками и вывороченной наверх стелькой, стоявшие в передней под вешалкой... Битая, в трещинах и выбоинах посуда на вспучившейся от воды клеенке кухонного стола... Засаленный халат, брошенный на спинку кресла... На незастеленной тахте — подушка с... рукавами. Видимо, чистой наволочки не нашлось и на подушку напялили старую рубашку. Разрыв между богатством и бедностью был столь очевиден, столь велик, что невольно наводил на мысль о ненормальности протекавшей в этих комнатах жизни.

О ненормальной жизни, увенчанной столь же ненормальной смертью.

Коноплев искал между ними связь — между жизнью и смертью, но не находил. Такое было впечатление, что дорогие старинные вещи, которые громоздились вокруг, были в заговоре с бывшим хозяином квартиры и за долгие годы совместного существования научились у него умению хранить тайны.

— Скажите, Сомов, как вы себя чувствуете в этой квартире... среди этой роскоши?

Тот пожал плечами:

— Как чувствую? Нормально.

Коноплев улыбнулся.

— Нормально? А я нет. Достаньте-ка из своей красивой папки опись коллекции, почитайте вслух, если вам не трудно.

Сомов достал из папки бумаги и начал читать:

— Комодик с эмалью французской работы XVIII века, круглый столик с крышкой из оникса, горка круглая, первая четверть XIX века, диван красного дерева, первая треть XIX века, итальянец с итальянкой, картина первой половины XIX века, портрет мадам Рекамье, начало XIX века, портрет мужчины в профиль, миниатюра на дереве, работы французского мастера, фарфоровая фигурка Амура с сердцем, ваза амфоровидная с изображением Петра Великого, Польша и Виргиния, группа из фарфора...

— У вас, товарищ, дома случайно нет группы из фарфора под названием «Польша и Виргиния»? — поинтересовался Коноплев у главного инженера ЖЭКа.

— Нету, — отвечал он.

— И у меня нет, — как бы с сожалением проговорил Николай Иванович. — А вот у Лукошко была. Между тем хозяин этой квартиры зарабатывал немногим больше, чем мы с вами... Вопрос — откуда все это взялось?

— Может быть, наследство? — неуверенно высказала предположение соседка.

— Исключено! Согласно достоверным данным, все это нажито самим Лукошко. Как нажито? Ну, прежде всего путем строжайшей скупости, экономии, самоограничения; говорят, он отказывал себе во всем. Моя жена, которая долгие годы работала с ним в одном театре, рассказывала: последние

двадцать лет Лукошко ходил в одном и том же костюме. Однажды, во время зарубежных гастролей, на приеме она обратила внимание на то, что он ничего не ест. Хотя стол был богатейший. После приема жена поинтересовалась у Лукошко, в чем причина такого воздержания. Оказывается, он ничего не ел из боязни, что за съеденное придется платить. Когда он узнал, что его воздержание было напрасным, поскольку угощение ничего не стоило, — поверите ли, слезы брызнули у него из глаз! Но на одной экономии далеко не уедешь... Ему, должно быть, приходилось хитрить, изворачиваться, чтобы покупать задешево то, что стоило дорого. Вот вы, Сомов, говорите, будто чувствуете себя среди всех этих вещей нормально... А меня оторопь берет, когда я представляю себе, с какой яростной страстью наживал Лукошко свою великолепную коллекцию...

— Это все лирика, — мрачно проговорил Сомов. — Мы только зря теряем время.

— Ну, положим, это не совсем так, однако не будем спорить. Все, товарищи! Больше вас не задерживаем. Распишитесь вот здесь. Спасибо. Всего доброго.

Вернувшись в управление, Коноплев пригласил Сомова к себе.

— Хотите, капитан, я вам скажу, что вы искали в квартире Лукошко во время первого осмотра? Следов крови на кресле с зеленой обивкой... Так?

— Их не обнаружили, — буркнул Сомов.

— Ну да... Этого следовало ожидать. Чтобы исследовать обивочную ткань, вы вырвали клоч на довольно-таки заметном месте, это нехорошо. Тем более что вся ваша возня с креслом была излишней. Вы в нем сидели, помните, какая у него высокая спинка? Если бы я, скажем, захотел незаметно нанести вам удар, Сомов, то дождался бы, пока вы встанете с кресла. Характер же ранений на трупе свидетельствует, что нападение было совершено, когда Лукошко сидел.

— Мало ли что...

Коноплев посмотрел на Сомова с жалостью:

— Разве вы не знаете, что криминалистика обязана изучать явления в их причинной связи с другими явлениями?

— Это все прописные истины. — Сомов налился темно-бурой краской.

— Ну хорошо, — Коноплев поспешил перевести разговор в другое русло. — Насколько я знаю, обнаружить на квартире целлофан, брезент и веревки, подобные тем, которые использовались при упаковке трупа, не удалось?

— Нет.

— Вы зачем-то изъяли большой кухонный нож с деревянной ручкой?

— Им вполне могло быть совершено убийство...

— Однако никаких следов крови — я имею в виду человеческую кровь — экспертиза не обнаружила.

— Нет.

— Значит, ножичек придется вернуть. Итак, к каким выводам вы пришли, если не секрет?

— Убийство совершено в другом месте.

— Верно! А с какой целью?

— Товарищи Ворожеев и Ерохин полагают, что с целью ограбления.

— А вы? Что думаете лично вы?

Сомов пожал плечами, как будто это было абсурдным — ожидать, что у него может быть мнение, отличное от мнения начальства.

— Какая сумма могла быть у Лукошко в момент убийства?

— По свидетельству сына, могло быть тысячи полторы-две. Иногда Лукошко совершал довольно-таки дорогие покупки, расплачивался наличными.

— Две тысячи? Что ж, сумма вполне солидная. Но две тысячи — это много по отношению к нашей с вами зарплате. А вот в сравнении с ценностью коллекции это мизер...

— Но Лукошко не носил коллекцию с собой в кармане, — заметил Сомов.

— Вы начинаете проявлять юмор, это мне нравится. Вы вообще мне нравитесь. У вас много достоинств, а недостаток, пожалуй, только один. Вы очень обидчивы и не любите признавать свои ошибки. Я, честно говоря, тоже не люблю, но заставляю себя.

— Мотивы преступления в общем виде нетрудно себе представить. Лукошко был человеком богатым. Коллекция полмиллиона стоит, — проговорил Сомов.

— Но ведь коллекция цела-целехонька! И теперь

переходит к сыну. Кстати, Лукошко-младший, в отличие от своего отца, скупердя и жулика, кажется, вполне достойная личность. Я слышал, что он талантливый математик. А как вы знаете, редко бывает, чтобы хороший человек убил плохого. Чаще наоборот. А теперь, капитан, получите задание. По нескольким зеленым ворсинкам, обнаруженным экспертами на пиджаке Лукошко, вам предстоит установить: название мебельного гарнитура, страну, в которой он произведен, магазины, в которых подобного рода мебель продавалась, и — при благоприятных условиях — выявить лица, которые эти гарнитуры приобрели.

Сомову в этих словах почудился подвох. Это было видно по встревоженному выражению его лица. Даст ему Коноплев невыполнимое поручение, а потом развонит на все управление: ни на что, мол, не способен этот Сомов. Простейшее дело не смог сделать.

«Вот беда, парень не только обидчив, он еще и мнителен к тому ж...»

— Вам это задание кажется невыполнимым? — мягко спросил его подполковник. — Напрасно, капитан. Ворсинки бывают только на новой мебели, которая еще не успела вытереться. Это сильно сужает размеры поиска во времени. Ограничьтесь двумя месяцами, предшествовавшими пропаже Лукошко, — февралем, мартом... Импортная мебель, как правило, в магазины поступает довольно редко и небольшими партиями. Это тоже облегчает нашу задачу. Дальше. Сейчас мебельные магазины специализированы на продаже определенных видов мебели. Такая мебель продается по открыткам, ведется регистрация, в книгах зафиксированы фамилии и адреса всех покупателей. Некоторых мы сразу можем исключить из списка, я имею в виду людей безупречных. Остается не так уж много, как видите.

Сомов оттаивал на глазах. Он уже был готов сорваться с места и немедленно выполнять задание. В том, что это он сделает на совесть, Коноплев не сомневался.

На другой день после работы, прежде чем отправиться домой, Николай Иванович снова завернул на

старый Арбат. Ему захотелось еще раз побеседовать с соседкой Лукошко — Изольдой... Может быть, сегодня она разоткровенничается и скажет, что имела в виду, когда говорила об успехах Лукошко у «других особ»?

Однако в этот вечер встретиться с Изольдой ему было не суждено... Подходя к дому, Коноплев бросил взгляд на окна пятого этажа, где была квартира Лукошко, и вздрогнул: ему показалось, что луч фонаря изнутри скользнул по темным окнам и погас.

Коноплев рванулся вперед, взлетел на пятый этаж. Приник к двери. И не поверил своим ушам: из квартиры лилась тихая музыка. Кто-то играл на скрипке. А ведь вчера они с Сомовым, покидая квартиру, тщательно заперли ее и снова наложили печать. Она не тронута. Кто же мог там играть? Ведь не покойный же скрипач Лукошко!

Вдруг его осенило: радио! Они забыли выключить. Все понятно. А откуда взялся в квартире свет? Коноплев решил еще раз спуститься вниз и взглянуть на окна. Однако ничего подозрительного обнаружить не удалось. Должно быть, то был отсвет фар проехавшей мимо автомашины.

Он снова двинулся к подъезду. И наткнулся на Бориса Никифоровича Зайца. Вид его удивил Коноплева. Обычно одетый с иголки, на этот раз историк облачен был в бесформенную размахайку, на голове — невзрачная кепочка.

— Что вы тут делаете? — спросил Коноплев немного резче, чем ему хотелось.

В свете фонаря, висевшего над подъездом, лицо Бориса Никифоровича выглядело бледным.

— Что я здесь делаю? — повторил он.

— Именно.

— Так же, как и вы, люблюсь на окно квартиры Лукошко.

— Я это делаю по долгу службы. А вы? И вообще, откуда вы о нем знаете?

— Видите ли, я был знаком со старым Лукошко. Я ведь тоже в некоторой степени коллекционер... И сына его знаю. Между прочим, он обладает удивительными математическими способностями. О Вольфе Мессинге помните? Так вот, он ему не уступает.

— И все-таки, что вас привело к этому дому в столь поздний час?

— А что, если я решил провести самостоятельное расследование?

— А если всерьез?

— Если всерьез, то просто шел мимо. Остановился, чтобы взглянуть на окна квартиры Лукошко. Этот человек, я имею в виду старика, был прелюбопытный тип. Он отдал свою душу вещам, они стали компонентами его жизни, полноправными участниками его деяний. Не думайте, что эти вещи неподвижны и мертвы. Нет, они способны перемещаться во времени и пространстве. Думаю, эти перемещения смогут опытному человеку многое сказать о своем хозяине и постигшей его судьбе...

«А ведь я и сам так думаю», — пронеслось в мозгу у Коноплева.

Рассуждая, Заяц взмахнул рукой, полы накидки распахнулись, обнаружился зажатый под мышкой сверток.

— Вы случаем не в баню ли собрались?

— Вы имеете в виду вот это? Нет, здесь не березовый веник. Это подарок одной женщины. Я же сказал вам, что иду из гостей. Но демонстрировать вам свое добро не буду. У вас ведь нет ордера на обыск?

— Нет, — шутливо развел руками Коноплев. — Да, кстати. Вы случайно ничего необычного не заметили, когда наблюдали за окнами квартиры Лукошко?

Неожиданно для Николая Ивановича Заяц ответил:

— Заметил. Мне показалось, там мелькнул свет. Я подумал, что это отсвет фар проезжавшей мимо автомашины... Пока.

И, прервав свою речь, круто повернулся и шмыгнул в переулок. Вскоре оттуда донесся шум работающего мотора «Волги».

ТЕОРИЯ БЕЛЫХ НОСКОВ

...Детство Мити прошло в мире старинных и ценных вещей. В углу просторной залы стояли павловские диван и два стула. На стене — зеркало в золоче-

ной овальной раме (французская работа, XVIII век). Под зеркалом — комодик, относящийся к тому же времени, что и зеркало. Да мало ли что было в этой квартире, всего не перечислишь! Но вот старинного фарфора Семен Григорьевич до рождения сына не собирал... «Мать, кормящая ребенка» было его первым приобретением подобного рода. И притом чрезвычайно выгоднейшим!

Вслед за этой статуэткой в квартире появилось много других — подчеркнуто изящных, окрашенных в разные, но обязательно мягкие, неброские тона.

Сидя на руках у матери, двухлетний карапуз тянул пухлые пальчики к дивным игрушкам, сначала требовательно мычал, а потом стал отчетливо выкрикивать: «Дай! Дай!» Однажды мать, не выдержав, сняла с полки статуэтку (предварительно воровато оглянувшись — не видно ли Семена Григорьевича). Статуэтку, изображавшую пляшущего паяца. Фигурка была необыкновенно динамична, у паяца плясало все — ноги, руки, оранжевый помпон на голубом колпачке. При взгляде на него казалось, что вы слышите звуки задорной музыки, веселый перезвон бубна.

Митя схватил статуэтку двумя руками, счастливо смеясь, прижал к себе... Вместе с ним громко и счастливо смеялась мать, разделяя радость маленького сына и, возможно, втайне торжествуя: наконец-то она преодолела свою робость, вечный страх перед мужем, нарушила строгий запрет.

И вдруг как гром с ясного неба:

— Люба! Что это значит?! Кто позволил?!

Всем своим существом отдаваясь бурной радости сына, слушая его неразличимый, но от этого не менее сладостный лепет, мать и не слышала, как щелкнула в передней щеколда, как прошелестели по коридору быстрые и легкие шаги. Она круто повернулась на звук грозного голоса, фарфоровая фигурка выскользнула из рук мальчика, с замиранием сердца она поймала ее на лету, чуть-чуть не уронив при этом сына.

Они стояли друг против друга — оцепеневшие от ужаса, бледные... Любу била дрожь: ее малыш мог упасть, может быть, получить увечье... Семен Григорьевич, откашлявшись, прервал тяжелое молчание:

— Подумать только: статуэтка могла разбиться! Никогда больше не делай этого. Слышишь: никогда!

Спустя много лет, уже школьником, Митя шел по улице и вдруг увидел на рекламном щите афишу с огромными, неоднократно повторенными надписями: «Цирк! Цирк! Цирк!» Рядом было помещено пестрое изображение пляшущего клоуна, отдаленно напоминавшее ему отцовскую фарфоровую статуэтку. В груди мальчика тотчас же возгорелся огонь неосуществленного желания: он должен обязательно попасть в цирк, и тогда этот забавный, пестро одетый человек будет плясать для него, для Мити, будет ему принадлежать. Он стремглав помчался домой, от волнения долго не мог попасть ключом в узкие прорезы замков (их на двери с каждым годом становилось все больше), бросил в полутемной передней ранец под вешалку и с порога крикнул:

— Хочу в цирк! Папа, я хочу в цирк! Там клоуны!

Отец, как всегда, занимался своей коллекцией. Он был на антресолях, где размещалось самое ценное, самое дорогое. Старой бархоткой, оставшейся от истлевшего маминого халата (отец подарил его вскоре после свадьбы, и халат этот был в ее гардеробе единственной дорогой вещью, потому что возникла Коллекция и начала пожирать все свободные деньги), отец стряхивал пыль с вещей, медленными движениями рук ласкал золоченую раму овального зеркала, гладкую поверхность столика, фарфоровые фигурки. Отец медленно спустился с антресолей, подошел к сыну, поднял руку с зажатой в ней бархоткой.

— Лучше делай уроки.

Он хотел потрепать сына за ухо, но тому показалось, что отец хочет стряхнуть с него пыль.

...Кажется, в тот самый день, да, в тот самый день он написал отцу свое первое письмо. Первое из писем, не дошедших до адресата. Возмущаясь отцом, равнодушным ко всему на свете, кроме своей Коллекции, он вырвал из школьной тетради в клеточку листок и написал... Что написал? Это был бессвязный бред, в котором слова любви к отцу перемежались со словами ненависти к коллекции. Написав письмо, он скатал его в трубочку, улучив момент, когда в комнате никого не было, поднялся на

антресоли, стал на цыпочки, снял с полки фарфоровую фигурку — женщина, кормящая грудью ребенка, — и, перевернув ее, затолкал внутрь фигурки свое послание отцу. После этого вернулся к себе. Сердце отчаянно билось. Он страшился, что письмо никогда не дойдет до того, кому оно адресовано, и одновременно страстно надеялся на это: мысль, что ему придется стоять перед отцом и объяснять, зачем он сделал это, ужасала его. Таким он был в детстве, таким и остался на всю жизнь — отчаянная смелость соседствовала в нем с такой же отчаянной трусостью, энергия — с бездействием, неукротимый дух — с безвольным и слабым телом, больше всего на свете любившим состояние покоя.

Впоследствии он не раз писал письма отцу и рассовывал их по ящичкам, шкатулкам, фарфоровым фигуркам. Ему доставляла удовольствие мысль, что бездушная коллекция, до сих пор отделявшая его от отца, становится как бы посредником между ними, приобретает черты одушевленности.

Отчаяние, которое время от времени холодной волной накатывало на Митю, никогда не было ни слишком глубоким, ни слишком полным. Где-то, на самом дне души, всегда таилась уверенность, что очередная неприятность, невзгода — это все не настоящее, темная полоса непременно пройдет, и над ним, Митей Лукошко, снова засияет солнце. А когда-нибудь наступит такое время, когда солнце, однажды взойдя, так и останется на небосклоне, будет светить ему и днем и ночью. Как он этого добьется, Митя точно не знал, но знал наверное — добьется, и все. Верил в свое счастье.

Как-то раз (было это давно, Митя тогда учился в девятом классе) он лежал на диване. Стояла зима, из-под входной двери дуло. Митя вдруг подумал: а хорошо было бы, если бы у него на ногах были толстые, вязаные из белой деревенской шерсти, носки. Он даже ощутил кожей их царапающее теплое прикосновение. Но все это была фантазия, таких носков, он это хорошо знал, в доме не имелось.

Мимо, шаркая отяжелевшими от отеков ногами, прошла мать. В руках у нее была бархатная тряпка. Отец требовал, чтобы она смахивала пыль с драгоценных предметов его коллекции только мягкой

тряпкой, а то, не дай бог, что-нибудь поцарапает, повредит. Митя такой и запомнил мать — грузной, с прерывистым дыханием, шаркающей походкой и с неизменной бархоткой в руках.

Митя помнил мать в этом халате. Тогда она еще была молодой, красивой, и он гордился перед товарищами по классу, что у него *такая* мать. Но болезни одолели ее, она быстро состарилась. И теперь Митя уже не гордился ею, разговаривал с матерью не то чтобы грубо, но как-то неуважительно, будто, потеряв свою прежнюю привлекательность, она чем-то провинилась перед сыном.

Вот и сейчас Митя недовольным, капризным голосом бросил ей вслед:

— Неужели, мать, не можешь купить мне пару белых шерстяных носков?! Ноги же мерзнут...

Мать остановилась возле дивана и сказала:

— Что это ты о них вспомнил, о носках. Да я такие только в деревне видела...

Мать стояла у дивана, прижав к груди синюю тряпку и улыбаясь своим воспоминаниям. Митя догадался, что перед глазами ее ожили картины ее давней жизни в деревне, и почему-то раздражился еще больше. Он и отец были городскими, а мать деревенская — этого ничем не вытравишь, нет-нет да и проглянет: в жесте, слове, выражении лица.

— Захотела бы купить, отыскала бы, — буркнул Митя и потер одну заолодевшую ногу о другую.

— Да я тебе сейчас плед принесу, накройся, — проговорила мать, но за пледом не пошла, потому что раздался звонок в передней. Минут через пять мать вернулась в комнату, лицо у нее было растерянное, бледнее, чем обычно.

— Ну, что там еще?

Мать пожала плечами и улыбнулась жалкой улыбкой.

— Ничего не понимаю, — сказала она. — Там, сынок, какая-то тетка носки на продажу принесла — белые, из деревенской шерсти.

— Ну так что ж ты... Бери! Все бери! — обрадовался Митя.

Позднее, поразмыслив, он удивился: на протяжении многих лет, ни до этого дня, ни после, никто и никогда не являлся в их квартиру с белыми носками...

— Ты счастливый, Митя, не в меня, — говорила мать. — Видишь, стоит тебе что пожелать — и пожалуйста...

В то, что он счастливый, Митя поверил охотно и сразу. Слова же матери, что он пошел не в нее, удивили его. Вышла замуж за известного столичного музыканта, перебралась из глухой деревни в Москву, одно время даже артисткой была. Это ли не счастье? Правда, сейчас ее счастливой не назовешь. В последние годы жизнь у матери не очень-то веселая, целый день с кастрюлями на кухне да с тряпкой в комнате, ходит и нежит совсем не интересную ей коллекцию. Да еще приходится таскаться к каким-то художникам позировать, часами пребывать в неподвижности, в неудобной позе. Так сама виновата, не смогла себя поставить как следует в доме.

Нет, его, Митино, счастье более высокой пробы. Он не знает, чем прославится, утвердится в жизни, да это и неважно. Главное, он чувствует — стоит захотеть, и счастье само пойдет в руки, как пришли сейчас эти белые носки. Почему он так думал? Что давало ему надежду на уверенность? Коллекция! С самого рождения коллекция была вокруг него, он слышал таинственный перезвон фарфора и хрусталя, видел игру света на полированном дереве, блеск и сияние золота и серебра. Ни у кого из его товарищей не было в доме коллекции, а у него была! Он давно знает, с тех пор, как помнит себя, что коллекция — это богатство, редкое сокровище. Стоит она безумно дорого. Сколько? Пятьсот тысяч? Миллион? Точно неизвестно. Но, он знает, баснословно дорого. И сознание того, что именно его семья, он сам отмечены этим богатством, давало ему силы, питало ненасытное его честолюбие. Когда учитель в школе, не удовлетворенный сбивчивым, путаным ответом Мити, сажал мальчишку на место и выводил в классном журнале плохую отметку, Митя, полыхая круглыми щеками и кривя пухлые губы, успокаивал свое уязвленное самолюбие: «Ну и ладно... Ну и пусть... Зато у нас есть коллекция. А у тебя нет ничего, кроме этого противного классного журнала и единственного костюма, который пузырится на коленях и блестит на локтях». Отец строго-настрого запретил сыну водить приятелей в дом: они могли

нанести урон коллекции. Но Митя, хотя и побаивался отца, в этом его послушаться не мог, это было сильнее его... Его сотоварищи должны были видеть коллекцию, знать о ее существовании в Митином доме. Побывав у него, приятели начинали относиться к Мите не так, как раньше, по-иному. Так, во всяком случае, ему казалось.

И действительно, на первых порах жизнь давала Мите много поводов, чтобы он еще больше уверился в редком своем счастье, в необыкновенном своем везении.

В школе Митя учился неровно, пятерки сменялись двойками, нередко в дневнике появлялись тройки, за которые от отца попадало больше, чем за двойки.

— Двойка, — говорил отец, брезгливо глядя на Митю, — признак нерадивости, тройка — признак посредственности. От нерадивости избавиться можно, от посредственности — никогда! Это — клеймо, каинова печать!

Единственным предметом, который удавался Мите, была математика. Он нередко добивался успеха при решении задач, требовавших сообразительности. Но точные определения, правильное изложение своих мыслей давались ему с трудом.

Математик Тит Ерофеевич сердился на Митю:

— Вот вы, сударь мой, изволите полагаться на свою интуицию... А интуиция, надо вам сказать, орудие деликатнейшее, им надо уметь пользоваться. Да-с! Результаты, полученные при посредстве этой самой вашей интуиции, должны быть как можно скорее подтверждены рассуждением. Без них ваша интуиция, извините, яйца выеденного не стоит!

То же самое твердил Мите и отец:

— Бери пример с музыкантов — только тщательная отработка всех элементов, талантливый их синтез приводят к вдохновенному исполнению, к заслуженной победе!

Но что Митя мог с собой поделаться? Все шло, как прежде. Он то восхищал Тита Ерофеевича неожиданными решениями, то раздражал своей ленью, отсутствием усидчивости.

Короче говоря, надежд на хороший аттестат, а следовательно, и на поступление в институт, у Мити было немного. Впереди маячила армия. А что дальше? Кем он будет? Чем займется? Будущее представлялось неясным, сумрачным... Но Митю не покидало ощущение (интуиция?), что в последнюю минуту кто-то придет ему на помощь и все наилучшим образом уладится.

Так оно и вышло.

Уроки литературы в десятых классах вел сам завуч Иннокентий Сергеевич. Когда-то ему удалось в одном своем ученике, тихом и замкнутом парнишке, угадать затаившийся, еще не проявивший себя, но явно наметившийся талант. С помощью своих друзей завуч помог парнишке поступить в Литературный институт. И что вы думаете? Уже первая его повесть наделала шуму, была напечатана в молодежном журнале. Иннокентий Сергеевич ходил сам не свой от радости, как будто это не его ученик, а он сам добился успеха. С тех пор завуч был одержим идеей поиска талантов. Но, увы, годы шли, а новый талант все не появлялся. Был, правда, один случай: второгодник Сысоев победил на городских соревнованиях по самбо. Но это, как говорится, Иннокентия Сергеевича не грело. Самбо он не любил.

И тут вдруг...

Как-то раз на уроке Иннокентий Сергеевич завел речь на отвлеченную, не предусмотренную программой тему, он это любил. Речь шла об одной из пьес Бернарда Шоу, которую завуч перечел накануне. Иннокентий Сергеевич коснулся того места, где герой пьесы спрашивает героиню, что дает ей силу так хорошо управлять даже трудно поддающимися управлению людьми? Героиня отвечает: «Это объясняется тем, что я в сущности отделена от всех людей». Иннокентий Сергеевич, довольно похохатывая и потирая руки, произнес:

— Парадоксальный ответ, не правда ли? Как вы понимаете этот парадокс? Кто хочет высказаться?

Меньше всего ожидал завуч, что руку вверх потянет Лукошко, пухлявый, довольно инертный парень, редко и неохотно принимавший участие в литературных диспутах.

- Ты что, Лукошко, хочешь выйти?
- Нет... Я о пьесе... О словах героини...
- Ну-ну...
- Это же теорема...
- Что?

Иннокентий Сергеевич вздернул вверх тонкие брови на удлинённом интеллигентном лице:

- Какая еще теорема? При чем тут это?

Митя объяснил: ответ героини напомнил ему математическую задачу на тему, можно ли приблизиться ко множеству точек из внешней точки так, чтобы приблизиться одновременно ко всем точкам множества?

— Ответ утвердителен, — пояснил Митя, — если внешняя точка расположена достаточно далеко от множества точек.

— А если близко? — спросил сбитый с толку Иннокентий Сергеевич.

— Если близко, то ничего не выйдет... Ибо, приближаясь к некоторым точкам, мы одновременно удаляемся от других.

— Значит, ты находишь сходство между рассуждениями героини и логикой математической задачи? — заблестев глазами, спросил завуч.

— Здесь прямое сходство! — решительно ответил Митя и уселся на место под одобрительный ропот однокашников. Кто-то из них громко, чтобы услышал учитель, произнес:

- Наш Лобачевский!

На перемене завуч заговорил о Лукошко с математиком Титом Ерофеевичем:

— Слушайте, это необыкновенно одаренный мальчик!

Тит Ерофеевич зевнул в кулак и сказал:

- Не без способностей. Но страшный лодырь.

Иннокентий Сергеевич занервничал:

— Мне кажется, вы его недооцениваете. А ведь каждый талант редкость. Его надо брать на заметку, бережно выращивать.

На этот раз Тит Ерофеевич зевнул уже открыто:

— Извините, не выспался. Засиделся за контрольной. А что касается талантов, то у меня на сей счет иное мнение... Если к таланту приложится трудолюбие, то он и сам пробьется. Без нашей с вами

помощи. А если трудолюбия нет, грош ему цена. От нас с вами тут мало что зависит.

— Нет, я с вами решительно не согласен! — загорячился Иннокентий Сергеевич. — Как так можно... Наша школа уже дала миру писателя... Потом это... как его... самбиста... Хороши бы мы были, если бы сидели сложа руки. Если вы не хотите, то я сам займусь судьбой Лукошко.

Прозвенел звонок. Тит Ерофеевич потянулся к лежавшему на столе классному журналу. Сдерживая зевок, пробормотал:

— Ваша воля, — и удалился.

Иннокентий Сергеевич принялся за дело. Он свел Митю со своим старым другом профессором университета Воздвиженским, страстным поклонником Лобачевского.

— Иннокентий сказал мне, что вас в классе прозвали Лобачевским? — при первой встрече сказал профессор Мите. — Любопытно. Что я вам скажу? Аттестат у вас так себе. Видно, ленились, откалывали разные коленца. Ведь так? Признайтесь...

Митя признался:

— Так.

— Ну вот видите. Молодость есть молодость, ей свойственны свои порывы и заблуждения. Вы знаете, что отчубучил однажды Лобачевский, будучи студентом? Оседлал корову и, превратив рога в подобие шоферской баранки, сделал несколько кругов по городскому парку.

Посмеявшись, Воздвиженский поднял указательный палец и строго сказал:

— Но это не помешало ему стать Лобачевским!

...Митя Лукошко удачно прошел собеседование по профилирующему предмету и был зачислен на механико-математический факультет.

— Да ты в рубашке родился! — узнав об успехах сына, с удивлением воскликнул отец.

— Не в рубашке, а в белых носках, — счастливо засмеялась мать. Она понимающе переглянулась с сыном.

Полетели дни и годы учебы в университете. В голубой дымке мерещилось Мите его будущее. Аспирантура. Самостоятельные исследования и открытия. Выступление с докладом на международном

симпозиуме. Собственные книжки, почетные звания. И вот уже состарившийся профессор Воздвиженский передает ему, Мите Лукошко, свою кафедру, своих учеников. Нельзя сказать, что Митины мечты не имели под собой никакой почвы. Имели. Воздвиженский явно благоволил Мите. Говорил, что многого ожидает от него.

— Что вы всегда какой-то вялый, скучный? — спросил он его однажды. — Вот я в свои студенческие годы был совсем другой. Принадлежал к знаменитой Лузитании. Так назывался коллектив учеников Николая Николаевича Лузина, создателя московской математической школы. Жили мы в трудных условиях. Это были первые годы революции. Месяцами сидели на одной селедке. Я долго потом, когда времена изменились, селедку не мог есть. Одевались мы тоже как придется. И все же жили, учились весело, увлеченно! А вы? Все к вашим услугам, общество спешит удовлетворить каждую вашу потребность, каждое желание. А вы какие-то вялые, скучные. Неужели вам не знакомы страсти? Чем страсти сильнее, тем полезнее они обществу! — Он подумал и добавил: — Если, конечно, направление их не вредно.

Что-что, а страсти Мите Лукошко были знакомы.

Недавно у него завязалась интрижка с профессорской дочкой Лялей. Ляля была совсем не похожа на отца. Тот — высокий, худой, костистый, а Ляля маленького роста, круглая. Вещи на ней всегда были дорогие, но как-то не смотрелись — все не в тон, мягое, растерзанное... Здесь нет пуговицы, там растегнулась молния.

Ляля славилась умением печь пироги. Разные — с мясом, рыбой, луком, всевозможными фруктами. С этих пирогов все и началось. Митя ел, нахваливал кулинарное искусство профессорской дочки, а ей почудилось, будто восхищение относится не только к пирогам...

Ляля была замужем. Но это не помешало ей страстно влюбиться в Митю. Что она в нем нашла? Митя был далеко не красавец. Роста невысокого, со склонностью к полноте. Волосы хотя и красивого цвета, темно-каштановые, но не густые. Глаза голубые, но голубизна какая-то жидковатая. Скорее всего,

Ляля влюбилась не в Митю как такового, а в тот образ молодого талантливого математика, который составила себе из рассказов отца.

Ляля бросилась в свою любовь к Мите, как в омут головой. Он не ожидал такой девичьей непосредственности, такой страстной пылкости от замужней женщины. Привязанность дочери Воздвиженского была ему по душе. Но соединять себя с этой женщиной брачными узами? Нет, на это он не согласен.

Почему, спрашивается, он не захотел жениться на Ляле? Ведь брак этот, без всяких сомнений, еще больше сблизил бы его со стариком. А ведь именно от него, от профессора Воздвиженского, зависело, и в немалой степени, исполнение честолюбивых Митиных планов.

Тем не менее Митя был непреклонен: нет и нет, на Ляле он не женится. Не такая ему нужна жена. А какая?

Митя как мужчина не представлял собою ничего интересного и сам это отлично знал. И тем не менее в его сердце пылала неукротимая страсть Дон-Жуана. Он с наслаждением читал и перечитывал в книгах о Наполеоне страницы, посвященные его многочисленным любовным успехам, Невзрачный корсиканец с легкостью завоевывал сердца красавиц. Митя не терял надежды... Его избранница будет лучшей из лучших. Взглянув на Митину жену, каждый подумает: а этот Лукошко, видно, парень жох, ишь какую кралю отыскал.

Жениться на этой растрепе Ляле? Ни в коем случае! С нею он и месяца не выдержит, начнутся ссоры, слезы, она бросится с жалобами к отцу, все закончится скандалом. Нет, этого он не допустит. Легкая интрижка — не более...

Однако потерявшая голову Ляля начала делать глупость за глупостью. Когда однажды Митя поторопил ее: пора домой, а то муж заподозрит, она беспечно ответила:

— А пусть... Он все равно знает.

— То есть как — знает? Что знает? — Митя был неприятно удивлен Лялиным ответом.

— Ну не могу же я поддерживать отношения с мужем, когда мы... когда мы любим друг друга?

Она смотрела на него с не меньшим удивлением, чем он на нее.

— А отец? — уже заранее догадываясь о ее ответе, упавшим голосом спросил Митя.

— Да... Он тоже в курсе наших отношений.

— И?

— Что «и»? Конечно, сначала он страшно расстроился, рассердился на тебя. Но я ему объяснила: у нас с тобой все серьезно. Так ведь оно и есть, не правда ли?

— Да, да, очень серьезно, — пробормотал Митя, пожалев, что дал вовлечь себя в эту историю. Он постарался несколько остудить неожиданный пыл своей подруги.

— Я тебя, Ляля, конечно, люблю, — осторожно подбирая слова, произнес он. — Но ты уже не девочка, должна понимать: для вас, женщин, и для нас, мужчин, любовь это... ну как тебе сказать... в общем, не одно и то же... Для вас это — брак, семья, дети... Мы же ищем в любви прежде всего нравственную поддержку. Ведь мужчине так много надо в жизни сделать, столько препятствий преодолеть. А если у тебя на плечах — груз?..

— Груз — это я?

Она пристально смотрела на Митю, едва удерживая слезы.

В глубине души Митя был готов к тому, что после его слов Ляля повернется и уйдет. Но она не ушла — видно, не разуверилась еще в Мите до конца. Промакнула ладошкой повлажневшие глаза и дрогнувшим голосом сказала:

— Митя, дорогой, о чем ты говоришь?.. Неужели ты думаешь, что моя цель затащить тебя в загс? Я просто тебя люблю. И хочу быть с тобой. Вот и все. За что же ты меня казнишь?

Чувствуя облегчение — разговор о загсе, по крайней мере, в ближайшее время не грозил, — Митя сказал:

— Думаешь, мне легко так с тобой разговаривать? Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Но я хочу до конца быть честным.

Звучало это благородно, Митя порадовался, что нашел нужные слова.

В целом он был доволен разговором. Вот только

последнее Лялино высказывание его неприятно удивило. Ляля шагнула к сидевшему в профессорском кресле Мите, порывисто притянула его голову к себе, прижала к своей теплой и пышной груди. Мите было неловко в таком положении, трудно дышать, в щеку вдавливалась какая-то металлическая брошка... Но Ляля не выпускала его голову, а все сильнее и сильнее прижимала ее к себе. Он задыхался от терпкого запаха духов и разгоряченного тела.

— Митя, я нужна тебе, нужна, — услышал он страстное заклинание. — Мне кажется, что тебе угрожает что-то страшное. Какой-то ужас! Я одна могу тебя спасти, одна... Пойми ты это!

Митя сильно дернулся и оказался на свободе.

— Тоже придумала — меня спасать. Я, слава богу, и сам крепко стою на ногах. И вовсе мне ничего не грозит.

Ляля плакала.

Между тем Митины отношения с Воздвиженским стали портиться. Однажды старик сухо сделал ему замечание: Митя работает беспорядочно, утвержденная на кафедре тема по сути далека от завершения, а ведь не за горами и распределение. Не оканзаться бы Мите у разбитого корыта.

Митя подумал: все ясно, профессору не нравятся его отношения с Лялей. А собственно говоря, какое ему до этого дело? Конечно, он отец, это так... Но, кажется, Ляля давно уже вышла из детского возраста. Сама за себя отвечает.

Митя сухо ответил, что оставил утвержденную профессором тему ради дела более значительного. Ему кажется, что он близок к доказательству великой теоремы Ферма.

Услышав это, Воздвиженский страшно рассердился, рука его, лежавшая на набалдашнике палки, побелела, глаза сузились, в них засверкали молнии.

— Что вы сказали? — высоким от волнения голосом произнес он. — Да каждому уважающему себя математику известно: Ферма ошибся, доказательства не существует! Сотни — да что там сотни — тысячи честолюбивых молодых людей потратили годы жизни на поиск этого доказательства. Простота форму-

лировки проблемы казалась им обнадеживающим признаком, решение, думали они, близко. Но это не так! Неужели вы этого не понимаете, жалкий вы человек!

Еще с детства Митю временами охватывали приступы бешенства. Он сам не понимал, откуда налетал на него необоримый порыв слепой ярости, у него мешались мысли, кровь прилиwała к лицу, толстоватый, флегматичный Митя в гневе становился страшен. С побелевших губ слетала пена, глаза сверкали, бессвязный потом оскорбительных слов обрушивался на обидчика.

Однажды (Митя тогда был еще в пятом классе) он напугал отца, запретившего сыну прикасаться к коллекции — он неловок и уже разбил ценный фарфоровый медальон. Митя воспринял эти слова как тяжкое оскорбление. На него нашло, наехало, он кричал на отца, топал ногами, расцарапывал ногтями свои пухлые щеки.

И вот теперь Митя, не сдержавшись, закатил истерику Воздвиженскому. Еще недавно он бы не осмелился сказать ему слово поперек, настолько уважал и боялся профессора. Но теперь обстоятельства переменились. Покорная и влюбленная Ляля целиком была в его руках, и это, как казалось Мите, давало ему власть над стариком. Какое он имеет право так разговаривать с Митей?!

Митя ожидал, что профессор спасует перед его яростью, бросится его успокаивать, отпаивать водой. Но этого не случилось. С безразличностью поглядев на беснующегося Митю, Воздвиженский сказал: «Вон!» — и вышел, хлопнув дверью.

В тот же день в аудитории старик произнес с кафедры громовую речь. Он говорил об увлеченности наукой, об ответственности ученого. Не обошлось, конечно, без упоминания Лобачевского.

— Великий Лобачевский говорил: «...Но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим; вы, которых ум отупел и чувство заглохло... Я утешаюсь мыслью, что из нашего университета не выйдут подобные произведения растительной природы...» Как бы я хотел, — яростно воскликнул Воздвиженский, — чтобы у меня была возможность повторить слова Лобачевского

и чтобы ни одно «произведение растительной природы» действительно не вышло из этих прекрасных стен!

Может быть, Воздвиженский имел в виду Митю? Как бы там ни было, на Митю филиппика старика не произвела сильного впечатления. Ничего, остынет, успокоится, вспомнит о дочери. Положение у нее, прямо надо сказать, несважнецкое. С мужем порвала, нового пока нет. Деваться некуда. Старик сам сделает первый шаг к примирению: мол, извините, Митя, погорячился, забудем наши распри.

Каковы же были его удивление, гнев, досада, злость, когда стало известно, что Воздвиженский отказался от прежнего своего, известного Мите, намерения оставить его в аспирантуре, назвав фамилию другого студента, некоего Никольского. Митя решил действовать. Добился приема у ректора, поведал ему о своих отношениях с дочкой профессора Воздвиженского. «Поверьте, — прижимая к груди руки, сказал он. — Это не адюльтер, нас связывают глубокие и сильные чувства. Я верю, когда-нибудь мы построим прочную семью». Да, он, Митя, оказался невольным виновником того, что прежний брак профессорской дочки распался. «Но посудите, — говорил Митя с наигранным возмущением, — вправе ли Воздвиженский использовать свое служебное положение, чтобы отомстить — кому? студенту? И за что? За любовь к его дочери? Я надеюсь, ученый совет во всем разберется и призовет зарвавшегося профессора к порядку».

Увы, разобравшись во всем, ученый совет профессора к порядку не призвал. А Митя получил свободное распределение.

Итак, его постигла первая серьезная жизненная неудача.

Взял себя в руки, попытался хладнокровно проанализировать причины этой осечки. Разве трудно было довести до конца тему, которую с барского плеча пожаловал ему старик? Конечно, нет. Почему же он этого не сделал?

Не захотел. Господи, как ему надоели эти вечные поучения старика: «Главное, знать, что вы на верном пути... Торопиться не надо. Эйнштейн потратил на создание своей теории тридцать лет жизни...» — «Но

так эту теорию и не создал, — не удержался от возмущения Митя. — А вот Эварист Галуа дал четкое обоснование теории разрешимости уравнений, когда ему не было и двадцати лет!»

Воздвиженский тогда внимательно посмотрел на ученика: «Вот вы о чем...» Он грустно усмехнулся: «Тот, кого любят боги, умирает молодым».

Нет, Митю это не убедило, никак не убедило. Стоило ему представить ожидающую его длинную череду дней и ночей, упорный, выматывающий душу труд, постоянное напряжение интеллекта, колоссальные затраты нервной энергии, добровольное самоотречение от всех благ жизни — и ради чего? Чтобы какой-нибудь замшелый старикан со слуховым аппаратом прошамкал: «Любопытно!» Нет, душки, на это он не согласен. Лучше, как Галуа, мгновенно прорваться в мир математики, обессмертив свое имя, и погибнуть, чем долгие годы влачить унылое существование непризнанного гения. Впрочем, умирать Мите не хотелось. Мальчишка Галуа погиб по собственной глупости — дуэль из-за женщины. Какая чепуха! Нет, он, Митя, будет жить долго. Счастливо и долго.

Да, конечно, признал Митя, зря он полез в бутылку, надо было поддакивать профессору, делать вид, что принимает его советы и указания, умильно заглядывать в лицо, восхищаться и благодарить. Старикан бы размяк и сделал для Мити все, что нужно.

Почему же Митя сам все испортил? Он искал и не находил ответа на этот вопрос. Дело тут не в излишней щепетильности, нет, этим пороком Митя не страдал. Но в решающую минуту что-то внутри него взбунтовалось... «Что-то»... Что именно? Митя этого и сам не знал.

В нем давно, как говорят, с молодых ногтей, жило два человека. Один — расчетливый циник, готовый идти к цели напролом, не разбирая дороги и не гнушаясь никакими средствами... Другой — небесталаный, верящий в свое высокое предназначение, одаренный, жаждущий творческого самовыражения... Иногда второй восставал против первого, эти столкновения выливались в бурные приступы бешенства. И тогда тщательно взлелеянные Митины планы с грохотом рушились...

Покинув университет, Митя сгоряча тотчас же порвал с Лялей. Она плакала, умоляла не делать этого, даже опустилась на колени. При этом на юбке у нее расстегнулась молния, из прорехи неряшливо торчала мятая розовая комбинация. Митя злорадно подумал: «Жаль, что старик Воздвиженский не может увидеть эту сцену». Он остался непреклонен. Мите казалось, что он не может остаться с Лялей: она будет постоянно напоминать ему о старике, выпихнувшем Митю из университета, как нашкодившего котенка.

Что там ни говори, а Ляля — дочь своего отца. Митя даже обнаружил между ними сходство, которого раньше не замечал: волнуясь, они оба — и старик и дочь — начинают растягивать слова. У Ляли, например, получается так: «Ми-и-и-и-тенька! А-а-а-станься! А-а то бо-о-о-г тебя нака-а-жет!»

«Казалось бы, интеллигентная женщина, а вот бога вспомнила!» — усмехнулся Митя и ушел, хлопнув дверью, как когда-то сделал это ее отец, профессор Воздвиженский.

Митя не стал устраиваться на работу, засел за теорему Ферма. Если бы только повезло и он сумел разгрызть этот орешек! И дело, конечно, не в премии. Согласно завещанию одного эксцентричного богача премия ожидает того математика, который добьется успеха с этой самой теоремой. Сколько там — 100 000 марок, кажется? С тех пор эта сумма, к сожалению, сильно обесценилась. Так что на большие деньги рассчитывать не приходится. Но важен сам факт: он, Лукошко, сделает то, что считалось невозможным, и всем покажет, на что он способен!

Известно, что существуют некоторые пары целых чисел, которые при возведении в квадрат и сложении результатов дают квадрат некоего третьего целого числа. Например:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2,$$

то есть:

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Но почему именно при возведении в квадрат? Может быть, подобное соотношение возможно для показателей больших, чем два? Скажем:

$$x^3 + y^3 = z^3$$

или

$$x^4 + y^4 = z^4.$$

«Нет, это невозможно!» — утверждает Ферма. В заметках, написанных на полях одной книги, он сообщил, что нашел доказательство, подтверждающее его утверждение. Но это доказательство, пишет он, не помещается на полях страницы... Ферма умер, не оставив нам своего доказательства, но, может быть, оно все-таки существует? Иногда Мите казалось: вот оно, решение, только руку протянуть.

Однако месяцы шли, а дело не двигалось с места. Мите не удалось восстановить утраченное доказательство теоремы Ферма. Да и существовало ли оно в действительности? Не было ли плодом ошибки ученого? Митя по-прежнему далек от цели. Его охватывало отчаяние, он чувствовал приближение очередного приступа ярости. Но на кого было яриться?

Митю все больше раздражал отец. Тот с явной неприязнью смотрел на бесполезные занятия сына. У всех дети как дети. А этот... Если уж удалось, можно сказать, «дуриком» отхватить диплом, так иди работай, используй свои знания, зарабатывай на жизнь. Вместо этого сын целыми днями лежит на диване, надев на ноги дурацкие белые носки, и делает вид, что занят серьезным делом.

В то, что Митя способен на что-либо дельное, отец не верил. Слишком хорошо знал свое детище: изнежен, быстро загорается, вспыхивает и так же быстро гаснет, потеряв всякий интерес к очередной затее... Нет, гениев выпекают из другого теста.

Отец не скрывал от сына своих мыслей. Его бесило, что Митя и после окончания университета продолжает сидеть на шее, нанося тем самым ощутимый ущерб коллекции. Лукошко-старший ради этой коллекции отказывал себе в самом необходимом, экономил на всем. Почему же он должен содержать великовозрастного оболтуса? Как долго это будет продолжаться? До смерти?

Митя на попреки отца реагировал бурно. Однажды, как говорится, сорвался с катушек, им овладело бешенство. Он кричал на отца, топал ногами. Потом повалялся на пол, визжал, катался по ковру. Отец, бледный как мел, молча глядел на него. Потом сказал:

он будет содержать Митю еще три месяца. Пусть за это время докажет, что делает что-то стоящее. Не докажет — скатертью дорожка. Проедать коллекцию он ему не позволит. Слушая отца, Митя впервые отчетливо ощутил, что ненавидит его!

Спустя три месяца, так и не приблизившись к разгадке волновавшей его тайны, Митя пошел работать. Он занял первую подвернувшуюся должность в планово-экономическом управлении одной городской организации.

Сообщив об этом отцу, язвительно произнес:

— Ну, теперь ты доволен?

Отец ответил спокойно:

— Очень доволен.

Он ушел в соседнюю комнату и вернулся, держа в руках маленькое фарфоровое изображение какого-то восточного божества с вытаращенными глазами и оскаленной пастью.

— Держи. Это тебе.

У Мити вытянулось лицо. Уж этого он не ожидал. То было не в правилах отца — разбазаривать свою коллекцию. Что это на него нашло?

Как бы прочитав Митины мысли, тот грустно усмехнулся и сказал:

— Все равно она когда-нибудь перейдет к тебе.

Отец не сумел сдержать вздоха сожаления.

Явившись в первый день на работу и заняв свое место за колченогим однотумбовым столиком напротив плохо выбритого мужчины в черных сатиновых нарукавниках, Митя с горечью подумал: «Вот тебе и теория «белых носков». Попал в какую-то дыру, обречен вести монотонную, неинтересную жизнь мелкого служащего. Разве об этом он мечтал? Правда, дома у него была коллекция, никто из сидящих в этой унылой, с покатыми сводами комнате (помещение бывшей церкви) не имеет и десятой доли того, чем обладает, вернее, будет когда-нибудь обладать Митя. Но неужели он способен только на то, чтобы проесть отцовское наследство? Мысль эта была неприятна. Временами он ощущает в себе силы необыкновенные, способности блестящие... Или все это — миф, мечты, самообман? Говорят, ад

вымощен добрыми намерениями... Митя чувствовал: неосуществимые намерения и впрямь грозят ему всеми муками ада. Когда он думал о своих неудачах, со дна души поднималась темная, мутная волна злости, в эту минуту он был готов на все, даже на преступление.

— Лукошко! Вас просит зайти заведующий сектором...

Он послушно вскочил с места, поправил сползший набок узел галстука, пригладил жидкие волосы, быстро-быстро засеменил к высокой, обитой черным дерматином двери. На ходу подумал про себя: улыбнется ли ему когда-нибудь судьба? Или теория «белых носков» не подтвердится, как не подтвердилась теорема Ферма?

Если бы только Митя мог знать или хотя бы догадываться, что судьба, приведя его в это скромное, расположенное в старой церкви учреждение, тем самым еще раз предоставляет ему великий шанс. Но что он сам, по собственной глупости не заметит, упустит его...

Митя впервые увидел Нину в коридоре.

Он только что вышел из кабинета («кельи» — как называли эту маленькую и узкую комнатенку сотрудники), где имел разговор с начальником сектора. Речь шла о работе пассажирского транспорта — Лукошко отвечал именно за этот участок. Конечно, не за весь участок, а лишь за малую часть его — на него была возложена обязанность разработки наиболее рациональных графиков движения троллейбусов. В его ушах еще гремели слова начальника сектора (скорее всего, повторявшего то, что он недавно услышал от вышестоящего руководства):

— Парк подвижного состава ежегодно увеличивается, растет количество маршрутов, их общая протяженность... А число нареканий, которые идут от населения, не становится меньше, наоборот — их все больше и больше. Посмотрите, что делается на улицах в часы пик. От нас требуются научно обоснованные расчеты. Мы не имеем права работать по старинке! На дворе — век НТР. Пора об этом вспомнить!

Покорно выслушав своего начальника, Митя сделал озабоченное лицо, проговорил:

— Да, надо что-то делать... Я прикину.

Начальник уселся за стол, сцепив руки на листе плексигласа, покрытого пятнами чернил и несдираемыми нашлепками застывшего клея, и со вздохом произнес:

— Прошу вас, Лукошко, прикиньте... Может быть, у вас будут какие-то предложения?

В его голосе звучала безнадежность.

Митя кивнул и вышел. Честно говоря, он и не собирался особенно ломать голову над проблемами городского транспорта. Его нынешнее положение — временное, он в этом уверен. А пока будет трудиться ни шатко ни валко, по принципу: день прошел, и слава богу.

...И вдруг в конце длинного и узкого, с низкими арокными сводами коридора Митя увидел Нину. Внутри все оборвалось. Потому что он сразу понял: у него — никаких шансов. Такие женщины достаются совсем другим мужчинам — высоким, красивым, удачливым, уже достигшим чего-нибудь в жизни.

На Нине было маленькое черное платье без каких-либо украшений. Но они — украшения — были и не нужны. Казалось бы, все у Нины было такое же, как и у сотен других женщин, — глаза, волосы, шея, талия, руки, ноги. Такое же и в то же время не такое. Митя тотчас же догадался, на кого похожа эта сотрудница. На Сандрелли, есть такая итальянская киноактриса. Ну, симпатичная, ну, молодая, ну, стройная и гибкая... А в общем-то женщина как женщина. Почему же при виде нее у Мити огнем полыхнуло в груди и стало грустно-грустно... Должно быть, где-то на свете есть и другие подобные женщины, но здесь, в зоне Митиной досягаемости, их нет и не будет. Нина — одна-единственная...

Проходя мимо Мити, сотрудница остановила на нем взгляд широко расставленных серых глаз и все поняла. Всем своим существом Митя выражал восхищение, преданность, даже угодливость. Если бы она захотела, он бы лег на холодный цементный пол и, скуля, пополз к ее ногам. Да, я такой — невидный, пухлявый, низкорослый, короче говоря, непривлекательный... Я это понимаю и признаю. Потому

что в этом моем знании — единственное мое достоинство, моя сила. Может, пригожусь?

Нет, не пригодитесь, мгновенно ответила Нина взглядом и прошла, прошелестела мимо. В голове у Мити была пустота, в ушах переливался хрустальный звон. Так звелела люстра из венецианского стекла. Одно из главных украшений отцовской коллекции.

Митя чувствовал себя разбитым, униженным.

В юношеских грезах он не раз видел себя рядом с такой женщиной. На которую все прохожие обращаются, обращают внимание. Спутнику которой другие мужчины страстно завидуют... Но встреча с нею должна была состояться когда-нибудь потом, когда Митя добьется положения, почета, в миг его высшего взлета. Все получилось иначе. Он столкнулся с Ниной сейчас, когда дела его, как никогда, плохи, когда выглядит — да что там выглядит! — когда он ощущает себя мелким и ничтожным. Неудачником.

Что-то испортилось, сломалось в механизме его судьбы, перепутались даты и сроки, все происходит не вовремя и некстати. Какой ужас!

И в то же время он не мог не чувствовать себя счастливым — оттого что Нина есть, существует и знает о нем, Лукошко, о внезапно вспыхнувшей в нем страсти.

«Если я завоюю эту женщину, цель моей жизни будет достигнута!» Эта мысль принесла ему облегчение.

ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ

«...Это был оживший роман Диккенса в центре Москвы, это была настоящая лавка древностей. Здесь попадалась мелкая пластика Возрождения и ранняя итальянская бронза, великолепная французская бронза XVIII века и бронза русская, включая Паоло Трубецкого, здесь почти всегда бывала индийская и китайская бронза с маркой мастера. А какие бра, жирандоли, люстры, какие канделябры там попадались! А еще блестили зеркала, пугливо таились от толпы хрупкие инкрустированные столики и горки, гордились высоким происхождением були. В ряд, ожидая новых хозяев, стояли часы. Все на ходу. На-

польные и каминные, настенные и каретные, серийные и заказные. И картины — от пола до потолка».

Коноплев отложил газету, потер лоб, отгоняя усталость. Красочное описание «лавки древностей», которое он только что прочел, относилось к старому антикварному магазину, который располагался в одном из арбатских переулков. Старый магазин был тесный и темный, там все, казалось, располагало к жульничеству и махинациям. А новый, на Дмитровской, — просторный, чистый, светлый... Говорят, там все на виду. Если даже и так, сумеет ли Коноплев, человек далекий от коллекций и от коллекционеров, хотя бы как-то приобщиться к неведомому и таинственному миру любителей старины?

Для посещения комиссионного магазина на Дмитровской Коноплев взял себе в помощь лейтенанта Тихонова, местного участкового. Парень явно сметлив, иногда его голубые глаза выражают нечто большее, чем можно извлечь из его хотя и дельных, но до чрезвычайности скупых ответов. Авось пригодится...

В магазине было пусто и тихо.

— Тут всегда так... немногочисленно? — поинтересовался Коноплев.

— По-разному бывает, товарищ подполковник... и так и этак...

— Ясно. Давай пройдемся. Да не печатай шаг, шагай свободно...

— Облака не настоящие... Дописанные облака.

Коноплев обернулся. Два человека, низенький, скромно одетый, в старомодной шляпе-котелке и потешно высокий, в допотопном пыльнике-дождевике, стояли перед огромной картиной, занимавшей все место от окна и до окна нового магазина, и тихо, но оживленно разговаривали.

На картине, возле которой стояли двое, был изображен большой крестьянский двор. Дом с развалившимся крыльцом, повозка, распряженные волы и экзотический индюк на первом плане. Над всем этим плыли пухлые, полуденные облака.

— Облака не настоящие, — повторил низенький в котелке.

— Не южное облако, — согласился с ним высокий.

— Вот если бы не волы были, а кони, — развивал мысль его собеседник, — я бы облакам поверил.

— При конях они бы убеждали, — согласился высокий.

И тут они замолчали, заметив Коноплева. Они посмотрели на него изучающе и холодно, как будто бы и он был частью пейзажа на картине и предстояло определить, подлинный он или нет.

— А почему при конях облака бы убеждали? — не выдержал Коноплев.

— А потому, товарищ, — ответил низенький, откинув котелок на затылок резким движением головы, — что облака написаны на севере, где волов, извиняюсь, нет.

Коноплев сам родился и вырос в северной деревне и поэтому отнесся к соображению обладателя котелка с большой серьезностью, подошел к картине и погрузился в изучение облаков.

— Тоже интересуетесь живописью? — с какой-то нарочитой вежливостью осведомился высокий.

— Немного, — ответил Коноплев и дружески улыбнулся: — А облака-то действительно северные, с волами-то не того...

— Вот я и говорю, хитроумен человек и извилисты пути его, — загадочно высказался низенький. И еще таинственнее добавил: — Эти волы паслись на Арбате.

— Он имеет в виду старый магазин на Арбате, где творились всякие темные делишки, — объяснил Коноплев непонятную реплику недоумевающему лейтенанту Тихонову, и они направились в отдел фарфора. Здесь им тоже довелось стать свидетелями любопытного разговора.

— Попов, милая, не любил рисовать богоподобных, предпочитая женщин земных и уже не юных... Почему? Да потому, что женился на вдове богатой, но, увы, почтенных лет и, дабы не обижать благоверную, ни на одном сервизе не запечатлел ни одного молодого лица... А у вас написано «Попов». Фальшак!

Станным здесь было все — и разговор, и обилие старинных, будто бы заимствованных из разных музеев вещей: изваяний, картин, сервизов, люстр, фаянсовых тарелок, часов. Часов было особенно много, и все показывали разное время. Большая часть их бездействовала, казалось, кто-то остановил их насильно, победив в борьбе с мощным механизмом, с тяжкой,

тускло поблескивавшей медью. Те часы, что шли, вызывали уважение, точно войны, которые отбились и выжили тогда, когда их соседи уже были мертвы.

Коноплев, как человек военный, который не терпит неразберихи во времени, машинально посмотрел на свои ручные часы. Было 17 часов 34 минуты. И как раз в это мгновение порог магазина переступил высокий, слегка сутуловатый человек с узким умным лицом. Внимание Коноплева он привлек тем, что вошел, как входят в аэропорт — торопливо и целеустремленно. И, войдя, посмотрел не на картины, не на фарфор, не на люстры, а на часы, как будто хотел удостовериться, что поспел вовремя и его самолет не улетел.

Словно убедившись в этом, он покинул магазин так же стремительно, как и вошел. Коноплев подумал: «Вот чудила!» — и склонился над витриной, рассматривая чашки, блюда, тарелки какой-то необыкновенной фактуры, поражавшей сочетанием тяжести и нежности, с уже угасшим, будто бы выцветшим золотом, тусклым, приглушенным. И снова услышал обрывок разговора:

— Типичный Батенин, черное с золотым, — сказала продавщица.

— В том-то и дело, что черное, — отвечал ей мужчина. — А у Батенина было исчерна-синее, кажется, что черное, но это синева. Двести лет назад воспринимали цвета иначе, и потом — время сгущает краски, вот и кажется черное...

— Уверяю вас, Павел Степанович, это Батенин.

Павел Степанович был совсем молодой человек, почти юноша. Сейчас он рассматривал сосредоточенно не фарфор, а Коноплева.

— Тоже интересуетесь Батениным, коллега? — спросил он усмехаясь. — Поповым?.. Сахаровым? Дурасовым? — молодой человек сыпал неизвестными именами, усмехаясь все более явственнее и недобро.

— Да нет же, просто хотелось посмотреть.

— Посмотреть или послушать? — уже без усмешки уточнил юноша.

«Вот еще один чудак! — подумал Коноплев. — А может быть, не чудак, а прохиндей?»

— А вам есть что скрывать?

Юноша рассмеялся:

— Ну, это у каждого найдется!

Коноплеву вдруг захотелось опять увидеть тех двух странных людей, которые все сопоставляли облака с волами, — низенького в котелке и потешно высокого, чтобы послушать их разговор, имеющий отношение не только к живописи, но и к самой жизни. Но двух этих не оказалось, их место заняла другая, не менее интересная пара. Немолодой, одетый не по-столичному, а как-то провинциально, даже по-деревенски в старый тулупчик и высокие истоптанные сапожки гражданин и вроде не подходящий для него собеседник — в легком нарядном распахнутом пальто, с оранжевой бархатной бабочкой под массивным подбородком.

— Не он, — уверял тулупчик бабочку, — он людей не умел писать, он был вроде Левитана — мастер пейзажа.

— А листва его! — мучился в сомнениях бабочка. — Мокрая листва и сияет.

— Гм, — задумался тулупчик. — Действительно, листва...

— Он! — закричал бабочка. — Уверяю вас, он!

Коноплев, любопытствуя, подошел поближе к картине, перед которой они топтались, увидел надпись «Осенний парк», неизвестный художник.

— А облака не его! — снова взбодрился тулупчик.

«Дались им эти облака!» — усмехнулся Коноплев. И поймал себя на том, что с интересом рассматривает два освещенных заходящим солнцем облака над осенним парком.

— Я вам покажу одно полотно, — пообещал бабочка, — собственноручно подписанное им, на котором точно такие же облака. В Русском музее.

— Поехали, — немедленно согласился тулупчик, — сегодня же вечером! На «Стреле»!

Странная пара подошла вплотную к картине и начала, голова к голове, рассматривать ее внимательно и страстно. Потом, чуть не сбив Коноплева с ног, они резко отошли в сторону.

— Ну вот, — с досадой зевнул тулупчик, — теперь уже не две, а четыре фигуры. И две явно лишние.

«Лишними» здесь, без всякого сомнения, были они — Коноплев и Тихонов.

И тогда они снова вернулись к часам. Казалось, это самое спокойное место в беспокойном магазине. Только два старичка кружили вокруг напольных часов, оба невысокие, ростом с маятник. Они молча рассматривали громоздкие, похожие на памятники, часы, трогали деревянные футляры, став на цыпочки, дышали на стекло циферблатов.

— Вот эта пара как заколдованная, — сказал наконец один из уютных старичков о часах, стоящих в центре, — вот уже шесть месяцев, как выставили, и никто не покупает.

— Думаю, если их помыть... — откликнулся второй, — и помыть с умом.

— Помыть? — удивился Тихонов. — Разве часы... моют?!

— Это такой термин... Речь идет об обновлении часов, — пояснил Коноплев.

— Я не знал, — проговорил Тихонов.

Коноплев вздохнул:

— Мы с вами, к сожалению, многого не знаем и не понимаем.

— Отойдите, пожалуйста!

Коноплев обернулся и увидел широкоплечего мужчину лет тридцати пяти, который почти в упор рассматривал его в старинный, отделанный перламутром театральный бинокль. Николай Иванович сделал шаг назад.

Широкоплечий, поминутно меняя бинокли, которые раскладывала перед ним продавщица, доставая с полки, смотрел через них в витрину и дальше куда-то. Неясно было: то ли он проверял качество биноклей, то ли выглядывал что-то интересовавшее его на улице.

— Попробуйте этот! — продавщица протянула гражданину маленький, изящный, тоже отделанный перламутром биноклик.

Тот и его наставил на улицу.

— Восемнадцатый век, — говорила девица, — немецкая оптика, французский перламутр, редкое сочетание.

Коноплев хотел было подойти поближе, но не успел сделать и шага, как широкоплечий, перевернув бинокль, уставился на него сквозь большие отдающие стекла.

Это была изысканно нанесенная обида. В стиле антикварного магазина. Под стать выставленным тут старинно-аристократическим вещам.

В тот век, подумал Коноплев, когда делались эти часы и бинокли, полагалось, наверное, за такую выходку вызывать обидчика на дуэль. А что можно сделать с ним сейчас? Проверить документы? Нет, не годится.

А широкоплечий, уже потеряв всякий интерес к Коноплеву, положил бинокль на прилавок, бросил девице «благодарю» и зашагал к выходу. Николай Николаевич подошел к прилавку, взял маленький бинокль в руки и тоже посмотрел через витрину на улицу. Но ничего не увидел, кроме потока спешащих по своим делам людей.

— Что вас интересует? — с холодком спросила его продавщица.

Коноплеву захотелось по-человечески объяснить ей: «Все эти люди, все, кто к вам ходит, изучают облака и циферблаты, рассматривают что-то неизвестное в бинокли, — они-то меня и интересуют». Но сказать это было нельзя. И он ответил:

— Что-нибудь подешевле...

Девушка неожиданно подобрела:

— Тогда бинокли не трогайте, они дорогие. Подешевле... — она подумала и критически осмотрела Коноплева: — Мужчине или женщине?

— Жене товарища на день рождения, — Коноплев кивнул на Тихонова.

— Тогда посмотрите вот этот веер, — девушка протянула участковому нечто невесомое, прелестно-дряхлое, перистое. Тихонов взял это обеими руками, осторожно, как принимают живое существо.

— Да вы не бойтесь, — кокетливо рассмеялась девушка, — разверните вот так. Обмахнитесь. Давайте покажу.

Мягким, сильным движением она легко и грациозно раскрыла веер. Он оказался громадным, как крыло тропической птицы, черное старое крыло, закрывшее от Тихонова лицо девушки. Неуловимым движением пальцев она полузакрыла его, шевельнула, и Тихонову показалось, что крыло это живое. Он посмотрел на руку девушки как на чудо.

— Старинные вещи, — улыбнулась она, закрыв

веер, — имеют тайный язык, понятный лишь тем, кто общается с ними все время. Вот, например, этот веер, с его помощью можно передать множество разных мыслей.

Коноплев слушал ее рассеянно. Какая-то не ясная ему самому мысль, относящаяся то ли к вееру, то ли к часам, то ли ко всем этим вещам, к тайному их языку, начинала его тревожить, пока еще неопределенно, но настойчиво.

В управление вернулись вместе.

— Да, брат... темные мы с тобой, — с усмешкой сказал лейтенанту Коноплев. — Не можем даже подлинные облака от поддельных отличить... Впрочем, не картины должны нас интересовать, а люди. Наведывайся в магазин почаще, смотри, слушай, примечай... Может, и нападешь на что-нибудь интересное... А пока Расскажи-ка мне немного о себе. Кто таков, откуда родом?

Тихонов, выпрямившись, сидел перед Коноплевым. Фуражку держал в руках, не решаясь положить ее на заваленный бумагами стол. На лбу четко выделялся красноватый след от околыша. Он немного волновался. В его биографии не было ничего интересного.

Родился на Оке, в селе, носившем название Горы. Хотя гор там, конечно, никаких не было, а были холмы, затруднявшие земледелие, но зато придававшие селу редкую живописность.

Сильнейшим детским впечатлением Сани были поездки вместе с классом в районный и областной центры для посещения музеев. От этих посещений осталось чувство какой-то большой тишины, отъединенности от повседневной жизни и ощущение немого загадочного праздника. Загадочного, потому что никто не смеялся, не веселился, не резвился, ходили на цыпочках, тихо, стараясь и дышать неслышно, и все-таки, когда выходили на улицу, а потом в мерзлом автобусе тряслись, возвращаясь в село, было такое ощущение, будто бы весь день и пели, и играли, и разговаривали, и веселились как после новогодней елки или первого катания на лыжах. И в то же время где-то в глубине души жила эта тишина.

Такое же чувство испытал он и сегодня при посещении антикварного магазина.

— Это хорошо, что ты любишь искусство, что тебе нравятся красивые вещи... Не спорь, нравятся, я видел, как у тебя глаза разгорелись там, в антикварном. Но поскольку ты, как я понимаю, собираешься связать свою жизнь не с миром искусства, а с милицией, — что, замечу, далеко не одно и то же, — то глаза твои должны не только видеть, но и запоминать, а сам ты — не только воспринимать внешние впечатления, но и анализировать их, делая при этом необходимые выводы. О чем я?.. Сейчас поясню. Постарайся взглянуть на то, что происходит в антикварном магазине, глазами детектива, то есть внимательно и вдумчиво. Очень может быть, что там ничего особенного, противозаконного не происходит... И это будет лучше всего. Магазин существует для того, чтобы торговать, не для чего-нибудь другого. Но если что-либо необычное, странное привлечет внимание, милости прошу ко мне... Буду рад выслушать.

С этими словами Коноплев отпустил лейтенанта, несколько удивленного и даже разочарованного общим характером данного ему задания...

А между тем именно с этого разговора началась работа Александра Тихонова в уголовном розыске.

В один из первых своих выходных дней, который пал на субботу, Тихонов снова отправился в комиссионный магазин. Был он, как говорили у них в райотделе, «в разномастном штатском»: скромный коричневый пиджачок, серые брюки, старый плащ с подстежкой. По случаю субботы в магазине было полно людей. И он тотчас же влился в эту пеструю, в большинстве своем не посвященную в тайны антиквариата толпу. Ходил и смотрел в свое удовольствие, размякнув, расслабившись, с тем детским чувством любопытства, которое сохранилось в душе от первых поездок в областной музей. При прошлом посещении магазина этого чувства у него не было: мешало и сковывало присутствие Коноплева, не столько его звание подполковника, сколько известная Тихонову слава этого московского сыщика.

Он улыбнулся девушке-продавщице, которая его узнала.

— Я для вас оставила что-то, — негромко и даже, как показалось, дружелюбно сказала она.

Тихонов спросил:

— А неприятностей не будет? Наверное, не полагается это самое... откладывать?

— Что вы! Из-за вещи, которую я вам отложила, не будет неприятностей.

Она достала из-под прилавка похожий на детскую игрушку кошелек, твердый, тускло отсвечивающий перламутром. Расстегнула металлическую застежку.

— Красиво, старинно и недорого.

Тихонов вовсе не собирался ничего покупать и теперь растерялся.

— Мне для женщины, — выигрывая время, сказал он. И некстати.

— А вы разве не видите, что он женский?

— А веер уже купили?

— Тут только вот эти часы не покупают, — ответила девушка.

Тихонов посмотрел по направлению ее взгляда. Пара напольных часов стояла на своем месте, в углу. Те, что слева, показывали двенадцать, те, что справа, — восемь. Он вздрогнул.

— Что это с ними?

— С кем? — не поняла продавщица.

— С часами этими?.. То одно время показывают, то другое. Они что, идут?

— Да нет, стоят. Так вы берете кошелек?

...Когда позднее Тихонов старался установить самое начало того странного и тревожного состояния, которое предшествовало его открытию, он обращался мыслью к тем минутам, когда девушка стояла перед ним, нетерпеливо застегивая и расстегивая старинную перламутровую безделушку, а он неотрывно глядел на часы, испытывая почти детское удивление перед этими как бы сами собой передвигающимися стрелками. В прошлый раз правые показывали полдвенадцатого, а сейчас — восемь...

— Не страшно, — успокоила его девушка.

— Что не страшно?

— Что кошелек не берете, — уточнила девушка. — Если будет что-нибудь интересное и недорогое — для женщины — оставлю. Время терпит?

— Время все терпит, — ответил Тихонов и в задумчивости покинул магазин.

...И вот он снова — в который уже раз! — переступает порог магазина. Останавливается, оглядывается... И вдруг его охватывает ощущение, будто не хватает чего-то знакомого, привычно устойчивого. Неужели? Нет тех двух напольных часов, которые так долго не покупали! Тех, чьи стрелки почему-то постоянно передвигались, показывая разное время.

Он подошел к прилавку, возле которого какой-то узколицый мужчина выбирал бинокль. Приложил к глазам, посмотрел в сторону стеклянной витрины, проронил: «Нет, не для моих глаз» — и быстро пошел к выходу.

— Здравствуйте, — сказал он знакомой продавщице. — А что, те часы... все-таки купили?

— Уж не присмотрели ли вы их для себя? — рассмеялась девушка. — Опоздали. А вот это для вас... — она достала и положила перед Тихоновым красивую цепочку. — Вы не смотрите, что простой металл. Взгляните на работу. Как красиво, с какой любовью сделано. И недорого. То есть недорого для нашего магазина. Двадцать рублей.

Деваться некуда, Тихонов купил цепочку, ухлопав на нее все оставшиеся до получки деньги.

— Соскучился по вашему магазину, — объяснил он свой новый визит. — Будто бы и ненужные вещи в нем, ненужные в смысле обыкновенных потребностей, — несколько неуклюже уточнил он. — А вот соскучился.

— Не вы первый, — сказала девушка. — Кто к нам несколько раз зашел, тому уже без этого трудно жить.

— Так вы, должно быть, всех коллекционеров и даже самых знаменитых в лицо знаете?

— А вот и нет. Самые видные коллекционеры, как это ни странно, сюда не ходят.

Тихонов молчал, обдумывая ее слова.

«Почему самые видные коллекционеры сюда не ходят?» Тихонов совсем уже собрался задать этот вопрос продавщице, но взгляд его упал на небольшие напольные часы, занявшие место тех, проданных, и

остолбенел. Как он сразу не обратил внимания! Эти часы, появившиеся в магазине совсем недавно, показывали то же время, что и прежние: левые — 12, правые — 8. «Что за наваждение!» Он даже рот раскрыл от удивления.

Вечером того же дня Тихонов пошел в больницу к Денисову, капитану, который в течение последних десяти лет был участковым в этом микрорайоне. Он выздоравливал после воспаления легких.

— Я насчет магазина с вами потолковать, — сказал Тихонов.

— Ты о «Галантерее»? Опять обокрали? — Не дав собеседнику открыть рот, Денисов заговорил: — Самое паршивое место, при новейшей электронике три раза выносили все подчистую. Думаю, дело в близости к Москве-реке, нет ли какого подземного хода от берега?

Подземные ходы были больным местом капитана и служили предметом дружеских шуток в райотделе милиции.

Сохраняя серьезное выражение, Тихонов вежливо перебил словоохотливого капитана:

— Да нет, я об антикварном...

— Опять разбили витрину? Это ж какие деньги!

— С витриной все в порядке, целая, а вот что за люди там бывают? Странные какие-то... В десятый раз заглядываю и все не могу разобраться... То ли в магазине действительно темные дела творятся, то ли мне чудится, так сказать, игра воображения.

И Тихонов начал рассказывать о человеке, который, то и дело меняя бинокли, что-то зорко высматривал на улице.

— Ну, допустим, высматривал. Что из этого? — сказал Денисов. — А ты не допускаешь мысли, что человека посреди всей этой старины вдруг потянуло к сегодняшней жизни? Ходил он по магазину, ходил от картин к часам, от часов к фарфору. Надоела ему вся эта мертвечина. Вот и потянуло его к нашим сегодняшним будням, захотелось их увидеть, так сказать, в укрупненном виде. Ты, Тихонов, замечаешь, как меняется город, улица, микрорайон? Наверное, нет? Также мы не замечаем ведь и как меняется наше собственное лицо. Потому что видим его ежедневно. А оно меняется, лицо твое, становится муд-

рее, добрее, весь опыт жизни отпечатывается. А мы не видим. Так что, парень, кончай по антикварному слонов слонять. Слышал такое выражение? Оно старинное, так сказать, антикварное, наподобие всех этих чашек, часов. Ты сейчас исполняющий обязанности участкового инспектора, у тебя других забот полон рот. А ты, извиняюсь, ерундой занимаешься. Давно ли ты осматривал, например, подвалы и чердаки? У меня они, между прочим, были в полном порядке.

— Ну, я пойду, — сказал Тихонов.

— Да ты погоди... торговлю рядом с комиссионным магазином наблюдал?

— Какую торговлю? — Тихонов вновь опустил ся на табурет.

— С рук, из-под полы.

— Нет, не видал.

— А в подъезды соседние заглядывал?

— А зачем?

— Молодо-зелено, — Денисов потрогал, помассировал левое плечо, — я там частенько любителей искусства вылавливал. Загляни... может, встретишь своего знакомого... Ну того, с биноклем.

В ближайшую субботу (это было 5 июня) Тихонов отправился осматривать подъезды в домах, окружавших антикварный магазин. Ему не терпелось обнаружить участников подпольной торговли старинными вещами, о которой говорил ему Денисов. Но, увы, подъезды были пусты. В одном спугнул троих выпивох, в другом балующихся сигаретами пацанят... И никаких торговцев! Он был разочарован. Неужели Денисов обманул его?

Он вновь оказался у дверей антикварного. Рядом прощалась юная пара, по внешнему виду студенты.

— Ну, значит, так, завтра в то же время на том же месте, — сказал парень, медля выпустить из своих широких ладоней руку своей подруги.

В знак согласия она потрянула длинными волосами. Длинные волосы, по-видимому, снова входили в моду.

— Чао!

Тихонов со вздохом посмотрел вслед юной и гибкой девице. Остро ощутил свое одиночество.

— Здравствуйте! — молодая продавщица встретила

его почти приветливо. — Что-то вы припозднились сегодня. Скоро обед. Будем закрывать.

— А сколько сейчас? — Тихонов машинально посмотрел в сторону напольных часов. И его словно током ударило! На часах, стоящих слева, как всегда было 12, а стрелки циферблата соседних часов указывали 2. Тихонов сверился со своими наручными часами: без пятнадцати два. И вдруг его ошеломила догадка... Он вдруг вспомнил молодую пару, которая расставалась у дверей магазина. «В тот же час на том же месте». Уж не показывают ли стрелки этих часов время свидания? Где? «На том же месте». Да, но почему в таком случае на левых часах всегда 12? Постойте, постойте... Кажется, он догадывается. А что, если эта неменяющаяся цифра — лишь условный знак, что сигнализация действует? Мол, все в порядке, двигай на заранее установленное место свидания. Второй же циферблат указывает время встречи. Каждый раз новое.

Как раз в этот момент дверь отворилась, и в магазин вошел высокий, мрачного вида мужчина. Не взглянув на картины, не поинтересовавшись фарфором, он направился к одной из продавщиц. Та воровато оглянулась на часы, малая стрелка которых указывала на цифру 2, наклонилась к самому уху мужчины и что-то ему шепнула. Тот пожал плечами, повернулся и направился к двери.

— Бинокль, быстро! — скомандовал Тихонов.

Затем, мгновенно наведя бинокль на фокус, поймал незнакомца — тот перешел улицу и двинулся по тротуару.

Тихонов быстро вернул девушке бинокль и кинулся к выходу. Не решив еще, зачем он это делает, как будет вести себя дальше, в сущности, не думая ни о чем, боясь лишь упустить незнакомца, он прибавил шаг и почти настиг его. Остановившись возле небольшого жилого дома, мужчина резко открыл дверь и скрылся в подъезде. Вслед за ним туда же вошла средних лет женщина в пестром платочке и с сумкой в руке.

Тихонов постоял на месте, раздумывая. О чем шептался незнакомец с продавщицей? Почему, прежде чем ответить на его вопрос, она украдкой бросила взгляд на незаведенные часы? Имеет ли какое-

нибудь отношение к незнакомцу только что вошедшая в подъезд женщина? И что делать ему, Тихонову?

Не найдя ответов на эти вопросы, лейтенант потянул на себя дверь и вошел в полутемный подъезд. Он столкнулся с незнакомцем лицом к лицу. Мужчина смотрел на него спокойно и твердо. Женщина, выглядывавшая из-за его плеча, была смущена, расстеряна, губы ее дрожали.

— Вот попросим товарища нас рассудить! — хмурясь, произнес незнакомец. Неожиданно усмехнулся: — Товарищ понимает в этом деле, я вижу. Посмотрите, пожалуйста, только повнимательнее на эту табакерку. Моя приятельница не верит, что это XVIII век. Она не верит, — насмешливо и уверенно, как старому знакомому, сообщил мужчина Тихонову, — что на ней изображен Наполеон. Но на самом деле... на самом деле...

И только тут Тихонов разглядел, что женщина держит в руках табакерку. Мужчина взял вещь у нее из рук, протянул Тихонову.

— На самом деле, — повторил он в третий раз, — это явно Наполеон, а взгляните, пожалуйста, повнимательнее, тут темно, взгляните, внимательнее, — убеждал он его, — пойдемте к окну...

Женщина первая пошла к окну. Тихонов, обескураженный натиском незнакомца с табакеркой в руках, пошел за нею, а мужской голос за спиной убеждал:

— Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее, вы сейчас узнаете лицо человека, который... лицо человека...

— Как вы думаете, это Наполеон Бонапарт? — спросила женщина, обращаясь к Тихонову, как к главному знатоку и арбитру.

И Тихонов начал рассматривать табакерку. Старинную прелестную табакерку с туманным изображением толстощекого властного лица, такого знакомого и в то же время незнакомого. Когда он поднял голову, мужчины рядом не было.

— А где он? — спросил он женщину.

— Разве вы не знакомы? — удивилась она. — Он как-то быстро упорхнул... — она нервно, коротко рассмеялась и махнула рукой в сторону двери на улицу.

Тихонов выбежал. По тротуару густо шли люди. Он было сделал несколько шагов, но сообразил, что может упустить и женщину, быстро вернулся. Показал ей удостоверение сотрудника милиции, и она, все с тем же смущенным и растерянным лицом, время от времени нервно, коротко смеясь, объяснила ему, что сегодня увидела этого человека впервые в жизни.

Сейчас она все объяснит. Страсть ее мужа — собирать старинные табакерки. Скоро у него день рождения. Вот она и решила подарить ему табакерку. Обратилась в комиссионный. Там табакерок не оказалось. Ей пришла на помощь одна из продавщиц. Обещала помочь, взяла номер телефона. Сегодня женщине позвонили, назначили место и время. Подъезд этого дома, 2 часа дня. Если сделка совершится, я должна была заплатить комиссионные.

— Кому, продавщице?

— Конечно.

— А звонила вам домой она?

— Нет. Голос был мужской.

Тихонов взял у женщины паспорт, записал данные. Оставалось решить, что делать с табакеркой.

— Вы заплатили ему?

— Нет... Мы только-только успели войти, он достал табакерку, а... тут и вы появились.

«Выскочил, как черт из табакерки», — невесело пошутил про себя Тихонов. Сказал:

— Табакерка пока останется у меня.

— Конечно, конечно! — она рассмеялась почти истерично.

Через полчаса он уже был в кабинете Коноплева. Тот внимательно выслушал его, взял в руки табакерку, посмотрел на Наполеона, то ли мнимого, то ли настоящего, перевел взгляд на Тихонова, как будто тоже сомневался: настоящий ли он? Молодой человек потупился.

— Сколько было на твоих часах, когда ты покинул подъезд? — поинтересовался Коноплев.

— Без пяти два... Вся эта сцена и пяти минут не заняла.

— Если бы у тебя хватило терпения понаблюдать за подъездом еще пять минут, ты бы мог там накрыть

постоянных клиентов. Ну да ладно. Что с часами разобрался, молодец. А вот остальное...

Тихонов залился краской. Коноплев смотрел на него, едва удерживая улыбку. Этот лейтенант нравился ему. Молод, честолюбив и самолюбив... Ну что ж... Это не так уж плохо. Из подобных людей вырастают отличные работники, профессионалы, знатоки своего дела. Может, из Тихонова тоже получится что-либо стоящее?

Коноплев взял трубку внутреннего телефона:

— Алексеев? — Тут одна любопытная вещичка появилась, не посмотришь?

Через пару минут в кабинет вошел чернявый мужчина с острым взглядом близко посаженных к хрящеватому носу глаз.

Взял в руки табакерку, зачем-то понюхал ее и сказал:

— Как она к вам попала?

— Вот молодой человек принес... — ухмыльнулся Коноплев.

Пришлось Тихонову, мучаясь от стыда, вновь рассказать всю историю.

— М-да... молодец... — произнес чернявый. Это прозвучало как «лопух». — Надо будет порасспросить коллекционеров... Похоже, что краденая.

Преодолевая робость, Тихонов высказал предложение:

— А может быть, устроить очную ставку продавщицы с женщиной, покупавшей табакерку?

— А зачем? — поинтересовался чернявый.

— Чтобы узнать насчет сделок в подъезде, насчет сигнализации при помощи напольных часов...

— Так она вам все и выложит... Скажет, женщина искала подарок мужу. Оставила номер телефона. Вся вина продавщицы в том, что она передала этот номер владельцу табакерки.

— Но ведь звонил-то женщине не владелец! — с горячностью воскликнул Тихонов. — Он на моих глазах, за пять минут до свидания, узнал время и место встречи...

— Да, звонил женщине, по всей видимости, сотрудник продавщицы по темным делам. Но как вы это докажете? Никак! То-то и оно... Ограничимся тем, что обратим внимание администрации на бойкую

продавщицу... Пусть приглядятся повнимательнее, — сказал чернявый и удалился.

...На другой день, проезжая по ул. Димитрова, Коноплев остановил машину, зашел в антикварный. Посмотрел на часы. Стрелки левых часов стояли на цифре 6. «Видимо, они уже никогда больше не покажут 12, — подумал Коноплев. — Начнет действовать какая-нибудь другая сигнализация...»

И он покинул «лавку древностей».

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Это было два с половиной года назад...

Приближался Новый год... Вопреки своим правилам — проводить с коллективом времени ровно столько, сколько это предусмотрено служебным распорядком, и ни на минуту больше, Митя разыскал председателя месткома Кукаркину и попросил записать его на новогодний вечер.

— Пять рублей! — строго взглянула на Митю Кукаркина, как будто подозревала его в том, что он хочет выпить и поесть задаром.

— Да, да, конечно, — торопливо сказал Митя и полез в портмоне за пятеркой.

— Между прочим, местком доплачивает еще по три рубля на человека, — принимая от Мити деньги и желая его успокоить по поводу понесенных затрат, сказала Кукаркина и занесла фамилию Лукошко в список.

— Разрешите взглянуть, кто еще идет, — робко попросил Митя.

Он пробежал глазами столбик фамилий, нашел ту, которую искал, — Вишняк, и облегченно вздохнул. Вишняк — это была фамилия Нины.

Вечер проходил в загородном кафе «Лесное» — в длинном и узком помещении, похожем на коридор. Однако этот коридор никуда не вел, других помещений на первом этаже не имелось, кроме, конечно, подсобных. Столы были расставлены вдоль стен, украшенных дорогой чеканкой. Митю усадили на одном конце, — а Нину — на другом. Лицо ее смутно белело где-то там, далеко, в полутьме. «На чеканку денег не пожалели, а вот с помещением пожадничали, — с

досадой подумал Митя. — Неужели трудно было построить уютный квадратный зал?» До последней минуты теплилась надежда, что ему повезет и его посадят рядом с Ниной или, по крайней мере, напротив. Не вышло. С досады он быстро выпил положенное ему за внесенную плату и, подозревая официанта, заказал бутылку водки. Сидящие рядом женщины косились на Митю неодобрительно, зато мужская часть оживилась и разом дружелюбно с ним заговорила. Митя тотчас же смекнул, чем это ему грозит. Тут же наполнил принесенной водкой фужер и рюмку — для себя, а остальное отдал на разграбление, как говорится, на шарап.

В узком бетонном ущелье зала гулял холодный ветер. Из широко разверстых дверей кухни несло горелым. Нестройный гомон заглушил голоса смельчаков, произносивших тосты. Было холодно, неудобно, скучно.

Митя враз опустошил фужер с водкой. Закусил тонким и жестким, как подошва, ростбифом. С трудом подцепил вилкой несколько шариков зеленого горошка, отправил в рот.

Еще сегодня утром ему казалось, что в праздничной суматохе ресторанного великолепия удастся приблизиться к Нине, как-нибудь привлечь ее внимание. Сказать такое, что найдет отклик в ее душе. Сейчас об этом нечего было и мечтать. Ей, конечно, тоже холодно, она раздражена невкусной пищей, глупыми тостами, и Митя, заговорив с ней, ничего не добьется.

Хорошо понимая все это, Митя тем не менее, как только алкоголь зашумел в голове, тотчас же поднялся к месту и, перебирая короткими ножками, покатился вдоль по залу-коридору к противоположному концу стола. Вдруг грянул оркестр. И кстати: Митя сможет пригласить Нину на танец.

Подкравшись сзади, он положил руку на округлое теплое Нинино плечо. Она обернулась, увидела Митю. Улыбка сбежала с ее лица.

— Что вы хотите?

— Потанцуем... — он с трудом разжал губы.

Она пожала плечами, медленно, нехотя поднялась. Виляя бедрами, Митя повел ее в танце.

Он думал, что удастся обменяться с нею парой

фраз, но оркестр гремел так громко, а Нина держалась от Мити так отстраненно... А когда музыка стихла, Нина освободилась от Митиных рук, повернулась и быстро направилась у своему месту.

Он с трудом настиг ее.

— Пожалуйста, подождите минуту... — голос его звучал жалостно.

— Что еще?..

— Мне нужно с вами поговорить. Ради этого я вас и пригласил... Пойдемте в бар. Может быть, там лучше?

Бар был на втором этаже. Митя с трудом взобрался на высокий стульчик, вцепился руками в металлический поручень, ограждавший стойку, чтобы не упасть. Ноги его висели в воздухе, не доставая до пола.

Митя заказал коньяку — «самого дорогого» — и апельсиновый сок.

— Я хочу курить.

Митя попросил сигарет.

Она закурила, посмотрела на Митю из-под полупущенных ресниц:

— Я вас слушаю.

Митя почувствовал, что сказать-то ему и нечего. Он отхлебнул большой глоток коньяку, сделал усилие, разжал губы:

— Я интересовался вашей жизнью... Расспрашивал, собирал слухи, сплетни.

Она недовольно поморщилась:

— Вот как?

— Да... Я знаю, артистки из вас не вышло, любовь тоже не удалась...

Он говорил почти что со злобой. Нина вспыхнула:

— Простите, вам-то какое до этого дело! Я не позволю, не имеете права! — Она попыталась соскользнуть со стульчика.

Митя крепко схватил ее за локоть, удержал:

— Это право мне дает моя любовь к вам!

Она откинула назад голову, отчего темные блестящие волосы волной легли на плечи, невольно рассмеялась:

— Вы говорите — любовь? Вы и я... Да вы с ума сошли!

Он и впрямь чувствовал себя сумасшедшим! Мысли мешались в голове, сердце учащенно билось.

— У нас с вами не так мало общего, — хрипло произнес он. — Правда, вы красавица, а я...

— Да, вы не красавец, — зло хохотнула она.

— И все же мы — два сапога пара... Мы оба способны на многое, но нам не повезло...

— Чепуха! — она перебила его с горячностью. — Если в человеке что-то есть, это прорвется... Везение тут ни при чем. Большинство великих людей стали великими не благодаря обстоятельствам, а вопреки им... А вот бездарности часто жалуются на судьбу.

— А вы? Вы?! — он почти кричал на нее.

Она отшатнулась:

— Не кричите на меня! Что — я? Раз ничего не получилось — значит, я бездарность... Но вас это не касается. Нисколько.

Неожиданно Нина сникла, голова ее упала на грудь, волосы почти закрыли лицо темной пеленой.

У Мити сердце разрывалось от жалости и желания.

— Нет, вы замечательная! Волшебная! — губы его тряслись, пот заливал глаза.

Нина протянула тонкую руку, налила в картонный стаканчик лимонада из бутылки, залпом выпила. С силой сжала, скомкала стаканчик в ладони, капли лимонада, как слезы, упали на металлическую стойку.

— Весь этот разговор ни к чему... — устало сказала она. — Вы, Лукошко, герой не моего романа.

Гибким движением тела она соскользнула со стула и, оставив Митю одного, скрылась в дальнем конце бара, где, как кувшинки на болоте, плавали блики от невидимых глазу фонарей.

В субботу Митя хотел отоспаться, встать попозже. Но, как назло, с вечера не мог уснуть, спал плохо, беспокойно ворочался, часто просыпался. Очнувшись, тотчас же начинал думать о невеселом своем положении — о жалкой зависимости от отца, с которым хочешь не хочешь, а приходится ладить (а от один бог знает, что старик может написать в своем завещании, кому отказать коллекцию), о мел-

кой своей должности в учреждении, скудной зарплате, которую нельзя было рассматривать иначе, как показатель его никчемности и ничтожества, о Ляле, которая любила его, а он ее оттолкнул, и о Нине, которую, наоборот, пылко любит он, а она его терпеть не может... На сердце лежал тяжелый холодный камень, в висках стучала кровь. Так дальше продолжаться не может, надо что-то сделать, переступить какую-то черту, а там будь что будет. Что именно нужно делать и какую черту переступить — этого он не знал.

Под утро забылся коротким нервным сном. Ему снился бесконечно длинный холодный бетонный коридор. На одном его конце был он, Митя, а на другом — Нина. Мите хотелось приблизиться к Нине, он пустился бежать, из груди со свистом вырывался воздух, болели ноги, но расстояние между ним и ею не сокращалось.

Он пробудился в семь утра с головной болью, сухостью в горле. Засыпать более не стал, с него хватит этих кошмаров.

Отец уехал с театром на гастроли. Митя был один. Хоть это было хорошо. Он встал, набросил на плечи отцовский халат (своего у него не было) и отправился в путешествие по квартире. Сам того не подозревая, он сейчас во всем повторял отца. Так же, как он, остановившись в дверях, взглядом охватил коллекцию, всю сразу, и замер, застыл на месте, как бы оглушенный увиденным... Потом взял с батареи бархотку и мелкими, рассчитанными движениями стал стирать пыль с мебели, фарфора, хрусталя. При этом он вслух, как это делал обычно отец, досадовал, что так много пыли, откуда она только берется, неужели нельзя что-нибудь придумать, изобрести какое-нибудь средство против пыли, скажем аппарат, который бы притягивал пыль к себе и, пустив в действие химию, переводил бы эту мелкую серую субстанцию в иное состояние — в жидкость, которую можно выливать, или брикеты, которые можно выбрасывать... Мысль его бежала дальше: он, Митя, изобретает такой аппарат, обнаруживает у пыли неизвестные ранее полезные свойства, и вот уже брикеты спрессованной пыли идут в дело, в хозяйство, принося ему, Мите, огромные барыши...

Как удивится, прослышав об этом, Нина, как пожалеет о своей былой холодности к Мите, будет переживать, мучиться... Но он не станет терзать ее слишком долго, все забудет, все простит, и они живут легко и счастливо.

Усилием воли Митя отогнал от себя эту мысль — так и помешаться недолго — и продолжил свою возню с коллекцией. Действовал в той же последовательности, что и отец. Из обилия вещей и предметов он выбрал один — фарфоровую фигуру Амура в нищенском одеянии — и, бережно взяв в руки, стал внимательно рассматривать. Он пытался, как это делал отец, оценить тонкость и изящество работы, сделавшей эту вещицу столь известной и ценной, но помимо своего желания заинтересовался самим Амуром. Прелестный юноша, почти ребенок, силой обстоятельств жизни ввергнутый в пучину бедности... Но есть в самом Амуре нечто такое — возвышенное и прекрасное, что заставляет думать, что нынешнее плачевное его состояние — временное, преходящее, грустный эпизод в светлой и чистой жизни.

Митя тяжело вздохнул и аккуратно поставил Амура на место.

Была суббота, впереди уйма свободного времени, которым надо как-то распорядиться. Математические занятия? Митя их давно забросил, возвращаться к ним не хотелось. Читать? Он давно потерял охоту к чтению: то, что происходило с ним, внутри него, казалось ему неизмеримо интереснее того, о чем писалось в книгах. Еще недавно он проводил субботы и воскресенья с Лялей. У него сердце сжалось, когда он вспомнил, какие это были веселые, ясные дни. Поездка в Архангельское, блуждание по огромному, богатому дворцу (Митя, испытывая при этом приятное превосходство, прочел своей спутнице небольшую лекцию об истории российских сокровищ), прогулка по лесу, прошитому золотыми солнечными лучами, потом обед в хорошем ресторане, где среди посетителей было немало иностранцев...

А как Ляля любила его! Она прямо-таки светилась, когда они были вместе. А он, Митя? Любил ли он ее? Раньше ему казалось, что нет. Уж слишком легко, без всяких усилий с его стороны, досталась

ему ее любовь. И потом — милая смешная Ляля не была той женщиной, которой можно было бы гордиться. До голливудских параметров ей было далеко. Митя немного стеснялся появляться с нею на людях — в театрах, ресторанах... Ему хотелось бы, чтобы на его спутницу оглядывались. А Ляля? Что Ляля... Обычная женщина, каких много. Да еще и одета нелепо, одна вещь никак не вяжется с другой. А сделаешь замечание — обижается, на глазах выступают слезы.

И все-таки — как было бы хорошо, если бы он мог сейчас отправиться к Ляле, попробовать ее пирогов, обрушить на нее поток своих излияний — жалоб, претензий, фантазий, а потом забыться у ее теплой груди, в ее судорожных и сладких объятиях...

Но нет, этому не бывать. Он поборол внезапно нахлынувшую на него слабость. С Лялей кончено. У него есть ясная цель — Нина. Она. Только она одна.

Все же надо было чем-то заняться. И Митя, не отдавая себе отчета в том, что он опять-таки копирует отца, решил отправиться в антикварный магазин, на улицу Димитрова.

Когда-то, еще в детстве, отец прихватил Митю с собой в антикварный магазин. Он был расположен тогда в арбатском переулке. Мите показалось, что он попал в диковинное царство вещей. Каждая из них приковывала внимание, будила воображение призраками и видениями иной, далекой и непонятной жизни. Сами слова, которые вполголоса произносил отец, были старые, волнующе-сказочные:

— Бра... Канделябры... Були... Витраж... Медальон... Шкатулка... Подсвечники... Жирандоли...

Отец был здесь свой человек. К нему подходили какие-то люди, здоровались, едва коснувшись руки, и шепотом, едва слышным Мите, обменивались последними новостями. Фразу начинали с середины, как будто оставалось лишь закончить начатое ранее, во время прошлого посещения магазина.

— Слишком трехмерны для XVII века. Из собрания Тянь-Шанского... Работа самого Фаберже...

Люди эти были непонятны Мите: одеты неряшливо, движения быстрые, суматошные. В их облике почудилось нечто порочное и отталкивающее. Позднее он понял: всех их объединяла страсть, вернее,

не страсть, а страстишка, которой тесно было внутри этих старых и дряблых тел, и она вырывалась наружу, проявляла себя то хищным оскалом золотых зубов, то хрипотой внезапно севшего голоса, то потом, сыпью высыпавшим на лбу, то неконтролируемыми судорожными движениями рук, подергиванием лицевых мышц. Странное дело, и отец, обычно холодный и замкнутый, закованный в броню раз и навсегда устоявшихся понятий, вдруг на глазах преобразился. Круглые, как пяточки, пятна румянца проступили на впалых, пергаментных щеках, глаза заблестели, движения стали мелкими и быстрыми.

— Па-а-п, пойдём отсюда... — Митя задышался от терпкого запаха пыли, гнилостно-сладковатого аромата, исходящего этими старыми вещами, странным образом сохранившимися от давно ушедшего, невозвратимого времени. — Мне душно.

— Иди постой у магазина! — голос отца был резок, глаза гневно блестели, казалось, он готов прибить сына.

Митя вышел на свежий воздух. Походил по выщербленному тротуару возле деревянного флигеля, в котором ютился магазин, подкинул ногой загремевший спичечный коробок (оказывается, тот был полон), втоптал каблуком в асфальт серебристую бумажку от эскимо (тогда эскимо выпускали ещё в фольге), и ему вдруг стало скучно, неинтересно. Ноги сами собой понесли его обратно, в магазин. Он должен преодолеть в себе антипатию к этому миру. Ведь именно здесь отец вылавливает одну за другой те красивые и дорогие вещицы, которые составляют их коллекцию. Коллекция эта принадлежит не только отцу, но и ему, Мите, отцовскому наследнику, и он должен, обязан досконально знать все, что имеет к ней какое-либо отношение.

...Старый магазин на Арбате снесли. Приехала какая-то диковинная машина и чугуновой чушкой развалила деревянный флигель, а потом бульдозеры железными скребками сгребли горы бревен и мусора в кучи. Кучи подожгли. Все, что могло сгореть, сгорело. А магазин получил новое помещение, на улице Димитрова.

Новый магазин не понравился Мите. Приземистая бетонная коробка, прилепленная к жилому дому. На

таким сооружении привычнее выглядит вывеска «Универсам» или «1000 мелочей». Митя прошелся по просторным, светлым залам, приценился к огромной медной люстре, висевшей у окна на тяжелой цепи, присвистнул: «Ого, три тысячи!» На стене в три ряда висели картины. Краски были тусклые, потемневшие от времени. Задрав головы, картинами любовались посетители — какой-то военный с серебристыми висками, плотный мужчина с портфелем под мышкой и девочка-пионерка. Митя оглянулся. А где завсегдатаи старого магазина — в помятых плащах и нечищенных ботинках, с карманами, оттопыренными пачками ассигнаций? Любому из них ничего не стоило отвалить три тысячи и кивнуть продавщице вот на такую громадину люстру: «Заверните, любезная».

Нет, этих людей не было... Митя почувствовал разочарование. В тесных, полутемных залах старого магазина жил таинственный дух антиквариата, жила тайна... А здесь... Ширпотреб, одно слово.

Митя тяжело вздохнул и вышел на улицу.

День клонился к полудню. В потоках солнечного света еще не достроенная Октябрьская площадь выглядела веселой, уютной. Митя пересек улицу Димитрова и подошел к новому зданию метро. У него были фигурные, как соты, стены. Эта станция метрополитена выросла на месте старого кинотеатра «Авангард».

Митя вдруг ощутил, что ему хорошо. Он живет в огромном, чистом городе, ему нравится его учащенный ритм, его размах.

Только Митя подумал об этом, как вдруг — бац! — неприятная встреча. При входе в метро он натолкнулся на Никольского, того самого, которого приняли вместо него, Мити, в аспирантуру.

Никольский почему-то обрадовался Мите. Схватил за плащ, оттащил в сторону, видно было, что он настроен на долгий и подробный разговор.

— Сколько зим, сколько лет!

Митя криво улыбнулся:

— Две зимы и одно лето.

— Да, да, я знаю, — затряс Никольский кудлатой головой. Глаза его были сильно увеличены линзами очков, взгляд его, казалось, проникал в душу.

«Вот именно он, этот Никольский, и увел у меня из-под носа место в аспирантуре», — попытался вызвать в себе злость Митя. Но злости против Никольского у него не было. Разве парень виноват, что выбор Воздвиженского пал на него, а не на Митю?

«Может, он и в сердце Ляли занял мое место?» — подумал Митя. Эта мысль почему-то больно уязвила его.

— Где вы работаете, Лукошко, если не секрет?

Заданный в упор вопрос требовал ответа. Митя поежился. Врать не хотелось, он назвал место своей работы. На лице Никольского появилось удивленное выражение:

— Вы, математик, и вдруг — в коммунальном хозяйстве? И чем вы там занимаетесь?

Митю так и подмывало послать этого чернявого, невесть откуда взявшегося Никольского к черту и нырнуть в прохладное чрево метро. Но тот не отставал.

Делать нечего. Митя заговорил. И тут же ощутил прилив вдохновения. «Математики, — важно изрек он, — способные руководить большими вычислительными работами, наперечет. А между тем потребность народного хозяйства в них все растет и растет. Правда, выработка оптимальных режимов движения троллейбусов выглядит не такой сложной, как расчет траектории снаряда, но и тут есть над чем поломать голову. Сейчас я, например, разрабатываю систему ОПУ».

Эту «систему ОПУ» Митя выдумал только что, на ходу... Он надеялся, что Никольский отвяжется и можно будет продолжить свой путь домой. Но тот впился как клещ: что это за «ОПУ», с чем его едят?

Пришлось Мите продолжить:

— ОПУ — это, милый мой, организация, планирование, управление...

На Митю, как это не раз бывало с ним в сложных ситуациях, нашло... Отирая со лба обильный пот (солнце нещадно пригревало, а снять плащ он не догадался) и размахивая короткими руками, Митя вещал: за день городской транспорт перевозит 15 миллионов человек, из них две трети — наземный транспорт, автобусы, троллейбусы. Их число растет, но в часы пик по-прежнему давка, теснота, очереди...

Он, Митя, сейчас решает задачу оптимального закрепления маршрутов за парками «с целью ликвидации нулевых пробегов» — пояснил он. Дело сводится к известной задаче линейного программирования. А вот методы теории вероятностей и математической статистики он использует для создания качественно новой методики нормирования времени рейса. «Что еще? Для планирования работы бригад и выходов на маршруты применяю графоаналитический метод... На повестке — разработка алгоритма автоматизированного составления маршрутного расписания. В общем работы — прорва! Долго рассказывать... А впереди и того больше — АСУ для города».

Никольский выглядел подавленным.

— Вот вы, оказывается, какими делами ворочаете. А я... То пишу за Воздвиженского рецензии на всякие статьи, которые ему присылают на отзыв, то готовлю ему материалы к симпозиумам...

— Ах так?

Митя испытал прилив злорадного удовлетворения. «Так тебе и надо!» — подумал он.

Небрежно поинтересовался:

— А как там Ляля?

Никольский вначале не понял:

— Елена Владимировна? Разошлась с мужем. Живет у отца. Воспитывает сына.

— Что она... Постарела?..

Никольский пожал плечами:

— Да нет, все такая же... Если бы вы знали, какие она пироги печет!

Митя впился взглядом в смуглое лицо Никольского. «Да нет, вряд ли... Похоже, что дальше пирогов тут дело не пошло». Он сам себе удивился: уж не ревнует ли он Лялю? Впрочем, разве можно ревновать человека, если его не любишь?

Митя не думал, не гадал, а так вышло: случайная уличная встреча со старым однокашником Никольским, грозившая ему унижением, обернулась удачей, победой, да еще какой!

Недавний разговор с завсектором, который просил Лукошко подумать над мерами по улучшению работы транспорта в часы пик, оставил его равнодушным. Он и не собирался ни о чем таком думать. Душки! Думать, тратить свое серое вещество за 120 руб-

лей в месяц, нет, на это он не согласен, найдите дураков в другом месте. Его чувства дремали, и мысль бездействовала.

Но стоило Мите испытать болезненный укол самолюбия при встрече со своим удачливым соперником Никольским, как его нервная система послала могучий импульс в мозг, мозг стремительно заработал и выдал «на гора» идею, и не такую уж пустячную идею, надо сказать.

Весьма возможно, что мысли эти начали созреть в Митиной голове гораздо раньше, только он сам не отдавал себе в том отчета. Но стоило Никольскому наступить Мите на любимую мозоль, и Митины мысли облеклись в слова, то есть обрели форму и теперь уже существовали как бы помимо своего автора.

Когда на очередном совещании в управлении речь зашла о резервах улучшения работы транспорта, Лукошко поднялся на трибуну и произнес получасовую речь. Он и сам не понимал, зачем это ему нужно. Скорее всего, для того, чтобы обратить на себя внимание Нины, сидевшей на последнем ряду, с краю, у окна.

Митю слушали внимательно. В конце совещания председательствующий расхвалил его предложение и даже призвал создать особый отдел, который бы занялся претворением этого предложения в жизнь.

Через две недели сверху дали «добро» на создание такого отдела. Руководство им было возложено на Митю. Зарплата его сразу же повысилась вдвое.

А вскоре в столовой к Мите подошла Нина. Он сидел за столиком, крытым голубым пластиком, и старательно выскребал ложкой из тарелки остатки супа.

— Я хочу перед вами извиниться, — сказала Нина. — Тогда на вечере я обошлась с вами невежливо. Понимаете, мне казалось, что вы... Впрочем, это не имеет значения... Я рада, что ошиблась в вас. Извините.

Прежде чем Митя успел что-либо ответить, она повернулась и отошла. Ему не оставалось ничего иного, как продолжить свое занятие — доедать суп.

Но внутри у него все пело. Кажется, все-таки появился шанс.

Когда-то Нина бросила ему горькие слова: «Вы герой не моего романа». Он постарался выяснить, кто же он — ее герой. Ему это удалось. Кукаркина, которая знала все о каждом, по секрету сообщила ему: у Нины был роман с известным журналистом-международником Мочаловым.

Как-то Митя увидел эту фамилию на афише у Политехнического и отправился на лекцию о международном положении. Ему не терпелось увидеть счастливца, человека, которого любила Нина.

Мочалов не показался Мите красавцем. Худой, сутуловатый, с невыразительным лицом. Однако в нем что-то было. Митя тщательно оглядел своего соперника с головы до ног. И открыл для себя много интересного. До сих пор ему казалось, что мужские костюмы бывают лишь четырех цветов — серые, синие, коричневые и черные. Однако костюм Мочалова явно выходил за пределы этой цветовой гаммы. Какого цвета был его пиджак? Болотного, бутылочного, фисташкового? А брюки? Цвета кофе с молоком? А туфли? Апельсиновые, что ли? Галстук же был невообразимо яркого желтого цвета, но почему-то очень шел к темно коричневой (кофе без молока) рубашке и всему остальному. Такое было впечатление, будто у Мочалова имелся личный дизайнер, который тщательно одевал его дома, перед выходом.

Митя попробовал взглянуть на себя со стороны. Брючонки темного грязно-коричневого цвета, на задку отвисают, в боках пузыри, как у галифе, они явно коротковаты, из-под них видны носки. В общем, гадость. Не хватает еще, чтобы Нина полюбила его, такого...

В тот же день Митя снес в комиссионку отцовский подарок — фарфорового божка. После чего обратился за помощью к одному мазурику Кеше Иткину, успешно сбывавшему сотрудникам Системтехники разные дефицитные вещи. У него приобрел чеки в «Березку», где отхватил голландский костюм — серовато-бежевый, в крупный рубчик, с металлическими, цвета потемневшего серебра, пуговицами. Достать за баснословную цену итальянские ботинки,

французский галстук и югославский батник помог ему тот же Кеша Иткин.

Короче говоря, Митя приоделся. И вовремя! Его пригласили в одно высокое учреждение, в просторный кабинет, стены которого были отделаны дубовыми панелями, и там внимательно выслушали. Теперь уже речь шла не о наземном пассажирском транспорте, а обо всем городском хозяйстве. Митя говорил веско, с апломбом:

— Мы не можем обещать, что в один прекрасный день москвичи проснутся и увидят, что в управлении большим и сложным хозяйством сразу исчезли все недостатки... Потому что где-то нажали кнопку и включили АСУ. Некоторым представляется: сидит в кресле председатель горсовета, перед ним — огромная электронная карта города, и он в любую секунду может видеть, что и где происходит, и тотчас же принять решение...

Лукошко вежливо перебили. А почему бы, спросили его, и не быть такой карте, разве оперативная информация не основа для наилучших решений?

Лукошко загорячился: все будет, непременно будет — и экраны «дисплея», и перфокарты, и перфоленты, магнитные барабаны и диски, всевозможные способы ввода, хранения и выдачи информации. Но «чудо-карта» председателю горсовета ни к чему. Она нужнее, скажем, пожарникам или «скорой помощи». Что же касается решений стратегического характера, то они будут приниматься так же, как сейчас, — документированно. Но... Митя сделал паузу: — Но сами документы станут другими: точными, унифицированными, лаконичными.

Митя понял, что поступил верно: не стал расхваливать свой проект, а, наоборот, проявил трезвый подход к делу, предостерег против неоправданно больших ожиданий. И это убедило. Его поддержали, сказали добрые слова, обещали помощь.

Он вышел из кабинета окрыленным. У него было такое чувство, как будто полоса невезения кончилась и теперь все, абсолютно все ему будет удаваться.

Снова для Мити начались горячие дни, как тогда, когда он бился над теоремой Ферма. Он сидел в

своем кабинетике среди ворохов нужной ему литературы, документации, черновиков. То и дело входили и выходили какие-то люди, делились сомнениями, спорили, спрашивали совета. Митя в югославской рубашке с закатанными рукавами (пиджак с вывернутым внутрь рукавом косо висел на дверце шкафа) и начавших терять форму голландских брюках присаживался на угол стола, горячо что-то доказывал, убеждал в чем-то, снова усаживался за свой стол. Шурша страницами, вгрызался в книгу, потом начинал писать, царапая пером бумагу и разбрызгивая микроскопические чернильные брызги.

В эти дни он не замечал, как бежит время. Куда только делась недавняя скука, когда восемь часов рабочего времени тянулись, как резина, и Митя уставал от ничегонеделания. Сейчас работы было невпроворот, но, странное дело, чем больше Митя тратил сил, тем больше их становилось, он чувствовал себя крепким, выносливым, способным на многое.

Хотя все это Митя делал, как ему казалось, ради Нины, чтобы возвыситься в ее глазах и добиться ее признания, именно о ней он в это время как раз и не думал. Некогда было. Нароботавшись за день, он, едва ложился в постель, мгновенно засыпал мертвым, без сновидений, сном, а утром, едва ополоснув лицо и позавтракав, снова спешил на работу, в свой узкий, как пенал, кабинет, за свой старенький, выдавший виды стол.

Однажды он поймал себя на мысли: а нужна ли ему Нина? Жизнь его сейчас была так заполнена, что отыскать в ней место для Нины было бы, пожалуй, нелегко. Тем более что место ей потребуется много, не уголок какой-нибудь, а целая площадь, во всю ширь.

Он начисто прекратил свои ухаживания за Ниной. Но она сама пришла к нему.

Нина поджидала его в скверике, напротив входа в «контору», как определил для себя Митя место своей работы. Она делала вид, что присела на лавочку, чтобы подкрасить губы. Но по торопливости, с которой Нина, заведя Митю, сунула зеркальце в открытую сумочку, догадался: ждет его.

Она округлила глаза:

— Вы?

— Да я... — Занятый мыслями о своем проекте, он не нашелся, что ответить.

Тем не менее слова их прозвучали как пароль и отзыв. Митя и Нина пошли по дорожке, посыпанной ярко-желтым песком.

— Как ваш проект? — Нина первой прервала затянувшееся молчание.

Митя обрадовался. О своем проекте он мог говорить до бесконечности.

— Понимаете, в подобных масштабах задачи автоматизации управления решаются впервые, — начал он. — Правда, за рубежом имеется кой-какой опыт...

Он говорил уверенно и вместе с тем немного небрежно, чувствуя, что завладел ее вниманием, что она жадно ловит каждое его слово.

— Некоторые муниципалитеты создают свои банки данных... Неплохой банк такого типа имеется, например, в Брюсселе. Первоначально он был создан для нужд налогового управления. Но помогает решать и более важные задачи...

Он перешел к своему проекту.

— Вот что меня беспокоит, — хмуря брови, отчего его круглое лицо приобрело начальственное выражение, проговорил Митя. — Меня беспокоит, как бы система, которую мы создаем, не обнаружила тенденцию к саморазрастанию... А то может наступить время, когда коллектив сам станет неуправляемым...

— Я вас понимаю, — слабым голосом отозвалась Нина. Она словно была загипнотизирована видением некоей огромной организации, колоссального, имеющего тенденцию к дальнейшему разрастанию коллектива, во главе которого стоит ее спутник, шагающий рядом по усыпанной свежим песком дорожке и время от времени деликатно поддерживающий ее под локоток: «Осторожно, камень», «Правее, а то тут грязно...»

Сквер внезапно кончился, и они очутились на тротуаре, среди спешащих по своим делам людей, на краю Арбатской площади.

Они замолчали.

Нина нервно кусала кубы.

Совсем недавно ее постигло горькое разочарование, ее самолюбие было уязвлено. Человек, которого она, кажется, полюбила, неожиданно порвал с Ниной, видимо усмотрев в отношениях с нею угрозу для своей налаженной семейной жизни. В Нининой жизни все бывало: и она бросала, и ее оставляли, но последняя история почему-то больно подкосила ее. Может быть, потому, что удар последовал внезапно, а может, потому, что она меньше всего его ожидала? Как бы там ни было, Нина, залечив рану и поразмыслив, решила жить по-другому, «по-мужски» — так она определила для себя манеру своего будущего поведения. Без предрассудков и сантиментов. Тогда и разочарований меньше будет. Кстати, и о семье пора подумать. Кто сказал, что браки совершаются на небесах? Глупости. Они заключаются здесь, на грешной земле, и несут на себе печать грешных помыслов и расчетов. «Брак по расчету» — разве это плохо? Разве лучше брак без расчета, по наитию, с бухты-барахты, на авось? Нет уж, больше она ошибки не сделает.

Нина стояла рядом с Лукошко... Мимо, обтекая их, стремительным потоком двигались люди. Молодые и старые, хмурые и веселые, тихие и шумные. Их было много, но всем им не было никакого дела до нее, Нины. Почему-то это больно уязвляло ее, темная печаль теснила грудь. Почти машинально она протянула руку и ухватила за Лукошко. Он тут же локтем прижал ее руку к своему боку.

Это Нинино движение вывело Митю из состояния полной растерянности, в котором он пребывал, не зная, на что решиться. Справа виднелись аляповатые рекламы кинотеатра «Художественный», слева манили уютные балконы ресторана «Прага»... На что решиться, куда пригласить Нину? Хуже всего было то, что чутье подсказывало ему: начав вновь ухаживать за Ниной, он может все испортить. Инициатива должна исходить от нее.

Но и ждать, стоя в толкучке на тротуаре, дальше было невозможно. Неожиданно взяв Митю под руку, Нина выручила его. Он осмелел.

— Вы нестандартная женщина... И правильно меня поймете, — не глядя на Нину, проговорил он. —

Другой бы вас пригласил в кино или в ресторан. — Он махнул рукой в сторону площади. — Я вас приглашаю к себе. — Торопливо, боясь, что она все-таки неправильно его поймет и выдернет руку из-под его локтя, добавил: — Я хочу показать вам уникальную вещь... Вернее, много вещей. Коллекцию, которая стоит как минимум полмиллиона рублей.

Он знал, что эти полмиллиона произведут на Нину впечатление. Сказал небрежно:

— Но главное, конечно, не в деньгах... Для меня это царство красоты.

Отец был в отъезде, и Митя, чувствуя себя единственным и полноправным хозяином квартиры, ввел в нее Нину. То, что случилось; превзошло все его ожидания. Коллекция подействовала на Нину, как удар молнии. Она стояла, прижав к груди руки, в широко раскрытых глазах пролетали желтые искорки. Потом, когда оцепенение первых мгновений прошло, она словно сошла с ума, начала метаться по квартире — от вещи к вещи, от сокровища к сокровищу, ее гибкое тело мелькало то тут, то там... Она трогала, гладила полированные поверхности хрусталя, металла, дерева, с ее губ слетали восклицания — удивления, восторга... Легкий, счастливый смех рвался из ее груди, но Мите казалось, что он вот-вот перейдет в рыдания.

Митя сидел на павловском диване — красного дерева, отделанном полосатым шелком — и во все глаза смотрел на Нину. Вот она и пришла к нему. Эта красивая женщина вписывается в коллекцию, она уже сама как будто ее неотъемлемая часть. Нина нужна Коллекции, а Коллекция нужна Нине.

Эта мысль расставила все по местам, принесла успокоение. Так надо. Чему быть, того не миновать. И когда Нина, совершая свой легкий, полубезумный танец по квартире, вдруг оказалась возле него, Митя взял ее за руку и уверенно, с силой притянул к себе, на павловский диван.

— Вы не такой, как другие... — торопливо, сбивчиво, как в бреду, говорила ему Нина. — Ненавижу красивых мужчин. Это эгоисты и себялюбцы. А вы... Мне нравится, что вы не обращаете внимания на свою внешность.

Митя усмехнулся: значит, она не заметила ни

голландского костюма, ни французского галстука... А он-то, дурак, старался!

— Для таких людей, как вы, — продолжала Нина, — главное — дело, вы живете яркой внутренней жизнью. Вы остро, глубоко чувствуете...

Мите показалось, что она сама себя уговаривает. Слова, будто заклинания, срывались с ее ярко-красных, воспаленных губ.

...А через полгода она стала его женой.

СЕРДИТЫЙ ЗВОНОК

В последнее время Борис Никифорович Заяц зачастил к Коноплеву. Повод дал сам Николай Иванович. Он позвонил ему и спросил, знаком ли Борис Никифорович с историей русского коллекционирования или это лежит вне сферы его компетенции. Но вряд ли существовала какая-то область исторической науки, о которой не был бы осведомлен Борис Никифорович. Он охотно согласился просветить Коноплева, но сказал, что разговор этот — не телефонный, требует времени. Обещал заскочить на Петровку и поделиться всем, что знает.

Коноплев и сам до конца не понимал, зачем понадобился ему Борис Никифорович. У него не выходила из головы их последняя встреча на старом Арбате, у дома, где жил Лукошко. Что делал там уважаемый историк в столь неурочный час? Что за тючок прятал под полами размахайки? Данные им объяснения не удовлетворили Николая Ивановича. Но и подозревать Зайца в чем-либо противозаконном не было оснований. Так что, организуя новую встречу с историком, Коноплев следовал скорее интуиции, чем логике.

Буквально на другой день после его звонка Борис Никифорович появился на Петровке — рыжий, в конопушках, с большими оттопыренными ушами, шумный, деятельный, подвижный, несмотря на свою хромоту.

— Что-то вас заинтересовала история русских богатств? Уж не ограбили ли, не дай бог, Оружейную палату?

— Нет, не ограбили. Палата цела. Садитесь, пожалуйста, — улыбнулся Коноплев.

Но Заяц, опираясь двумя руками на свою палку, продолжал стоять перед Коноплевым, пристально глядя в его лицо:

— Так чем же тогда вы сейчас занимаетесь, если не секрет?

— Секрет, в том-то и дело, что секрет, — удивляясь странному любопытству Зайца, проговорил Коноплев. — Вы наш консультант, и должны знать, что мы свои секреты хранить умеем.

— Да, да, извините, запамятовал. — Заяц громко захохотал, как показалось Коноплеву, неестественным смехом и, прислонив свою палку к столу, уселся на стул.

Они проговорили около часа. Заяц ушел, а через три дня снова появился на Петровке, хотя о повторной встрече они не улавливались.

— Вспомнил кое-какие подробности, — сказал он.

Слушая интересный рассказ Бориса Никифоровича, Коноплев мысленно отметил про себя, что консультант, судя по всему, не просто «вспомнил подробности», а порядком-таки подготовился к этому разговору, проштудировал литературу. Но не обижаться же прикажете за такое усердие на милейшего историка! Благодарить его надо, благодарить...

— Ох, уж эти русские богатства! — говорил Заяц, играя мускулами и кожей своего подвижного, будто резинового лица. — Об этих богатствах ходят легенды. А между тем именитые люди, бояре жили более чем скромно. Князь Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России» писал, например: «Не только подданные, но и государи жизнь вели самую простую: дворцы их были не обширны... Во всех комнатах стены были голы и не имелось иной мебели, кроме скамеек...» Вот примерно, как у вас здесь, — Заяц обвел рукой комнату и снова рассмеялся. — Для царя и царицы, правда, были кресла из орехового дерева, обитые сукном... Ежедневно цари обедали на олове, а серебро употреблялось лишь в торжественных случаях.

— Что это вы решили, Борис Никифорович, пропеть хвалебную песнь бережливости русских царей и бояр? — проговорил Коноплев.

— Дело вовсе не в бережливости, а в обычаях тех лет, — ответил Заяц. — Роскошь богатых бояр

проявлялась... в чем бы вы думали? В конских уборах. Арчаки и седла украшались драгоценными камнями, стремяна делали иногда даже из золота, попоны шиты золотом и серебром, унизаны жемчугами. Так роскошествовали, заметьте, мужчины, которые ездили верхом. А женщины путешествовали весьма скромно, даже царицы пользовались колымагами без рессор. Но все это было еще в допетровские времена. А вот при Петре...

— Пойдите, — прервал Зайца Коноплев, — а мне казалось, что Петр Первый жил довольно скромно.

— Так оно и было, — закивал головой Борис Никифорович, — сам Петр действительно был бережлив. Он, кстати, первым из государей отделил государственные богатства от своего личного состояния. Состояние это было весьма невелико. И в частной жизни Петр сообразовывался со своими доходами. После своей кончины Петр не оставил ни капиталов, ни сокровищ, лично ему принадлежавших.

— И все же, говорите вы...

— Да, и все же Петр допускал и даже поощрял в придворном кругу роскошь. Ибо видел в этом одно из необходимых условий для развития фабрик, ремесел и в особенности торговли. После Петра роскошь сделала на Руси слишком большие успехи. Так что императрица Анна Ивановна даже предприняла гонения... на слишком дорогую одежду своих придворных. На одежды налагались печати, которые обязывали хозяина донашивать ее, не делая новой.

Коноплев критически оглядел свой костюмчик с коротковатыми рукавами и отвисшими боковыми карманами, в которых он имел обыкновение носить все свои богатства — связку ключей от шкафов и сейфа, записную книжку, громыхающие пластмассовые баллончики «Сустака», мелочь и многое другое. Заяц перехватил его взгляд, раскатисто засмеялся. Кожа на его лице и лбу задвигалась, во все стороны побежали морщины и морщинки:

— Нет, не беспокойтесь, милейший Николай Иванович! На ваш костюмчик за 120 рэ никто печатей не наложит. Так что спокойненько донашивайте так, без печатей.

На самом Борисе Никифоровиче были модный рыжеватый пиджак из тончайшей натуральной кожи

и темно-коричневые брюки в крупный рубчик, так же как и пиджак, заграничной выделки. На пальце, поросшем рыжеватым пухом, посверкивал перстень с крупным камнем. Нет, знания, которыми была набита голова историка, не лежали там бесполезным грузом, а верно служили своему хозяину, принося ощутимые вещественные выгоды.

Борису Никифоровичу было нетрудно расшифровать внимательный взгляд собеседника.

— Любуетесь на мои сокровища? — сказал он Коноплеву, ласково поглаживая матовую кожу своего рукава, а затем поднеся к глазам руку с перстнем. — Честно говоря, это все, что у меня есть. Как говорили древние, все свое ношу с собой. Мелочи. А вы вот послушайте-ка, какие богатства были конфискованы у впавшего в опалу сиятельного князя Меншикова! Специально для вас сделал выписку...

Заяц с треском открыл на груди клапан кармана (такая у него была наимоднейшая застежка: плотно входившие друг в друга микроскопические пластмассовые острия), извлек оттуда мелко исписанный листок.

— Чего только не оказалось в имуществе князя Меншикова! Здесь были и орденские кресты и звезды, осыпанные бриллиантом и жемчугом, бриллиантовые запонки, множество золотых табакерок, украшенных алмазами, бриллиантовые пуговицы, такие же пряжки, перстни, куски литого золота, шпаги и кортики с золотой отделкой, усыпанною бриллиантами, трости с бриллиантовыми набалдашниками, изумруды, портреты в золотых рамках, отделанных алмазами, золотые орденские цепи, белые и лазоревые яхонты, нитки жемчугов, складни с бриллиантовыми искрами, с такими же искрами пояса и головные уборы, изумрудные перья с алмазами, какие в то время носили на шляпах, золотые блюдечки с яхонтами, изумрудами, рубинами и алмазами, «персоны» Петра Великого в золотых рамках, образа в золотых ризах, униженных бурмицкими зернами, желтые алмазы, булавки с драгоценными камнями, серьги, подвески. Кстати, судьбой какой коллекции вы сейчас изволите заниматься?

Брошенный, будто невзначай, вопрос снова неприятно задел Коноплева. Что это: невинное чело-

веческое любопытство или желание что-то выведать?

— Вот я слушаю вас и думаю: в судьбе всех частных коллекций — больших и малых — есть нечто общее, как правило, они наживались нечестным, как мы ныне говорим, нетрудовым путем и не приносили радости ни своим владельцам, ни их близким, — не отвечая на вопрос Зайца, заметил Коноплев.

— Да, пожалуй, вы правы, — сказал Борис Никифорович, и словно тень набежала на его чело, поросшее рыжим пухом, светлые брови сошлись у переносицы, и глубокая вертикальная складка прорезала лоб. «О чем он думает? Какие мысли копошатся в этой хитроумной голове? Впрочем, это меня не касается», — остановил себя Коноплев. И поблагодарил историка за интересный разговор.

А через несколько дней после этого Коноплев неожиданно-негаданно обнаружил пропавшую скрипку Зайца в коллекции покойного Лукошко...

На днях сын коллекционера Дмитрий Лукошко обратился к следователю с просьбой снять с квартиры печати, которые были наложены по ошибке в то время, когда он находился в больнице. Он намерен поселиться на старом Арбате, где и прописан. Просьба Лукошко-младшего была вполне законна. Лукошко-младший хотя фактически и проживал в последние годы на площади жены, однако прописан был вместе с отцом.

Конечно, никак нельзя было упустить последней возможности побывать на квартире Лукошко, еще раз свидеться с его коллекцией. На этот раз Коноплев отправился туда один, без Сомова. Его присутствие стесняло Николая Ивановича: слишком много энергии уходило у него на споры с этим человеком. Сейчас в квартире только он сам и понятия.

Николай Иванович распахнул дверь на балкон, вышел, с удовольствием глотнул свежего воздуха. После недавней болезни он плохо переносил пребывание в душных помещениях. Поэтому хотя и любил театры и кино, однако стал бывать в них реже, выбирая при этом те помещения, где была приличная вентиляция. Жена посмеивалась над ним: «Хорош

театрал!» Но делать нечего, возраст берет свое, поневоле приходится приспосабливаться.

Эта мысль была неприятна. Коноплев усилием воли отогнал ее, вернулся в комнату и принялся за работу.

Повсюду — на мебели, на фарфоровых фигурках, на люстрах лежал толстый слой пыли. Откуда она только берется в закрытом помещении?

Коноплев взял с полки фарфоровую статуэтку, изображавшую юного Амура в нищенском одеянии, машинально перевернул, заглянул в отверстие на дне. Ему показалось, что там внутри что-то есть. Он прошел в спальню, выдвинул из секретера красного дерева ящичек, отыскал ножницы. Ножницы, как и все в этой квартире, что служило удовлетворению бытовых нужд, были старые, в зазубринах, винт заржавел, и стоило труда развести потускневшие острия. Казалось кощунством, что такие ножницы лежат в старинном драгоценном секретере. «А ты хотел бы, чтобы они были золотыми?» — посмеялся над собой Коноплев и принялся за работу. При помощи ножниц ему удалось извлечь из узкого отверстия полоску бумаги — осьмушку тетрадного листа в клеточку. Выцветшими от времени чернилами на бумаге было что-то написано. Коноплев подошел к окну, прочел.

«Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить...»

То была считалка, знакомая Коноплеву еще со времен детства. Кто ее написал? И как попала она сюда, в чрево Амура в нищенском одеянии? Скорее всего, это было делом рук сына Лукошко Мити. Он ведь тоже когда-то был маленьким. Теперь коллекция переходит в его руки. Много ли счастья она ему принесет?

Мысли были невеселые. Да и откуда взяться веселью в этой большой, но неуютной, похожей на склад мебели, квартире, где все напоминало о трагической судьбе ее хозяина? Всю свою жизнь он отдал этим бездушным вещам, а теперь его нет, а вещи, должно быть в немалой степени повинные в его гибели, не имея памяти и не ведая печали, равнодушно ждут нового владельца.

Почему Коноплев взял из шкафчика, уставленного

множеством предметов, именно этот, что заставило его заглянуть в узкую горловину, а затем перевернуть фигурку Амура, добыть из нее детскую неоконченную считалку? Трудно сказать. Еще незадолго до этого, в те дни, когда Коноплев жил на даче Зайца, квартира Лукошко была тщательно обследована бригадой угрозыска во главе с капитаном Сомовым. Видел капитан эту считалку или нет? Скорее всего, видел. И засунул обратно в фигурку Амура, невольно подчинившись тайной власти, которую имеет над нами прошлое, а особенно — детство. Тем более что бумажка-то пустячная, не имеющая, по всей видимости, к следствию никакого отношения. Тем не менее Коноплев, тщательно изучив ветхий клочок бумаги, бережно упрятал его в карман, с тем чтобы потом приобщить к делу. Зачем он это сделал? Коноплев и сам не знал. В его работе инспектора угрозыска, в целом строго направленной, продуманной, регламентированной, находилось место и для таких вот случайных, можно сказать, интуитивных действий, которые никак не укладывались в «систему», но которые тем не менее нередко помогали успеху розыска. Так и эта считалка в свое время, увы, не сразу, а лишь потом, когда следствие подойдет к концу, сыграет свою роль — как актер, от которого ничего не ждали, а он вышел на сцену и надолго приковал к себе внимание зала.

Коноплев вернулся в переднюю, где на полочке под вешалкой оставил свой портфель. Все служащие управления уже давно раздобыли себе модные плоские чемоданчики типа «дипломат», а он все таскался с огромным, вместительным портфелем, чей зев захлопывался с громким треском, словно челюсти акулы, захватившей очередную добычу. Однако на этот раз добычи что-то уж слишком долго нет. Он вздохнул, извлек из портфеля опись коллекции, составленную еще рукой покойного Лукошко, и, сверяясь с бумагой, еще раз начал осматривать коллекцию.

Коноплев проработал уже часа два, когда наткнулся на скрипку. Она лежала в закрытой части серванта вместе с итальянской, украшенной перламутровой инкрустацией мандолиной, флейтой и еще

каким-то инструментом, названия которого он не знал. Может быть, поэтому при прошлом осмотре скрипка не привлекла к себе его внимания. Сейчас же стоило Николаю Ивановичу взять ее в руки — как перед его глазами тотчас же возникла картина: огромный зал дачи, серая холстина неба за слезящимися дождем окошками, тусклым золотом отливающие крытые лаком дощатые стены, и на одной из них — темное изображение не то огромной восьмерки, не то песочных часов, а может — и округлой женской фигуры, тонко перехваченной в талии... Мысленно он приложил скрипку, которую держал в руках, к отпечатку на стене, и стена обрела необходимую законченность.

Он приблизил скрипку к глазам и, достав из кармана лупу, наподобие той, которой пользовался на даче Зайца, когда разбирал мелкий шрифт древней книги, принялся изучать темное, в пятнах и царапинах тело скрипки. Похоже, что в руках у него та самая скрипка, которая была похищена ненастным днем с дачи! Тогда предпринятые сержантом Ивакиным поиски не дали результатов. А теперь скрипка сама пришла к нему в руки.

Он заглянул в опись. Там значилось: скрипка Вильома, XVIII век. Насколько он помнит, Заяц ни о каком Вильоме не упоминал, более того, подчеркивал заурядность, обычность своего инструмента. Да и вряд ли кривил душой. Знай он, что скрипка ценная, вряд ли повесил бы ее в качестве украшения на стену — рассыхаться и портиться при быстрых сменах температуры, неизбежных на затерянной в лесу даче, отапливаемой от случая к случаю. Это исключалось. Остается предположить, что скрипка Зайца и скрипка Вильома — это две разные скрипки, лишь поменявшиеся местами. Но тогда возникает вопрос: кто похитил скрипку с дачи Зайца, кто, когда и зачем произвел замену? И какова роль в этом деле самого Бориса Никифоровича?

«Постойте, постойте...» Коноплев оглянулся, отыскал глазами знакомое «вольтеровское» кресло, сел и задумался. Он обратился мыслями к тому времени, когда, больной и усталый, выбитый из привычной колеи, очутился на роскошной даче, любезно предоставленной в его распоряжение Борисом

Никифоровичем. Да, это был широкий жест, добрый поступок. И не черная ли неблагодарность со стороны Коноплева — ставить под сомнение поступки этого известного, уважаемого и лично расположенного к нему человека? Коноплев тотчас же ответил себе: нет, в данном случае он не преступает никаких границ — ни долга, ни морали. Более того, и долг и мораль требовали от него как можно быстрее и лучше разобраться в запутанной ситуации и вынести полученные данные на суд закона. Даже в том случае, если бы эти данные не нравились самому Коноплеву, а сложившаяся ситуация ставила лично его в неловкое положение. Именно такого образа действий властно требовала от него нелегкая профессия, которой он отдал всю свою жизнь.

И, еще раз напомнив себе это, Коноплев усилием воли заставил свою мысль двинуться дальше — по запутанному лабиринту фактов и обстоятельств.

Честно говоря, пропажа скрипки оставила на душе у Коноплева тяжелый осадок. Как ни крути, а украдена была вещь, как бы порученная его охране. Неприятность усугублялась тем, что незадолго до случившегося Николай Иванович расхвастался перед Зайцем, принялся разгадывать загадки библии, демонстрировать свои необыкновенные линкертонские способности... И вдруг после этого прямо из-под носа у него уводят скрипку. Даже вспоминать об этом тошно. Но вспоминать надо...

Заяц официального заявления о краже скрипки тогда не сделал, и дело заведено не было. Правда, сержант Ивакин предпринял на свой страх и риск некоторые шаги, но его действия, конечно, не выдерживали серьезной критики.

Как он тогда поступил? Удивленный отсутствием каких-либо следов, оставленных преступником на месте преступления, и тем обстоятельством, что его никто, абсолютно никто не видел, несмотря на то, что кража была совершена посреди бела дня и, можно сказать, на глазах у всего дачного поселка, Ивакин принялся увязывать воедино те скудные данные, которые оказались в его распоряжении, и строить на их основе версию преступления. Мокрые следы на дощатом полу водочапки, вещи, пропавшие из детской коляски, женщина с ребенком, замечен-

ная нарядом милиции на платформе... Какое отношение имело все это друг к другу и в свою очередь — к пропавшей скрипке? Да никакого! Следы на водокачке наверняка оставил слесарь, производивший там ремонт, одеяльце из коляски утащил какой-нибудь хулиганистый подросток, а женщина с ребенком... Да мало ли разъезжает на подмосковных электричках женщин с младенцами на руках!

Кто же все-таки и зачем похитил с дачи скрипку? Человек-невидимка, да к тому же еще не оставляющий — в отличие от того уэллсовского человека-невидимки — следов. Да, именно он. А кто это был? «Все ясно, — сказал себе Коноплев. — Невидимкой, не оставляющим следов, был тот, чье появление среди бела дня на даче не приковало и не могло привлечь ничьего внимания потому, что было естественным, обычным, не содержавшим никакого отклонения от нормы, от стереотипа, и потому никак не замаскированным. Этим человеком был хозяин дачи Борис Никифорович Заяц. Он открыто, не таясь, подъехал на своей «Волге» к дому, оставил ее на мокром шоссе, отпер дачу своим ключом, вытер ноги о половичок, снял со стены скрипку, сунул ее в саквояж, открыл на кухне окно, чтобы имитировать кражу, вышел, спокойненько сел в машину и укатил».

Почему никто и ничего не сказал сержанту Иванкину о посещении Зайцем дачи? Да потому, что тот про него не спрашивал. Его интересовало лишь: не замечен ли возле дачи кто-либо из посторонних? А разве Заяц — посторонний? Кстати, похищая собственную скрипку, Борис Никифорович ничем не рисковал. Взял свою вещь со своей дачи, оставил открытым окно на кухне. Что здесь криминального? Не доложил Коноплеву? Но почему он должен докладываться?

Коноплев вспомнил свое довольно-таки бестактное замечание, будто человеку с внешностью Бориса Никифоровича, жгуче-рыжему, хромоту, с характерной игрой мускулов лица, трудно совершить преступление и остаться незамеченным. Вот Заяц и доказал, что Коноплев не прав. Хитер. Ловок и хитер.

Все это ясно и понятно. Непонятно только, как вы, Борис Никифорович, объясните такой факт: при

каких обстоятельствах взятая вами с вашей дачи ва-ша скрипка оказалась в запечатанной угрозыском квартире, в коллекции старика Лукошко, т. е. уже после его зверского убийства?

Коноплев выпрямился в кресле, крепко сжав подлокотники. Ему бы радоваться: наконец-то попал на след, в руках появилась ниточка, потянув за которую, может быть, удастся распутать весь клубок. Но он испытывал совсем другое, тягостное чувство. Неужели в этой грязной истории как-то замешан ученый-историк Борис Никифорович?

Только-только собрался Коноплев пригласить к себе Бориса Никифоровича Зайца, а он появился в его кабинете сам, собственной персоной.

— Ну, как ваши дела с коллекцией Лукошко, Николай Иванович. Все ищете?

Коноплев искал не коллекцию, а убийцу или убийц старика Лукошко, но просвещать Зайца относительно истинного характера своих розысков он, разумеется, не стал.

— Представьте, все ищу... — отвечал он, пристально всматриваясь в лицо своего собеседника. Тот в свою очередь иронически поглядывал на Коноплева.

— Нет, милейший Николай Иванович, богатства просто так в руки не даются. Надо заклинания знать, приговоры, а вы, должно быть, не знаете.

— Где уж мне.

— Хотите, я вам расскажу, как отыскивались на Руси клады?

— Сделайте одолжение, Борис Никифорович.

Заяц поудобней уселся на стуле напротив Коноплева, закинул ногу на ногу, закурил, испросив предварительно разрешения у хозяина кабинета, и начал:

— Обогатиться, отыскав богатый клад, — что может быть заманчивее? Не надо всю жизнь вкалывать, гнуть горб, урезывать расходы, отказывать себе во всем, ловчить, хитрить, обманывать...

— Вы считаете, Борис Никифорович, что без всего этого не разбогатеть? — вставил Коноплев. На что Заяц беспечно ответил:

— Конечно, нет. А вот с кладом — другое дело.

— Нашел — и сразу в дамки?

— Именно. — Он засмеялся, обнажив золотую коронку. — Напрасно вы, между прочим, иронизируете, Николай Иванович. На Руси обогащение за счет клада издревле считалось делом надежным — и вполне законным. Дошло до того, что к Петру Великому явился однажды какой-то серб и стал подбивать государя отыскивать клад царей — персидского Дария Кодомана и македонского Александра. По рассказам серба, клад этот находился в Венгрии и состоял из слитков золота, царских корон, золотого змия, украшенного драгоценным камнем, золотого болвана, золотого льва и других столь же интересных вещей.

— Однако мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из моих знакомых разбогатеи посредством найденного клада, — усмехнулся Коноплев.

— А я вам скажу, что, по поверью, клад просто так в руки не дается. Надо знать приговоры... Например, когда клад прячут на голову или на несколько человеческих голов. В таком случае тот, кто хочет овладеть кладом, должен погубить необходимое заговоренное число людей, и тогда клад достанется ему без всяких затруднений... А вот еще иногда клад зарывают «на счастливого», и после этого клад сему избраннику является собакой, кошкой или курицей. В этом случае надо не мешкая идти вслед за этой живностью и, когда она остановится, не плошать, а ударить наотмашь чем попало и вскрикнуть: «рассыпья!» Где рассыплется, там и копать.

— Я так и сделаю, — проговорил Коноплев. — Рассыпья! Ответьте мне, Борис Никифорович, каким образом пропавшая с вашей дачи скрипка очутилась в коллекции некоего Лукошко, где заняла место гораздо более ценной скрипки Вильома?

Николай Иванович правильно выбрал время для удара. Уж насколько собран и выдержан был Заяц, а тут сбился, смешался, по-детски залился краской.

— Вы это о чем? — пробормотал он, вытирая клетчатым платком со лба внезапно обильно выступивший пот.

— Ай-ай-ай, — пристыдил его Николай Иванович. — Ученый, всезнающий и всепонимающий человек — и вдруг: «Вы это о чем?» Словно мелкий злоумышленник в плохом детективе.

Молнии сверкнули в глазах Бориса Никифоровича. Он выпрямился на своем стуле, холодно посмотрел на Коноплева. Отчеканил:

— Уж не подозреваете ли вы меня, Николай Иванович, в причастности к уголовному делу?

— Пока — нет... Но вернемся к вашей скрипке. Это вы, разумеется, взяли ее с дачи. Откровенно говоря, такая мысль приходила мне в голову... Но ситуация показалась мне слишком уж неправдоподобной: зачем человеку самому обкрадывать себя? К тому же вы сбили меня с толку, подговорив свою жену сказать заведомую неправду. В тот момент, когда я позвонил вам, вы, конечно, не спали, а на всех парах неслись на своей «Волге» по направлению к Москве.

Заяц передернул плечами:

— Жена не лгала... Когда она уходила из дому, я действительно спал. Потом жена вернулась, ваш звонок застиг ее в передней... Вот она и сказала вам, что я сплю.

— Оставим это... Меня интересует не столько ваша жена, сколько вы сами... Почему вы не сообщили мне, что скрипка не украдена неизвестным лицом, а взята вами?

— Стойте, стойте... Я вовсе не говорил, что она украдена! Это утверждали вы.

— Да... Но вы, насколько я помню, не опровергли моих слов.

— Но на версии кражи я тоже не настаивал. И заявления в милицию, как вам известно, не подавал.

— И все-таки вы пытались имитировать кражу... Разве не с этой целью оставили открытым кухонное окно?

— Нет, не с этой, — вызывающе произнес Заяц. — Забыл закрыть. Вот и все. Вам не удастся доказать, будто бы я действовал с криминальными намерениями.

— Тогда ответьте на такой вопрос. С какой целью вы тайно похитили скрипку с дачи? Ведь не для того же, чтобы поиздеваться над незадачливым инспектором угрозыска, плохо охраняющим ваши сокровища? У вас была другая, более прозаическая цель: выкрасть из коллекции Лукошко драгоценную скрипку Вильома, подменив ее вашей дешевкой... Я скажу,

когда вы это сделали — 28 мая, вечером, когда я имел удовольствие встретить вас у известного дома... Раньше скрипка подменена быть не могла. В доме шел ремонт, в связи с чем была заперта обычно открытая черная лестница, по которой можно было забраться сперва на балкон, а затем и в квартиру. Вновь открыли лестницу только 28-го... Скажите, вы сами лазали в квартиру или вам кто-нибудь помог?

— Никуда я не лазал! — резко ответил Заяц. — Скрипку мне из рук в руки передал Дмитрий Лукошко!

— Вы не будете возражать, если я ознакомлю его с этим вашим утверждением?

— Дмитрий Лукошко не совершил ничего противозаконного. Просто он вручил мне скрипку Вильома, за которую мною были сполна уплачены деньги еще его отцу. К сожалению, купленную мною вещь Семен Григорьевич сам передать не успел, погиб... Сын сделал то, что обязан был сделать: вернул скрипку ее новому владельцу. Весьма благородный молодой человек!

— С этим благородным человеком мы еще разберемся. А пока скажите... Вы не запамятовали — деньги за скрипку Вильома вы действительно передали отцу? А не сыну?

Борис Никифорович смерил взглядом Коноплева:

— Вы, кажется, полагаете, что я говорю неправду, лгу? Это уж слишком! Вы, Николай Иванович, нарушили правила игры и теперь пеняйте на себя! Я свободен? Или...

— Ну, разумеется!

...А через несколько часов в кабинете Николая Ивановича раздался звонок. Холодным, властным тоном ему было сказано, что расследование особо опасного преступления — зверского убийства гражданина Лукошко — он, Коноплев, ведет неудовлетворительно. Вместо того чтобы заняться поиском настоящих преступников, отвлекает от дела уважаемых людей, дергает их, досаждаст им беспочвенными обвинениями, запутывает. Его действия будут признаны ошибочными.

Положив трубку, Коноплев долго смотрел на улицу сквозь запыленное стекло. Там, напротив, за дощатым забором кипела стройка. Рабочие в ярко-

желтых касках старались зацепить крючьями, свисавшими на фалах с огромного крана, возвышающегося над возведенными тремя этажами, металлические дужки на огромной железобетонной плите. Но крючья все соскакивали, кружились в воздухе, фалы переплетались. Рабочие, подпрыгивая, ловили крючья руками в брезентовых рукавицах... «Как следует не закрепить — плита сорвется, может быть несчастный случай», — машинально подумал Коноплев.

...Конечно, он многое мог бы возразить, по деталям, по мелочам, человеку, который только что так строго отчитал его. Но приходится признать: он поступил опрометчиво. Натянул фалы, не закрепив перед этим как следует крючья. И вот все сорвалось. Хорошо хоть до несчастья не дошло. В следующий раз будет умнее.

И опять — в который уже раз! — Коноплев выругался в сердцах, попеняв себе за то, что выбрал такую тяжелую, такую неблагодарную профессию. А в голове у него тем временем уже вырисовывались контуры дальнейшего расследования.

— Ну и как настроение?

Следователь Ерохин пристально вглядывался в лицо Коноплева. Николай Иванович мог поклясться: в его глазах поблескивали насмешливые искорки. Правда, голос его был, как всегда, скрипучий, ровный, не окрашенный эмоциями. И все-таки эмоции, судя по всему, были не совсем чужды этому маленькому, суховатому человеку.

— Да вы все уже знаете. Получил нахлобучку от начальства. Теперь переживаю.

Коноплев по своей привычке говорил все напрямик. Следователь тоже не собирался играть в прятки.

— Знаю. Как не знать.

Кажется, он отпустил тормоза, фраза прозвучала насмешливо, почти издевательски.

— Вы не огорчайтесь, — миролюбиво произнес Ерохин. — Интуиция и меня не раз подводила. Вот за это я ее и не люблю, проклятую, не верю ей. Понимаете, не верю.

«А я верю», — хотел сказать Коноплев. Но воздержался. Момент для спора был явно неподходящий.

— С Дмитрием Лукошко насчет подмены скрипки объяснялись?

— Он пришел сам... не дожидаясь вызова. И все рассказал. Говорит, считал сыновним долгом сделать то, что не успел сделать отец, — вручить Зайцу скрипку, за которую тот давно уже отдал деньги. Он, Митя, не знал, что не имел права этого делать, что он будет введен в права наследства еще только через полгода. Думал, что уже сейчас все принадлежит ему. Кстати, утверждал, что ненавидит коллекцию. Считает, что отец погиб из-за нее.

— Я что-то не пойму: выходит, с этой черной лестницы каждый, кому не лень, может легко забраться в квартиру Лукошко?

— Я задал этот вопрос Дмитрию. Он говорит, что об этом тайном ходе было известно только двоим: отцу и ему. В их отсутствие забраться туда было невозможно: квартира поставлена на охрану, балконная дверь и окно заблокированы.

— Выходит, при осмотре Сомов с охраны квартиру снял, а, уходя, поставить снова на охрану позабыл?

— Или позабыл или решил: достаточно того, что она опечатана... Он ведь не знал про черную лестницу и пожарный балкон... Кстати, сейчас по требованию Дмитрия Лукошко дверь с черной лестницы на балкон забита. Тайный путь из варяг в греки перестал существовать.

— Одного не пойму, — сказал Ерохин. — Почему этого не сделал старый Лукошко? Ведь он так дрожал над своей коллекцией!

— Видимо, для его махинаций второй ход был необходим. Мы же не знаем, кто к нему ходил и кто через этот ход выходил...

— Ну и что вы собираетесь предпринимать по отношению к Дмитрию Лукошко?

Коноплев пожал плечами:

— Уже предпринял: сделал ему строгое внушение. На всякий случай запросил характеристику Лукошко с места работы. Аттестуется как талантливый инженер и хороший общественник... Опросы близких показали: человек он неплохой, мягкий, обходительный, но немного взбалмошный. Способен на

необычные поступки... Кстати, скрипка Вильома возвращена на место.

— Так... Значит, уголовного дела против него возбуждать не будем?

— Думаю, что нет... Ведь коллекция-то действительно через два-три месяца отойдет к нему...

— Угу.

Коноплев расстегнул ворот кителя:

— Жарко тут у вас.

Ерохин же, казалось, не был подвержен влияниям внешней среды. Несмотря на духоту, застегнут на все пуговицы, дышит ровно, впалые щеки, как всегда, бледны.

— Я дал вам время... так сказать, для свободного поиска. Теперь пора за работу. Все эти табакерки и скрипки хороши для романа. А для дела...

Коноплев решил не обижаться на Ерохина. Было бы странно, если бы тот не произнес этих слов. «Ишь ты, все знаешь: и про табакерку и про скрипку. Впрочем, чему удивляться: рядом трудимся, так сказать, плечом к плечу». Он пододвинул к себе лист бумаги, достал шариковую ручку — демонстрировал свою готовность зафиксировать ценные указания следователя.

— Для начала вот — почитайте-ка!

Ерохин протянул Николаю Ивановичу отпечатанный на машинке текст.

«Письмо министру юстиции СССР от Пустянского Владимира Евсеевича».

— Кто такой Пустянский?

— Прохиндей. Жулик.

— Пишет самому министру?

— Читайте, читайте... Еще не тому удивитесь.

«В течение последних семи-восьми лет я обратил внимание на то обстоятельство, что многочисленное поголовье спекулянтов имеет тенденцию роста и превращается в сословие.

Я долго думал о радикальном противодействии против этого явления и понял, что единственным способом борьбы с ними, спекулянтами, является экспроприация, т. е. насильное овладение нечестно нажитым имуществом.

По первичному моему замыслу экспроприированные средства должны идти на организацию летучих

отрядов, которые составили бы основной костяк борцов. К сожалению, мои мысли не принимались всерьез, надо мной даже начали посмеиваться. Но это я отношу за счет некомпетентности людей, которым я пытался открыть глаза.

Люди же, которые поверили в меня, обладали весьма сомнительным прошлым и обращали экспроприированные средства в свою пользу. И вот результат: идея, которая могла бы приносить благоприятные итоги, грозит привести меня в застенки! Старо как мир — косность и рутина еще не изжиты полностью.

Должен заметить, что тюрьма далеко не самый действенный способ борьбы со спекулянтами. Из практики видно, что, отсидев определенное количество лет и попадая на волю, они снова возвращаются к своей пагубной для общества деятельности. Более того, обогатившись опытом, обменявшись информацией, они становятся более изворотливыми и, следовательно, более опасными. Только сознание того, что они не смогут пожинать плоды своей гнусной деятельности, страх перед экспроприацией остановит их!

Вот поэтому, отстаивая свою главную мысль об экспроприации, я обращаюсь к вам за помощью. Что же мне надо? Первое и самое главное — признание моей деятельности правомерной и, следовательно, легальной. Второе — оказание технической и на первых порах — материальной помощи. Третье — дать возможность для создания соответствующего аппарата. Вот и все мои просьбы. Конечно, они предельно сжаты и при детальной разработке будут разбиты на ряд пунктов.

Пустянский».

— Каков нахал?

— М-да-а... — откладывая удивительный документ, промышчал Коноплев.

— Что вы об этом думаете?

— Прежде всего то, что такие хохмачи никогда не идут на убийство. Грабить — да, убивать — нет.

— Опять интуиция?

Коноплев уже понял, куда клонит следователь.

— Вы считаете, что скрипач Лукошко пал жертвой профессионального грабителя, охотящегося за

коллекционерами? И хотите, чтобы я поинтересовался этими людьми?

Ерохин кивнул, достал из ящика стола картонную папку.

— Некоторое время назад было совершено ограбление гражданки Монастырской. По рассеянности злоумышленник оставил след: снимая со стены картину, потерял равновесие и оперся рукой на полированный столик. Удалось идентифицировать отпечаток. Преступником оказался Пустянский.

Коноплев, подумав, согласился:

— Что ж, займусь... Сегодня же.

Нет, Николай Иванович не верил, что Лукошко убил профессиональный грабитель. Ограбить и убить — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но спорить с Ерохиным не стал. Он сам собирался поближе познакомиться с теми, кого грабили, и с теми, кто грабил. Задание следователя позволяло ему сделать это.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Он сказал Нине о своей любви в новогоднюю ночь. А летом она стала его женой. Переехать к нему на старый Арбат Нина не захотела: у нее не сложились отношения со старым Лукошко. Пришлось Мите скрепя сердце оставить коллекцию и переехать в ее однокомнатную квартиру. Тем не менее он не унывал: все уладится.

Мите Лукошко казалось, что он вступил в счастливую пору своей жизни. Начальник отдела объединения Системтехника — так называлась его должность. Организация была не ахти какая, вся умещалась в трех комнатухах бывшей церкви. И все-таки он чувствовал себя счастливым. Им владело приподнятое, праздничное настроение. Митя даже изменился внешне — коротко стриженные волосы придали ему энергичный, деловой вид, одутловатость сошла с лица, обозначились скулы, губы потеряли детскую припухлость. Он даже как будто сделался выше ростом.

Обычно Митя любил утром поваляться в постели. А тут вскакивал в семь утра, делал зарядку,

принимал холодный душ, быстро завтракал. Подбегал к окну. Там внизу, у подъезда, уже стояла салатного цвета «Волга». Служебной машины Мите, увы, не полагалось. Он договорился с таксомоторным парком, чтобы ему подавали машину по утрам. Хотя, если говорить честно, эта роскошь ему не по карману, мотовство. Но что поделаешь: Мите приятно было на глазах у подчиненных лихо подкатывать к бывшей церкви на машине и с озабоченным, деловым видом спешить к двери. С ним здоровались. А он, словно бы очнувшись, вскидывал голову, отвечал на приветствия легкой улыбкой: мол, извините, не заметил сразу, столько дел...

Дел действительно было невпроворот. По распоряжению руководства соорудили и повесили над входом в учреждение часы не часы, диаграмму не диаграмму, а так, нечто вроде табло, на котором разноцветные сегменты обозначали составные части автоматизированной системы. Здесь же — цифры, сроки сдачи того или иного ее элемента. Взглянув на табло, Митя на целый день заряжался деловитостью, с людьми — подчиненными да и с начальниками — разговаривал строго, выглядел озабоченным: мол, сроки поджимают, мне ляссы точить некогда. Скажет и уйдет в свой кабинетик, усядется за стол, вороша на голове редкие каштановые волосы колпачком шариковой ручки, начнет в уме что-то высчитывать, каждую мелочь заносит в черную клеенчатую тетрадь. А то соберет сотрудников, закатит речь:

— Мы не должны чураться будничной черновой работы, пора понять: в таком большом и фантастически сложном деле, как автоматизация, нет мелочей... Все одинаково важно и нужно! Вы знаете, друзья, почему Наполеон проиграл битву при Ватерлоо? Потому что маршал Груши со своими войсками опоздал и в назначенный срок не поспел на поле боя. Мы должны спешить, время не ждет!

Он и впрямь ощущал себя этаким Наполеоном. Разве внешне он не похож на знаменитого полководца? Оба невысокие, с толстыми ляжками и с намекающимся плотным брюшком... Но за неказистой внешностью скрываются острый ум, неукротимая воля, бешеная энергия. Нет, недаром красавица Нина

выбрала его в мужья: женщины обладают редким свойством за поверхностным, внешним видеть сущность, суть, в настоящем угадывать приметы будущего.

Однажды, когда, став в позу Наполеона — круглая голова втянута в плечи, брюшко выпячено вперед, ляжки подрагивают (вот только руку заложить за борт пиджака постеснялся, как бы жена не подняла на смех), — Митя начал развивать перед нею свои идеи насчет ценности черновой работы и важности мелочей, Нина перебила его:

— Рассказывай сказки у себя в объединении. Все это чепуха! Мелочи важны только для мелких людей. Помни: все решает масштабность замысла, глобальность идей. Влачить груз работы может каждый, а вот мыслить широко, с размахом — это дано немногим. Потому и ценится. Нужно быть не служащим, а борцом. Только в этом случае можно всерьез рассчитывать на успех. И перестань, ради бога, носиться по кабинетам со своей черной клеенчатой тетрадкой! Над ней в объединении и так уже все смеются.

Митя пробовал возражать, мямлил что-то про наполеоновского маршала-недотепу, опоздавшего на поле брани, но про себя отметил: а ведь она права. Ну и женщина ему досталась! До чего умна! По спине у него пробежал холодок: сумеет ли он удержать Нину, подчинить ее, хватит ли сил? Но успокоил себя: «Чего раньше времени тревогу бить? Там видно будет».

Митя засел за работу.

Речь шла ни больше ни меньше, как о создании автоматизированной системы, которая могла бы облегчить — и еще как — во сто крат! — управление огромным и многоотраслевым городским хозяйством. Где-то что-то в этом направлении уже делалось. Прежде всего, конечно, надо было выяснить: где именно и что именно?

Для начала послал запросы в пятьдесят городов. И получил пятьдесят ответов. Убедился: многие взялись за АСУ, не имея концепции, этой самой «глобальной идеи». Толстым красным карандашом Митя подчеркнул слова, фразы и абзацы, которые можно при случае процитировать, конечно, с соответствующ-

щими ироническими комментариями... Отложил бумаги в сторону, подперев пухлую щеку карандашом, задумался. Расчихвостить эти примитивные выкладки, эти наивные построения ничего не стоит. А что дальше? Надо приподняться над материалом, продемонстрировать широкий кругозор, знания, творческий подход. Вот-вот, именно творческий... В этом корень всего.

Он выступил на ближайшем собрании. Деловито сообщил о посланных во все концы Союза запросах, о телефонных звонках, просьбах, напоминаниях. И вот первые плоды — справки-отчеты. «Мы подвергли их тщательному аналитическому разбору (слово «аналитический» Мите особенно нравилось, в нем было что-то современное и солидное), обобщили позитивную информацию, не прошли и мимо ошибок, явные огрехов...» Тотчас со страстью накинудся на эти самые огрехи. Ожидал, что хотя бы в этом месте аудитория оживится, но в зале было тихо: многие сами не знали, с чем едят это самое АСУ. Где уж тут злорадствовать над промахами соседей!

И тогда, пытаясь спасти свое выступление, Митя быстро-быстро заговорил:

— Возникает вопрос: что же именно мы должны автоматизировать? Существующую ли структуру — создавая сначала АСУ по отделам и управлениям, а затем как-то объединяя их? Или избрать какой-то иной путь? Это не риторический вопрос. Первые автомобили имели формы конных карет, первые электрические лампочки «старались» походить на керосиновые светильники. По-видимому, этот этап необходим и неизбежен, и работники, занимающиеся автоматизацией процессов управления, его тоже не миновали. Сейчас мы пришли к выводу, что автоматизировать надо не отделы и управления, а управленческие функции, в основных своих чертах общие для всех отраслей хозяйства.

Разумеется, каждая отрасль хозяйства имеет свою специфику. И «отраслевой» принцип вовсе не отвергается нами полностью. Отраслевые модели являются неотъемлемой частью АСУ. Но самый «набор» их отнюдь не будет копировать структуру горисполкома. Мы берем за основу укрупненные отраслевые блоки согласно классификации, принятой

Госпланом. Оптимальные решения будут находиться, как мы считаем, как бы на пересечении функционального и отраслевого подхода.

Митя точно не знал: сам он это все придумал или вычитал из какой-то статьи. Но как бы там ни было, цель достигнута. Он почувствовал, как из зала навстречу ему идут токи живой заинтересованности.

Уже сойдя под приветствующие хлопки с трибуны и усевшись на свое место, Митя с отчетливой ясностью понял: господи, а ведь это и есть та самая глобальная идея, которая так долго не давалась ему в руки, — оптимальное сочетание функционального и отраслевого подхода. Искомое найдено. Теперь есть что написать на знамени, под которым он бросится вперед, на штурм новых бастионов!

Митя, важничая, выпятил нижнюю губу. Свою «глобальную идею» он поначалу опробовал на подчиненных.

— Городской организм, — вещал он им на очередной планерке, — чрезвычайно сложен... Интересы даже родственных ведомств в чем-то не совпадают, а иногда и противоречат друг другу. Вот пример... Строители ждут от работников строительной индустрии широкого ассортимента материалов. А тем, наоборот, в интересах выполнения плана выгодно этот самый ассортимент как можно более сузить. И еще... Им удобнее сначала закрыть задание по дверям, потом по рамам и т. д. А строителям нужно получать и то, и другое, и третье равномерно в течение квартала... Наша система должна обеспечить оптимальное сочетание ведомственных и общих интересов. Вот что важно!

Митя надул щеки и поднял вверх указующий перст.

— Ну и как вы собираетесь это делать? — послышался насмешливый голос.

Митя с неприязнью поглядел на говорившего. То был инженер Булыжный, выпивоха и грубиян, мрачная личность... В объединении славился тем, что никогда и ни перед кем не заискивал, резал в глаза правду-матку всем без разбору. Как-то раз этот самый Булыжный остановил в коридоре Нину, цепко охватил ее тонкое запястье сильными пальцами и, дыша в лицо виновным перегаром, сказал:

— Женщина, ты мне подходишь! Давай жить вместе!..

— Но ведь нужно, чтобы и вы мне подходили, — высвобождая руку, холодно ответила Нина. — А я этого, представьте себе, не нахожу.

— А вот и ошибаешься, — упрямо продолжал Булыжный, покачиваясь на длинных ногах. — Я один тебе здесь ровня... А остальные так... пигмеи.

Сотрудники, пересмеиваясь, слушали этот странный разговор. Но присутствие посторонних, по-видимому, нимало не смущало Булыжного.

Нина сама рассказала мужу об этой сцене. Поступок Булыжного возмутил Митю. Он топал ногами, кричал, грозил призвать пьяницу к ответу. Но ничего не сделал, только затаил в душе злобу к Булыжному.

И вот теперь этот тип старается подорвать его авторитет в коллективе.

— Не перебивайте, вам дадут слово! — фальцетом выкрикнул Митя и пытался продолжить свою речь. Но мысли спутались, былой стройности не было в его речи, он сбился и замолк.

— Ну хорошо, — помолчав и взяв себя в руки, язвительно произнес Митя. — Мы слушаем, товарищ Булыжный. У вас имеются какие-то предложения?

— Нет у меня никаких предложений. Я карьеру не делаю, мне высовываться не к чему. Просто не люблю трепотни.

— Ну, знаете ли... — Митя кипел от возмущения.

— Собрание окончено? Можно идти?

Булыжный встал, двинулся к двери — высокий, худой, нескладный.

Митя задержал председателя месткома Кукаркину.

— Надо присмотреться к Булыжному, — сказал он. — Он же не просыхает! Нам пьяницы и дебоширы не нужны.

На что Кукаркина, вздохнув, ответила:

— Да ведь он дома пьет... А в рабочее время ни-ни... Не позволяет себе...

— Отчего же тогда от него несет, как из винной бочки? — мрачно спросил Митя.

— Это должно быть, со вчерашнего... Я скажу ему, чтобы он мятных конфеток пожевал, что ли... Говорят, отбивает.

«Вот недотепа, — отпустив Кукаркину, подумал Митя. — И с такими людьми приходится работать!» Злость распирала его.

Однако неприятный эпизод с Булыжным сыграл положительную роль — побудил Митю всерьез заняться разработкой своей глобальной идеи.

Теперь Митю было не узнать. Целыми днями, затворившись в своем тесном кабинетике, к счастью не душном и не жарком — толстые каменные стены церковной постройки спасали от летнего зноя, — он корпел над своей работой. И дома (на это время он переселился от Нины к отцу, чтобы ничто не отвлекало от дела), едва переступив порог и кое-как поужинав, снова набрасывался на работу. Никогда еще до этого он не трудился с такой одержимостью, не испытывал такого удовлетворения от того, что ему приходилось делать. Сам процесс преодоления трудностей, разрешения неразрешимого, разгадка тайного, постижение неизвестного наполняли Митю доселе неизвестной радостью, приносили ощущение счастья. Он сам себя не узнавал.

Мало-помалу начали вырисовываться контуры будущей структуры... Склонив набок круглую голову с разлохматившимися жидкими волосенками и по-детски подперев щеку языком, Митя тщательно выводил на белом листе: «Комплекс автоматизированных систем управления жилищно-коммунальным хозяйством». АСУ, по мысли Мити, будет состоять из пяти систем. Автоматизированной системы плановых расчетов (кратко — АСПР), системы обработки бухгалтерской и статистической информации (АСОБСИ) и так далее. Покончив с функциональной структурой, Митя принялся за организационную. Он перечислил одиннадцать подотраслевых АСУ (АСУ — «Жилфонд», АСУ — «Пассажирский транспорт», АСУ гостиниц и тому подобное). Все эти подотраслевые системы будут обслуживаться пятью вышеназванными функциональными системами. Затем Митя обозначил на бумаге вычислительно-управляющий центр с двумя диспетчерскими службами: информационно-диспетчерской — для оперативного экономического управления и технологической — для диспетчерского управления коммунальными предприятиями.

Митя откинулся на спинку стула, с удовлетворением посмотрел на дело рук своих. Засмеялся от удовольствия, представив себе вытянутое лицо поспраμένου Булыжного. Митя даже ощутил нечто вроде благодарности к этому человеку: не поставь он под сомнение его глобальную идею — и неизвестно, увидела бы она свет или нет. А тут на, пожалуйста! Готово!

Митя снова склонился к столу и вывел: «Основой всего является комплекс электронно-вычислительных машин коллективного пользования, информационно-поисковая система, предназначенная для хранения постоянных массивов информации...» Слово «массивов» особенно ему понравилось.

Митя вскочил из-за стола, стремительно, теряя шлепанцы, кинулся к телефону. Ему не терпелось сообщить Нине, что его усилия увенчались полным успехом, что им создана система, отличающаяся логикой и гармонией.

В трубке слышались равномерные гудки. Никто не подходил к телефону. Было уже десять часов вечера, магазины закрыты, подруг, насколько ему известно, у нее нет.. Где же она тогда? У него противно заныло под ложечкой. Нину он ревновал всегда — с первой минуты их совместного существования. К кому ревновал? Да ко всем... Проницательным взором опытного ловеласа (правда, скорее, теоретика, нежели практика) он угадал, сколько опасностей, капканов ставит жизнь на пути хороших женщин. И сколько слабостей таит в себе человеческая натура, всегда готовая найти забвение от вечных неурядиц и огорчений в недолговечном, но сладком дурмане внезапно вспыхнувшего чувства.

В последнее время, когда Митя с головой окунулся в работу, чувство ревности несколько поутихло. Но стоило поставить на лежащем перед ним листе последнюю точку, как прежние чувства вновь овладели Митей.

Гудки в трубке пульсировали, как зубная боль. Он бросил трубку на рычажки. Зачем-то снова набрал номер. Результат был тот же. Тогда в отчаянии он забрался с ногами на тахту, кусая губы, принялся

рисовать в своем воображении картины Нининой неверности, распаляя себя все больше и больше. Сидеть так, в бездействии, — это было выше его сил. Он вскочил, начал лихорадочно одеваться. Желание было одно: немедленно бежать к Нининому дому, устроить засаду, ждать час, два, если понадобится, до утра и поймать ее, уличить, обругать, может быть, избить, а дальше будь что будет...

Он расположился в скверике напротив ее подъезда, уселся на лавку, но тотчас же вскочил, лихорадочно заметался по темной аллее, спугивая притаившиеся в темноте парочки. Сколько прошло времени, он не знал. Постепенно сквер опустел. Только с одной дальней лавочки доносились мужской смех и женское повизгивание. Ему вдруг показалось, что он узнал голос жены. Подкрался к лавочке, взгляделся. Вспыхнул огонек зажигалки, осветил светлую прядь волос... Это не Нина.

Он покинул сквер, пересек улицу. Вошел в темный двор. Поднял голову вверх и замер... В Нинином окне горел розовый свет. Неужели он прозевал ее возвращение домой? Митя пулей взлетел на седьмой этаж, своим ключом открыл дверь. Стараясь не шуметь, подошел к спальне, рывком открыл дверь.

Нина обернулась:

— Господи! Кто это? Ты с ума сошел! Напугал до смерти. Что за глупые шутки?

Она была в одиночестве. Но это ни о чем не говорило. Сдавленным голосом он проговорил:

— Я звонил, звонил, телефон не отвечал... Где ты была?

Она внимательно посмотрела на Митю. Пожала плечами, обтянутыми розовым шелком пеньюара.

— Телефон испортился. Звонила от соседей в бюро ремонта, обещали завтра починить... Но ты ведь знаешь, как они работают.

Митя шагнул к телефону, прижал трубку к уху. Тишина. И впрямь не работает.

— Ты еще загляни под кровать, — она все поняла и теперь издевалась над ним.

Итак, Нина просидела весь вечер дома, она ни в чем не виновна. Он почувствовал облегчение. Но владевшая Митей на протяжении всего вечера душевная боль не спешила оставить его.

Мрачным взглядом он окинул Нину. Она прекрасна. Стройная, гибкая, сквозь тонкую ткань соблазнительно просвечивает молодое тело. У него перехватило дыхание. Она его жена и, следовательно, должна всецело принадлежать ему. Должна. Но это не так. Она принадлежит себе. Только самой себе, он постоянно ощущает на себе воздействие ее воли. Ее упрямое сопротивление, которое она по каждому поводу оказывает ему, выводит его из себя. Он вспомнил Лялю, дочь профессора Воздвиженского. Вот кто любил его безответно, безоглядно, с полной самоотдачей, почти жертвенно!

Нина же ограничивается тем, что позволяет Мите любить себя. Но от этого она только желаннее...

Митя сбросил с себя пиджак, шагнул к жене. Жадно схватил ее за плечи. Нина уперлась ему руками в грудь.

— Ревновать вздумал? Глупо... Если я захочу, ничто и никто меня не остановит. — Она смотрела на него в упор насмешливым взглядом.

...Уснул он раздраженным: ему так хотелось рассказать Нине о своей победе, о только что законченной работе, а вместо этого они долго бранились, осыпали друг друга упреками. Потом помирились. Но, несмотря на всю сладость примирения, он не чувствовал себя счастливым.

Мите позвонил куратор. Высокое лицо, которому было поручено наряду с другими очень важными и нужными делами курировать, то есть направлять, работу по созданию городского АСУ. Куратор изъявил желание лично разобраться в состоянии дел. Встреча состоится не в его кабинете, а именно там, где создается АСУ. Он просит товарища Лукошко назначить время и место.

Митя принялся лихорадочно соображать... Назначить время — не проблема, лично он готов хоть сейчас, а вот с местом встречи дело обстоит сложнее. Встречаться с высоким начальством в своем жалком кабинетике-келье — покатые своды, оконбойницы, спертый воздух давно не проветриваемого помещения — Мите не хотелось. На этом жалком фоне, в этом обрамлении он сам будет выглядеть

жалким, произведет плохое впечатление. Декорации должны быть другими, совсем другими.

Эврика! Нашел! Митя от радости подскочил на стуле.

— Лучше всего нам встретиться в ГВЦ, — сказал он. — Ведь это сердцевина будущей системы.

Куратор согласился:

— В Вычислительном центре? Будь по-вашему. Мне будет интересно. Посмотрим, как они выглядят, эти ваши думающие машины.

Митя потирал руки от удовольствия. Вот где он сможет показать себя во всем блеске! Дело в том, что у Мити имелся один талант, которым он не без основания весьма гордился. Из четырех миллиардов населяющих землю людей лишь несколько десятков обладают умением оперировать в уме многозначными цифрами со скоростью современных ЭВМ. И к их числу относится он, Лукошко. Это редкое его умение, несомненно, произведет на куратора — не может не произвести! — сильное впечатление.

Одно только огорчало Митю. Хочешь не хочешь, а придется тащить с собой на ГВЦ Булыжного — он единственный в объединении специализирован по вычислительной технике. Впрочем (Митя обладал еще одной способностью — находить выгодные стороны даже в самых невыгодных ситуациях)... впрочем, подумал он, может быть, это даже и неплохо. Пусть Булыжный увидит Митю во всем блеске его математического таланта. Может быть, начнет относиться к нему с большим уважением.

Митя, Булыжный и начальник Вычислительного центра встретили куратора у высоких остекленных дверей. Это был среднего роста мужчина с седоватыми висками, приветливым и вместе с тем начальственным выражением лица.

— Ну, показывайте ваше чудо XX века! — улыбаясь, сказал он, сильно пожимая всем руки. Булыжный ответил куратору таким сильным рукопожатием, что тот поморщился и с явным неудовольствием посмотрел на мрачноватого молодого инженера.

Первым делом гостя привели в святая святых — машинный зал. То была просторная комната, устав-

ленная металлическими шкафами и устройствами, напоминающими пианолу. «В шкафах — память машины, — разъяснил начальник ГВЦ, — а пианолы — это пульта управления...»

Куратор изъявил желание побеседовать с вычислительной машиной. Задача, которую он отстукал на клавишах аппарата, была не сложна. «Сколько будет 2×2 ?» Неожиданно последовал ответ: « $2 \times 2 = 5$ ». Смеялись все: Булыжный, громким лающим хохотом, куратор, Митя. Начальник центра, побагровев от смущения, бросился нажимать какие-то кнопки и рычажки: «Извините, позабыли выключить». После чего машина исправила ошибку, дав верный ответ: « $2 \times 2 = 4$ ». Стараясь полностью восстановить ее репутацию, начальник центра заставил машину перемножить четырех-, пяти- и шестизначные цифры, извлекать корни кубические седьмой степени, пятнадцатой и т. д. На сей раз техника не подвела. Куратор, позабыв о конфузе, с уважением поглядывал на машину, с быстротой выдававшую многоцифровые ответы.

И тут настала звездная минута Мити Лукошко. Он выступил вперед и высказал просьбу позволить ему, простому смертному, немного посоревноваться с машиной. Начальник центра снисходительно улыбнулся, куратор, предвкушая развлечение, кивнул головой, и соревнование началось.

Выглядело оно так. На пишущей машинке под копирку печатали в двух экземплярах задание. Один из них вручали Мите, в соответствии с другим — давали задание машине. Митя отворачивался, производил в уме необходимые вычисления, писал на бумажке ответ и вручал куратору. Тут же начинала стрекотать и машина. Куратор сличал ответ с данными машины и вопросительно взглядывал на начальника центра. Тот восклицал:

— Феноменально!

Тогда Митя, скромно улыбаясь, проделал такой фокус. Он попросил взять любое произвольное число и посредством машины возвести его в какую-либо большую степень. Полученный результат пусть дадут ему, Мите, и он в уме извлечет из него задуманный корень.

Митю выпроводили в соседнее помещение... Куратору предложили назвать произвольное двухзначное

число. Подумав, он изрек: «Одиннадцать». И добавил: «Это номер моей дачи». Начальник предложил машине произвести возведение этого числа в степень, она через шесть минут выдала длиннющую перфоленту, которую вставили в цифропечатающую приставку. В результате был получен лист бумаги с... двадцать одной строкой цифр.

Куратор покачал головой:

— Чудовищное число... Ничего не выйдет.

Позвали Лукошко. Куратор поглядывал на него с откровенным сочувствием. Минуты через две, шевеля пухлыми губами, Митя изрек чудовищное число.

— Нужно извлечь корень 1137 степени, — зараннее предвкушая победу и посмеиваясь, сказал начальник ВЦ. Митя диковато взглянул на него, нахмурил лоб и через десять секунд произнес:

— Одиннадцать!

Последовала немая сцена, как в «Ревизоре».

Куратор смахнул со лба пот клетчатым платком и протянул Лукошко руку:

— Поздравляю! У вас редкий талант.

Митино лицо расплылось в довольной улыбке. Но ее тут же погасила реплика, вполголоса произнесенная Булыжным:

— С таким талантом только в цирке выступать!

Митя закрипел зубами: «Ну, погоди, ты у меня дождешься...»

То была первая за этот день, но не последняя диверсия Булыжного.

В кабинете начальника ВЦ (вмонтированный в оконную раму металлический ящик кондиционера нагнетал в помещение охлажденный воздух) пили чай с лимоном. Митя дельно и сжато обрисовал принципы предложенной им структуры. Сообщение было принято благосклонно. Все было бы хорошо, если бы не бестактное замечание Булыжного. Он попросил слова и, иронически кривя губы, сказал:

— Идеи, структуры — все это, конечно, хорошо. Но есть одна малость, о которой мы забываем. Я имею в виду вопросы, так сказать, домашнего этапа. В частности, подготовку документов. В промышленности как? У них и Единая система техни-

ческой документации (ЕСТД), и Единая система конструкторской документации (ЕСКД), и другие регламентирующие установления. Именно это и не позволило автоматизировать ряд весьма трудоемких процессов управления. А у нас в городском хозяйстве? Миллион бумаг, и каждая на свой лад. Пора уяснить: будет совершенствоваться документация — будет уточняться и структура исполнительного органа. Тогда настанет время говорить и об АСУ.

Наступило неловкое молчание.

Митя попытался спасти положение:

— Не следует выпячивать на первый план хотя и существенный, спору нет, но в общем-то, второстепенный этап работы. То есть частное противопоставлять общему. В таком случае мы рискуем запутаться в частности и потерять общую перспективу.

— Это верно, — произнес куратор. — Без ясной перспективы работать нельзя. И все-таки...

— Мне хотелось бы поддержать выступившего товарища, — неожиданно вступился за Булыжного начальник ВЦ. — Это наша распространенная болезнь: упускаем из виду детали, без которых шаг ступить нельзя. Разработка и унификация документации — проблема № 1. Надо также позаботиться о том, чтобы наши клиенты были обеспечены терминалами — устройствами для ввода и получения информации...

— Или хотя бы оборудовать на первых порах абонентные пункты, — вставил Булыжный.

— Да, хотя бы это...

— Разумеется, мы над этим думаем, — проговорил Лукошко.

Встреча закончилась. Митя стоял на улице, стараясь поймать такси. Наконец свободная машина подкатила к тротуару. Митя открыл дверцу, уселся рядом с водителем.

Раздался крик:

— Эй вы, Лукошко! Погодите! Захватите меня!

Митя оглянулся... От подъезда Вычислительного центра, словно цапля, выбрасывая худые и длинные ноги, спешил Булыжный.

Митя отвернулся.

— Трогай! — приказал он водителю. Нет, ему с Булыжным не по пути.

Вечером Митя накинулся на жену с упреками:

— Это ты во всем виновата! Кто говорил: «Нечего заниматься мелочами, нужна глобальная идея». А что вышло? На этих-то мелочах я по твоей милости и погорел!

Он только что рассказал Нине о том, что произошло сегодня утром в Вычислительном центре: о встрече с куратором, о том, сильном впечатлении, которое он, Митя, произвел на присутствующих своими математическими способностями, о чаепитии в просторном кабинете и, наконец, о бестактности Булыжного, испортившего всю обедню... Митя испытывал потребность взвалить ответственность за случившееся на Нину и тем самым хотя бы немного облегчить тяжесть, давившую ему на плечи.

Нина присела на край кресла, закинула ногу на ногу, высоко обнажив колено, закурила. Усмехнулась:

— А этот Булыжный занятный тип. Он как будто нарочно поставил перед собой цель: наживать врагов и осложнять себе жизнь. Такое впечатление, что этому человеку ничего и ни от кого не нужно!

Митя задумался. Разве бывают на свете такие люди, которым ничего не нужно? Вот ему, Мите, он этого не скрывает, нужно многое. Что именно? О, об этом он мог думать часами. Не потому, что рисовавшаяся ему в мечтах картина была столь обширна и сложна. Вовсе нет. Все сводилось к довольно-таки простой, можно даже сказать, банальной формуле: «Добиться успеха». В чем будет выражаться этот самый успех? А в том, что Митя будет жить хорошо, лучше многих других.

Сколько себя помнил, он неизменно рисовал свое будущее в радужном свете. Видел себя то крупным ученым, окруженным стайкой почтительно благодарных учеников, то генеральным директором крупного объединения, то народным артистом или популярным летчиком. Род занятий не играл особой роли. В мечтах он представлялся себе процветающим, уверенным, властным, в хорошо сшитом темно-сером костюме, на лацкане которого поблескивает... В общем, талантливым и признанным, удачливым и отмеченным...

Вот какой смысл вкладывал Митя в понятие «ус-

пех», вот чего он ждал от своего проекта. Именно в этом заключалась его жизненная цель, его «глобальная идея».

...Булыжному ничего не нужно? Как бы не так! Митю почему-то больно задела слова жены.

«КЛИЕНТЫ» ГРАБИТЕЛЯ-ДЖЕНТЛЬМЕНА

— Вы разрешите?

Хорошо одетая женщина с южным загаром на красивом лице посторонилась, пропуская Коноплева в свою квартиру. Она не выглядела несчастной, эта потерпевшая, хотя совсем недавно грабители унесли из ее квартиры ценностей на 14 тысяч рублей.

Коноплев представился, показав удостоверение. Монастырская кокетливо взглянула на него блестящими тщательно подведенными глазами:

— Вот никогда бы не подумала, что вы из угрозыска!

— А что, я больше похож на грабителя?

— Нет, что вы, что вы! — рассмеявшись, она откинула назад голову, на красивой белой шее запульсировала голубая жилка. — Проходите... Я в квартире одна. Мама в больнице. У нее инфаркт. Результат этой истории.

И о мамином инфаркте Монастырская говорила как-то несерьезно, даже весело, усмехаясь и покачивая бедрами, туго обтянутыми блестящей тканью модного костюма — синего в полосочку.

— Чашечку кофе?

— Не откажусь.

Вздыбив рукой смятые шапкой волосы, Коноплев прошел из передней в уютную залу и по приглашению хозяйки опустился в кресло. Осмотрелся.

— Я бы сказал, что грабители отнеслись к вам по-божески.

— По-божески! — в первый раз Монастырская вышла из равновесия, глаза сузились, из ярко накрашенных, красиво очерченных губ вырвался поток грубой брани: — Подлецы! Негодяи! Поднять руку на меня! Поймайте их! Я отдам государству все эти 14 тысяч, только бы этих негодяев подольше держали за решеткой!

Она говорила об «этих негодях», как будто знала их в лицо. А может быть, так оно и было?

— Не нервничайте. Это повредит вашей внешности, — Коноплев счел за благо перевести разговор на другую тему.

Она тотчас же успокоилась. Тряхнула копной рыжих волос, повела круглыми плечами, рассмеялась:

— А что, я выгляжу моложе своих сорока?

— А вам сорок? — притворно изумился Коноплев. Сегодня утром он тщательно изучил дело об ограблении Монастырской и отлично помнил ее анкетные данные. Монастырской в январе исполнилось сорок пять. Но выглядела она отлично.

— Я не скрываю, подобно другим женщинам, своих лет. Зачем? Бони меня и так не разлюбит. Верно, Бони?

Японский шпиц преданно ткнулся пушистой мордой в ее руку.

— Но этот красавец шпиц, кажется, не единственный ваш друг?

Монастырская резко выпрямилась, синий жакет обрисовал высокую грудь. Большие серые глаза светились искренностью.

— Да, у меня есть друг, иностранец... Он трубач в оркестре. Каждый год приезжает к нам в страну на два месяца. Все это время я возле него, живу у него в гостинице. Вместе завтракаем, обедаем, ужинаем. Ведь любить — это не запрещено?

«Любить не запрещено. Запрещено заниматься спекуляцией. Тем более в международном масштабе», — мысленно ответил ей Коноплев. Вслух же сказал:

— А злые языки приписывают вам еще кое-кого... Спортсмены, артисты, торговцы...

— Да, злые языки страшнее пистолета, — вздохнула Монастырская. И отвела взгляд. — Кажется, так сказал поэт?

— Ну, пистолет все-таки страшнее, — улыбнулся Николай Иванович. — Кстати, вашей матери угрожали оружием? Горячим или холодным?

Монастырская покачала головой:

— Нет. Вошли двое. На лице — чулок. Набросились на бедную старуху, заткнули рот, припугнули.

Она стояла ни жива ни мертва. Теперь очень переживает, что не закричала, не позвала на помощь. Говорит: «Из-за моей трусости все потеряли». Я ее успокаиваю: «Слава богу, мама, что вы не подали голос!»

— Вы считаете, что могли убить? — поинтересовался Коноплев.

— Да нет, что вы! Это же не те люди. Шкоды и трусы! Была б я дома, я бы им показала!

Коноплев подумал: «А ведь она неплохо знает этих подонков. И неудивительно: одного поля ягоды».

— Много унесли?

Монастырская стала спокойно перечислять, загибая пальцы с длинными яркими ногтями:

— Эти подлецы сняли со стен пару картин. Кто художники? Честно говоря, не помню. Оценку картин в спешке занижала, назвала не ту сумму... А они стоят в несколько раз больше. Из вещей самая дорогая — норковая шуба. Потом еще шуба из искусственного меха, кольца, серьги, браслеты. В общем, кошмар и ужас!

Однако ее красивое лицо не выражало не то что ужаса, даже простого сожаления об утерянных вещах. «Видно, легко достались», — подумал Николай Иванович.

Коноплев встал, прошелся вдоль стен, увешанных картинами в золотых рамах, полюбовался изделиями из бронзы, выставленными на низком серванте.

— Хотя вас и почистили основательно, однако многие уникальные вещи уцелели. Если не секрет, откуда это все у вас? Вы ведь, кажется, долгие годы нигде не работаете.

Монастырская ответила вопросом:

— Как вы думаете, если бы я работала учительницей в школе, имела бы я тогда все это?

— Вряд ли.

— Вот именно. — Она облизнула пересохшие губы розовым язычком. В голосе чувствовалось напряжение. — Когда я вышла замуж, мне не было и семнадцати... А муж был в годах. Он дал мне полную свободу действий. Что хочешь, то и делай...

— Благородный человек, — вставил Николай Иванович. — Кем он был?

— Директором комиссионного магазина. Он сильно меня любил. Если я до сих пор сохранила свою привлекательность, душевную молодость, запас сил, то этим я прежде всего обязана ему. Он потакал всем моим капризам. Если мне хотелось сегодня же вылететь на Черноморское побережье, то через несколько часов я была уже там. И не скрою, иногда попадала в объятия другого...

Она явно уходила в сторону от темы, но Коноплев решил не одергивать ее.

— Замужем вы были недолго.

— Да... Получилось так, что однажды муж застал меня врасплох. Развод. Мы с мамой уехали из Риги. Поселились в Москве.

— Но не будете же вы утверждать, что все эти богатства оставлены вам мужем в благодарность за подаренное ему яркое, но мимолетное счастье?

Монастырская с обидой посмотрела на Коноплева. Мол, я вам душу открыла, а вы не верите! Ответила вяло:

— В Одессе умер дедушка. Оставил наследство.

— Да, шесть тысяч рублей, — подтвердил Николай Иванович.

Монастырская округлила глаза:

— Так вы знаете?

— Как видите... Но не убеждайте меня, что все это — дедушкино наследство.

— У меня очень добрый папа. Когда денег нет, я лечу к нему в Ригу, покручусь возле папы пять — десять минут, и он подбрасывает мне рубликов пятьсот.

— Мне бы такого папу! — вздохнул Коноплев. — Но если я не ошибаюсь, в последний раз вы навещали его лет пять назад... Видимо, он переводил вам деньги по телеграфу?

— И это было...

— Корешки квитанций у вас, должно быть, не сохранились?

— Нет, не сохранились.

Монастырская отвернулась, как бы потеряв к разговору всякий интерес. Коноплев на мгновение почувствовал себя злодеем, жестоко обманувшим ожидания гостеприимной и миловидной хозяйки.

— Вы можете не отвечать на эти мои вопросы... Они носят, так сказать, неофициальный характер.

Но поймите мое любопытство. Не работаете. А живете в роскоши. Невольно возникает вопрос: как это удается?

Монастырская повернулась в кресле, узкая юбка поползла с плотных коленей, она заметила это, но не стала ееправлять.

— Хотите откровенно?

— Разумеется!

— Делать деньги — это искусство! Тут и страсти, и вдохновения, а главное — загрузка мозговых извилин. Должно быть, поэтому мне в жизни никогда не было скучно. Конечно, слетать на пару дней в Сочи или надеть на себя ценную побрякушку — это приятно. Не скрою. Я ведь женщина. Но не это главное. Главное — ощущение того, что тебе все доступно, ты все можешь! Кстати, учтите, я никогда не преступаю границы дозволенного...

— Ой ли? — не выдержал Коноплев.

Монастырская поджала губы:

— Вы, кажется, пришли ко мне как к пострадавшей, а не как к ответчице... Или я ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь, — поспешил успокоить ее Коноплев. — Как вы думаете: кто же все-таки вор?

— Это вы у меня спрашиваете?

Глаза Монастырской насмешливо блеснули. «А ей не откажешь в чувстве юмора», — подумал Николай Иванович.

— Насколько я понимаю, вас интересует личность Щеголя?

— Щеголя? Кто это?

— Пустянский. Щеголь — это его кличка. Уж очень он любит всякие цацки на себя навешивать...

— Вы думаете, это был Пустянский?

Монастырская махнула белой рукой:

— Не надо со мной играть в прятки. Я все знаю, знаю, что этот дуралей оставил свою визитную карточку вои на том полированном столике. Знаю, что и он об этом знает...

— Он знает? Откуда?

— Ко мне приходила эта... его хахальница. Художница. Принесла украденный Пустянским магнитофон.

Коноплев не мог скрыть своего изумления:

— Зачем ей это понадобилось?

— Ну, ясно зачем... Этот умник сделал ей подарок — преподнес краденый магнитофон. А потом испугался, что его милую заметут, и посоветовал вернуть мне эту штучку. Что она и сделала. Я спрашивала, где он. Она не знает.

— Но почему же вы не сообщили нам об этом?

— Сейчас сообщаю... — Монастырская откинулась на спинку кресла и устало прикрыла веки, подкрашенные чем-то зеленым. Юбка безудержно поползла вверх, мелькнули белые кружева.

Коноплев понял, что пора прощаться.

— Последний вопрос. Скажите, этот Пустянский... Если, конечно, это был он...

— Он, он! Кому же еще! Дешевый фраер!

— Он угрожал вашей маме? Был с нею груб?

— Да нет, что вы! Этот дурень разгрызает из себя джентльмена. Кстати, Джентльмен — это вторая его кличка. Вы знаете, что приключилось, когда он чистил квартиру Хаскина? — Монастырская оживилась. — Он вошел к ювелиру Хаскину под видом слесаря из ЖЭКа и уложил его ничком на ковер. А у старика в заднем кармане брюк была пачка денег — полторы тысячи. Он лежит и тревожится, как бы Пустянский их не заметил. И вот что придумал. Говорит: «Молодой человек! У меня кровь прилила к голове. Боюсь, не было бы инсульта. Вы не могли бы посадить меня на стул и дать воды?» Пустянский клянул на эту хохму: «С моим удовольствием! Если вы пообещаете вести себя тихо». Тот: «Обещаю!» Говорят, что, когда Пустянский потом узнал, как Хаскин надул его с этими деньгами, с ним самим чуть удар не приключился!

— Значит, вы считаете, что он вряд ли решился бы на убийство!

Монастырская всплеснула руками:

— Да что вы! Эти люди любят хорошо пожить. Зачем им вешать на себя убийство! А тут, даже в случае неудачи, отсидят несколько лет, выйдут и снова за старое. — На ее лице появилось жалобное выражение. — Вы не знаете, почему им дают такие малые сроки?

— Ну, не такие уж и малые, — сказал Коноплев и поднялся с кресла.

— Может быть, хотите коньяку?

— Покорно благодарю. Кстати, табакерки у вас не пропадали? А то мы нашли одну, довольно ценная вещица.

— Нет, табакерок у меня не было. Мелочью не интересуюсь.

— Понятно.

Он вновь прошелся по просторным, богато и безвкусно обставленным комнатам.

— Какая хорошенькая статуэтка... Какой век? Чья работа?

Коноплев вел себя, как заправский коллекционер. Монастырская равнодушно пожала плечами:

— Не знаю... Но вещь ценная. Триста рубликов отвалила.

— А здесь что изображено? — Николай Иванович стоял у потемневшего от времени, почти черного полотна, на котором группа полуголых людей в живописных позах расположилась среди развалин.

— Что-то из римской истории... Между прочим, говорят, подлинник. Тысяча пятьсот.

Она была совершенно невежественна. Ее интересовала только материальная стоимость сокровищ, стоимость в рублях. «А может быть, они все такие — нынешние любители антиквариата? — подумал Николай Иванович. — Оголтелые мещане, осатаневшие от жажды приобретательства? Жулики, рыскающие по жизни в стремлении найти выгодное помещение нечестно нажитым капиталам? Да и откуда взяться этим «честным» полумиллионным коллекциям?»

Сам того не замечая, Николай Иванович повторял слова следователя Ерохина, определявшего ситуации с ограблениями коллекционеров предельно просто: «Вор у вора дубинку украл».

Следующим в списке Коноплева значился некий профессор Александровский. Недавно его тоже обокрали. Часть похищенного удалось вернуть (вещи обнаружили у скупщиков краденого), однако преступников поймать не удалось.

Не успел Николай Иванович переступить порог, как его внимание привлекла громадная клетка с птицами. Затем — два мраморных бюста: Бонапарта Кановы и Сократа — XVII век. Стояла пара петровских

стульев, книжный шкаф карельской березы. В гостиной — комод-ампир розового дерева, восточный стол с инкрустациями на нем — чеканный персидский кувшин, русский ларец XVII века с инкрустациями из кости. На стенах — картины: большой античный пейзаж Матвеева (гуашь) и прекрасный венецианский вид, напоминавший полотна Каналетто. В кабинете — настоящий хаос, картины сплошь покрывали стены, стояли на полу. Остальные комнаты были сравнительно пусты.

— Понимаете, мне нужно всегда иметь все свои любимые вещи под руками, — объяснил Коноплеву хозяин квартиры профессор геологии Александровский. Он был в холщовой толстовке, придававшей ему вид человека «из прошлого века». Это впечатление усугубляли космы седых волос, составлявших единое целое с седыми усами и бородой. Нос у Александровского тонкий, с горбинкой, ноздри красиво очерченные, нервные.

— Коллекция — моя жизнь, — говорит он, и ноздри его раздуваются.

— А что вы коллекционируете?

— Все! Картины, книги, монеты, фарфор...

— Я, например, никогда не понимал людей, которые собирают монеты, — говорит Коноплев. — Какое-то бездумное дело!

Александровский оживляется. Ему возражают, значит, есть повод высказать свои мысли!

— Вы правы — совершенно бездумное! — довольно смеется он. И его пушистые белые усы колышутся. — Отчего нумизматика пробуждает столько мыслей? Именно своей бездумностью. Механизм занятий отстраняет душевную боль, душа отдыхает, и мысль расправляет крылья и летит...

Он взмахивает руками, широкие белые полотняные рукава раздуваются, словно крылья.

— А коллекционирование книг? — снова вызывает его на спор Николай Иванович. — Мы обращаемся с ними бережно до педантизма, аккуратно до нелепости, загромождаем квартиры шкафами и полками, возводим баррикады из книг. Разве не грех — превратить книгу — это воплощение человеческой мысли — в предмет коллекционирования? Заставлять ее мертвым грузом лежать на полках...

Седые брови вздрагивают и выгибаются дугой. Александровский приятно удивлен: этот гость оказался довольно интересным человеком.

— Я вашу мысль понимаю... Ни в одном деле, в том числе и в коллекционировании, нельзя доходить до крайности, до абсурда. Был такой старый коллекционер Розанов. Так он писал: «Книгу нужно уметь находить; ее надо отыскивать и, найдя, беречь, хранить!» Он утверждал, что книг не надо давать читать, книга, которую давали читать, — развратница, которая нечто потеряла от духа своего, от невинности и чистоты своей... Вот как! Он доходил до утверждения, что публичные библиотеки — это все равно, что публичные дома. Глупость, конечно. Кстати, знаете, что стало с его собственной библиотекой? Он пожертвовал ее какому-то провинциальному учреждению, там не было порядка, и книги Розанова пошли по рукам.

— Надо ли жалеть об этом? — сказал Николай Иванович. — Книги вернулись к людям, для которых и были написаны.

— Да, вы правы...

Неожиданно Александровский загрустил, должно быть, задумался о судьбе своей коллекции.

Коноплев направил разговор в иное русло:

— Скажите, а вы не знали случайно такого коллекционера — Лукошко? Лукошко Семен Григорьевич.

Александровский нахмурился:

— Он погиб такой ужасной смертью! Несчастный... Близки мы с ним не были. Несколько раз он бывал у меня дома... Что-то предлагал, к чему-то приценивался.

— Я слышал, что продажа антикварных вещей с рук запрещена, — заметил Коноплев.

— Но это, извините, чепуха! — загорячился Александровский. — А как тогда прикажете пополнять коллекции?

Николай Иванович пожал плечами:

— Покупать можно в антикварных магазинах. Продавать и комиссионкам и музеям...

— Да вы знаете, какие там цены? В музее дадут 15—20 рублей, а продашь с рук — получишь в десять раз больше!

— Но ведь это спекуляция.
— А что прикажете делать?
— Да это я у вас хотел спросить, что делать?
— Спрашиваете — я отвечу. Надо ре-а-ги-ро-вать!

— Что, что?

— Я говорю — реагировать на реальные факты жизни! За последние десять лет антикварные вещи подскочили в цене в пятнадцать — двадцать раз. Почему? Я не экономист, но думаю, дело в поднявшемся уровне жизни. У людей появились деньги... А вместе с ними и возможность покупать красивые вещи. А вот реализовать эти возможности не так-то просто. Коллекционирование отмирает. Я — старый человек и помню другие времена... С какой любовью собирались коллекции прошлого! С каким трепетом входил коллекционер в лавочку знакомого антиквара! Как любовался вещью! Как волновался, сидя в первом ряду в аукционном зале, когда черед доходил до вещи, столь ему близкой, столь необходимой для пополнения коллекции. И страсти разгорались, каждая вещица прежних коллекций имела свою историю, была связана с рядом воспоминаний, и это придавало ей особую цену. Аукционы помогали выявить подлинную стоимость вещи!

— Вы имеете в виду дореволюционные годы? — уточнил Коноплев.

Седые брови сошлись на переносице:

— Уж не принимаете ли вы меня, товарищ Коноплев, за ретрограда? Упаси боже! Если хотите знать мое мнение: русское коллекционирование замерло еще за несколько лет до революции. Нельзя сказать, что совсем прекратилось. Разные люди еще покупали разные вещи. Затрачивались усилия, продолжались хитрости и денежные потуги. Но дело останавливалось. Коллекции в основном сложились. Новые собиратели не появлялись. К этому времени коллекции существовали как бы отдельно от коллекционеров. Живая связь между ними прекратилась. Поэтому отделение собственника от коллекций, которое произвела революция, было не чем иным, как оформлением естественного, уже завершившегося процесса! Крупные частные собрания сделались государственными, средние были взяты на учет, за мел-

кими учредили надзор. Этим актом коллекции как бы защитили — против коллекционеров!

— Вы наделяете коллекции живыми свойствами, — вставил Коноплев. — Так, должно быть, поступают все страстные коллекционеры... И вы...

— Страстный, да... Но не сумасшедший.

— А что, среди коллекционеров встречаются и сумасшедшие?

— А вам разве не известно, что великий Бальзак сказал: «Пристрастие к коллекционированию — первая ступень умственного расстройства»? Для такой крайней точки зрения есть некоторые основания. Я вам расскажу одну старую историю... Это было еще до революции. Однажды некто Васильев, делавший первые шаги на ниве собирательства, приобрел у какой-то монахини две миниатюры и потемневший холст с изображением старого еврея. Монахиня говорила, что портрет еврея — кисти Рембрандта. Однако знатоки сочли полотно хорошей старой копией.

Однажды к Васильеву зашел известный собиратель П. В. Деларов. Замечает портрет и начинает пристально в него всматриваться. Заинтересовался. На вопрос о цене Васильев ответил: «Тысяч десять!» И, как он потом рассказывал, сам испугался назначенной цифры. «Десять не десять, — ответил Деларов, а три дамы, и мариинская моя».

Последняя фраза означала, что помимо платы Деларов угощал продавца в известном трактире — Мариинском, в Апраксином дворе, где собирались апраксинцы-антиквары и где Деларов нередко «обмывал» свои удачные приобретения.

Вскоре Деларов отвез портрет в Амстердам, где видные авторитеты Запада единодушно признали в нем кисть великого ван Рейна. В итоге Деларов продал портрет американскому миллионеру Моргану за 125 тысяч! Финал этой истории оказался трагическим: Васильев, узнав, какое богатство уплыло из его рук, сошел с ума. Вот как...

— А Лукошко, он тоже был немного того... сумасшедшим?

— Сумасшедшим, говорите вы? Вряд ли... Но черты одержимости в нем были. Казалось: вне коллекции для него нет жизни. Ничего нет — ни семьи, ни общества, ни музыки. А ведь он был музыкантом!

Одно время мы с ним часто виделись, но потом наши отношения прервались.

— Когда это случилось?

Александровский наморщил лоб:

— Несколько месяцев назад. Вскоре после того, как меня обчистили.

— Вас обокрали? — Коноплев покривил душой, делая вид, что не знает об этом печальном факте. — Много взяли?

Александровский пожал плечами:

— Не так уж много... Но, слава богу, мое собрание минералов осталось нетронутым. Взяли немного, — повторил он. — Но вот что странно: они вели себя так, словно досконально знали, где что лежит, знали мои привычки и уклад моей жизни.

— Вы хотите сказать, что кто-то «навел» их на вашу квартиру?

— Я говорил работнику угрозыска о своих подозрениях. Но он должным образом не прореагировал. Правда, часть вещей мне потом вернули. Не знаю, как это удалось: ведь грабителей так и не нашли.

— Спасибо, профессор. От вас я узнал много поучительного.

— Рад быть вам полезным. Если что понадобится, милости прошу.

Уже стоя в дверях, Коноплев по инерции задал Александровскому свой обычный вопрос:

— Скажите, среди похищенных у вас вещей случайно не было табакерки?

— Табакерки? А почему вы об этом спросили? — на лице Александровского — удивление.

— Мне на днях предлагали одну вещицу... за подозрительно малую цену... Я почему-то подумал: уж не краденая ли... И отказался.

Александровский ответил:

— Любопытно... У меня действительно похищена табакерка. С изображением Наполеона. Это было первое изображение императора на табакерках русской выделки.

Коноплев прошелся по своей квартире со странным ощущением, будто он не дома, а в гостях. Вещи, давно ставшие привычными, а потому и незаметными,

безгласными, словно вновь обрели свое «я» и заговорили со своим хозяином. А может, это он заговорил с ними? Скорее всего, так. Николай Иванович был недоволен ими, сегодня они раздражали его — своим видом, разномыслием, случайностью своего появления в этой квартире, наконец. Вот хотя бы эта керамическая пластинка с изображением петуха, которую когда-то привез из Праги. Ей и новой цена была пятак в базарный день, а сейчас!.. Однажды непрочный вбитый Коноплевым гвоздь выпал, пластинка разлетелась на две части. Он подобрал ее, склеил БФ и еще гордился своей работой: шов почти незаметен! Какое там незаметен! Он бросается в глаза, этот уродливый шрам.

Коноплев снял пластинку со стены, прошел в кухню и сунул ее за плитку.

Он вскипятил воды, заварил чаю, налил в большую чашку, тоже с трещинкой, отхлебнул. Ну и ну! Заглянул в несколько богато обставленных квартир — и вот уже вид его собственного жилища ему не по сердцу. Он расхохотался.

Стоило Коноплеву обрести свое обычное, уравновешенное расположение духа, как все стало на место. Только что владевшее им раздражение отхлынуло.

Перед его мысленным взором вновь предстало убранство в квартирах Лукошко, Монастырской, Александровского... В них было нечто общее — наличие редких и богатых старинных вещей. Но как не похожи были эти жилища друг на друга — и по внешним признакам, и по укладу протекавшей в них жизни.

Квартира Лукошко на пятом этаже. Скудное, расчетливое, обделенное теплом человеческое существование — и мертвенно-бездушный мир вещей. Наглая роскошь апартаментов Монастырской, где предметы искусства давно перестали быть самими собой и превратились в вещественное выражение денежной стоимости, стали украшением пустой и бессмысленной жизни. Беспорядочное нагромождение картин, минералов, научных книг, раритетов, фарфоровых фигурок и предметов геологоразведочного снаряжения в комнатах Александровского. Конечно, порядка в доме у старика маловато, подумал

Коноплев, но, пожалуй, и навести-то этот порядок нельзя, как нельзя разложить по полочкам духовное и материальное в долгой, сложной человеческой жизни.

Это так же верно по отношению к его собственной, коноплевской жизни. И чего это он, спрашивается, ополчился сегодня против керамической треснутой, но склеенной его руками тарелки? Она была дорога ему и его жене Танюшке не своей номинальной стоимостью, а напоминанием об их первой разлуке — мучительной из-за чувства неуверенности в прочности соединявших их уз, которое одолевало Коноплева и его молодую жену в первые месяцы после свадьбы. Когда глиняная безделушка упала и треснула, они оба расстроились так, как будто произошло несчастье, и долгие годы делали вид, что не замечают этой трещины; им хотелось думать, что их счастье — монолит, которому не страшны ни разница в возрасте, довольно-таки немалая — десяток лет, ни различия в характере их деятельности; она — оперная певица, а он — работник угрозыска.

Коноплев отправился на кухню, достал из-за плиты керамическую тарелку (она была, слава богу, цела), отнес в спальню и, предварительно потрогав гвоздь — крепко ли сидит в стене, — аккуратно водрузил ее на место.

— Интереснейшая, доложу вам, эта публика — коллекционеры и антиквары... — входя несколько дней спустя в кабинет следователя, проговорил Коноплев. — Так сказать, осколки прошлого.

— Не нравятся мне эти осколки, — Ерохин брезгливо скривил губы. — Переходите к делу, подполковник.

— Пустянский, конечно, негодяй, однако маловероятно, чтобы он решился на убийство. Чистюля. Знаете, его даже называют грабителем-джентльменом.

— Кто называет?

— Монастырская, например...

— А-а... Два сапога пара.

— Пожалуй. Но именно потому, что она хорошо знает Пустянского, ей и можно верить.

— Верить на слово в нашем деле никому нельзя.

— Во всяком случае, никаких данных о связях Пустянского с делом Лукошко пока нет. Однако знакомство с его «клиентами» кое-какую пользу принесло... Обнаружен хозяин табакерки с изображением Наполеона. Ее среди прочих ценностей украла у коллекционера Александровского полгода назад.

— Ну, а при чем тут Лукошко?

— Табакерку пытались сбыть с рук вскоре после того, как мы принялись за поиски убийц старика.

— Ну что из того? Разве это не может оказаться простым совпадением?

— Очень даже может. Но, как явствует из осмотра коллекции Лукошко, он тоже собирал табакерки.

— В описи коллекции табакерки описаны каждая в отдельности?

— Нет, просто указано — пятнадцать штук.

— Фу, черт! А сколько в наличии?

— Восемнадцать.

— Больше?!

— Да.

— Что же это значит?

— Только одно: опись делалась недостаточно аккуратно. В нее вошли те пятнадцать табакерок, которые лежали в одном месте. Еще три я обнаружил в других местах: одну среди книг в шкафу, две других — в одном из ящиков серванта.

— Ну, и какой вывод вы из этого делаете?

— Что в момент описи их могло быть и девятнадцать...

— И двадцать? И двадцать одна?

— Нет, именно девятнадцать. Если моя догадка верна, то избавиться хотели именно от этой табакерки.

— Почему?

— Потому что если бы просто нужны были деньги, то взяли бы не табакерку, а вещь подороже.

— Это все фантазии! — сухо сказал Ерохин. — Лучше займитесь поисками Пустянского.

— Есть, — сказал Коноплев и вышел из кабинета. Он был доволен. Хотя Ерохин и назвал рассуждения насчет табакерки фантазиями, однако не запретил ему тратить время на разработку этой версии.

ПЛОДЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

В свое время Мите Лукошко крепко запали в душу слова жены: Булыжный не похож на других. «Ерунда, — думал он. — Знаю я этих бессребреников! Им чего надо — отхватить кусок побольше да пожирней. И тогда они быстро хвост подожмут». Ему хотелось доказать Нине, что Иван Булыжный именно такой, что вся его хваленая принципиальность — от чувства обделенности, от сознания собственного бессилия в борьбе за жизненные блага.

По зрелом размышлении, однако, решил: с Булыжным отношения не обострять. Что, собственно говоря, случилось в этом самом Вычислительном центре? Ничего! Просто мужик тоже захотел обратить на себя внимание начальства. Это, в конце концов, его право. Надо с ним поделиться. Может быть, возложить на него ответственность за этот самый... домашний этап? Пусть себе разрабатывает меры по унификации документации для АСУ. Не без злорадаства подумал: «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. Посмотрим, голубчик, как ты справишься с такой громадой, не свернешь ли себе шею». В размышлениях Мити имелось определенное противоречие: с одной стороны, ему страстно хотелось, чтобы Булыжный завалил дело, которое он собирался ему поручить, с другой — никто, кроме Лукошко, не был более заинтересован в конечном удачном исходе этого самого дела, потому что от этого в немалой, а может быть, и в решающей степени зависел успех всего проекта в целом. Таков был Митя: зачастую он сам себя не понимал.

Предложение Лукошко обрадовало Булыжного. Ведь не кто иной, как он сам в свое время озадачил куратора проблемой разработки унифицированной документации для АСУ. И теперь, хочешь не хочешь, в какой-то степени — и немалой! — нес ответственность за эту самую документацию. Конечно, легко было свалить вину за продолжающееся топтание на месте на Лукошко, но, во-первых, не в характере Булыжного — валить на кого-то вину, а во-вторых, его самого увлек этот самый «домашний этап». Почитал кое-какую литературу, и отечественную и зарубежную, и теперь имел в голове несколь-

ко любопытных идей, которые неплохо было бы запустить в работу. Но без Лукошко сделать это никак нельзя. Следовательно, хочешь не хочешь, а надо идти к этому «наполеончику местного разлива», как называл про себя его Булыжный, и налаживать с ним деловые отношения.

Булыжный, мрачный и хмурый, что никак не соответствовало поставленной им перед собой задаче, явился на очередное отдельское совещание раньше срока — ему хотелось потолковать с Лукошко о своих планах. А тут вдруг Нюша объявляет: «Совещания не будет, перенесено!»

— А где начальничек-то?

— Они сказали, что сегодня дома работают. Бумагу какую-то надо писать.

— Дома, говоришь?

Булыжный задумался. Ему вдруг пришло в голову, что, пожалуй, это лучше всего — нагрянуть к Лукошко домой и там, в неофициальной обстановке, объяснить начистоту, постараться отъединить неважные личные отношения от служебных, договориться о ближайших шагах... Он взял у Нюши домашний адрес Лукошко и, больше не раздумывая, махнул на старый Арбат.

...Однако Митя вовсе не собирался работать дома. В этот день он вообще нигде не мог работать — ни дома, ни в учреждении. Неприятное событие совершенно выбило его из колеи. Подумать только! Ляля решила оставить ребенка. Да она с ума сошла!

И как это взбрело ему в голову — после долгого перерыва отыскать в старой записной книжке Лялин телефон и позвонить? Он и сам не знал, зачем это сделал. Может быть, после очередной ссоры с Ниной, обиженный ее холодным равнодушием, он вдруг почувствовал потребность еще раз ощутить свою безграничную власть над человеческим существом? А может, ему захотелось удивить Лялю своим новым обликом, обликом человека счастливого и преуспевающего? Как бы там ни было, однажды в отсутствие отца он зазвал ее в квартиру на Арбате, хотел было завести долгий и умный разговор, а вместо этого — безумный вихрь, ослепление. Он не мог

оторваться от Ляли, вновь и вновь заключал ее в своим объятия. На этот раз она показалась ему искушенной и смелой, такой он ее еще не знал. Неожиданно для себя испытал укол ревности: «Откуда это у тебя? Кто научил?» Она рассмеялась: «Разве этому надо учиться? Просто я люблю тебя!» — и закрыла ему рот своими пухлыми влажными губами.

Митя так увлекся, что прозевал приход отца. Услышав звук хлопнувшей двери, натянул халат, вышел в переднюю:

— Учти, отец, я не один.

— Кто? Нина?

Митя, не ответив, вернулся в свою комнату, плотно прикрыл дверь. Ляля осталась у него до утра. Ни на минуту они не сомкнули глаз.

Странно, но с женой Ниной у него так не было никогда.

Ляля помогла ему почувствовать себя настоящим мужчиной. И вот теперь — пришел час расплаты.

Накануне Митя весь день злобно сверлил глазами курьера Ньюшу, превращенную им в секретаршу:

— Если позвонит эта... Не соединять! Ни в коем случае! Я запрещаю, поняли?!

А через минуту, высунув в дверную щель расстроенное лицо — щеки пылают, волосенки взлохмачены, — истерично вопрошал:

— Это кто сейчас звонил? Не Ляля? Если она — немедленно соедините! И не вздумайте подслушивать! Ясно?!

У бедной Ньюши от страха тряслись руки. Не рассчитав движений, хваталась за телефонную трубку, сбивала ее с аппарата, та с грохотом летела на пол, черный витой шнур извивался, как змея.

— Недотепа! — брезгливо цедил Митя и, хлопнув дверью, скрывался в своей комнатухе.

Он ждал, ждал, а Ляля, как нарочно, — молчок. «Вот так она всегда... — скрежетал зубами Митя. — Неужели трудно набрать номер?! Это она мне назло. Знает, что я нервничаю, и нарочно не звонит».

Как будто это не он два часа назад строго-настрого запретил ей звонить ему на работу, заявив мерзким, холодным голосом: «Свои сказки рассказывай кому-нибудь другому. Я же не верю ни одному твоему слову!»

Однако поверил сразу, каждому слову поверил, как только услышал в трубке задыхающийся от радости (да, да, именно от радости, вот дура-то!) Лялин голос: «Митенька, у нас будет маленький!» — «Какой маленький?» — не понял Митя. «Ну, какой же ты бестолковый, — тихо рассмеялась в трубке Ляля, — как ты не можешь понять, ребеночек у нас будет, сыночек! Димка!»

Она уже, оказывается, и имя придумала!

Он, как зверь в клетке, метался по своему кабинету, чувствуя необходимость что-то немедленно сделать, предпринять, отвести эту новую, нависающую над ним беду.

Только наладили отношения, камень упал с души, а тут Ляля со своей «радостной» вестью! Ну ничего, он быстро ее вразумит, выбьет дурь из головы. Как миленькая побежит к врачу и сделает аборт. Не она первая, не она последняя.

Теперь Митю прямо-таки трясло от нетерпения. Надо немедленно объясниться с Лялей. И зачем только он ей запретил звонить!

Но господь, видно, услышал его молитвы. К концу дня раздался Лялин звонок. Не обошлось без накладки. Сбитая с толку противоречивыми указаниями Мити, Ньюша, услышав Лялин голос, так перепугалась, что положила трубку на рычажки. Узнав об этом, Митя пришел в бешенство, он кричал, топал ногами, на губах выступила пена. Хорошо, что Ляля еще раз перезвонила и разговор состоялся.

Митя перенес назначенное на двенадцать совещание и отправился на Арбат, к кинотеатру «Художественный».

Ляля пришла на свидание оживленная, помолодевшая, почти хорошенькая в новой черной шапочке-чулке, надвинутой на лоб. Эта шапочка очень ей шла. В глазах — радость и бесконечная любовь к нему, Мите. Он было хотел сказать ей, что сомневается в своем отцовстве, но взглянул в Лялины глаза и... промолчал. Не то чтобы боялся обидеть Лялю. Нет. Просто язык не повернулся сказать ей приготовленные загодя подлые слова.

Они отошли от кинотеатра, где было слишком

людно и постоянно кто-то приставал с назойливым требованием лишнего билетика. Митя обогнул ротонду метро и отыскал свободную лавочку, напротив фонтана. Ляля тотчас же попыталась завладеть Митиной рукой, но он дернулся, как будто его обожгли утюгом, и отодвинулся.

— Ляля, слушай меня внимательно... — Митя начал торжественно. Он уже принял мужественное решение не отрешиваться от ребенка, не ругать Лялю, не уничтожать ее своей холодностью и презрением, а отнестись к ней с пониманием. Поддержать, успокоить и уговорить сделать аборт. Взять на себя хлопоты, связанные с подысканием подходящей больницы, хорошего врача, доставанием денег... В эту минуту он даже казался себе благородным.

— Ляля! За каждый миг удовольствия надо платить! Это не мы с тобой придумали, так заведено! Ты скажешь, но почему должна страдать одна я? И ты будешь права... Увы, на мужчину падают лишь моральные тяготы...

Митя сделал скорбное лицо. Казалось, он искренне сожалеет, что не ему, а Ляле придется делать аборт.

— Но ты не бескокойся! Я все беру на себя!

— Что берешь на себя? — не поняла Ляля.

— Как что? Все! Переговоры с врачом, деньги, тебе ни о чем не придется думать!

— Я не понимаю... — Ляля пристально смотрела на Митю из-под низко надвинутой на лоб черной шапочки. — Я тебя не понимаю, Митя. Ты что же, предлагаешь, чтобы я убила *нашего* ребенка?

Митя испуганно оглянулся: не услышал ли кто этих глупых Лялиных слов? Кажется, нет. У фонтана резвится ребятня, ее звонкий гвалт заглушает голоса взрослых.

— Что ты мелешь? — рассердившись, грубо сказал Митя. — О каком убийстве ты говоришь? Убить можно того, кто существует. Тысячи женщин ежедневно...

Ляля перебила его:

— Меня не интересует, что делают тысячи женщин. Это наш ребенок. Мой и твой. Это плод нашей любви, и я его уничтожить не дам.

Митя даже подскочил на лавке:

— Плод нашей любви?! Да ты с ума сошла! Плод

легкомыслия, а не плод любви. О какой любви ты говоришь? Разве мы не расстались несколько лет назад? Ты разве не знаешь, что у меня жена? Что я, между прочим, ее люблю?

Ляля усмехнулась, покачала головой:

— Вот именно: между прочим... — Проговорила спокойно, уверенно: — Перестань, Митя. Ты же прекрасно знаешь, что мы с тобой любим друг друга. Теперь у нас семья — мы с тобой и он. Молчи, не перебивай. Я знаю, что ты сейчас скажешь опять о своей жене. Я вас видела на улице, вы не любите друг друга, вы чужие. На самом деле твоя настоящая жена — я. А то, что мы живем отдельно и редко, ох, как редко видимся, это просто недоразумение. Но я верю, придет время, и все устроится, наша семья вновь соединится. Это будет. Рано или поздно. Только лучше пораньше бы...

Лялин голос дрогнул.

Митя сидел оглушенный. Ему показалось, что он сходит с ума. О чем говорит эта женщина? Как бороться с ее чудовищным самоослеплением? Его мозг судорожно заработал. Надо немедленно разрушить выдуманный Лялин мир, который настолько овладел ее воображением, что кажется ей сейчас реальнее существующего мира. Надо как следует встряхнуть ее, заставить очнуться, а если потребуется, то и пригрозить ей...

Дети у фонтана разбаловались, их резкие нестройные выкрики терзали его слух, Митя болезненно поморщился.

— Что за чепуху ты вбила себе в голову? Какая семья, какой ребенок? Ты в своем уме? Да, у нас могло это быть — и семья и ребенок, но твой отец все испортил... Я его ненавижу! Я не хотел этого говорить, но ты вынуждаешь... У нас с тобой ничего нет, последняя встреча — лишь эпизод, несчастный случай, можно сказать...

— Несчастный?! — он ожидал, что Ляля расплечется, а она рассмеялась. — Ты говоришь, несчастный случай?! Но мы же были так счастливы!

Митя мысленно вынужден был согласиться: да, неожиданно-негаданно их последняя встреча принесла ему острые и сильные ощущения. Ну и что из этого следует? Ничего. Отвел глаза в сторону:

— Пойми: я не хочу этого ребенка, мне он не нужен. Понимаешь — не нужен! Если ты не послушаешь меня и оставишь его, я от него отрекусь. Мы с тобой больше никогда не увидимся. Ты будешь расстать его одна.

В это время какой-то карапуз взобрался на гранитное ограждение фонтана и потопал по узкой и скользкой кромке, ежесекундно рискуя оступиться и упасть.

Ляля вихрем подлетела к фонтанчику, схватила малыша и, что-то ласково говоря ему, осторожно опустила на землю. От киоска с пачкой мороженого в руках уже бежала к фонтану встревоженная мать.

Ляля вернулась на место, села. На губах ее блуждала улыбка. Продолжила разговор, будто он и не прерывался:

— Что ты только говоришь, Митя! Если бы ты мог услышать себя со стороны! Но я-то знаю: ты не такой. От природы ты мягкий, добрый, справедливый. Как же тебе, бедному, должно быть, приходится тяжело в жизни, если ты так чувствуешь и так говоришь. Митя, Митя, милый... Чем я могу тебе помочь? Только скажи...

Она же еще и жалела его, предлагала ему помощь! Митя почувствовал, что в горле у него закипают слезы. Ему стало жалко себя. Да, да, она права... Это они сделали его таким — отец, Нина... Кто еще? Он ни в ком не находит ни понимания, ни поддержки. Только Ляля, она одна, пожалуй, любит его. Но их пути разошлись, прошлого не вернуть. Теперь главное — не позволить ей испортить его будущее. Если Лялю не оттолкнуть, она камнем повиснет на шее.

Митя поморгал светлыми ресницами, смахивая непрошенную слезу. Сухо бросил:

— Я все сказал.

Встал и, не оглядываясь, направился мимо фонтана к входу в метро. Из вестибюля бросил взгляд на площадь сквозь забранное чугунной решеткой окно. Ляля с трудом поднялась с лавочки, медленно подошла к цветочному киоску, купила букетик подснежников. И пошла, опустив глаза, касаясь губами цветов. На губах у нее играла улыбка.

Митя догадался: она заставила себя поверить,

что на *самом деле* Митя пришел в восторг от известия, что у них с Лялей будет ребенок, и на радостях преподнес ей эти цветы.

А тем временем Булыжный отправился по Митиному адресу. Уже сам дом — высокий, серый, с выступающим вперед эркером, затейливой мозаикой наверху и кариатидами у входа — не понравился Булыжному. Уже слишком он напоминал ему другой дом, тот, в котором жила генеральская вдова Антонина Дмитриевна. Уже давно надо бы побывать у приемной мамочки, взять у нее одну вещицу... А он все откладывает и откладывает: уж очень неприятен ему этот визит.

Булыжный вошел в просторный вентиль, в лифте поднялся на пятый этаж. Нажал кнопку звонка. Дверь отворилась тотчас же, словно его ждали.

— Это квартира Лукошко?

— Прошу вас, проходите.

Перед Булыжным стоял сухой старикан с треугольным, сужающимся книзу лицом. Пергаментная, в мелких морщинах кожа. Хрящеватый нос, маленькие, близко посаженные глазки с острым и умным взглядом.

«А старикан-то явно вырядился, но ведь не ради же меня!»

На старике темные брюки, курточка из коричневого вельвета, под ней бежевая рубашка. В расстегнутый ворот заправлен пестрый платок.

Булыжный двинулся вслед за хозяином в глубь квартиры. Войдя в зал, старик остановился, обернулся, сделал широкий жест рукой.

— Вы хотели посмотреть, пожалуйста.

Булыжный вовсе не хотел смотреть, любоваться на все эти богатства, на дорогой фарфор и хрусталь, на мебель красного дерева, на картины и статуэтки... Хватит, вдоволь насмотрелся на эту красоту в квартире Антонины Дмитриевны! Однако! Вот в какой роскоши живет-поживает, оказывается, милейший начальник, вот у него какое уютное да теплое гнездышко! Недаром Булыжный его невзлюбил, нутром чувствовал: мещанин. Правда, Булыжному казалось, что Лукошко мещанин голодный, а выяс-

няется — довольно-таки откормленный, сытый мещанин. И на черный денек кое-что есть, папочка, видимо, постарался.

— Ну давайте, что вы там принесли? — проговорил старикан.

— Ничего я вам не принес! — почти грубо ответил Булыжный. — Мне нужен ваш сын, Дмитрий Лукошко! Где он прячется?

— Ах, вы не ко мне, а к сыну... Так бы сразу и сказали... — старик нахмурился. — Митя, в общем-то, тут не живет. Бывает набегами. Его адрес, если вас действительно интересует, Русаковская, дом 27, квартира 72... Кстати... — старик замялся. — Если вы сейчас туда, то не будете ли столь любезны передать Нине Васильевне вот эту косынку. Они тут с Митей на днях ночевали и оставили.

Булыжный схватил протянутую ему стариком тонкую нейлоновую косынку и сунул в карман.

В тот момент, когда он выходил из квартиры, напротив отворилась дверь и на лестничной клетке появилась крашенная блондинка не первой молодости. Она окинула Ивана оценивающим взглядом, а затем переключила свое внимание на старика Лукошко.

Спускаясь по лестнице, Булыжный слышал их голоса.

— Какой-то странный тип, — произнес Лукошко. — Пришел, осмотрел мою коллекцию и, ничего не сказав, отбыл.

— Вы бы не пускали в дом кого попало. Говорят, повсюду грабежи. Вот на днях в соседнем доме старушку убили...

— Не верю я в этих убитых старушек, — отозвался Лукошко и хлопнул дверью.

...Нина только что вышла из ванной. На ней был легкий, полупрозрачный халатик, мокрая голова обмотана махровым полотенцем, на ногах шлепанцы. Услышав звонок, поморщилась: «Опять Митя забыл захватить ключи. Вечно он все забывает, теряет...»

Она открыла дверь и отпрянула назад, увидев Булыжного.

— Вы не бойтесь, я к вашему супругу... — сказал он, мигом охватывая ее взглядом всю — от махрово-

го тюрбана на голове до розовых коленок, мелькнувших меж разлетевшихся пол халатика.

— А я и не боюсь. Меня испугать нелегко, — проговорила Нина, тем не менее, вопреки словам, испытывая страх и смущение перед этим столь неожиданно появившимся перед ней человеком. — Подождите, я сейчас накину на себя что-нибудь более... более, — она поискала слово, — взглядонепроницаемое. — И с улыбкой скрылась в комнате.

Иван стоял в полутемной передней, прислушиваясь к громкому стуку собственного сердца. «Какая женщина! Бог ты мой, такая женщина и кому досталась. Вот что значит иметь дом, похожий на музей!»

Через минуту Нина появилась снова. На этот раз на ней было надето джинсовое платье, в котором она выглядела еще стройнее и моложе, чем обычно. Тюрбан из полотенца заменила ситцевая косынка.

— Мити нет дома. Ему что-нибудь передать?

— Передайте ему, что у него самая лучшая в мире жена, — с трудом ворочая языком, проговорил Булыжный и, тяжело вздохнув, двинулся к выходу. В дверях остановился: — Да, совсем забыл. Вот, свекор просил передать...

Нина взяла из рук Булыжного прозрачный квадрат легкой ткани, недоуменно пожала плечами:

— Подождите... Да это вовсе не моя косынка.

— Старик сказал, что вы оставили ее на днях, когда ночевали с мужем на Арбате.

— Я уже год как не была на Арбате. Не люблю ту квартиру. Правда, Митя там на днях действительно провел ночь.

Последнюю фразу она произнесла вполголоса, обращаясь не столько к Булыжному, сколько к самой себе. Между ее бровей залегла сердитая складка.

Булыжный почувствовал неловкость. Он-то чего влез с этой косынкой!

— Так я пошел, — не то спрашивая, не то утверждая, проговорил он и, снова шумно вздохнув, вышел.

А Нина осталась стоять в передней, держа в руках нейлоновый платок и мучаясь мыслью: неужели Митя привел в дом отца другую женщину и та, уходя, оставила косынку? Эта мысль была тягостна не потому, что Нина любила Митю. Но ведь он-то ее любит! Как же он мог?!

Неприятно ей было и то, что свидетелем ее позора оказался Булыжный. Странно, но, кажется, этот мужлан и пьянчуга ей совсем не безразличен.

На другой день не успел Митя прийти на работу, как позвонила Ляля. Ньюша мгновенно соединила ее с Митей.

Странное дело, в последнее время Митя все чаще сравнивает страстную, нерассуждающую, беззаветную любовь Ляли со спокойным, рассудочным отношением Нины. Но разговаривать с Лялей не хочется. Особенно теперь, после вчерашнего объяснения. Стоило ему услышать в трубке ее тихий, грустный голос (кажется, еще секунда, и Ляля расплачется), как у Мити сжало сердце, он ощутил нечто вроде угрызений совести, ему захотелось плакать. Такого своего состояния он не любит. Поэтому и накинулся на Ньюшу:

— Сколько раз я вам твердил, чтобы вы не соединяли меня с кем попало! Говорил я вам это или не говорил?

Ньюша, пожилая забитая женщина с плоским, бледным и сырым, как непропеченный блин, лицом, плаксиво отвечала:

— А откуда мне знать, кто это звонит?

— А спросить? А спросить? На это у вас ума не хватает? Мозги у вас есть хоть какие-то?

Строго говоря, Ньюша не обязана выполнять секретарские обязанности. Их неофициально возложил на нее Митя, которому хотелось, чтобы у него, как положено солидному руководителю, все было — и кабинет, и машина, и секретарь.

Распекая Ньюшу, он быстро вошел во вкус.

Чем покорнее женщина выслушивала его грозные обвинения, чем ниже клонилась перед ним, чем бледнее становилось ее одутловатое лицо, чем затравленнее глядели водянистые глаза, тем большая ярость овладевала им.

— Хоть одна извилина у вас есть? Хоть одна? Я вас спрашиваю?!

Он кричал, топал ногами, а потом выгнал Ньюшу из кабинета. Она вышла и наткнулась на стул.

Митя высунул голову в дверную щель:

— Что здесь происходит?! Что за грохот?

— Не вижу я ничего, батюшка... Глаза... Но ничего, я сейчас...

Нюша скребла руками стену, рядом с дверью, видно, хотела выйти в коридор, но не смогла. Митя похолодел. «Ну вот, — пронеслось у него в мозгу. — Слепла! Из-за меня. Только этого не хватало! Что тут теперь начнется!»

Он подбежал к Нюше, подхватил ее под локоток, провел к себе в кабинет, усадил в кресло. Зачем-то подал стакан с водой.

— Выпейте, успокойтесь, голубушка, на работе чего не бывает, — лепетал он. — Не волнуйтесь, это пройдет.

Он подскочил к телефону, позвонил предместкома Кукаркиной. Подчеркнуто озабоченным голосом сообщил, что Нюше нездоровится, просил отвезти ее в больницу. «Такси за мой счет!» — прибавил он.

Нюшу увезли, он уселся в кресло, смахнул со лба крупные зерна пота.

...Когда Булыжный, вернувшись в объединение, узнал, что Нюша слепла и довел ее до этого своими безобразными криками Лукошко, он с силой бросил папку с предложениями в угол и побежал к Мите, чтобы «набить ему рожу».

— Как вам не стыдно издеваться над старой женщиной? Нашли над кем куражиться! Мещанин! Ничтожество!

Густые брови Булыжного сведены к переносице, глаза сверкают, здоровые кулачищи угрожающе выставлены вперед. Митя испугался. Вдруг он его ударит? Мелькнула мысль: ну и пусть, скандал даст повод избавиться от этого типа, выгнать его ко всем чертям. Но животный страх перед физической болью заставил Митю отступить. Еще секунда — и он шарахнется в свой кабинетик, скроется за дверью, защелкнет замок.

Митя с трудом овладел собой. Выпятил пухлую грудь, высоко поднял голову. Грубо ответил:

— Не лезьте не в свое дело! Я хотел было возложить на вас большой участок работы... Но теперь... теперь...

— Плевать я на вас хотел! — гаркнул Булыжный

и действительно плюнул в угол, где, прислоненный к стене, стоял Митин зонтик — черный, с сильно загнутой ручкой. — А что касается АСУ... Не думайте, что это ваша частная лавочка! И вообще, вы мне противны! Вы — ничтожество!

Митей овладело чувство злорадства. Даже хорошо, что произошла эта сцена. Хотя он и решил во избежание осложнений примириться с Булыжным, душа у него к этому не лежала. Если говорить откровенно, он ненавидит этого человека.

Выходя, Булыжный так хлопнул дверь, что зонтик с грохотом повалился на пол. Митя бросился, поднял зонтик, внимательно осмотрел пластмассовую ручку — не треснула ли (Кеша Иткин содрал с него за этот зонтик приличную сумму). Снова поставил в угол. Потом прошел в свой кабинет, сел за стол, задумался.

Итак, они с Булыжным враги, война объявлена...

Набрал номер телефона Кешы Иткина. Он знал, что Кеша давно таил злобу против Булыжного, не раз грозившего выкинуть спекулянта, как щенка, из учреждения вместе со всем его бараклом.

— Не пора ли проучить нашего общего с вами врага? — проговорил Митя.

— Пора! Давно пора! — отвечал Кеша. — Но вот как?

— Что значит как? — раздражаясь, проговорил Митя. — Не мне вас учить. Вы сами говорили, что у вас есть надежные друзья. Учтите, его излюбленное место — кафе «Лира». Вам ведь знакомо это заведение? А ваших друзей можно и заинтересовать...

— Сколько дадите? — трезво спросил Кеша.

— Почему именно я? Он такой же враг вам, как и мне.

— Тогда пополам, — отвечал практичный Кеша. — По зелененькой. Идет?

— По какой еще зелененькой?

— По полсотни.

— Полсотни? Да за эти деньги не то что проучить — убить можно!

— Как убить? — испугался Кеша.

— Да нет. Это я так... Намять бока, чтобы знал. Хорошо, полсотни, я согласен.

Булыжный сидел за столиком в своем любимом кафе «Лира».

Было полно народу, а Иван погибал от одиночества. Шум за соседним столиком привлек его внимание. Там любезничала с кавалером девчонка. Узкое полудетское личико, темные кудряшки, узкий лобик. Носик вздернутый, и верхняя губка тоже вздернута, открывает ряд кривоватых, почему-то не выправленных в совсем недавнем детстве, зубок. Глаза черные, блестящие, нагловатые не по возрасту. Булыжный скользя по ней взглядом, определил: «Соплюшка» — и отвернулся. Сюда, в кафе, пацанки налетали тучами. Как мухи на сладкий пирог в жаркий день. Много пили. Курили до одури, прокуренными голосами рассказывали анекдоты, заходились в смехе. А когда наступала пора расплачиваться с кавалерами за угощение, начинали плакать или хамить, вспыхивали ссоры... Вот так и на этот раз.

Булыжный, занятый своими мыслями, пропустил начало ссоры. Вдруг — звук хлесткой пощечины, крик, плач. Он оглянулся. Кавалер, хамоватый парень довольно-таки зрелого возраста, схватил девчонку за плечо и с силой потянул за собой. Девчонка всхлипывала, одной рукой размазывала по лицу помаду и краску от ресниц, а другой цеплялась за стол.

Булыжному стало жалко малявку, он вмешался:

— Оставь ее! Связался черт с младенцем.

Тот как будто только и ждал этого, отпустил девчонку, быстро повернулся и нанес Булыжному мощный удар в лицо. Иван ответил. Откуда ни возьмись — еще один, сильный и кряжистый... Несколько ударов, и Булыжный лежит на полу между столиками, ощущая острую боль в руке и под глазом.

Спустя час он сидел в отделении милиции перед старшим лейтенантом и, морщась от боли, давал показания о происшествии. Задержали его одного, а тех двоих и девчонки — след простыл.

— Вы утверждаете, что были незнакомы с другими участниками дебоша? — строго спрашивает старший лейтенант.

— Нет, не знаком...

— И вдруг ни с того ни с сего полезли в драку?

«А ведь он прав, — отметил про себя Иван, —

именно ни с того ни с сего. Кто мне эта соплюшка? Кто я ей? Перепила, устроила сцену. А я и рад... То же мне — защитник невинности».

Он ничего не ответил милиционеру.

...После выходного Булыжный явился на работу в жалком виде: один глаз заплыл, на всю щеку лиловое, с желтым ободком по краям пятно, забинтованная рука висит на перевязи. «Эк его отделали!» — с любопытством вглядываясь в лицо своего врага, подумал Митя. Кеше, забежавшему к нему в конце дня за должком, отдавая деньги, попенял:

— Можно было бы еще...

— Ну вы даете! — подобострастно восхитился Кеша. — Настоящий мужик!

Митя с достоинством ответил:

— Да, я такой... Обид не прощаю...

Он старался казаться уверенным и спокойным, но на душе у него кошки скребли.

Раздался звонок. В трубке послышался Нинин голос:

— Скажи мне, с какой это женщиной ты изволил провести на днях ночь в квартире отца?

Митя с трудом проглотил застрявший в горле ком и слабым голосом ответил:

— Не говори глупостей... Позвони потом... Мне сейчас плохо. Я вызвал неотложку.

После этого он действительно вызвал, правда, не неотложку, а такси. Назвал адрес больницы, где заведующим отделением работал его бывший школьный товарищ. Время от времени, когда над Митиной головой сгущались тучи — на работе или дома, он почитал за благо исчезнуть. Звонил своему другу и с его помощью укладывался в больницу на медицинское обследование.

Митя знал: иногда бывает достаточно хотя бы на недолго — на пару недель — вырваться из бешеного водоворота жизни, отойти в сторонку, переждать, отсидеться или отлежаться, и многие заботы и неприятности отпадут сами собой, их унесет, как уносит ветер пожухлые листья.

Что ж, на этот раз хитрый Митин расчет оправдается. Страсти улягутся, неприятности рассосутся.

Он прибегнет к излюбленному средству — бегству в больницу — еще раз, через полгода, в марте... Но на тот раз удача изменит ему.

КЛЮЧ

Ее зовут Марина Белая. Носатая, большеботая, глазастая, она вместе с тем почему-то производит впечатление красавицы, хотя на вкус Коноплева у нее все «слишком». Слишком яркие губы, слишком черные ресницы, слишком большой вырез у кофточ-ки, слишком длинная юбка, слишком крупные бусы на длинной шее. Эта длинная худая шея в сочетании с добрым выражением близоруких глаз придает ей трогательный вид незащищенности. Это она, Марина Белая, вернула Монастырской магнитофон, похищенный ее дружкой Виталием Пустянским. И тем самым выдала свою связь с грабителем. Что это — импульсивный поступок глупой девчонки или хорошо обдуманый и взвешенный шаг в той игре, которую ведет Пустянский? Вот это и предстоит выяснить Коноплеву и Сомову.

— Вы давно знакомы с Виталием Пустянским?

Марина поднимает голову. Сквозь толстый слой наложенной на лицо «штукатурки» пробивается румянец. В широко распахнутых глазах грусть и боль.

— Мы познакомились полтора года назад. На выставке в Манеже. Можно закурить?

— Пожалуйста.

Присутствующий на допросе Сомов рубит сплеча:

— Вы состоите с Пустянским в близких отношениях?

Она отворачивается к окну. Глухо доносится ее голос:

— Да... Вот уже год.

Коноплев осуждающе смотрит на Сомова. Он с удовольствием отослал бы его куда-нибудь, но сделать этого нельзя: капитан присутствует на допросе по прямому указанию Ворожеева. Начальство торопит, и ВРИО начальника отдела возлагает большие надежды на всем известную способность капитана идти к цели напролом.

Сомов делает вид, что не замечает недовольных взглядов Николая Ивановича.

— Вы знали, что ваш сожитель занимается преступной деятельностью? — резким голосом задает он вопрос молодой женщине.

Марина быстро поворачивается лицом к Сомову, с вызовом говорит:

— Это раньше! А в последнее время... Когда он был со мной, этого не было!

— Чепуха! — машет рукой Сомов. — А ограбление Монастырской — это что, не в счет?

Она опускает голову низко-низко. Волосы плотной завесой закрывают лицо. Виден ровный пробор и темные корешки волос: давно не красилась.

— Когда я узнала об этом, я его выгнала.

Худой рукой Белая откидывает с лица прядь волос, начинает нервно перебирать крупные ярко-красные бусы на груди.

Коноплев делает Сомову знак: мол, дальше он будет вести допрос сам.

— Вы его выгнали... Как давно это было, Марина Степановна? Расскажите подробнее, — просит он. Сочувствие, звучащее в его голосе, производит на молодую художницу сильное действие: она закрывает лицо руками и начинает глухо рыдать.

Коноплев вскакивает, наливает в стакан воды. Она жадно пьет, на краю стакана — след ярко-оранжевой помады.

— Успокойтесь, мы вас слушаем.

— Мы любили друг друга, — всхлипывая, говорит она. — У нас все было по-настоящему. Хотели пожениться. Я поставила условие: чтобы он навсегда покончил со своим ужасным прошлым. Он обещал, клялся, а потом вновь заводил разговор, что сначала должен материально обеспечить меня и мою дочь, а потом уже можно будет начать новую жизнь. Я сидела, плакала, тогда он начинал уверять меня, что пошутил. И вдруг этот японский магнитофон! Он подарил мне его на день рождения. Я спрашиваю: откуда ты взял? У тебя ведь нет денег! Он говорит: занял... Я сказала, что завтра же отнесу магнитофон в комиссионку, а деньги верну, чтобы он мог возвратить долг. Виталий изменился в лице, закричал на меня, обозвал дурой. Сказал, чтобы я и не думала

о комиссионке, а то погублю и его и себя. Тут я все поняла. Он обманул меня!

— Значит, вы утверждаете, что ничего не брали у Пустянского — ни денег, ни вещей? — вновь вмешался Сомов. — А откуда это все у вас — наряды, бусы, кольца, серьги? Папа подарил?

— Папы у меня нет. Только мама. Она на заводе работает. В литейке. А я художница. Все, что вы на мне видите, сделано моими собственными руками.

— А откуда вы узнали, что магнитофон принадлежит Монастырской? — поинтересовался Коноплев.

— Виталий сказал. Убеждал меня, что она спекулянтка и тунеядка, что все ее богатства нажиты нечестным путем. Что, освободив ее от части этих богатств, он-де сделал благородное дело. Но я слышать ничего не хотела. Он вор — этим все сказано! Кроме того, он подвел меня...

— Вас? Каким образом?

— Я ведь знала Монастырскую раньше. По ее просьбе делала ей гарнитур из сапфиров. Бывала у нее дома. Виталий меня расспрашивал, я ему рассказывала, в какой роскоши она живет. Разве я могла подумать, к чему это приведет?

— Вы отдаете себе отчет в том, что по отношению к Монастырской выполняли роль наводчицы? — тихо спросил Сомов.

— Кто? Я? — в голосе художницы прозвучала такая мука, что Николай Иванович счел необходимым вмешаться:

— Не будем торопиться с выводами, товарищ капитан!

И, обращаясь к Белой, добавил:

— Мы знаем, что вы вернули магнитофон Монастырской. Вы правильно сделали.

— А остальные вещи небось припрятали вместе с вашим дружком?

Она поглядела в сторону Сомова со страхом:

— Что вы! Что вы!

— Как давно вы виделись в Пустянском?

— Полтора месяца назад. Несколько раз он звонил. Услышав его голос, я клала трубку. Он приходил, стучал, я не открывала. Как-то раз я увидела его в окно, он стоял на противоположной стороне улицы...

— Он вам писал?

Она подняла голову:

— Да, я получила от него письмо.

— Что в нем?

Художница медлила, сцепив тонкие пальцы рук, нервно похрустывала суставами. Сомов поторопил:

— Мы ждем!

Голос ее прозвучал совсем тихо:

— Он писал, что любит меня. Что, прогоняя его, я совершаю страшный грех, толкаю его на край бездны... Что я — единственное, что удерживает его от окончательного падения. Если я не передумаю, случится нечто ужасное. И тогда я пожалею о своем поступке.

— Случится что-то ужасное? Так-так... — Сомов кинул многозначительный взгляд на Коноплева. — А что именно он собирался совершить, вы не знаете?

— Не знаю. Честно говоря, я думала, что он просто пугает меня.

— Скажите, а этого человека вы случайно не знаете? — Сомов достал из ящика стола и показал ей фотографию Лукошко.

Она, близоруко щурясь, взгляделась в портрет.

— Кажется, знаю. Видела один раз.

— Где, при каких обстоятельствах?

— Сейчас вспомню. Да, да, это было на выставке фарфора. С ним была какая-то высокая женщина. Не первой молодости, но очень красивая. Виталий обратил мое внимание на этого человека и сказал: «Он стоит полмиллиона». Я рассердилась: «Ты опять за старое?» Он ответил резко, мы поссорились. Поэтому я, должно быть, и запомнила этого старика, — она кивнула на фото.

— А где сейчас Пустянский? Насколько нам известно, в Москве он не прописан и жилой площади не имеет. Он и жениться-то на вас, наверное, хотел, чтобы обзавестись пропиской.

Слова Сомова потрясли молодую художницу. Она с ужасом поглядела на него, потом перевела взгляд на Коноплева, громко, навзрыд, заплакала.

Допрос пришлось прервать.

— Мы вынуждены взять у вас подписку о невыезде... Распишитесь вот здесь, — Сомов протянул Белой листок.

Она расписалась и, шатаясь словно пьяная, пошла к двери.

— Я же просил вас, капитан, держаться в рамках, — проговорил Коноплев, когда за женщиной закрылась дверь.

— А что, неплохо получилось, товарищ подполковник, — сказал Сомов и рассмеялся. — вон как она разоткровенничалась! Лично я не верю этим слезам. Похоже, они на пару работали.

Он произнес эти слова с такой верой в собственную правоту, что Коноплев отступился. Про себя решил: в следующий раз проведет разговор с Мариной Белой с глазу на глаз, без Сомова.

...С фотографии на Коноплева насмешливо смотрело лицо необычное. Оно выглядело бы серым, простоватым — невысокий лоб, маленькие глаза, нос с утолщением на конце, тяжеловатый подбородок, слишком пушистые бакенбарды, — если бы не выражение умного лукавства, проглядывавшие и в изломе бровей, и в складках возле губ.

Николай Иванович пролистал страницы дела за № 1274, уже заинтересовавшись этим человеком.

Пустянский Виталий Евсеевич родился в 1949 году в Кингисеппе, образование незаконченное среднее. Отца не знал, мать рано умерла. Воспитывался у дальней родственницы. Свой трудовой путь начал в родном городе учеником официанта в местном ресторане. Освоив дело, сам стал официантом.

Коноплев перевернул очередной лист. С 1973 года Виталий Пустянский — фельетонист городской газеты. Из официанта в фельетонисты? Скачок, прямо скажем, необычный. Но он его сделал. Тут бы и остановиться. Но... Какая-то неприятная история: грозное опровержение написанного им фельетона, гнев редакционного начальства, угроза привлечения к суду за клевету — и вот Пустянский срывается с насиженного места, незаметно покидает город, чтобы вынырнуть затем в столице. Он устроился смотрителем в один из московских музеев. И занялся сначала скупкой и перепродажей предметов искусства, а затем и грабежом антикваров.

В последний раз он был осужден за ограбление

коллекционера Хаскина. По статье 146. Но затем его дело было переквалифицировано на статью 145 ч. 2 Уголовного кодекса РСФСР. Соответственно был уменьшен и срок наказания. Немалую роль в этом сыграла личность самого Пустянского, его последнее слово на суде.

Николай Иванович пристально вглядывался в курносое, чем-то смахивающее на известное изображение лукавого простака Козьмы Пруткова лицо Пустянского, вчитывался в строки любопытного документа — его последнего слова, приобщенного по просьбе обвиняемого к уголовному делу.

«Граждане судьи!

Для начала я позволю себе рассказать вам притчу. Один человек учил летать муху. Два года у него ушло на то, чтобы по условному сигналу она летела вперед. Еще два года — на то, чтобы она научилась лететь назад. Еще через два года муха описывала мертвые петли и крутила восьмерки.

И вот человек решил продемонстрировать плоды своей дрессировки директору цирка. Пришел, достал из кармана коробок, открыл. Стукнул по коробку один раз, муха полетела вперед и села на стол директора. В это время зазвонил телефон. Директор с кем-то поговорил, потом положил трубку, послушав большой палец, придавил муху и говорит человеку: «Итак, что вы хотели сказать?»

Граждане судьи, я рассказал эту историю не случайно. Ведь уважаемый гражданин прокурор, буквально как директор с мухой, поступил с версией моего поступка.

Я отлично знаю, что следователь, прокурор, суд оценивают все показания в соответствии с фактами, соглашаясь с внутренним убеждением, опираясь на свой богатый опыт. Так неужели этот опыт, это внутреннее убеждение не поможет им разобраться, кто такие — эти потерпевшие, какую роль они играют в обществе?

Выступая здесь, пострадавший Хаскин утверждал, что никакого отношения к антиквариату якобы не имеет. А на вопрос, откуда у него оказалась коллекция бесценных часов, заявил, что он взял их у знакомых, как он выразился — «помыть». Я должен пояснить суду, что понятие «помыть антикварные

часы» на языке посвященных означает подвергнуть их сложной реставрационной работе, доступной только высококвалифицированному специалисту, знатоку антиквариата. В том-то и дело, что Хаскин и есть такой специалист, «нелегальный специалист» по антиквариату. Однако по понятным здесь причинам он не хочет афишировать этого своего занятия здесь — в суде, ибо все его богатства нажиты нечестным путем. Именно поэтому Хаскин сначала даже не хотел сообщать в милицию о случившемся — об изъятии у него антикварных часов. И не хотел именно потому, что боялся милиции гораздо больше, чем так называемого преступника, в данном случае меня! И лишь с опозданием, не выдержав единоборства со своей жадностью, он все же заявил о происшедшем, при этом сильно сгустив краски.

Так, например, стремясь вызвать к себе сочувствие суда, он заявил, что я был с ним груб! Какая ложь! За время пребывания в квартире Хаскина я подошел к нему один раз — поднял его с ковра и посадил на стул, поскольку он заявил, что ему неудобно так лежать. Более того, по его просьбе я принес ему с кухни стакан воды. Где же здесь жестокость, разбойное нападение, о которых говорил прокурор? Кстати, впоследствии выяснилось, что Хаскин меня подло обманул, он уселся на стул ради одной только цели — утаить деньги, которыми был набит задний карман его брюк!

Другое дело, что само преступление — жестокость! С этим я согласен. Я нанес потерпевшему моральную травму. Но никак не могу согласиться с тем, что причинил ему значительный материальный ущерб. Он, Хаскин, очень зажиточный человек, настолько зажиточный, что потеря часов никак не повлияет на его бюджет. Что же касается меня, то после вторжения в квартиру потерпевшего мое материальное положение не намного улучшилось, поскольку половина вырученных денег ушла на погашение долгов. А мое моральное состояние? Я прекрасно понимаю, что на эти деньги жизнь не построишь, что мой завтрашний день — тюрьма. Поэтому каждый час, проведенный на свободе, воспринимался как последний...

Граждане судьи!

Государственный обвинитель заявил, что я представляю собой «несомненную социальную опасность для общества»! Для кого опасность? Для всех сидящих в этом зале? Нет! Для работающих у станков? Ничего подобного! Для ученых или артистов? Ни в коем случае. Так для какой же из перечисленных категорий я опасен? И к какой категории, спрашивается, можно причислить так называемых «потерпевших».

Я прошу вас, определяя мне срок наказания, точно соизмерить его со степенью моей вины не только перед Законом, но и перед потерпевшими, сомнительная деятельность которых в конечном счете послужила решающим мотивом моего преступления.

Сейчас я нахожусь на финише многолетней борьбы за существование. Я прошу вас помочь мне вернуться к нормальной жизни, стать полезным членом общества. Ведь после сорока лет мне трудно будет рассчитывать на то, что я смогу наладить свою жизнь, обрести крышу над головой, обзавестись семьей. Я надеюсь, что вы учтете все, что я сказал, и поможете мне!

В противном случае меня ждут впереди мрак и страшная бездна!»

Коноплев поймал себя на том, что читает строки последнего слова Виталия Пустянского не без сочувствия. Конечно, жулик, плут, но человек явно не глупый.

Николай Иванович перевернул последнюю страницу дела. Речь Пустянского, ходатайства его адвоката достигли цели: суд проявил к нему милосердие.

Что же побудило его вновь стать на путь преступления? А может, прав Сомов, и этот тип докатился до убийства, а «мрак и страшная бездна», которых он так боялся, его поглотили?

...Спустя несколько дней Коноплев снова вызвал повесткой на Петровку Марину Белую, но она не явилась. Остался без ответа и повторный вызов. Тогда Николай Иванович отправился к ней домой в Тушино, прихватив Сомова. Капитан, по убеждению Коноплева, не умел как следует разговаривать с людьми, а вот язык вещей понимал хорошо.

По дороге Сомов поддел Коноплева:

— Зря вы ей поверили, товарищ подполковник,

не такая уж она голубица, эта Белая... Почуяла, что мы вышли на след ее дружка, дала ему знать, они и смотались. Теперь ищи ветра в поле!

— Не будем торопиться с выводами, товарищ Сомов, — сухо сказал Николай Иванович.

Марина Белая жила в районе Тушино на улице, носившей негородское название «Лодочная». Объяснялось это название близостью к каналу. На правой стороне улицы домов не было — по берегу канала росли деревья, кустарники, кое-где они расступались, чтобы дать место футбольному полю, теннисному корту, лодочной станции, а то просто — пустырю. «Летом здесь, должно быть, рай, никакой дачи не нужно», — подумал Коноплев, вылезая из «Москвича» возле стандартного панельного пятиэтажного дома.

Марине Белой принадлежала одна комната в трехкомнатной квартире. Говорливая соседка с бигуди на голове, назвавшаяся Лией Львовной, сообщила, что несколько дней назад Белая уехала, а куда — неизвестно. Сомов начал расспрашивать соседа ку про Пустянского.

— Я... минутку...

Лия Львовна скрылась в своей комнате и тотчас же появилась снова. Теперь на голове у нее был розовый газовый платочек, сквозь который видны были те самые бигуди, которые она собиралась скрыть от постороннего взора.

Пустянского она хорошо знала.

— Видный мужчина. Всегда хорошо одет. И очень вежливый. Руку поцелует, о здоровье расспросит. Раньше бывал довольно часто, оставался ночевать. Соседи не возражали: человек тихий, скромный, непьющий. Да и Марину понять надо — женщина молодая. Не век же одной куковать. Да и дочке отец нужен. Думали, вот-вот поженятся, но вышло по-другому. Пустянский куда-то пропал, встречи прекратились.

— А отчего? Они поссорились?

— Вы знаете, как сейчас у них, у молодых... Повстречались неделю-другую — и разошлись. Никаких обязательств!

Она сама предложила Коноплеву и Сомову осмотреть комнату Марины. «Ключ у меня. Марина

оставила. На всякий случай. Мало ли что... Вдруг батарея потечет, как в прошлом году...»

— А может, она ключ для Пустянского оставила? — поинтересовался Сомов.

Лия Львовна покачала головой:

— Нет... Кажется, они всерьез разошлись. Уж так она, бедная, плакала, убивалась... Понять можно: мужчина видный.

Коноплев предъявил постановление об обыске, попросил Лию Львовну привлечь в качестве второго понятного кого-нибудь из соседей.

Комната была небольшая, узкая, как пенал. Большую часть ее занимал диван-кровать. Сомов как увидел его, остолбенел. Только и сказал:

— Он! «Лейпциг»!

Коноплев тотчас же все понял. Еще в самом начале следствия по делу Лукошко он дал своему помощнику задание: по зеленым ворсинкам, обнаруженным экспертом на костюме убитого коллекционера, установить название мебельного гарнитура, фамилии и адреса покупателей. Со свойственной ему тщательностью Сомов задание выполнил, положил на стол Коноплева ученическую тетрадку со своими записями. Однако Николай Иванович должного интереса к ним не проявил, не глядя, сунул тетрадку в ящик, произнеся скороговоркой:

— Спасибо. Хорошо. Пригодится.

И вот они стоят в тесной комнатенке подруги Щеголя и не могут отвести глаз от зеленого дивана из «того самого» мебельного гарнитура...

— В ваших списках фамилия Белой, конечно, не значится, капитан? — высказал предположение Николай Иванович. — А то бы вы уже давно вспомнили...

Сомов покачал головой:

— Белой среди покупателей нет.

— Вы не знаете, — обратился Коноплев к Лии Львовне, — откуда у Марины этот диван? И давно ли он куплен?

— Он ей случайно достался, — отвечала Лия Львовна. — кто-то из покупателей не захотел брать, мол, слишком громоздкий, оставил в магазине. А Марина сунула пятерочку продавцу, он и устроил.

— Понятно.

— Ну, ясно, — сказал Сомов. — Владелец раз-

розненных вещей я, конечно, установить не мог. Вот и выходит, что вся моя работа насмарку.

— Я же не раз говорил вам: не надо торопиться с выводами. Лучше осмотрите комнату.

Пока капитан выполнял его указание, Николай Иванович вышел в коридор, где под дверью стояла Лия Ивановна. Он вынул из кармана фотографию покойного Лукошко, показал ей:

— Это лицо вам не знакомо?

Неожиданно последовал ответ:

— Я этого гражданина знаю. Он как-то заходил к нам. Это было в отсутствие Марины.

— Она на работе была?

— Нет. Так же, как сейчас, в отъезде. У нее дочь часто болеет, вот она и мотается туда-сюда.

— Если вы не возражаете, поговорим об этом гражданине. Расскажите все, что вы помните.

Лия Львовна сказала:

— Может, чаю выпьете? Я быстро...

— Нет, чаю не надо.

— Виталий был дома. Раздался звонок. Я хотела открыть. Он говорит: «Не беспокойтесь, Лия Львовна. Я — сам». Вошел этот гражданин. Он нес какой-то плоский предмет, неловко упакованный в газету и обвязанный бельевой веревкой. Поздоровался с Пустянским, сказал: «Вот. Принес». Виталий увел его в Маринину комнату. О чем они там говорили, я не слышала: была на кухне. Виталий заглянул, попросил нож. Я дала. Свой любимый, с деревянной ручкой. Острый-острый! И до сих пор жалею.

— Почему?

— Да потому, что нож пропал... я всю комнату Маринину обыскала, нет ножа, и все!

— А потом?

— А потом они ушли.

— Вместе?

— Вместе.

— А этот плоский предмет был с ними?

— Да... Только упакованный в другую бумагу и аккуратно перевязанный. Нес его Виталий.

— Больше вы этого гражданина не видели?

— Нет.

— Теперь поговорим о Марининой дочке. Она живет, по-видимому, с ее родителями?

- С матерью. Отца у Марины нет.
- А где живет?
- Точно не помню. Марина говорила, да я забыла. Склероз. То ли в Костроме, то ли в Горьком, то ли во Владимире...
- Во Владимире, — выходя из Мариной комнаты, сказал Сомов. В руке у него была зажата телеграмма.
- Коноплев взглянул: «Срочно выезжай. Аня заболела». Обратный адрес: Владимир, Всполье, дом 4. Николай Иванович стал прощаться с Лией Львовной.
- Одна просьба... К вам наш товарищ пожалует. Подгорцев его фамилия. Так вы, будьте любезны, дайте ему ключик. Он не натопчет, человек аккуратный.
- А что случилось? Марина жива? Жалко ее, хоть и непутевая.
- Жива, жива, не беспокойтесь, — сказал Коноплев. И направился к двери.
- В машине спросил у Сомова:
- Про кухонный нож слышали?
- Слышал.
- В комнате не нашли?
- Да разве его здесь, его на дне Москвы-реки надо искать!
- Коноплев откинулся на спинку сиденья:
- Неужели Пустянский?
- Сомов пожал плечами:
- Конечно, он. А кто же еще?

Николай Иванович вышел из электрички, чувствуя ломоту во всем теле. Кажется, и путь от Москвы до Владимира недолгий, всего 180 километров, и сиденья мягкие, а ехать тяжело.

Можно было, конечно, вытребовать художницу «по этапу» или направить к ней Сомова. Но Коноплеву захотелось съездить во Владимир самому.

Ворожеев, которому он доложил о своем намерении, сказал:

— Езжай. Но с одним условием. Прочтешь в областном управлении лекцию на тему «Профилактическая работа по предупреждению правонарушений со стороны безнадзорных подростков». Начальство требует.

...Коноплев бывал во Владимире по делам службы

лет пятнадцать назад. Ему запомнился маленький, уютный городок, утопающий в зелени, белые с зубчиками стены местного кремля на холме, сверкающие золотом купола знаменитых соборов — Успенского и Дмитровского. Но теперь город было не узнать. Его перекроили, застроили. Там, где перспективу закрывали малорослые строения, вдруг открылся захватывающий дух вид на пойму, стал виден огромный мост через Клязьму, шоссе, по которому быстро катили казавшиеся отсюда, с высоты, игрушечными легковые и грузовые автомобили. Повсюду выросли кварталы новых жилых зданий, отдельно стояли бетонные коробки гастрономов, кинотеатров, парикмахерских.

— Ну как? Здорово? — спрашивал Коноплева встретивший его у вокзала местный товарищ. — За эти годы жилищный фонд увеличился знаете как? Растем!

Увеличение жилищного фонда, однако, не коснулось семьи Белых. Маринина мать жила на окраине города, на Всполье, между последним жилым кварталом и тракторным заводом, в маленьком домишке, стоявшем в отдалении. Коноплев оставил сопровождавшую машину на шоссе и двинулся дальше пешком...

Маринина мать, Настасья Степановна, оказалась не старой еще женщиной с круглым русским лицом.

— Проходите, я сейчас... — сказала она, показывая на свои распаренные стиркой руки, на которых лопались мыльные пузыри. Ополоснув руки холодной водой и вытерев, она вернулась, пригласила гостей сесть. Обои в комнате были с крупными яркими цветами, и поэтому возникало ощущение, что сидишь в клумбе.

— Вы к Марине? Я ее сегодня не видела. В ночной смене работала, только что пришла.

— На тракторном?

— Да, в литейке...

Только сейчас Коноплев обратил внимание на черную пыль, глубоко въевшуюся в поры на руках Настасьи Степановны.

— Она Аннушку в поликлинику повела. Сейчас придет. А вы кто будете? Уж не друг ли Виталия?

— Да, вроде того, — ответил Коноплев, делая вид, что заинтересованно рассматривает расклеенные

по пестрым стенам огоньковские репродукции: «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный убивает своего сына», «Вернулся...».

Под окнами раздался звонкий детский лепет, Настасья Степановна подхватила и выбежала.

Раздались шаги на крыльце, хлопнула дверь, пахнуло прохладой.

Из-за тонкой перегородки донесся шепот:

— К тебе из Москвы...

— Бабуль, это дядя Виталий? Он мне Мишку привез? — послышался детский голосок.

— Нет, это другой дядя. Он приехал по делу.

Дверь приоткрылась, мелькнуло покрасневшее от ходьбы Маринино лицо.

— А-а... Это вы... Я сейчас. Только дочку раздену. В голосе ее было разочарование.

— Кто это? — шепотом спросила мать.

— Из милиции... — тихо ответила она.

— Ну вот, доигралась! Говорила я, нечего тебе там в Москве делать! Поступила бы в промкомбинат кошельки делать. 150 кошельков в месяц, и получай свои сто двадцать.

— И кому только эти кошельки нужны?..

— Да я и сама, дочка, не знаю. У меня лишних денег сроду не было. Еле-еле от зарплаты до зарплаты дотягиваю.

— Так это вы...

— Да, зато живу честно. Людям не стыдно в глаза смотреть. Твердила тебе мать: не доведет тебя до добра твой Виталька...

— А вы сами, мама, его хвалили. Забор поправил, дров на всю зиму наколот.

— Что говорить, парень рукастый... Да глаза у него бесовские. За таким присмотр нужен. А у тебя у самой ветер в голове.

— Да я же говорила, мама, мы расстались. Все у нас. Конеч.

— Конеч. А то я не вижу, как ты вся обмерла: «Виталька?» Только пальцем поманит, ты и побежишь.

— Не побегу. Тихо, мама. Нас услышат.

Николай Иванович едва узнал Марину. Перед ним в простой тесной одежде, без украшений, стояла молодая женщина. Не такая яркая, красивая, как та, «московская», Марина, но гораздо более привлекательная.

— Вы же обещали не уезжать... — с укором сказал Коноплев.

— Так я телеграмму получила. Дочка заболела.

— Надо было позвонить.

— Да, надо, — равнодушно согласилась она.

— Вы садитесь...

— Я тут дома...

Коноплев смешался. Перед ним был совсем другой человек. Держалась спокойно, строго, с чувством собственного достоинства. И разговаривать с этим человеком нужно было по-другому, честно, без лукавства.

— Я не буду от вас ничего скрывать, Марина, — сказал он. — Виталий подозревается в совершении тяжкого преступления...

— Тише, пожалуйста, мама услышит. — В лице ее не было ни кровинки. — Кража у Монастырской?

— Не только это...

Она закрыла лицо руками. Но плакать не стала. Отняла руки, просто сказала:

— Вы хотите, чтобы я сказала, где его можно найти?

Коноплев понимал, как трудно ей решиться на это — выдать любимого человека.

Закусив губу, Марина задумчиво глядела в окно, где мать возилась у сарая, Марина встала, открыла форточку, крикнула:

— Мама! Идите в дом. Отдыхайте. Я сама все сделаю!

Вернулась к столу, села, положила руки на клеенку в цветочках.

— Я скажу... Во-первых, вы скоро сами узнаете... А во-вторых, я не верю... Хочу, чтобы он оправдался... В последнее время мы встречались с Виталием в мастерской одного художника. Он там... Где ему еще быть? Запишите адрес. Вот ключ.

В горле у нее застрял ком. Голос звучал хрипло.

ФИГУРКА С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ

За больничным окном обильными слезами исходила осень. Сентябрь! Скучная, унылая картина! Размокший песок на дорожках, пузырящиеся лужи

на горбатом асфальте, голые, напоминающие скелеты, деревья, низко нависшее темное небо.

Пятнадцать минут назад Митя, накинув на плечи махровый халат, подошел к окну и выглянул во двор. Но лучше бы он этого не делал! Сквозь сетку дождя от углядел знакомую худую и нескладную фигуру Булыжного. Широко выбрасывая тощие ноги, он шагал к приемному покою. В руках у него была авоська с мандаринами.

Митя отшатнулся от окна. Быстро вернулся к своей койке, скинув халат, лег, с головой укрылся грубошерстным одеялом. Как будто оно могло его защитить от всех напастей.

Через минуту выпростал расстроенное лицо наружу, и, наморщив выпуклый лоб, принялся размышлять.

Маловероятно, что Булыжный пришел с визитом к нему, к Мите, захотел порадовать его мандаринами. Скорее всего, цель его прихода — Ньюша. На днях Митя увидел своего курьера через окно — ее вела по двору, бережно поддерживая под локоток, нянечка. Ньюша шагала медленно, с трудом переставляя ноги, рука вытянута вперед, беспомощно ловит воздух. По странному стечению обстоятельств они с Ньюшей оказались в одной больнице.

Итак, Булыжный со своими мандаринами, без всякого сомнения, явился к Ньюше. Зачем? Откуда вдруг у этого циника и забуддыги такая любовь к одинокой старой женщине? Наверняка копает под него, под Митю. Пошепчется с Ньюшей — и на собрание. Смотрите, мол, какой Лукошко деспот... До чего довел человека! До слепоты!

Митя поежился под своим кусачим одеялом. Вот подлец! И как верно рассчитал! Такие удары не парироваться... Не будешь же в самом деле бить себя в грудь: я ее не обижал! Спросят Ньюшу. А она будет молчать, затравленно озираясь вокруг, а потом разревется и закроет свое бледное лицо грязно-серым платком. Тут Мите и конец.

Не исключен и другой вариант. Выслушав излияния Ньюши, этот хулиган ворвется к Мите и устроит вселенский скандал. Поэтому, когда в палату вошла сестра и сказала Мите: «К вам посетитель!», он вздрогнул и машинально залез с головой

под одеяло. Но тревога оказалась ложной, пришла Нина.

Митя постарался придать своему лицу болезненный вид:

— Здравствуй, Нинуля. Садись...

Нина внимательно посмотрела на мужа. В полосатой, похожей на арестантскую, больничной пижаме, плохо выбритый, с растрепанной жидковатой шевелюрой, он показался ей жалким и чужим. И подумать только, этого человека, она, Нина, могла заподозрить в неверности, стыдно сказать, даже всплакнула от обиды... Какая тут неверность, кому он нужен!

Впрочем, история с женским платком быстро разъяснилась. Ей позвонил Семен Григорьевич и сказал, что платок прислал по ошибке, на самом деле он принадлежит соседке Изольде. Ночевал же Митя в отцовской квартире, разумеется, один, тот человек, который передал ей платок, или все перепутал, или выдумал (к этому разговору Митя побудил отца звонком из больницы, но Нина этого, конечно, не знала).

— Что у тебя? — ей стоило труда проявить к нему сочувствие.

Митя закашлялся. Он не знал, что ответить. Проще всего было сослаться на застарелый невроз, требующий систематических обследований. Но не хотелось в глазах молодой и красивой жены выглядеть хроником. Сказать, что это с ним впервые, значит, придется подробно описать симптомы заболевания... А врать не хотелось. Поэтому он прикрыл глаза и слабым голосом произнес:

— Извини, но мне не хочется об этом говорить.

— Да, да, лежи спокойно, тебе, должно быть, вредно волноваться.

Нина говорила заботливые, успокоительные слова, но, странное дело, сострадания к нему не испытывала. Скорее — любопытство. Что же все-таки это за человек, которого судьба дала ей в мужья? Неужели она, неглупая, опытная женщина, в нем ошиблась?

— Митя, давно хотела спросить: как твой проект?

Слишком много надежд связала она в свое время с его работой, слишком сильно жаждала его успеха.

Митя как будто даже обрадовался, что она начала этот разговор. Высунув из-под одеяла руку, положил ее на теплое колено жены и быстро-быстро заговорил. Поведал о глупейшей истории с Ньюшей. В неожиданной болезни этой женщины он, конечно, ничуть не виноват, но злыдень Булыжный не преминет использовать этот случай против него, Мити.

— Он ведь только о том и думает, чтоб напакостить мне и занять мое место.

— Чем все-таки объясняется его столь явная не любовь к тебе?

Задавая этот вопрос, Нина, сама того не подозревая, хотела услышать от Мити, что все дело в ней, в страсти, которую она пробудила в Булыжном.

— Он завидует мне... Прежде всего тому, что у меня такая жена... Он и домой к нам заявился только для того, чтобы тебя увидеть!

Нина покраснела, как девочка, и отодвинулась от койки, убрав свое колено из-под Митиной руки.

— Что же делать?

— Слушай-ка! — внезапно Митя оживился, как будто ему только что пришла в голову неожиданная мысль. — А не поговорить ли тебе с этим типом?

— Мне? С ним? О чем?

— Объясни ему, что, нанося вред мне, он тем самым вредит тебе... Так ведь оно и есть, не правда ли? Скажи ему, что все понимают истинную подоплеку его действий, что уже пошли разговоры, что, сам того не желая, он бросает тень на твое доброе имя. Ну, ты найдешь, что сказать, не глупая.

У Нины вырвался жалобный взглас:

— Но почему я?

— В конце концов, весь этот сыр-бор загорелся из-за тебя. Разве не логично будет, если ты и потушишь пожар?

Где найти Булыжного? Самотека, 16, квартира 3. Митя заранее узнал в отделе кадров адрес своего недруга. Еще тогда, когда планировал первое нападение на него.

Нина ответила с неприязнью:

— Не знаю... Не обещаю... В этом есть что-то нехорошее. Что-то двусмысленное. Неужели ты не понимаешь?

— Вот и хорошо, подумай. Кстати, тебе пора... У нас сейчас обед. Гадость, конечно, но есть надо.

Нина поднялась со стула и, кивнув ему, в задумчивости вышла. Мысли ее были заняты странным поручением, которое ей дал Митя, — встретиться с Булыжным и уговорить его прекратить интриги. Тщательно все обдумав, Нина приняла твердое решение: она этого делать не будет. Подумать только: на какой шаг толкает ее муженек! Господи! Почему ей так не везет в жизни? В горле кипели слезы, но глаза были сухи. Что поделаешь, такая она уродилась. Не умеет плакать. С детства.

Митю навестил отец. Сын встретил его без радости. Вяло спросил:

— Фиников принес?

— Нет. Я с кладбища. Хоронил знакомого артиста.

— С чего это вдруг ты надумал таскаться по кладбищам? Нечего торопиться раньше времени, скоро все там будем! — он захихикал.

Семено Григорьевич сухо заметил:

— Ну, ты-то еще не скоро.

Митя легкомысленно бросил:

— Ну это еще неизвестно — кто раньше! Да, кстати, как там твоя новая картина «Святая Цецилия»? Еще не оценивал?

Семен Григорьевич покашлял в кулак:

— От картины пришлось отступить...

Митя вытаращил глаза:

— Как отступить? Продал? Тогда не темни, так и скажи...

— Нет, не продал... Отдал.

Митя, наморщив лоб, подозрительно сверлил отца взглядом:

— Ты — и вдруг отдал?! Не смей меня! — он преувеличенно громко расхохотался.

— Ты не чистишь зубы, — сказал отец. — У тебя что — нет пасты? Я принесу... И фиников тоже.

Митя вдруг перестал смеяться, нахмурился:

— Нет, пастой и финиками ты не отделаешься...

— А что тебе нужно?

— И ты спрашиваешь... Мне нужны деньги. Много денег! Мне жену содержать не на что!

Митя говорил быстро-быстро, в углах его губ появилась слюна, бледное одутловатое лицо выглядело отталкивающим.

«Неужели этот невротик — мой сын?» — подумал Семен Григорьевич. А вслух сказал:

— О каких деньгах ты говоришь? Ты знаешь мои доходы — зарплата двести тридцать.

— А коллекция?! Она что — принадлежит тебе одному?!

Казалось, Митя сейчас бросится на отца с кулаками.

— Как тебе не стыдно так разговаривать с отцом! — Семен Григорьевич поднялся со стула.

— Подумай над тем, что я тебе сказал. Хорошо подумай! — в Митином голосе прозвучали угрожающие нотки.

Про себя отметил: отец еще не обнаружил пропажу табакерки. Значит, главный разговор — впереди.

Ляля боялась показаться Мите на глаза. После того дня, когда она сообщила ему, что будет ребенок, Митя и разговаривать с нею не хотел. Заслышав Лялин голос, немедленно клал трубку, зайдя на улице, переходил на другую сторону. Можно было ожидать, что ее появление в больнице, у него в палате, вызовет скандал. Но Ляля не могла не пойти и не убедиться лично, что с ее ненаглядным ничего ужасного не произошло.

Однако, когда она белая, почти как тот халат, что был надет на ней, страхась его гнева, появилась на пороге, Митя даже как будто бы обрадовался:

— А, это ты... Садись. Тут ужасная скука, словом перемолвиться не с кем.

Ляля подумала, что прощена, обрадовалась, засуетилась, стала выкладывать из объемистой сумки принесенные яства. Митя с интересом наблюдал, отдавал распоряжения: это сюда, в тумбочку, а это в авоське вывесить в форточку, а это — ему, он сейчас съест. Сидя в постели, Митя с энтузиазмом уничтожал любимую косхалву, белую, мучнистую, приторно-сладкую массу с вкляпываниями орехов (он откусывал прямо от «полена»), а Ляля, опустошив сумку, сидела, сложив руки на округлившемся животе,

умильно глядя, как он ест. Халвой она явно угодила Мите, это было видно по тому, что, закончив есть и вытерев губы уголком несвежего пододеяльника, он кивнул на Лялин живот и спросил:

— Ну, как он там?

У Ляли душа зашлась от счастья, она и надеяться на такое не могла! Однако, как только начала было рассказывать в подробностях «как он там», Митя мгновенно потускнел, потерял к этой теме всякий интерес. Более того, когда Ляля было вставила в свою речь «наш маленький», Митя сделал протестующий жест рукой и поправил ее — «твой маленький», показывая тем самым, что вопрос его отцовства еще далеко не решен.

Но Ляля не рассердилась. Митя для нее был тоже вроде ребенка, милого и капризного, которого надо было любить и не раздражать, и тогда все будет хорошо. А ей так хотелось, чтобы все было хорошо! Главным образом ее, конечно, беспокоило Митино здоровье. Митя не упустил возможности нагнать на нее страху, намекал на какую-то страшную, даже неизлечимую болезнь, говорил, что «там» ее лечат, а «у нас» еще нет, что, возможно, ему придется совершить дальнюю поездку, но вот только неизвестно, как будет с деньгами.

Ляля пригорюнилась. Она рада была бы все отдать Мите, до последней рубашки, но этим ему не поможешь. «А твой отец...» — сказала она и тут же пожалела, что запретное слово сорвалось с языка. Митя, возбуждаясь все больше и больше, начал бранить отца, который, видно, и не отец ему вовсе, потому что не хочет видеть его трудностей и выручить его, прийти на помощь. Митя так увлекся, что и Лялину беременность сюда приплел, мол, жестокость и скаредность старика делает невозможным их будущее счастье, а расплачиваться за все придется безгрешному младенцу.

Ляля даже прослезилась — не столько от горя, сколько от радости, в Митиных словах она ухитрилась увидеть признаки того, что Митя добр и думает о ней, о ребенке, об их общей судьбе.

— Боже, как я хочу, чтобы он был похож на тебя, Митя! — вырвалось у нее.

Митя опешил:

— На меня?

Он свесил ноги с кровати, подтянул к себе створку оконной рамы, погляделся в мутное стекло. Оттуда на него смотрело неясное отображение взъерошенного человека в полосатом халате. Митя потрогал пальцами мешочки под глазами, безуспешно попытался пригладить торчащие во все стороны жесткие, давно не мытые волосы и повалился на подушку.

— Почему на меня... Что я, красавец какой? — пробормотал он. Хотелось услышать от Ляли что-нибудь утешительное относительно своей внешности.

Но даже добрая Ляля не смогла пойти против очевидности, поэтому, оставив Митину внешность в стороне, проговорила:

— Я хочу, чтобы он был талантлив и добр, как ты!

Митя поморщился. У него имелось собственное твердое мнение о своем таланте и своей доброте, и пустые слова этой влюбленной курицы никак не могли его успокоить. Возникло желание сказать что-либо резкое, обругать Лялю. Ее восторженность, сюсюканье претили ему, но Митя сдержался, не дал воли раздражению. На то у него была веская причина.

В свое время, действуя донельзя глупо, нарасчетливо, он, Митя, восстановил против себя профессора Воздвиженского и вылетел из университета, не попал в аспирантуру. Все это так. Но может быть, еще не все потеряно?

— Ты уже сказала отцу про это?.. — Митя кивнул на Лялин живот.

Она покраснела.

— Нет... Что ты!

— А он разве не замечает?

— Пока нет, — упавшим голосом проговорила Ляля. Видно было, что предстоящее объяснение с отцом страшит ее.

— Не понимаю, какой смысл скрывать, если это все равно вот-вот обнаружится! — воскликнул Митя.

Ляля подняла на него глаза. Ласково-покорный взгляд их снова вызвал у него прилив раздражения.

— Странная ты какая-то! Я тебя не понимаю! Чего ты боишься, тебе не шестнадцать лет! Иди к отцу и все скажи!

— Что сказать?

Хорошо было бы, если бы она убедила старика, что рождение ребенка знаменует рождение новой семьи, что Митя теперь профессору не чужой и пора, забыв старые обиды и распри, позаботиться о будущем дочери... Что это значит — «позаботиться о будущем»? В эту туманную формулу Митя вкладывал вполне конкретный практический смысл: профессор должен, обязан дать положительное заключение о Митином проекте, более того — поддержать его всей силой своего авторитета.

Однако, втолковывая все это Ляле, Митя, видя ее расстроенное, жалкое лицо, уже понимал, что такая недотепа и рохля ничего путного сделать не может, ни в чем старика не убедит, а наоборот — вызовет его гнев. Но остановиться Митя не мог, потому что это означало отказаться даже от самого малого шанса на удачу, признать свое поражение.

— Митенька... Ну хорошо... Я ему скажу все это... А он спросит, собираемся ли мы пожениться... И когда?

Митя сделал вид, что впадает в бешенство:

— Ах, вот что тебя волнует! У тебя одно на уме! Тебе наплевать на мой проект, на мое будущее! Для тебя главное прикрыть свой грех, подыскать отца ребенку! Я тебя насквозь вижу!

Благородный гнев, который клокотал в Митиных словах, оглушал Лялю, не давая ей вникнуть в смысл произносимого. Она уже чувствовала себя виноватой. Слезы хлынули у бедной женщины из глаз, ручьями потекли по щекам.

Митя мгновенно прервал свою тираду, практично посоветовал:

— Намекни ему, что торопиться с оформлением наших отношений не следует, это его же самого поставит в двусмысленное положение, свяжет по рукам и ногам. Кроме того, я ведь человек несвободный... Нужно время...

У Ляли мгновенно высохли слезы...

— Митя, а ты действительно решил... Мы будем вместе?

«Вот дура-то, она все за чистую монету приняла», — подумал Митя. Грозно прикрикнул:

— Ты опять?

— Я не буду, Митенька, не буду... Поступай как

знаешь. Я тебя люблю, больше жизни люблю, и с меня довольно.

Митя растрогался, даже хлюпнул носом, плакси-во произнес:

— Вот вы все наседаете на меня... Требуете... А что я могу? Я скоро безработным буду. Я ведь гол как сокол. У меня за душой ни копейки. Не иначе — в цирк придется наниматься.

Ляля не поняла: при чем тут цирк?

Митя объяснил: среди четырех миллиардов населяющих землю людей лишь несколько десятков обладают умением оперировать в уме многозначными цифрами со скоростью современных ЭВМ. Он, Митя, в их числе. Недавно ему попала статья в журнале «Наука и жизнь» об артисте-математике Р. С. Арраго. Так вот, то, чем Арраго вызывал беспредельное изумление публики, он, Митя, делает запросто, даже без предварительных тренировок.

— Ты, Митя... и вдруг в цирке, — растерянно произнесла Ляля.

Митя захохотал:

— Буду выступать, как ученая собака... Сколько будет дважды два? Гав! Гав! Гав! Гав!

Унижая себя в глазах беспредельно любящей его женщины, Митя испытал мучительно-сладостное чувство. Мелькнула мысль: а ведь неплохо — вызвать у нее жалость. Это предаст ей храбрости при разговоре с отцом.

Нина подошла к дежурной и попросила белый халат, чтобы подняться к Мите.

— А вы кем доводитеесь больному?

— Жена.

— Не может того быть... Жена только что прошла.

— То есть как прошла? Вы что-то путаете.

— Ничего я не путаю! У меня тут в тетрадке все записано!

Нина закусила губу, задумалась. Припомнила светлоголовую миловидную женщину с прозрачным целлофановым пакетом, из которого выглядывал кулек с финиками. «Митя просил фиников, а я опять забыла», — пронеслось у нее в голове, но эта мысль отступила под напором других, более важных мыс-

лей. По-видимому, эта женщина назвалась женой Лукошко. Зачем она это сделала? Кто она? Сейчас Нина это выяснит.

Вскоре женщина вновь появилась в вестибюле. Остановилась у зеркала, стала поправлять прическу. Нина твердым шагом приблизилась к ней:

— Вы только что назвали себя женой Лукошко... Мне дежурная сказала, — негромко произнесла она. — Зачем вы это сделали?

Нина ожидала, что самозванка смутится, начнет оправдываться. Не тут-то было, женщина спокойно выдержала ее взгляд и сказала:

— Ах, вы Нина... Очень приятно. Впрочем, я говорю неправду. Мне неприятно видеть вас и разговаривать с вами. Но раз вы сами начали этот разговор... Меня зовут Ляля. Я люблю Митю и жду от него ребенка. А вы его не любите, я это знаю. Это видно по вашему лицу, по тому, как вы со мной заговорили. Поэтому я вправе назвать себя женой Мити и верю, что когда-нибудь мы с ним будем вместе.

Ляля разволновалась, щеки окрасились румянцем, она похорошела.

Нина, сдвинув брови, смотрела Ляле в лицо. Потом расстегнула сумочку, достала оттуда пестрый нейлоновый платок:

— Это, по-видимому, ваш?

Ляля с вызовом ответила:

— Да, мой!

Нина кивнула:

— Я так и думала, что он мне врал. Возьмите свой платок.

Ляля сняла с себя белый халат:

— А вы возьмите халат. Услуга за услугу.

Нина покачала головой:

— Спасибо, не надо. Мы с вами в одном халате ходить не будем.

Она повернулась и пошла к выходу.

У больницы остановила такси, села рядом с шофером. В голове у нее стоял легкий звон.

— Самотека, дом 16, пожалуйста.

Она достала из сумки зеркальце и косметичку, тщательно подкрасила губы и подвела глаза.

У дома № 16 расплатилась с шофером и вошла в обшарпанное двухэтажное здание, где жил Иван

Булыжный. Она не знала, зачем едет к Булыжному и что ему скажет, переступив порог. Просто сейчас Нине во что бы то ни стало нужно было ощутить возле себя человека, который ее любит. Эта потребность была сильнее ее.

Митя обычно все делал неожиданно — и для себя и для окружающих. Весь вечер он убеждал знакомого зав. отделением, что ему нужно еще недельку побыть в больнице, а наутро заторопился, вскочил, помчался к этому самому заву и сказал, что немедленно выписывается. Тот удерживать его не стал, даже заметно обрадовался, и так врачи и больные косятся, с чего это Митя разлеживает такой долгий срок.

— Условия тут у вас, прямо скажу, неважные, — Митя не удержался от укора.

— Ты же знаешь, брат, я сделал все, что мог, — начал было оправдываться друг, но Митя его прервал, сказал, что за все ему благодарен, и побежал собирать вещи.

В больнице Митя, что там ни говори, отлежался, набрался сил. И теперь, как ему казалось, был готов к решительным действиям. Пора брать старика за горло: сейчас или никогда!

Прямо из больницы поехал на квартиру на старом Арбате, чтобы еще раз взглянуть на Коллекцию и, если получится, переговорить с отцом о ее судьбе.

Когда в передней раздались знакомые шаги, Митя вздрогнул. С детства он боялся отца, его строгого, холодного взгляда, взвешенных слов и рассчитанных движений. С годами страх не пропал, а как будто бы ушел вглубь, опустился на дно души и там лежал-полеживал до поры до времени.

— А, Митя! — отец как будто даже обрадовался, завидя сына. — Есть хочешь?

И этот заботливый вопрос и весь вид отца, веселого, почти сияющего, поразили Митю. Таким он его давно не видел.

Между тем Семен Григорьевич, что-то напевая, прошелся по квартире, по дороге взглянул в овальное зеркало, в которое недавно смотрелся Митя, пригладил серебристые виски и скрылся в спальне.

Вскоре он появился вновь, теперь на нем был надет ранее не виденный сыном роскошный махровый халат — темно-синий, с красными и белыми продольными полосками, на ногах тоже новые тапочки. Митя глазам своим не верил. Он привык видеть старика в обносках: целиком посвятив себя Коллекции, тот не уделял своей собственной внешности никакого внимания. И вдруг такая перемена! Неизвестно почему, она показалась Мите неприятной и даже пугающей.

— Как Нина? Все в порядке? Любите, дети, друг друга, жизнь так коротка! — с этой сентенцией на устах Семен Григорьевич скрылся в ванной.

Вскоре оттуда донеслись шум воды и пение, да, да, пение, Митя не мог ошибиться. Отец пел в ванной. Такого еще не бывало!

Митя с трудом дождался, когда отец окончит свое омовение и с ним наконец можно будет объясниться.

— Знаешь, Митя, мы, кажется, будем ставить «Кармен-сюиту»! Там чудесная партия первой скрипки! — выйдя из ванной, радостно объявил Семен Григорьевич и вновь собрался юркнуть в спальню, чтобы продолжить свой затянувшийся туалет. Но Митя его остановил:

— Отец, нам надо поговорить!

Семен Григорьевич, видимо, ничего хорошего не ожидал от разговоров с сыном, и сейчас на его распаренное после душа лицо набежала тень. Усилием воли он согнал ее и приветливо сказал:

— Давай поговорим, мой мальчик! У сына от отца не должно быть никаких секретов.

И кто это говорил! Человек, для которого сын долгие годы был маленьким, неприятным крикливым существом, постоянно путавшимся под ногами и отвлекавшим его от главного дела жизни — Коллекции, а потом, когда подросток превратился в Наследника, предъявляющего свои права на эту самую Коллекцию, в расхитителя и узурпатора. «Мой мальчик!»

Митя нарочно старался представить себе отца таким, каким он был прежде, до этого своего непонятного превращения. Ибо такого отца, каким он увидел его сегодня, — приветливого, общительного, он не знал и не умел с ним разговаривать. Он буркнул:

— Я говорил тебе в больнице: мне нужны деньги. И снова отец поморщился. Однако в голосе его не было неприязни!

— Сколько?

— Много!

Семен Григорьевич засмеялся:

— Ты напоминаешь мне древних, которые не умели хорошо считать, и вслед за тысячью у них шла «тьма». То есть много. Тысячи тебе хватит?

— Нет!

— К сожалению, не могу дать больше. Я сделал другое, сын! Написал завещание. Все останется тебе. После моей смерти ты — хозяин Коллекции! Я не хотел тебе об этом говорить. Думал: пусть будет ему сюрприз. Но ты меня вынудил сказать... Может, так лучше. Ты должен знать.

У Мити вырвалось:

— Покажи!

Семен Григорьевич нахмурился:

— Ты мне не веришь?

— Верю, конечно. Спасибо, отец.

Когда отец ушел в театр, Митя, выдвигая ящички из старинных булей, заглядывая в горловины ваз и пустоты фарфоровых фигурок, тщательно исследуя внутренности шкатулок и табакерок, наконец отыскал сложенную вчетверо бумагу. Сердце его радостно забило, когда он пробежал глазами написанные размашистым почерком строки отцовского завещания, делавшего его законным наследником всего. Но тут же, одновременно с радостью, родился и страх, как бы старик не передумал: долго ли накапать новое завещание! Он перепрятал драгоценный документ в другое место — в секретер. Раньше тот лежал в музыкальной шкатулке, исполнявшей при поднятии крышки музыкальную фразу из Моцарта. Теперь завещание обрело покой внутри пустотелой фарфоровой статуэтки. Перекладывая завещание, Митя, так он считал, не сделал ничего противозаконного. Хранительницей документа, определявшего будущую судьбу Коллекции, по-прежнему оставалась сама Коллекция. При случае он всегда сможет убедить отца, что тот запомнил, по ошибке положил бумагу не туда, куда хотел. И для отца и для сына Коллекция была живым существом, в ней они видели

смысл и цель своей жизни, она хранила их тайны, при ее помощи они продолжали общаться между собой, когда соединявшие их естественные узы родства истончались и готовы были порваться.

Статуетка, в которой Митя спрятал завещание, по описи называлась так: «Фигурка с завязанными глазами (игра в жмурки), произведение завода Гарднера, XIX век».

КРИЗИС ВЕРСИИ

Мастерская, ключ от которой Марина Белая передала Коноплеву, оказалась тесной — метров восемь, не больше, но хорошо оборудованной для жизни. В крошечной передней — умывальник, вернее, не умывальник, а вместительный четырехугольный поддон, на который при желании можно взобраться с ногами. Над ним — не только смеситель с холодной и горячей водой, но и гибкий шланг душевой установки.

За дверцами настенного шкафа, обнаружился туалет. В уголке стояла электрическая плита, пестрый шнур был аккуратно уложен и завязан узлом. На подоконнике детская игрушка — рыжий медведь в целлофановом пакете. Широкий топчан аккуратно застлан пестрой тряпичей, у изголовья — подушка и свернутые квадратиками простыни.

— А они тут со всеми удобствами устроились, — бросил Сомов, мрачным взглядом окидывая помещение. — А хозяин знает о нашем визите?

— Мы здесь с его согласия...

Мастерская принадлежала заслуженному деятелю искусств художнику Орлеанскому, бывшему учителю Марины. Он передал ей ключи от мастерской, когда у него появилась другая — просторнее и лучше, на подмосковной даче.

— Эта Белая не такая уж белая, — неуклюже пошутил Сомов. — Она, конечно, знала, что его тут нет, когда ключ давала...

— Однако как вы легко обо всем судите, — проговорил Коноплев.

— Сужу, потому что знаю этот народ. Они наварняка на пару работали...

— Жаль, Сомов, что вы не познакомились с Марининой мамой, Настасьей Степановной... Может быть, тогда бы переменили свое мнение и о дочери. Ну, за работу!

Сомов внимательно осмотрел мольберт на треножнике, стоявший у стены, попробовал пальцем цветные колбаски застывшей масляной краски и теперь исследовал развешанные по стенам эскизы. С «Автопортрета» глядело на них умным приниженным взглядом полное лицо не молодого уже мужчины с пухлыми кроваво-красными губами; в обнаженной «Купальщице» угадывалась угловатая фигура Марины Белой. Дальше шли городские виды — «Александровский сад», «Манеж», «Цветной бульвар». Сомов осмотрел окурки в пепельнице, лишь один из них принадлежал женщине: хранил следы помады. На столе стопкой лежали вырванные из рисовального альбома листы плотной бумаги с карандашными набросками. На одном из них изображен был молодой курносый мужчина, отдаленно напоминавший Виталия Пустянского.

— Смотрите-ка, он тут без бакенбардов, — отметил наблюдательный Сомов. — Сбрил их, что ли?

— Я думаю, дело в другом, — ответил Коноплев. — Бакенбарды у этого молодца, надо сказать, довольно пошловатые, вряд ли они пришлись по вкусу Марине с ее развитым художественным вкусом... Вот она его и «побрила», а вообще, мне кажется, она изобразила здесь Пустянского не таким, какой он есть в жизни, а таким, каким бы ей хотелось его видеть. Вон каким орлом смотрит!

— Фантазия, что ли? — уточнил любивший определенность Сомов.

— Вроде того.

— Ага! Это уже кое-что! Ну-ка, взгляните, товарищ подполковник.

Коноплев взглянул на извлеченный из-под стопы лист бумаги и от удивления раскрыл рот. Перед ним лежал план... его прежней квартиры в доме на старом Арбате.

— Поздравляю, Сомов, — упавшим голосом произнес он. — Вы отыскали весьма важную улику против Пустянского. Это план моей бывшей квартиры.

— Вашей?!

— Не удивляйтесь. У Лукошко точно такая же. Теперь сомнений нет: Пустянский давно уже имел по отношению к старику коллекционеру преступные намерения...

Плюшевый медведь проводил их унылым взглядом стеклянных глаз.

В комнате светло, как днем. Однако по накопившейся в теле усталости Коноплев чувствует: времени уже много. Так и есть, седьмой час.

Май на дворе, потому-то стал таким просторным день, и небо за окном ярко-голубое, хотя уже и вечер недалек. Весна позади, скоро лето. Коноплев любит наблюдать за сменой времен года, движение в природе отвечает тому внутреннему ощущению непокоя, которое постоянно живет внутри него. Он не понимает жалоб некоторых людей на монотонность, однообразие жизни. Хотя его собственная жизнь не богата внешними свидетельствами перемен: как пришел в МУР после войны, так и работает до сих пор, как женился десяток лет назад, так и хранит верность своей ненаглядной Танюшке; кстати, сегодня она собиралась вернуться домой пораньше...

Он встает, аккуратно складывает в сейф бумаги, гремит ключами...

Пора домой. По влажному асфальту он шагает от подъезда к ярко-желтой арке ворот. Впереди — знакомая худощавая, асимметричная фигурка: одно плечо выше другого. Минуя узкий проход в ограде, мужчина поворачивается боком, и становится видно, как он поджимает левую руку, точно птица переби-тую лапку.

Николай Иванович прибавляет шаг. Догоняет следователя Ерохина:

— Здравствуйте.

— Привет, если не шутите.

— Да мне сейчас не до шуток.

— Понятно. Опять Гамлетовы сомнения?

— Вроде того.

— Ну выкладывайте.

— У меня предложение... Может, погуляем в «Эрмитаже», поговорим?

— А в рабочее время не могли зайти? — с неудовольствием говорит Ерохин. — Вечерами, как правило, трудятся те, кто плохо работает днем. Мне еще в магазин надо, «Линолак» достать. Это такое диетпитание для внука... Дочка заказала.

Оказывается, у сухаря Ерохина есть семья и внук! Почему-то это открытие удивляет Николая Ивановича.

— Ну, тогда до завтра.

— Да нет уж... Раз сомнения, надо обсудить. Чего откладывать? Пойдем в «Эрмитаж». В двух шагах работаем, а я в саду сто лет не был.

Они пересекают улицу в неподобающем месте, постовой неодобрительно смотрит на них, но свистеть не решается.

На сырых дорожках пусто. Деревья простирают над головами ветви, с которых время от времени срываются тяжелые капли. Дышится после дождя хорошо, легко.

— Вот вы сказали: «Тот плохо работает днем». Не знаю, как все, а меня не покидает ощущение, что работаем мы действительно не очень хорошо.

— Еще бы... Уж полночь близится, а Щеголя все нет.

— Щеголя мы найдем. Это дело дней, — говорит Коноплев. — Но...

— Но стоит ли его искать? Стоит! Вас что, эти его дурацкие посылки с толку сбили?

Недавно на адрес музея, где прежде работал Виталий Пустянский, прибыло несколько ящиков. В них оказались предметы искусства, похищенные у Монастырской. А вскоре в ее квартире раздался телефонный звонок. Незнакомый женский голос назвал номера шифра, с помощью которого можно открыть ящики автоматической камеры хранения багажа на Курском вокзале. Монастырская, опасаясь подвоха, позвонила Коноплеву. В тот же день Сомов извлек из камеры хранения несколько чемоданов с носительными вещами. Монастырская признала в них свою личную собственность.

— А что, разве эти действия Пустянского не дают пищи для размышлений? — спросил Коноплев.

— Давайте размышляйте. А я послушаю.

— Зачем он возвращает вещи Монастырской, то

есть пытается смягчить свою вину, если на нем все равно висит убийство старика Лукошко?

— Ну, это его дело... — поморщился Ерохин. — Поймайте его, он нам сам скажет. Кстати, он же не знает, что мы подозреваем его в убийстве Лукошко.

— Знает.

— Знает?! — Ерохин остановился как вкопанный. Он был неприятно поражен услышанным. — От кого?

— От Марины Белой.

— Но ведь Белая, как вы утверждаете, не имеет связи с Пустянским.

— Не имела... До вчерашнего дня.

— А что произошло вчера?

— Вчера она видела Пустянского. И говорила с ним. Он подкарауливал ее возле дома.

— А что же наше наблюдение?!

— Пустянский вскочил в переполненный автобус, а наш товарищ не успел.

— Не успел?! Безобразие! С художницей разговаривали?

— Да, сегодня.

— Что она говорит

— Утверждает, что сначала Пустянский действительно хотел ограбить Лукошко, но потом от этой мысли отказался.

— И уколошил его?

— Марина клянется, что он этого не мог сделать.

— И вы ей, конечно, склонны верить? На слово? За здорово живешь?

Коноплев оставил выпад Ерохина без ответа.

— Если бы Пустянский собирался убивать Лукошко, он позаботился бы о том, чтобы уничтожить всякие улики. А не оставил бы для нас в мастерской план квартиры Лукошко. Не потащил бы его самого к Марине, женщине, которая ему, судя по всему, дорога, не стал бы занимать у соседки кухонный нож, чтобы использовать его как орудие убийства. Он же не сумасшедший!

— А если предположить, что он убил старика в состоянии аффекта?

— Но ведь вы, кажется, сами как-то говорили, что не верите в немотивированное убийство. А в этом случае мотивы не очень-то просматриваются. Ну, убил? А дальше что?

— А что заставило Пустянского отказаться от ограбления Лукошко? Как Белая это объясняет?

Коноплев пожал плечами:

— Не очень вразумительно. Пустянский якобы ей сказал, что ошибся в старике. Он-де оказался не таким уж мерзавцем.

Ерохин фыркнул:

— Бред какой-то!

Он с размаху плюхнулся на лавку, не заметив, что она мокрая. Коноплев остался стоять.

— Ну и как вы это расцениваете? — Ерохин смотрел на Коноплева снизу вверх.

Николай Иванович обвел глазами сад, который казался ему столь обширным в дни его детства и который теперь, среди зажавших его со всех сторон каменных коробок, выглядел миниатюрным, вобрал в грудь уже отдававшего вечерней сыростью воздуха и проговорил:

— Понимаете... Этот Пустянский престранный тип. Не такой, как другие. Да, он негодяй, грабитель... Но сам себе он представляется чем-то вроде благородного Дубровского.

— Кстати, твоему Дубровскому вполне можно было бы вменить 146-ю статью за разбой и 149-ю за уничтожение чужого имущества, — заметил Ерохин.

— Дубровский не мой, а пушкинский... Как бы там ни было, Пустянский не кажется мне человеком, который мог бы хладнокровно осуществить столь зверское убийство. Он привязан к жизни и, судя по всему, любит эту Марину Белую.

— Ну знаете? — Ерохин вскочил с лавки, видно сырость доняла его, и стремительно зашагал к выходу. Коноплев едва поспевал за ним. — Упустили, понимаешь, Щеголя, а теперь утешаете себя и меня детскими сказками. Фантазеры! Больше слышать ничего не хочу! Извольте немедленно представить мне Щеголя! Кстати, учтите, я из-за вас в магазин опоздал!

Вот тут-то Коноплев действительно почувствовал себя виноватым.

Николай Иванович видел: лейтенанту Тихонову не терпится исправить свой давний промах, когда он в подъезде напротив комиссионного магазина так

глупо упустил гражданина, продававшего ворованную табакерку. И теперь он предоставил ему такую возможность.

— С сегодняшнего дня наблюдать за Мариной Белой будешь ты. Не может быть, чтобы она еще раз не встретила с Пустянским. И тут уж смотри в оба! Не упусти!

— Есть смотреть в оба! — радостно проговорил Тихонов. Это было первое поручение, которое он получил, будучи уже работником МУРа, куда был принят по рекомендации Коноплева.

Через два дня в кабинете подполковника раздался звонок и прерывающийся от волнения голос лейтенанта произнес:

— Товарищ майор! Докладывает Тихонов. Марина встретила с Пустянским.

— Прежде всего успокойся! Что они делают?

— Стоят в очереди на такси.

— Немедленно — к ним! Не отходи ни на шаг! Упустишь — голову...

Однако что случится с его головой в том случае, если он упустит Пустянского, Тихонов так и не услышал, бросил трубку.

Коноплев, нервно меряя крупными шагами комнату, с нетерпением ждал следующего звонка лейтенанта. Но телефон молчал. Каково же было его удивление, когда Тихонов появился перед его глазами, так сказать, собственной персоной:

— А вот и я!

— Кто вам разрешил оставить наблюдение?! — грозно спросил Коноплев.

Тихонов тыкал пальцем в пол:

— Они там...

— Где?

— Внизу.

— Что значит внизу?

— В приемной.

— В нашей приемной?

— Так точно. Я просил дежурного присмотреть за ними.

— Это лишнее. Раз пришли, то не уйдут.

Коноплев уселся за стол, подпер щеки кулаками, задумался. Зазвонил телефон.

Дежурный доложил:

— Товарищ подполковник, тут к вам двое...
— Белая и Пустянский?
— Так точно.
— Пустянского пропустить! Женщина пусть подождет.

— Прошу оформить мне явку с повинной...

Перед Николаем Ивановичем стоял высокий, щеголеватого вида парень. Короткая кожаная курточка с меховыми отворотами, ярко-синие джинсы плотно обтягивают узкие бедра, длинные ноги — в сапогах-техасах. На запястьях золотая браслетка.

— В чем же вы желаете повиниться, гражданин Пустянский? Уточните, пожалуйста.

— В том, что причинил беспокойство мадам Монастырской, — парень нагло вато усмехнулся, сверкнув золотой коронкой. — Однако прошу записать: из ее имущества себе не взял ничего. Все возвращено: часть — пострадавшей, а что поценней — то государству. Могу подтвердить соответствующими квитанциями.

Пустянский хорохорился, говорил гаерским тоном, но видно было, что он не в себе. Лицо бледное, над верхней губой крупные зерна пота... Глаза бегают. Сквозь привычную маску угодливой наглости просвечивают тоска и растерянность.

— Вы отдаете себе отчет, что, возвратив украденное, вы отнюдь не избавили себя от уголовной ответственности за содеянное? — спрашивает Николай Иванович.

Пустянский опускает голову, взгляд устремлен на рисунчатый, в крупную клетку, линолеум. Голос его звучит почти жалобно:

— Но разве суд не учтет? Я сам пришел... вещи вернул...

Он робко роняет слова, будто нерадивый ученик, плохо выучивший урок.

— Разумеется, все будет учтено. И это несомненно облегчит вашу участь.

Пустянский вдруг с силой бьет себя кулаком по колену:

— Дурак! Вот дурак! Сам себе жизнь испортил! Она в меня верила, а я... Подлец! Подлец!

— Попрошу без истерик. Поговорим по-деловому... Скажите, Пустянский, зачем вы раздобыли план квартиры коллекционера Лукошко?

— План? Какой план... Ах, тот... Однажды я побывал у него дома, принес какую-то безделушку. Позвонил. Дверь открыл сын. Крикнул: «Отец, к тебе!» И ушел в свою комнатенку. Смотрю, старик спускается по лестнице с антресолей. Сухонький, седые волосы растрепаны, одет во что попало, на ногах подшитые валенки, а в руке держит вазу невиданной красоты! И вокруг — чего только нет! У меня в глазах потемнело! Господи, сколько всего? И почему все это должно принадлежать старику, которому и жить-то всего ничего осталось...

— Разве вы не понимаете, что эти ваши откровения легко могут быть использованы против вас?

Пустянский усмехается:

— Это уж ваше дело — разобраться что к чему. Вам за это деньги платят.

— Напрасно вы, Пустянский, все на деньги меряете. Человеческого счастья за деньги не купишь.

Пустянский продолжал дурачиться:

— Молод еще. Могу ошибаться.

— А мне кажется, вы не так уж и молоды. Наверное, уже за тридцать?

— Тридцать три... Возраст Иисуса.

— Иисус, согласно легенде, пострадал за свои убеждения... А вы за что готовитесь на Голгофу взойти?

Пустянский вскидывает голову, вытягивает подбородок:

— У меня тоже есть свои убеждения! Но разве вы поймете?

— Это слова... В основе всех ваших поступков, Пустянский, лежит одно — стремление разбогатеть за чужой счет. А лукавый ваш ум тщится найти этой мелкой и, прямо скажем, преступной страстишке какое-либо приличное объяснение. Но получается это у вас плохо. Неважнецки получается. Вот даже неопытная, любящая вас Марина и та не поверила.

— Марину не трожьте! Это святое!

— Ну, тогда поговорим о другом. Лукошко — это ваших рук дело?

Пустянский бледнеет:

— Нет! Я его не убивал!

— А откуда вы знаете, что он убит?

— Слухом земля полнится...

— Скажу откровенно. По поводу вашего участия в убийстве Лукошко имеются весьма серьезные подозрения. Самое время их развеять. Так что вы правильно сделали, что явились.

Пустянский с хрустом сцепливает пальцы:

— Неужели вы верите, что я мог?! Мне жизнь дорога! Я жениться собрался! — Он был похож на утопающего, хватающегося за соломинку.

— Давайте по порядку. Ответьте мне на вопрос: с какой целью приходил Лукошко два месяца назад в квартиру Марины Белой?

— Я все расскажу, — торопится Пустянский. — Странная история. Я его не звал, он сам пришел.

...Вот уже три недели, как Пустянский готовился к ограблению квартиры Лукошко. Решился он на это после долгих и мучительных раздумий. Желание «завязать», раз и навсегда покончить со своим прошлым, которое пришло вместе с любовью к Марине, боролось в нем со страхом перед будущим, перед бедным, необеспеченным существованием.

Под благовидным предлогом он побывал в квартире Лукошко, составил подробный план его квартиры. Несколько дней следил за стариком и его сыном, чтобы определить время, когда их не бывает дома.

Пустянскому не стоило особого труда убедить себя, что, лишив Лукошко части нажитых им вещей, он сделает, в общем-то, доброе дело. В мире антикваров Лукошко был известен как человек крайне хитрый и жадный. Ради своей коллекции он мог без колебаний обмануть человека, кем бы тот ни был, беспомощным старцем, вдовой или ребенком.

И вдруг однажды в музей, где работал Пустянский, звонит Лукошко и обращается к нему со странной просьбой. Ему, видите ли, не хотелось бы обмануть двух детей — брата и сестру, уплатив им за картину меньше, чем она того стоила. Поэтому он хотел бы, чтобы эту вещь оценили специалисты в музее. Кстати, если музей сочтет картину достаточно

ценной и захочет иметь ее в своем собрании, Лукошко охотно уступит ее.

Пустянский забросал Лукошко недоуменными вопросами. Стоит ли расставаться со столь ценным полотном? А если уж решились на это, то почему бы не отыскать частного собирателя, который отвалит уйму денег? Как известно, у музейев закупочные фонды не очень-то велики.

Но Лукошко стоял на своем, это-де особый случай, тут нельзя действовать другим способом, только так, как он решил, а не иначе.

Пустянскому ничего не оставалось, как согласиться на просьбу старика. Он назвал ему Маринин адрес, и на другой день тот явился с плоским предметом под мышкой, обернутым в газету. Газета в нескольких местах порвалась, и Пустянский предложил переупаковать полотно. Вытащил из-за шкафа кусок крафта (грубой оберточной бумаги), сбегал в кухню за ножом, чтобы отрезать веревку. После этого, прихватив сверток, они отправились в музей.

Музей высказал желание приобрести картину. Лукошко была выплачена приличная сумма. И тут старик обратился к Пустянскому еще с одной просьбой — отвезти часть денег по адресу, который он ему даст.

Пустянский поставил условие: он выполнит просьбу, если Лукошко откровенно расскажет ему, что все это значит. После некоторых колебаний старик открыл ему душу.

Он следил за этой картиной давно. И ждал своего часа. Час этот наступил. Хозяйка умерла, картина перешла в руки ее детей, брата и сестры, юных, наивных несмышленишек. Семену Григорьевичу не составило труда приобрести картину за мизерную сумму в триста рублей. Но тут в нем заговорила совесть...

— Совесть? У вас? — Пустянский не сдержал своего удивления.

Лукошко не обиделся:

— Да, у меня. Что мы знаем о себе? — вопрос на вопрос ответил Лукошко. — Ничего. Неисповедимы пути господни, а человеческие пути — тем более...

В один прекрасный день на нашем пути встречается человек, который, оказывается, знает тебя лучше, чем ты сам... Он проникает своим ясным взором в самые глубины твоей души, сквозь наслоившиеся за долгие годы пласты ненависти и грязи, и обнаруживает в тебе нетронутые запасы доброты и человечности. С этого момента ты уже не можешь жить прежней жизнью, делать то, что ты делал, совершать поступки, которые совершал... В общем, я решил, что эта покупка не принесет мне счастья. Я вычел из полученной от музея суммы свои триста рублей, а остальное прошу вернуть брату и сестре. Почему не возвратил им картину? Да потому, что в этом случае их обманет кто-нибудь другой и у меня не останется ничего, кроме горечи от сознания, что я упустил выгодную сделку, потерял ценную вещь.

Пустянский выполнил просьбу Лукошко, передал деньги брату и сестре, взяв у них расписку, — на этом настаивал Лукошко.

— Он проявил ко мне доверие. Разве мог я после всего этого забраться к нему в квартиру? Какими глазами я посмотрел бы на него в зале суда?

Коноплев пропустил этот риторический вопрос мимо ушей. Одна тревожная мысль появилась у него в голове и прочно там засела.

— Скажите, — помедлив, спросил он, — вы случайно не знаете, о каком таком человеке, встреченном им на своем жизненном пути, говорил Лукошко? Под чьим влиянием произошли с ним эти удивительные перемены? Кто это был — мужчина или женщина?

Пустянский пожал плечами:

— Ну, для женщины он был слишком стар...

— Марина говорила мне, что однажды на выставке фарфора вы встретили Лукошко в обществе какой-то красавицы.

Пустянский потер переносицу:

— Что-то такое было в самом деле... Но кто та дама, я не знаю.

— Ну хорошо... А теперь скажите, куда вы задевали кухонный нож, похищенный вами у Лии Львовны?

Пустянский быстро ответил:

— Нож я захватил с собой в мастерскую... Он был мне нужен для хозяйственных целей. Однажды нож упал со стола и завалился за плинтус. Там, знаете, какие щели... Все собирался достать, да не успел.

— Ничего. Мы достанем.

Коноплев вызвал дежурного, распорядился:

— Уведите.

Пустянский втянул голову в плечи, обеими руками вцепился в табуретку — не оторвать.

— Вставайте, вставайте, что за ребячество... Вы что ж, думали: повинитесь и вас отпустят на все четыре стороны?

— Нет. Я знал.

— Так в чем же дело?

— С Мариной хочу проститься.

— Вы уже с ней простились... там, в приемной. А теперь придется потерпеть. Некоторое время.

— Лет пять? — у Пустянского помимо его воли задрожали губы.

— Суд решит. Да вы не унывайте. Вы, Пустянский, уже проявили мужество, явившись к нам сюда по собственной воле. Постарайтесь быть мужественным и впредь. Ваша судьба — в ваших руках!

Пустянский встал и, привычно заложив руки за спину, двинулся к двери. В эту минуту его понурая фигура совсем не выглядела щеголеватой.

Ворожеев сидел за своим двухтумбовым письменным столом и брился электрической бритвой «Агидель».

Когда Ворожеев брился на работе, это было верным признаком, что благоверная закатила ему утром очередной скандал. Была она женщина вспыльчивая и властная, вела корабль семейной жизни твердой рукой, не допуская каких-либо отклонений от курса. Поздний приход домой, запах пива или — не дай бог! — водки, недостача в зарплате или премии, небрежное отношение к данному ею хозяйственному поручению — все вызывало бурный взрыв и скорую расплату.

«Не вовремя пожаловал», — подумал про себя Коноплев, но отогнал от себя эту мысль: не хватало еще, чтобы он подлаживался под настроение Акима.

— Ну? — вместо приветствия произнес руководитель отдела, продолжая свое занятие.

— Хвастать нечем. Плохи дела, Аким.

Ворожеев на мгновение отстранил от лица жужжащую бритву:

— Что, не раскалывается?

— Да нет... Признался. В ограблении Монастырской.

— А в убийстве Лукошко?

— Категорически отрицает.

— Ну это не страшно. Признается, — с облегчением произнес Ворожеев и снова начал тереть бритвой скулу.

— Понимаешь, Аким, — мягко начал Коноплев, — боюсь, что ему не в чем признаваться.

— Как это не в чем?! — Ворожеев дернулся, и вилка с грохотом вылетела из розетки.

— К убийству Лукошко Пустянский, по-видимому, не имеет прямого отношения.

— Не имеет? А план квартиры, который Сомов обнаружил в его мастерской. А зеленые ворсинки?

— Все есть. И план, и ворсинки, и даже нож отыскали. Но только...

— Пустянский не убивал?

— Нет.

— И ты дал ему понять, что веришь в это?

Коноплев пожал плечами:

— Да он сам знает, что не виноват.

— Не крути! Ты потребовал от него признания или нет?

— Как же я могу от него требовать признания, когда я сам не верю, что он причастен к этому делу?

— Так... Так... — Глаза у Ворожеева сузились, не глаза, а прорези монеток в телефонах-автоматах старого образца. — Ты отдаешь себе отчет в своих действиях?

— Думаю, что да.

— А я думаю, что нет! Мы имеем против Пустянского серьезные улики. Кроме того, располагаем письмом, в котором прямо указывается на Пустянского как на лицо, совершившее преступление...

Несколько дней назад на Петровку действительно поступило анонимное письмо, в котором упоминался Пустянский. В нем было всего две строчки: «Старика Лукошко пришил Виталий Пустянский.

Они на пару работали, да чего-то, видать, не поделили. Доброжелатель». Письмо, судя по всему сочиненное мужчиной, как определила экспертиза, было написано женским почерком.

— Так ведь анонимное же письмо! — презрительно проговорил Коноплев.

Ворожеев не обратил на его реплику внимания:

— Оценивать улики и доказательства должны следователь и суд... А ты — сыщик. Ты не должен брать на себя их функции. Принимать за них решения.

— Послушай, Аким...

— Учти, со стороны все виднее: вот ты на поддороге бросаешь дознание... А с Ерохиным это согласовано? Я спрашиваю — да или нет?

— Еще нет.

— Так я и думал — нет! А почему?

— Не хотелось идти к нему с пустыми руками.

— Ага. К нему не хотелось. А ко мне — хотелось? Ты меня и за начальство не считаешь?

В гневе Ворожеев откинулся назад, такое было впечатление, будто он полулежит в зубоврачебном кресле.

— Успокойся, Аким. Послушай, я же тебе говорил, что...

Ворожеев выпрямился, схватился за крышку стола, удерживая себя в вертикальном положении. Он вдруг остыл, заговорил тихо и рассудительно:

— Да, ты не веришь, что убийца — Пустянский. Слышали. Смазливая художница уговорила тебя, что ее дружок не виноват. Пусть так. Разрабатывай новую версию, ищи настоящего виновника... Разве я возражаю? Но зачем раньше времени выводить из-под удара Пустянского? Чтобы продемонстрировать руководству свое бессилие? Свою неспособность? Это делать ни в коем случае нельзя! Слушай сюда... Отдай Пустянского Сомову. Это — приказ.

Ворожеев взял со стола электробритву, открыл крышку, высыпал содержимое на пол. Щеточкой тщательно протер ножи. Потом, округлив губы, подул на них. Закрыв крышку, тщательно обмотал провод вокруг бритвы, уложил в ящик стола.

— Все. Ты свободен!

Коноплев вышел. В коридоре вынул из кармана зеленую упаковку «Сустака» и сунул под язык розовую в белых крапинках таблетку.

Неужели Ворожеев и впрямь верит, что Пустянский — убийца Лукошко? Скорее всего, нет. Просто делает вид, что верит. Зачем? Чтобы выиграть время и успокоить начальство. Пусть оно считает, что убийца задержан и остается только уличить его в преступлении. А за это время, глядишь, и подвернется новая версия.

Нет, он, Коноплев, в эти игры не играет. Он в начальники отдела не метит. Для него главное — дело, а не благосклонность начальства. Чего он, собственно говоря, разволновался? Ворожеев передал Пустянского Сомову? Тем лучше. У Коноплева развязаны руки, он может двигаться дальше.

Но на душе у него кошки скребли. Он остро ощущал свою ответственность за постигшую неудачу. Внутренний голос, правда, утешал, успокаивал его. «Да, — говорил он ему, — в ходе расследования не раз приходится отказываться от тех или иных версий, но что в этом особенно плохого? Не подтвердилась одна версия, возникает другая». — «Так это же означает действовать методом проб и ошибок?» — отвечал Коноплев. «А почему бы и нет, — продолжал внутренний голос. — Что в этом плохого?» — «Как что! — восклицал Николай Иванович. — Подобно тому как в спорте количество попыток определяет подготовку спортсмена, так и количество «проб» сыщика показывает его квалификацию. Не слишком ли много ошибок? Сначала с Зайцевым, теперь с Пустянским. Что скажут в управлении?» На это внутренний голос отвечал язвительно: «Не совестно ли, уважаемый Николай Иванович, вы же говорили, что вас эти глупости не волнуют. Ворожеева почему зря костили... — Нехорошо.» — «Совестно, конечно, но ведь все мы — люди», — вздохнул Коноплев и... принялся обдумывать новую версию.

В тот же вечер, войдя в дом на старом Арбате, Коноплев нажал в лифте кнопку пятого этажа, где жили Лукошко и его соседка Изольда. Возникшая по пути домой мысль требовала немедленной проверки.

С неприязненным чувством взглянув на свежую табличку «Лукошко Д. С.» (ишь поторопился!), Николай Иванович шагнул в противоположную сторону. Позвонил. Открыла Изольда.

По выражению ее лица Николай Иванович понял, что пришел не вовремя.

— Я на секунду. Может быть, поговорим на кухне?

Она кивнула. Следуя за хозяйкой по коридору, он успел разглядеть сквозь полуотворенную дверь сидевшего в комнате на диване широкоплечего гражданина. Под ухом у него выпирал крупный жировик.

«Где-то я его видел. В комиссионном, что ли?»

При ярком освещении Изольда выглядела хуже, чем в полутьме в передней. Когда она, наклонившись к духовке, где что-то шипело, распространяя вкусный мясной запах, выпрямилась, Николай Иванович испугался, не хватит ли ее удар, так сильно она побагровела.

— В прошлый раз вы говорили, что Лукошко в последнее время нередко навещали женщины. Вы видели хоть одну из них?

— По делу к нему часто заходили мужчины и женщины...

— Нет, деловые визиты оставим в стороне. Я имею в виду сугубо личные отношения.

Коноплев был уверен: из своей квартиры эта Изольда вела за своим соседом такое тщательное наблюдение, на какое и свехретивый Сомов не был бы способен.

— К нему ходила одна женщина. Но я ни разу ее не видела.

— Как это могло быть? У вас в двери глазок... А вход к Лукошко прямо напротив.

— Я сама удивлялась. А потом догадалась. В его квартиру можно пройти с черной лестницы через пожарный балкон.

У Коноплева вытянулось лицо. Митя Лукошко говорил, что об этом знали только двое — он сам и отец... А теперь выясняется, что Изольда тоже в курсе.

— Кто вам рассказал про пожарный балкон?

— Однажды, когда мы возвращались с прогулки, Семен Григорьевич провел меня к себе этим путем.

— Но если вы никого не видели, почему вы думаете, что женщина была?

Она помялась:

— Голоса... Музыка. Он играл, а она пела.

«Все ясно, она подслушивала на лестничной клетке под дверью».

— Спасибо. Извините за беспокойство.

...Николай Иванович сидел за крытым пестрой клеенкой столом в своей уютной кухне и пил горячий чай с лимоном.

Он с удовольствием смотрел на профиль жены — чистый лоб, линия которого плавно переходила в линию носа, прямого, немного вздернутого. Вздернута и верхняя губа, подбородок плавно-округлый, нежный.

— Скажи, не было ли в жизни Лукошко (я имею в виду последние месяцы его жизни) каких-либо событий, которые могли бы потрясти его, вывести из равновесия?

Танюша задумалась, закусив нижнюю пухлую розовую губу.

— Была какая-то некрасивая история... Он обманул одну женщину. Выманил у нее за бесценок дорогую вещь. И не просто дорогую — эта вещь была ей особенно дорога как память о муже. Да ты знал ее мужа, это наш дирижер Смирницкий. История получила огласку, после чего от Лукошко многие отвернулись.

— Он тяжело переживал?

— Даже хотел поначалу уходить из театра. Но потом передумал — остался.

— Скажи, Танюша... А не было ли у Лукошко какой-нибудь страсти, сердечной привязанности?

— У Семена Григорьевича? Да он же старик!

— Однако, говорят, кто-то у него был.

— Кто знает... Может, и был...

ГОРЕЧЬ ПОЗДНЕГО МЕДА

...У Семена Григорьевича разболелась ключица. Стоило ему вскинуть к подбородку легкое тело скрипки, как острая колющая боль пронизывала грудь, отдавалась в шее, холодной змейкой пробегала по руке. Отчего это? Трещина в ключице? Отложение солей? Надо обратиться к врачу. Легко ли

ежедневно по четыре часа просиживать в оркестровой яме, испытывая эту новую, еще незнакомую его телу боль?

Но он все не шел и не шел к врачу. В последнее время равнодушие ко всему, в том числе и к самому себе, овладело им.

С чего это началось? Когда? Если б Семен Григорьевич задумался, то без труда бы определил: с того самого дня, когда произошла эта безобразная сцена на лестничной клетке. Стоило ему закрыть глаза, и происшедшее в мельчайших подробностях встает перед ним. Он отчетливо видит серый, с паутиной на углах, потолок, лампочку без абажура на твердом кривом шнуре, черные пятна копоти от спичек, которыми, пробегая по этажам, хулиганы мальчишки «выстреливают» вверх. Крупная чистая сетка ограждения лифтового колодца, подслеповатый красный глазок, предупреждающий, что кабина занята; высокая, в наплывах темно-бурой краски дверь напротив, за которой живет его пассия Изольда. Он это видит и не видит. Потому что, вытесняя несущественные подробности, все заслоняет образ разгневанной женщины. Бледное от волнения лицо в обрамлении серебристо-голубоватых волос, неожиданно молодые яркие губы, огромные, мечущие желтые молнии глаза... И кружение брошенных ею в лицо ему десятирублевки — пожухлых листьев, подхваченных ненастным ветром...

С ним никогда этого не было прежде: он будто лишился сознания. Оно покинуло его тело, и теперь Лукошко видел себя как бы со стороны. Невзрачный пожилой человек с сухой, пергаментной кожей узкого, заостренного, как у хорька, лица, с неконтролируемыми движениями длинных пальцев, нервно перебирающих на обвислой, старой шерстяной кофте неправильно застегнутые пуговицы. Он стоит в темной раме дверного проема — оживший портрет полубезумного старика, которого внезапно оставило все: желания, силы, сама жизнь.

Это было страшно — видеть себя самого таким. Поэтому Семен Григорьевич отгонял от себя воспоминания о том дне. Боль под ключицей, как казалось ему, помогала сосредоточить внимание на своем недуге, вытеснив из сознания все остальные.

Но так не получалось. Время от времени, пересиливая и заглушая терзавшую его физическую боль, в нервах его существа возникала другая боль — душевная, неизмеримо более страшная. От нее мутилось сознание и к горлу подкатывала тошнота.

Однажды ночью в одну из тяжелых минут он сел за стол и одним духом накатал длинное-предлинное бессвязное письмо. Письмо было адресовано ей. Что было в том письме? Он и сам бы не мог ответить на этот вопрос. Какие-то обрывки воспоминаний (он рассказывал о своей жизни так, как будто она уже окончилась), мысли о Коллекции (он писал о ней, как о любимой женщине, у которой было не только звучное имя Коллекция, но и свой характер — капризный, требовательный: сколько он ни давал ей — все было мало) и жалобы, жалобы, жалобы: он стар, одинок, несчастен.

Семен Григорьевич отправил письмо и стал ждать. Он понимал, что ответа не будет, не может быть, но вопреки всему надежда не оставляла его. По несколько раз на дню спускался вниз, с замиранием сердца вглядывался в дырочки почтового ящика — не белеет ли там конверт. Однажды разглядел — белеет, от волнения зашло сердце. Он дрожащей рукой открыл ящик. Это оказалась инструкция «Как уберечься от пожара». Лукошко горько усмехнулся: и он сам, и его дом охвачены бушующим пламенем, и не было силы, которая могла бы погасить этот всепожирающий огонь.

Раньше он был равнодушен к мнению окружающих. От коллектива оркестра, в котором постоянно бушевали человеческие страсти, его как бы отгораживала незримая стена. Отдаленный шум раздоров, склок, взаимных претензий, пылких дружб и коротких, но пылких любовей едва доносился до его ушей. Он появлялся на репетициях точно в назначенный срок и занимал свое место в оркестровой яме. Другие опаздывали, поэтому репетиции редко начинались вовремя. Пришедшие ранее шумно, так, чтобы слышал дирижер, возмущались опоздавшими. Лукошко же никогда голоса не подавал, тихо и терпеливо ждал, погруженный в свои мысли. В мысли о

своей коллекции. Для него коллекция не была скоплением неодушевленных предметов. Это был огромный живой организм, требовавший заботы и любви. Коллекцию постоянно нужно было пополнять, заменять хорошее превосходным, превосходное — великолепным. Голова Семена Григорьевича в свободное от музыки время всегда была занята.

— Вы слышали? — обращался к нему сосед по оркестру милейший Максим Максимович Гулыга. — Николоюкина опять вернулась к Дормидонтову. А ведь он клялся, что на порог ее не пустит...

— Что? Да, да, конечно, — как бы пробудившись ото сна, невнятно бормотал Семен Григорьевич.

— Что с вами? — приблизив к Лукошко свое доброе круглое лицо, все в каких-то утолщениях и шишках, озабоченно спрашивал Максим Максимович. — Не случилось ли чего? Может, нужна помощь?

Семен Григорьевич уверял: нет, ничего не надо, и вновь погружался в свои раздумья. Остальные уже давно не обращались к Лукошко, его холодная замкнутость оскорбляла: коллектив не прощает, когда кто-либо из его членов демонстративно отказывается участвовать в общей жизни, замыкается в кругу сугубо личных интересов. Только один Максим Максимович еще держался, занимал соседу место в очереди за зарплатой, если нужно, одалживал таблетку пирамидона или пятерку. Да, да, ворочая тысячами, Лукошко нередко брал в долг по мелочам — рубль, два, три, пять. Тысячи уходили на коллекцию, сам же Лукошко довольствовался рублями.

И вот в один далеко не прекрасный день Максим Максимович в ответ на просьбу Лукошко — не одолжит ли он канифоли — вдруг отвернул свое круглое и неровное лицо, напоминавшее фотографию поверхности Луны с ее рытвинами и кратерами, и ничего не ответил. Лукошко стоял как громом пораженный. Что это с Максимом Максимовичем? Чем он, Лукошко, обидел его? Может, запомнил про старый должок? Или проявил невнимание, неучтивость в буфете? И вдруг его осенило. Все ясно! Некрасивая история с тарелкой, принадлежавшей вдове дирижера, стала известна в театре, и теперь все, включая добрейшего Максима Максимовича, отвернулись от Семена Григорьевича.

Лукошко почувствовал прилив крови к голове. он и сам не понимал, что с ним. Разве он не предугадывал подобного развития событий? Не предвидел неизбежности перехода на новое место работы? Предугадывал и предвидел. Более того, ему казалось, что он сравнительно легко перенесет то, что принято называть общественным осуждением. Почему же отказ Максима Максимовича дать ему канифоли вверг его в такое ужасное состояние? Кто ему этот добряк Максим Максимович? Что мне Гекуба? Что я Гекубе?

И вот оказывается: мнение этой самой Гекубы не только не безразлично Лукошко, а даже наоборот — оно жизненно важно для него.

И еще одно открытие сделал Семен Григорьевич. Обнаружил еще одно странное движение своей души. Он вдруг почувствовал себя глубоко обиженным, более того, уязвленным оттого, что вдова дирижера (ее звали, как он выяснил, Ольгой Сергеевной) предала эпизод с тарелкой всеобщей гласности. Это было самое удивительное! Обижаться на бедную вдову ему, человеку, нагло обманувшему, да что там обманувшему, можно сказать обокравшему ее! Требовать, чтобы она держала содеянное им в тайне, оберегала его честь и достоинство? Какая дикость! Да он с ума сошел!

И тем не менее, как ни странно, обида захлестывала его. Как это объяснить? А дело в том, что мысленно Семен Григорьевич уже давно объяснился с Ольгой Сергеевной и все уладил. Сколько раз по ночам, лежа в постели, но не умея сразу заснуть, он вел с этой женщиной бесконечно долгий разговор! В этом разговоре Лукошко себя не щадил. Выворачивал душу наизнанку, клял себя самыми последними словами, говорил, что не достоин ни жалости, ни прощения. Но, говоря ей все это, он, конечно, надеялся, верил, что столь полное его раскаяние, столь суровый суд над собой не могут не вызвать ответного отклика у такой женщины. Да, да, дело было в личности Ольги Сергеевны, которой он недавно еще совсем не знал, о существовании которой даже не ведал, но которую теперь уже любил всеми силами своей стареющей души. А может быть, душа его была молода, коль скоро так легко, словно сухая

береста в засушливое лето, вдруг занялась жарким пламенем.

Короче говоря, Семену Григорьевичу казалось, что Ольга Сергеевна уже не чужая ему, а он не чужой ей. И вдруг эта неприятная огласка истории с тарелкой!

Семен Григорьевич подошел к новому дирижеру, занявшему место Валерия Яковлевича, и сказал, что ему плохо, надо выйти. Прошел по вестибюлю, спустился в туалет. Здесь было сыро и скверно пахло. Он с трудом поднялся по узкой и крутой лестнице. В курительной кто-то был. Ища уединения, Лукошко вышел на улицу и поплелся куда глаза глядят. Такое приключилось с ним впервые за долгую жизнь: оставив в оркестровой яме скрипку, он ушел и не вернулся.

Странно, но в плотной и разгоряченной людской толпе, спешившей в этот жаркий московский полдень по своим делам, он вдруг почувствовал себя одиноким. Совсем одиноким.

Когда сын Митя неожиданно женился и ушел из дому, Семен Григорьевич испытал облегчение. Наконец-то он остался в квартире один, с глазу на глаз со своей коллекцией. Присутствие третьего мешало ему, третий поистине был тут лишним. Митя же обладал свойством все время торчать на глазах или приковывать к себе внимание другим путем: то напевал неприятным резким голосом, безбожно к тому же фальшивя, какую-нибудь популярную песню, чаще всего повторяя одну и ту же запомнившуюся ему строку, например «Увезу тебя я в тундру, увезу тебя я в тундру, увезу тебя я в тундру», что создавало впечатление, будто пластинку заело; то громко разговаривал с кем-то по телефону или просто слонялся из комнаты в комнату, громко топая ногами и хлопая дверьми. А то вдруг начнет то и дело бегать в уборную, шумно спускает воду, грохочет пластмассовой крышкой унитаза. Делать замечания ему бесполезно. От ответит дурацкой фразой: «Вас понял», а сам примется назло отцу пуще прежнего шуметь и колобродить.

Сегодня, оказавшись один в пустой и тихой квартире, Семен Григорьевич впервые подумал о том,

что даже плохие отношения с сыном — взаимные уколы, споры и ссоры — это все-таки лучше, чем ничего, чем гулкая тишина пустой квартиры. Надо было бы чем-нибудь заняться, например пройтись мягкой тряпкой по фарфоровым статуэткам, их уже покрыла серая пленка пыли. Но ему вдруг не захотелось. Семен Григорьевич прошел в спальню и лег. Он лежал, глядя в высокий, давно не беленный, со змейками трещин потолок, и удивлялся, что, будучи, по существу, совершенно здоровым, лежит в постели посреди дня, вместо того чтобы заняться полезным делом. Но все так называемые «полезные дела», которые приходили на ум, почему-то казались сейчас лишенными пользы, а то и совсем бессмысленными. И бессмысленной, никчемной представлялась ему вся его дальнейшая жизнь. Стоит ли жить, если люди отвернулись от него?

«Но не все ли они будут произносить о нем притчу и несмешливую песнь...» Это, кажется, из угрожающего письма Петра Антоновича, старика, у которого он когда-то хитростью выманил первую тарелку с изображением арфистки. Лукошко резко повернулся на бок и почти с облегчением ощутил в груди, в районе ключицы, острую, отвлекающую, спасительную боль.

На этот раз Семен Григорьевич сравнительно быстро отыскал строение № 13. Он проследовал через скверик с чахлыми, плохо принявшимися насаждениями и скамейками нового образца, из бетона, столь массивными, что казалось, предназначены они не для хилых землян, а для могучих пришельцев из иных миров. Среди сидевших на лавочках пенсионеров не было знакомой фигуры с черными глазками-буравчиками и с носом-бульбочкой. Лукошко свернул в узкий проулок, прошел под аркой, где на асфальте, несмотря на жаркую летнюю погоду, стояла черная лужа, и оказался перед нужным ему домиком.

И снова он подивился запущенности и мрачности этого закутка. Перед строением № 13, почти вровень с его единственным глазом-окном, громоздилась куча шлака, неизвестно зачем завезенного сюда; на провисших веревках висело некрасивое, в прорехах

и грубой штопке белье, которое раскачивал резкий мартовский ветер. Он же гонял по асфальту грязные полотнища газет, издавая при этом неприятный скрежещущий звук.

Семен Григорьевич поежился как от озноба. Ему вдруг расхотелось идти к Петру Антоновичу, которого не видел уже с полгода. «Что я ему скажу? И что скажет он мне?» — засомневался он. Но какая-то сила погнала его дальше, к узкой, криво висевшей на петлях двери.

Петра Антоновича дома не оказалось. Старуха с подвязанной пестрой тряпицей щекой, шепелявя, сообщила Семену Григорьевичу, что Петр Антонович отправился в баньку, скоро придет и если гость желает, то может подождать на кухне. Семен Григорьевич, все более и более жалеющий, что дал своим чувствам увлечь себя в этот поход, покорно отправился на кухню. Там пахло газом, с утечкой которого здесь давно примирились, кислыми щами и ванилином; видимо, затевался пирог.

Слава богу, долго ждать не пришлось. Заскрежетала отпертая ключом дверь, в прихожей зашаркали, и к прежним запахам прибавился новый — запах сырого березового веника. Петр Антонович возвращался из бани. Он не удивился и не обрадовался появлению Семена Григорьевича.

— А, это вы, проходите, — равнодушно произнес он и прошел в свою комнатенку.

Гость покорно последовал за ним.

В обители Петра Антоновича со дня первого посещения Семена Григорьевича произошли некоторые перемены. Появилась кровать-раскладушка с продранной железными крючьями ярко-зеленой парусиной. Она, однако, не заменила матраца-топчана, а стояла у противоположной стены. В углу, за шкафом, теснилась стайка пустых бутылок из-под «Экстры» и коньяка. Посреди комнаты стоял новый чешский стул, странно выглядевший в компании двух неказистых табуреток. Не обращая внимания на пришедшего, Петр Антонович занялся своими делами: березовый веник сунул прямо в открытую форточку, видимо, для просушки, тючок с грязным бельем был отправлен в плетеную корзину. После чего хозяин отправился в кухню — ставить чайник.

До Семена Григорьевича донесся звук водяной струи, сильно ударившей в дно чайника. Не похоже было, что хозяин собирается угощать гостя чайком с вареньем, скорее всего, питье чая по традиции завершало ритуал посещения Астраханских бань.

Семен Григорьевич заскучал. Но что-то мешало ему покинуть негостеприимный кров Петра Антоновича. Чувство вины? Желание объясниться со стариком? Лукошко и сам не знал.

Он достал из портфеля принесенный им подарок — редкой красоты фарфоровый медальон. Вещь, которую он собрался преподнести Петру Антоновичу, была далеко не пустячная, не безделица, стоило больших трудов раздобыть ее, да и обошлась она недешево. Но сегодня Семену Григорьевичу доставляло странное удовольствие — отдать в чужие руки то, что было дорого ему самому. Пожалуй, он испытывал это чувство впервые в жизни.

Петр Антонович вернулся в комнату, держа в руке кипящий чайник. Лукошко с непонятным ему самому беспокойством напряженно следил глазом — возьмет Петр Антонович с полки шкафа одну чашку или две. Казалось, сама его жизнь зависит от того, напьется он чаю вместе с Петром Антоновичем или нет.

Хозяин, по-прежнему, не глядя на гостя, пододвинул ему чашку и блюдечко с густым, цвета киновари, вишневым вареньем. Семен Григорьевич взял чашку в руки, подул, вызвав на темно-коричневой поверхности легкую зыбь. Они молча пили чай, как бы ведя друг с другом неслышный разговор. Поставив перевернутую чашку на блюдце, как это сделал Петр Антонович, Семен Григорьевич вдруг понял, что разговор между ними уже состоялся и многое из того, что он собирался сказать Петру Антоновичу, говорить уже не нужно.

— Вот принес вам в подарок... — смущаясь, произнес Семен Григорьевич. Он забеспокоился, поймет ли Петр Антонович, что медальон ценится не меньше тарелки с изображением арфистки, которую Петр Антонович в свое время подарил ему на день рождения. Но о ценах сейчас говорить было нельзя, это он понимал.

Петр Антонович, несколько подобревший после молчаливого чаепития, подошел к окну, взял в руки

фарфоровый медальон, долго рассматривал его. Пожевал губами, потряс головой, как старый конь, отведавший овса.

— Вещь старинная и редкая, — не выдержал Семен Григорьевич.

Петр Антонович отозвался:

— Я-то не очень смыслю... Вот мой племянник... Он спец! Всему цену знает!

— У вас есть племянник? — только чтобы не молчать, поинтересовался Семен Григорьевич.

Петр Антонович вскинул голову, сказал с гордостью:

— Да! Представьте себе: отныне я не одинок. Есть на кого опереться на старости лет, к кому прислониться. Есть кому защитить старика! Федор Шакин... ученый! Без пяти минут кандидат наук. У него скоро будет денег... знаете сколько? Вам, богачу, и не снилось столько!

— Он ваш родной племянник?

— Нет... не то что родной... И не совсем племянник... Но ближе родного! Ближе!

«Так вот кому принадлежат раскладушка, чешский стул и пустые бутылки из-под водки и коньяка», — догадался Семен Григорьевич.

— А он что... иногородний?

— В Сибирске проживает... Он у меня физик... У него там комната...

«Видно, не велика птица твой племянник-физик, коли даже квартиры не нажил: там живет в комнате, а здесь ютится на раскладушке», — подумал Лукошко, но вслух развивать свою мысль, понятно, не стал. Старик счастлив, что в этом мире хоть кто-то у него появился. Бедняга привирает, называя этого неизвестно откуда взявшегося Федора Шакина племянником и надеяя его всевозможными достоинствами. Разубедить его — значит сделать вконец несчастным. Пусть уж любитесь на эти пустые бутылки и радуется.

— А не пойти ли нам с вами в какой-нибудь ресторанчик и не выпить ли бутылку вина? Плачу я, — предложил Семен Григорьевич, на эту мысль его толкнул вид пустых бутылок.

— Я пью только с друзьями, — важно ответил Петр Антонович.

Семен Григорьевич искренне огорчился:

— Я пришел к вам мириться... Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Что-то глаз у меня стал слезиться, левый, — отвечал Петр Антонович и стал промокать глаза тряпичей.

«Да он заговаривается, — подумал Лукошко, — а я явился к нему изливать душу». Но он все-таки сделал еще одну попытку завязать нужный ему разговор.

— В своем письме, присланном мне в свое время, вы изволили привести цитату из книги пророка Аввакума: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для своего дома...» и так далее. Вот я хочу вас спросить: почему вы называете мои приобретения неправедными и грозите всяческими карами?.. Разве я всю жизнь не отказывал себе в самом необходимом — в лишнем куске хлеба, в новом костюме, в удовольствиях, наконец, разве не работал как вол, сверх всякой меры — только чтобы вырвать из равнодушных, или корыстных, или преступно небрежных рук создания людского гения? Да, сейчас я владею всем этим один. Но ведь век мой измечен. Мы с вами старики, нас ждет неизбежная смерть... И тогда мои сокровища вернутся к людям... не разрозненными, обветшалыми предметами, а Коллекцией — единой и неделимой, обретшей вторую и, надеюсь, вечную молодость!

Семен Григорьевич увлекся. Он никогда не думал о будущем своей коллекции. Она была составной частью его жизни, и думать о ее будущем значило думать о своей смерти, о неизбежном своем конце. Однако сейчас разглагольствующему в полутемной, жалкой каморке Лукошко казалось, что он давно, да что там давно — всегда лелеял планы передать собранную им коллекцию в общественные руки, в руки государства, в руки народа. Потому что планы эти, если бы они действительно у него имелись, многое бы объясняли и оправдывали в его поведении, в его жизни. А Семен Григорьевич испытывал неистребимую потребность оправдываться и ради этого готов был на все, даже на ложь.

Однако страстная речь его не произвела абсолютно никакого действия на Петра Антоновича.

— Надо Федюше письмо отписать, — спохватился тот, быстро достал из шкафа чернильницу-невыливайку, обмакнул в нее ручку, пальцами снял с пера налипшую грязь и, положив на табурет вырванный из школьной тетради листок, принялся выводить кривые каракули.

— Я пойду, — сказал очнувшийся от своего порыва Семен Григорьевич.

На что Петр Антонович ответил вопросом:

— А как вы думаете, его пропишут? Я думаю, не могут не прописать! Он возьмет меня под опеку. Мы будем вместе жить, тут не тесно.

Отпаренное в бане красное-сизое лицо его выразило страх, он явно искал у Лукошко поддержки. И тот сделал доброе дело, горячо уверил старика:

— Не волнуйтесь, обязательно пропишут. Закон на вашей стороне. А коль возникнут какие-нибудь заковыки, милости прошу ко мне. У меня есть связи, помогу.

В слезящихся глазах Петра Антоновича впервые за все время их встречи мелькнуло живое чувство благодарности. И это внесло в стесненную душу Лукошко необходимое ему успокоение.

Кивнув на прощание вновь уткнувшемуся в свое письмо старику, Лукошко покинул строение № 13, из единственного окошка которого глядел ему вслед березовый веник.

Острая боль в области ключицы объяснилась воспалением какого-то нерва. Семен Григорьевич обратился к врачу и получил бюллетень. Теперь ему не надо было ходить в театр. Образовалась уйма свободного времени. И это было хуже всего.

Если прежде неприятные, тревожащие мысли налетали на него, словно порывы холодного осеннего ветра, то теперь они овладели им всецело. В душе его царило беспросветное ненастье.

Ольга Сергеевна на его письма (их он написал и отправил несколько) не отвечала. Впрочем, это только говорилось так, не отвечала. В самом ее молчании содержался ответ: гордый и презрительный. Семену Григорьевичу не составляло труда мысленно воспроизвести все то, что она может ему сказать.

И все-таки он упорно добивался встречи с этой женщиной.

Однажды Лукошко подстерег Ольгу Сергеевну у ее дома. В руках у нее были цветы. Он жадно оглядывал ее высокую, статную фигуру, слышал звук ее шагов, несмотря на возраст, легких и летящих, и чувствовал себя счастливым. Оттого что судьба, от которой он уже ничего не мог ожидать, подарила ему на склоне лет это чувство. Очень может быть, что он все напридумал и нафантазировал и в жизни Ольга Сергеевна была вовсе на такой, какой представлялась Лукошко в его бессонных мечтах... Что из этого? Встреча с нею разбудила потаенные силы души, и она, душа его, творила теперь любовь.

Ольга Сергеевна перешла улицу. Лукошко последовал за ней. Она в метро — он тоже. После трех пересадок Семен Григорьевич догадался: она едет на кладбище. К нему, к своему умершему мужу, дирижеру. Но и это открытие не остановило его, он продолжил свое незаметное преследование.

На кладбище он вслед за нею не пошел. Что-то остановило его. Бродил у каменных, с обвалившейся штукатуркой ворот, с досадой отмахиваясь от назойливых нищих, протягивавших к нему ладони. К воротам подъехал синий автобус, окаймленный посередине широкой черной полосой. Из него двое парней высадили пожилую, с распухшим от слез лицом женщину... Со всех сторон ее окружили родственники. Они что-то говорили, видимо утешая женщину, хотя ясно было, что утешить ее никак нельзя. Потом из автобуса вынесли бедный венок.

Семен Григорьевич отвернулся. Отошел в сторону. Странное дело, печальная картина, свидетелем которой он был, не затронула его: слишком занят был тем, что происходило внутри его.

Терпеливо дождался ее возвращения. Теперь Ольга Сергеевна двигалась медленно, переставляя словно бы отяжелевшие ноги. Голова опущена на грудь, руки плетью бессильно висят вдоль тела.

Чувство жалости к ней, одинокой и несчастной, охватившее Семена Григорьевича, было настолько острым, что на глазах у него выступили слезы. Он ускорил шаги, нестиг ее и голосом, в котором кипели рыдания, произнес:

— Ради всего святого послушайте меня!

Испуганная, она отшатнулась. Он сделал еще шаг, дотронулся до ее руки:

— Ольга Сергеевна! Если бы вы знали... Если бы вы только знали!..

Рыдания рвались из его груди, мешая говорить. Он замолчал.

Она устало, без гнева произнесла:

— Вы странный человек... Что вам от меня надо? Что может быть у нас с вами общего?

Как будто паралич сковал Семена Григорьевича. Он не мог шевельнуть языком. Подкатил автобус, она вошла в него и уехала. Он остался на месте. В голове стоял шум. Сквозь плотную звуковую стену, отделявшую его в эту минуту от всего остального мира, проникла и дала ему надежду мысль: она говорила с ним так, как будто прочла... хотя бы одно из того множества писем, которые он ей отправил...

Несколько дней кряду в городе стояла невыносимая жара.

Лукошко возвращался домой из гастронома, неся в ярко-оранжевой авоське маленький сверточек с рокфором и трехкопеечной булочкой. В подъезде его остановила лифтерша Зинаида:

— Слышали, что делается-то? В пятом подъезде генерал преставился. И жена его тоже плоха. Того и гляди, богу душу отдаст. Между прочим, оба — сердечники. Ох, времена! Не иначе, антихрист на землю грядет. Горюшко-горе!

— Какой там антихрист! — рассердился Лукошко. Он терпеть не мог бабьей болтовни, по этой причине и с покойницей женой, сделавшейся к старости говорливой, не единожды ругивался.

Но слова лифтерши Зинаиды застряли у него в голове. Не про антихриста, конечно, а про сердечников. Да, сердечникам в этой невыносимой духоте, видимо, приходится нелегко. Острая тревога полоснула его: как там сейчас Ольга Сергеевна? У него вмиг пропал аппетит. Он даже отложил в сторону бутерброд с любимым рокфором.

Почему он решил, что Ольга Сергеевна сердечница? Откуда он это взял, из чего вывел? Неизвестно.

Но через несколько мгновений уже знал твердо: ей сейчас плохо.

Выскочил из-за стола, забегал по комнатам, не находя себе места. По дороге зацепил драгоценный комод в стиле Буль, что-то треснуло, но он даже не заметил этого. Несуразность ситуации доводила его до отчаяния. Дорогой ему человек в опасности, а он не может находиться рядом, оказать помощь, да что там помощь — он даже лишен возможности осведомиться о ее здоровье! «Ну как так можно? Как так можно?» — с силой ударяя кулаком в ладонь, твердил он себе на бегу, возбуждаясь все больше и больше. Это было выше его сил. Семен Григорьевич как был — в домашних штопанных-перештопанных брюках и довоенной рубашке апаш с отложным воротником, заменявшей ему пижамную куртку (только шлепанцы скинул, сунул ноги в сандалии) выбежал из квартиры и помчался к дому Ольги Сергеевны. Если бы он был в состоянии взглянуть на свои действия со стороны, то наверняка признал бы себя сумасшедшим. Однако сейчас мысль о странности собственного поведения даже не пришла ему в голову.

Ольга Сергеевна жила в новом доме, воздвигнутом сравнительно недавно на месте старого, так называемого доходного дома дореволюционной постройки. Семен Григорьевич хорошо помнил еще тот старый дом, поскольку ходил в него — давал платные уроки на скрипке одному бездарному «вундеркинду». Проще, конечно, было бы, если бы вундеркинд навещал Семена Григорьевича («овес к лошади не ходит»), но дома были коллекция, не дай бог, если юный скрипач что-либо разобьет или поломает.

Новые дома, похожие друг на друга, неузнаваемо изменили улицу. Отыскать прежний дом оказалось нетрудно. Меж двумя магазинчиками (символизирующими два вида человеческих потребностей насущных: «хлеб» и суетных — «галантерея») — вход в парадное, где жил вундеркинд. А теперь, хотя Лукошко, подкарауливал Ольгу Сергеевну, хорошо изучил и ее дом и ее подъезд, он все-таки на всякий случай взглянул на крупно выведенный номер — не промахнуться бы, уж больно новые здания схожи меж собой.

Хотя лифт работал (мигал красный огонек и из

шахты доносилось мучительное скрежетание), в терпении пешком взбежал он на нужный этаж. Отыскал двадцать четвертую квартиру, поднял уже руку, чтобы нажать кнопку звонка, но рука задержалась на полдороге... Он позвонит, она откроет. А дальше? Что он скажет? Ему отчетливо представилось: Ольга Сергеевна с грохотом захлопывает у него перед носом дверь и он стоит — оплеванный, униженный, в своей жалкой рубашке апаш...

Неизвестно, сколько времени он простоял бы неподвижно у двери с замершей в воздухе рукой, если бы взгляд его не обнаружил едва заметной щели. Он нажал на дверь, она заскрипела и отворилась. Семен Григорьевич шагнул в темную переднюю. Действовал он, подчиняясь не разуму (разум в эту минуту молчал, словно был отключен), а иной силе, назвать которую он бы не мог.

Стоя у вешалки, Лукошко прислушался. Тихо. Только слышно, как в ванной капает вода из крана. И все же Семен Григорьевич безошибочно определил: в квартире кто-то есть. Набрав в грудь воздуха, он двинулся вперед и... едва не налетел на Ольгу Сергеевну. Она лежала на полу, прислонившись к стене, в руке была зажата какая-то бумажка. Почему-то он первым делом вынул у нее из рук эту бумажку и поднес к глазам. «Дорогой Валерий Яковлевич, совет ветеранов 48-й армии горячо поздравляет Вас». «Валерий Яковлевич» было вписано от руки — крупным старческим почерком, а остальной текст напечатан на машинке.

Семен Григорьевич склонился над расprostертой на линолеуме Ольгой Сергеевной. Она была в глубоком обмороке. Он с трудом оторвал тело от пола. Ногой отворил дверь в комнату, положил Ольгу Сергеевну на тахту. Отыскав телефон, вызвал неотложку. У двери встретил врача, проводил в комнату, а сам прошел на кухню. В раковине лежала грязная посуда. Он пустил горячую воду, принялся мыть тарелки и чашки. Помыв, тщательно, досуха, вытирал полосатым кухонным полотенцем и аккуратно ставил в металлические гнезда сушилки. Ему казалось, что он живет в этой квартире давно, сто лет.

— Муж! Где вы? — слышался голос врачихи. Он вышел в коридор.

- Что у нее?
- Сосудистая недостаточность. Глубокий обморок. Падение артериального давления...
- Чем это вызвано?
- Острое угнетение деятельности сердца.
- Это я понимаю...

Врачиха показала рукой на окно, за которым, занимая полнеба, висело зловещее, тяжелое облако:

— Видите, что творится? Сердечникам худо... Кроме того, причиной обморока могло быть сильное волнение. Скажите, никаких потрясений у нее не было?

Естественно, что врачиха обращалась с этим вопросом к нему, человеку, которого считала мужем больной.

Он уже знал, что потрясение было. Внезапная смерть мужа. Невосполнимая утрата, о которой сегодня, спустя несколько месяцев, так остро напомнило ей письмо ветеранов 48-й армии, адресованное мужу. Ветераны обращались к нему как к живому, он еще оставался живым для них. Но его уже не было. И ее бедное сердце не выдержало.

Но не будешь все это рассказывать врачихе, которая, завернув манжет белого халата, озабоченно поглядывает на маленькие часики, видно, торопится на следующий вызов.

— Да вроде ничего такого не было... — ответил он и проводил врачиху до двери.

На прощание она сказала:

— Мы ей сделали укол... Она спит. Непосредственной угрозы нет. Главное, оградить больную от всевозможных волнений. Пусть побольше спит. Я выписала успокаивающие средства: бромиды, валерианка, люминал. Пища должна быть бессолевая, легко перевариваемая. Кормить нужно чаще и небольшими порциями.

Закрыв за врачихой дверь, Лукошко вошел в комнату. Ольга Сергеевна тихо спала. Видимо, для облегчения дыхания врачиха расстегнула у нее на груди кофточку. Семен Григорьевич отвел глаза в сторону. Он отыскал на столе рецепты и, стараясь не шуметь, вышел из квартиры. Пошел в аптеку. Дверь запер ключом. Пряча ключ, он снова испытал чувство, будто живет в этом доме сто лет.

С нетерпением Семен Григорьевич ждал и одновременно боялся того момента, когда Ольга Сергеевна откроет глаза и увидит его. Случилось это неожиданно. Он на цыпочках вошел в комнату, держа в одной руке тарелку с манными крекерами (сам он их очень любил и умел готовить), а в другой — поллитровую банку с клюквенным киселем. Через плечо у него висело кухонное полотенце. Он поднял глаза и встретился с ней взглядом. Он застыл на месте. Кровь отлила от лица, и теперь он был такой же бледный, как и она.

— Вы?! Что вы здесь делаете?

Семен Григорьевич не отвечал. Казалось, все силы его сейчас сосредоточились на том, чтобы удерживать в трясущихся руках, не уронить тарелку с манными крекерами и банку с киселем.

Ольга Сергеевна приподняла голову — хотела еще что-то сказать. Но Семен Григорьевич, страхась непоправимых слов, которые могут сейчас прозвучать, быстро-быстро заговорил сам. Это была сбивчивая речь, важная не столько своим смыслом, сколько страстным чувством, с которым была произнесена.

Ольга Сергеевна бессильно откинулась на подушку, закрыла глаза. Было видно, как за тонкими бледными веками двигаются зрачки.

Он испугался, что ей снова стало плохо. Поставил тарелку и банку на стол, торопливо подбежал к тахте, схватил пузырек с лекарством, накапал в заранее приготовленную рюмочку, добавил воды, поднес к ее губам. Не открывая глаз, она прошептала:

— Уйдите.

Он послушно поплелся к двери, опустив голову и понурившись, как побитая собака. Но из квартиры не ушел. Не мог уйти. Ольге Сергеевне нужна была помощь!

Ольга Сергеевна проснулась поздно. Солнце било сквозь тюлевые занавески, но жарко не было.

Прошли обильные дожди. Они вымыли город, и теперь он, по-прежнему чистый и зеленый, лежал под ясным небом. Города, конечно, Ольга Сергеевна, лежа на своей тахте, не могла видеть. Но она порадовалась ярко-голубому небу, обрамленному белой

рамой окна, и свежему прохладному утреннему воздуху, вливавшемуся в широко распахнутую фрамугу.

Квартира тщательно убрана, нигде ни пылинки, наволочка и пододеяльник — чистые, накрахмаленные, приятно шуршащие. У изголовья — покрытый белым полотенцем стул, на нем — пузырьки, баночки, тюбики с лекарственными снадобьями. Здесь же стакан с клюквенным, в меру подслащенным морсом.

Во всем была видна заботливая рука Семена Григорьевича, но сам он оставался невидим, как добрый джинн из старой сказки. Она с беспокойством подумала: а где же он спит? В спальню он, конечно, не входит, тахту занимает она, неужели на кухне? Сдвинул стулья и спит. Господи, откуда он взялся, почему он здесь, что ему от нее нужно?

Но, мысленно задав себе эти вопросы, Ольга Сергеевна сама на них не ответила: что бы ни привело его сюда, оказался он здесь как нельзя более кстати и вовремя: не вызови он «неотложку» — быть бы беде. Так получилось, что на склоне лет она осталась одна-одинешенька, некому стакана воды подать.

Ольга Сергеевна тяжело вздохнула. Может быть, поэтому она и не решилась окончательно прогнать его — в тот самый первый день, когда, очнувшись от обморока, встретила его горящий взгляд? Смало-душничала, испугалась больницы, в которую ее, конечно, отправили бы, не будь здесь его. А может быть, все решил этот самый его взгляд и выражение муки мученической на его изможденном, с запавшими щеками и черными глазницами лице — такое впечатление, как будто это он тяжело болен, а не она! А потом прогонять было уже поздно. Он оплел ее своей заботой, своими услугами, большими и малыми, которые тем более были ценны, что делались незаметно, с большим внутренним тактом — она вынуждена была это признать. Среди этих услуг были и интимные, неизбежные, когда мужчине приходится ухаживать за тяжело больной женщиной. Этих услуг от него она, конечно, никогда бы не приняла, если бы не внезапный недуг, лишивший ее сил и воли, погрузивший в состояние полного безразличия ко всему окружающему.

Но теперь она пришла в себя, сердце билось, хотя и слабо, но ровно, не причиняя боли, а даже как

бы успокаивая, обнадеживая ее своим четким ритмом. И настало время осмыслить происшедшее и принять какое-нибудь решение.

Что, собственно говоря, она имеет против этого человека? Что стоит между ними? Некрасивая история с тарелкой, якобы разбитой, а на самом деле присвоенной им? Но эта тарелка уже давно стоит, цела-целехонька, вон в том шкафу, напротив тахты. Семен Григорьевич, уловив момент, когда она спала, принес тарелку и поставил ее на место. А ведь раньше он убеждал ее, что тарелка пропала... Поступок, конечно, постыдный, но объясненный в его письмах страстью коллекционера, одержимого манией собирательства, этот поступок уже не кажется ей столь ужасным. Разве он не искупил свою вину бескорыстным служением ей во время болезни? Может быть, и поправились-то она не от этих противных горьких лекарств, скорее всего бессильных что-то изменить и улучшить в сложнейшем, таинственно-загадочном механизме сердца, а благодаря его заботе, благодаря преодоленному чувству одиночества? Она стала кому-то нужна...

От всех этих мыслей у Ольги Сергеевны разболелась голова и пересохло горло. Захотелось пить. Она протянула руку к стакану с клюквенным морсом, но не рассчитала движения, стакан опрокинулся, и кроваво-красное пятно стало расползаться по белоснежному полотенцу. Она испугалась и вскрикнула:

— Валерий!

Тотчас же зажала рот рукой, но поздно — в двух уже показалось бледное лицо этого человека, которого она только что по ошибке назвала именем умершего мужа. И тогда в порыве отчаяния, оттого что жизнь столь безжалостно жестока в своем стремлении заполнить пустоту в ее сердце, она повернулась к стене и громко, в голос, зарыдала.

«СВ. ЦЕЦИЛИЯ» ОБРЕТАЕТ ХОЗЯИНА

На картине изображена была полуобнаженная девушка, играющая на органе. Над ее головою парили розовощекие ангелы, у ног были разбросаны музыкальные инструменты. Принеся картину домой,

Семен Григорьевич бережно очистил ее от пыли, сорвал старую, обветшалую раму, заменил новой, сверкающей позолотой. После чего повесил посвежее полотно на самое видное место — над павловским диваном.

Отошел в сторону, прищурился, всмотрелся в картину, довольно потер руки.

Ему не терпелось поделиться своей радостью. Позвонил Ольге Сергеевне, пригласил на чашку чаю.

— Удалось достать цейлонского, — сказал он. — Если не будете возражать, угощу и бокалом шампанского, обмоем мое новое приобретение.

Вечером, удобно устроившись в вольтеровских, с высокой спинкой, креслах, они пили чай с пирожными, пригубляли шампанское в хрустальных фужерах, неторопливо разговаривали.

— Кто это? — кивнув на картину, поинтересовалась Ольга Сергеевна.

— Сия молодая девица? Представьте себе — моя патронесса! — он захихикал.

— Ваша патронесса? — удивилась Ольга Сергеевна.

— Ну, разумеется, не лично моя... Святая Цецилия считается покровительницей музыки! А ведь я, с вашего позволения, музыкант...

Он рассказал легенду, согласно которой святая Цецилия в день своей свадьбы при игре на органе дала обет вечного целомудрия. Поэтому ее изображают с органом в руках, вот как на этой картине. Так писали Цецилию Рафаэль, Ван Дейк, Карло Дольче, Рубенс. Но были и отступления. Один из художников изобразил Цецилию с огромным, неуклюжим контрабасом.

— Но мне, конечно, больше всего подошло бы полотно кисти Гвидо Рени, поскольку его Цецилия играет на скрипке, — Семен Григорьевич снова хихикнул.

— А кто автор этой картины? — спросила Ольга Сергеевна.

— Точно не знаю... Но уверен: это подлинник и очень ценный! — Говоря это, Семен Григорьевич гордо выпятил грудь под вязаной кофтой.

— А разве нельзя посмотреть подпись?

Семен Григорьевич умилился наивности своей собеседницы:

— О, подпись еще ничего не значит! Нанести на картину подпись того или иного художника ничего не стоит. Для этого лишь необходимы краски, колонковая кисть № 1, домарный лак, скипидар, вода, вата, а также каталог Третьяковки, где имеются факсимиле всех известных художников. Полтора часа — и все готово! Вот только лаком подпись покрывать надо не сразу, а через несколько месяцев, когда краска высохнет, а не то она растворится в лаке...

— Но ведь это жульничество! — всплеснула обеими руками Ольга Сергеевна.

Семен Григорьевич поймал на лету ее руку, приник к ней губами:

— Дорогая моя, если бы вы знали, сколько жуликов подвизается на ниве искусства! Впрочем, и настоящая подпись великого художника еще не гарантия подлинности произведения. Я вам расскажу один курьезный случай... Это было более чем полвека назад. Одному собирателю принесли полотно, на котором было изображено нечто вроде Мефистофеля, во всяком случае, что-то красное. На обороте четкая и ясная подпись «Репин». Подпись подлинная, а вещь безграмотная. В чем дело? Выяснилось следующее. Когда-то бессовестную подделку показали Репину. Он рассердился и на обороте написал: «Подобной дряни не мог никогда писать. Репин». Так что же сделал один прохиндей? Эту фразу стер, а подпись оставил. И сбыл картину за солидную сумму!

— Но ведь ваш, как вы говорите, подлинник тоже, должно быть, стоит немалые деньги! Где вы взяли такую сумму?

Семен Григорьевич отхлебнул шампанского, поперхнулся, закашлялся. Потом помолчал, ответил туманно:

— Удалось купить по случаю... Довольно дешево.

Тень набежала на его лицо. Своим вопросом Ольга Сергеевна напомнила ему о неприятном телефонном звонке. Сегодня днем, когда Семен Григорьевич, готовясь к ее приходу, аккуратно раскладывал на блюде пирожные — эклеры, наполеоны, корзиночки, картошки, миндальные, вдруг зазвонил телефон. Он вытер о полотенце руки, взял трубку. Грубый голос произнес:

— Эй ты, жук навозный! Еще не надоели тебе твои темные аферы? Берегись, старый жулик! Ненадолго еще тебе поганить своим присутствием землю. Ужо отольются тебе сиротские слезы.

Этот звонок до глубины души потряс Семена Григорьевича. Он и сам не понимал почему. За долгие годы собирательства не раз ему приходилось попадать в двусмысленные, рискованные ситуации, выслушивать угрозы, отбиваться от шантажистов. Несмотря ни на что, он упорно следовал раз и навсегда избранному правилу — выискивать и приобретать вещи у людей, слабо разбирающихся в их подлинной ценности или попавших в критические жизненные ситуации... Лучшее всего, когда это совпадает: незнание и острая нужда.

Именно при таких обстоятельствах он приобрел картину с изображением святой Цецилии.

Ему стало известно, что ее хозяйка недавно умерла, оставив двоих детей. Семен Григорьевич тотчас же отыскал нужный телефон, позвонил. Ему ответили:

- Извицкие здесь больше не живут.
- А куда же они делись?
- Обменялись и переехали в Гольяново.
- Можно узнать их адрес?
- Пожалуйста.

Семен Григорьевич приободрился. Если семья после смерти кормильца покидает просторную четырехкомнатную квартиру и забивается куда-то к черту на кулички, в Гольяново, значит, дела ее плохи. Наверняка обменялись с доплатой: крайне нужны деньги. Значит, пробил его час.

У Семена Григорьевича имелся справочник, как у таксистов. С его помощью он быстро определял нахождение нужного ему адресата. Он воспользовался им и на этот раз. После чего встал утром пораньше и отправился в Гольяново.

Дом, в котором теперь, после обмена, обосновались Извицкие, был пятиэтажный, без лифта. Из плохо заделанных швов между серыми бетонными панелями выступала какая-то черная дрянь. Зеленая лавочка у входа в подъезд была сломана, один край

ее лежал прямо на земле. С входной двери сорвана пружина...

По выщербленным ступеням Семен Григорьевич поднялся на верхний этаж. Нос при этом пришлось зажать платком: ведра с пищевыми отходами, стоявшие на лестничных площадках, распространяли скверный запах.

Вот и нужная квартира. Кнопки у звонка нет, в отверстие выглядывает тонкий металлический шпинец. «Не дернет ли электричеством?» — обеспокоился Лукошко и с опаской надавил пальцем на шпинец. Послышались легкие шаги, дверь приоткрылась. Сквозь щель можно было разглядеть бледное детское личико.

— Открой, девочка, не бойся, брат-то твой дома?

— Он за хлебом пошел.

— Ну так я здесь на лестнице подожду.

— Да нет, почему, проходите.

Дверь отворилась шире, пропуская Семена Григорьевича в темную переднюю. Он снял с себя плащ и повесил его на торчащий из стены гвоздь. Вешалки не было.

Девочка ввела его в комнату. Он тотчас же направился к картине, прислоненной к стене. Опустился на корточки, ласково потрогал пальцем старинное полотно. Вдохнул так хорошо знакомый ему запах краски и лака... Усилиями воли заставил себя подняться, отойти в сторону, чтобы не выказывать слишком большого интереса к картине. Осмотрел комнату. Мебели кот наплакал, и плохая она, старая, облезлая. Штор на окне нет. На столе тарелки с остатками пищи.

Семен Григорьевич почувствовал: он купит картину задешево. А то, что вещь стоящая, он угадал сразу. Превосходная работа итальянского мастера, а чья именно — разберемся позднее.

Квартира была тесная, потолки низкие и кривые.

— Там, на Фрунзенской набережной, должно быть, было получше? — спросил он девочку.

Бледное личико на мгновение осветилось радостным воспоминанием:

— О да, конечно! Там было хорошо!

Девочка бледная, с синячками под глазами, ключицы, лопатки, локотки и коленки — все острое,

угловатое, производящее впечатление нездоровья и непрочности...

— Зачем же вы тогда переехали?

Она махнула тонкой рукой:

— Нам бы все равно на двоих такую большую квартиру не оставили... Один добрый человек предложил нам поменяться, пока у нас не отобрали, и денег дал...

— А этот... добрый человек... Он что — теперь в вашей бывшей квартире живет?

— Да... — ответила девочка. — А как вы догадались?

Семен Григорьевич не ответил. Он гнул свою линию:

— Вы говорите — денег дал... И что же они — целы?

Девочка потупилась:

— Да нет... Пока мама болела, мы много в долг брали. А потом когда... — голос ее дрогнул и глаза наполнились слезами. — Когда мамы не стало, надо было заплатить долги.

— Понятно! — Он еще более приободрился.

Нет, Семен Григорьевич не был злодеем, глухим к человеческому горю и страданиям. Но за долгие годы собирательства он привык эти страдания не замечать, закрыть свое сердце для чувств жалости, потому что это могло помешать главному делу его жизни — Коллекции. Ради Коллекции он сам принес немало жертв, можно сказать, загубил свое призвание музыканта, много горя доставил своей жене, а теперь отталкивал от себя сына. Уж если он не считался с близкими, где тут сочувствовать дальним! «Горе человеческое было, есть и будет. Всех счастливыми все равно не сделаешь», — успокаивал он свою совесть и, одержимый страстью, настойчиво домогался преумножения Коллекции.

— Вот картина на полу стоит... Продавать надумали? — бросил он еще одну наживку.

Девочка кивнула.

Семен Григорьевич покачал головой:

— Копия... Даже имени мастера нет. Много не возьмете.

Девочка простодушно подтвердила:

— Да, к нам дядя один уже приходил... У него специальная машинка... Он проверил картину. Тоже сказал: копия...

«Подлец этот дядя!» — подумал Семен Григорьевич, а вслух сказал:

— А как этот дядя выглядел? Низенький, плотный, лысый, вот здесь под ухом здоровая шишка — жировик, когда говорит — плюется, у него меж зубов дырка.

— Да, да, это он.

Семен Григорьевич и сам не сомневался, что это он. Среди московских коллекционеров только он один, бывший моряк Клебанов, обладал переносным аппаратом с инфракрасными лучами — для определения возраста картины.

«Вот шельмец! — подумал о Клебанове Семен Григорьевич. — Он же прекрасно видит, что это подлинник, а говорит — копия... Чтобы сбить цену и надуть детей. Для этого человека не существует ничего святого!»

Испытывая благородное негодование против Клебанова, Семен Григорьевич как-то совсем упустил из виду, что он сам только что, буквально пять минут назад, назвал подлинник копией, причем с той же неблагоприятной целью — сбить цену.

— Сколько он вам предлагал... этот... с аппаратом?

— Двести рублей...

— А вы сколько просили?

— Четыреста.

Семен Григорьевич обычно не спешил с покупками. Не ленился пересечь город и во второй раз и в третий... Выжидал, пока нужда в деньгах сделает хозяев понравившейся ему вещи более сговорчивыми. Но на этот раз, узнав, что здесь успел побывать проходимец Клебанов, заторопился. Порадовался, что на всякий случай захватил с собой деньги.

Входная дверь стукнула, и в комнату с авоськой в руке вошел голенастый и длинноволосый парень. Семен Григорьевич представился. Парень коротко назвал себя:

— Евгений.

Выглядел он не очень-то любезным. Внешне был похож на сестру. Но если девочка, судя по всему, обладала спокойным и уравновешенным характером, то юноша был нервен и самолюбив. Это отражалось в некой диспропорции его миловидного лица: правая бровь выше левой, улыбка кривоватая, на щеке де-

ргается какой-то мускул. На лбу — прыщики, то ли от плохого питания, то ли от нервов.

— Люда! Я же просил тебя...с осуждением сказал он сестре.

Семен Григорьевич мысленно продолжил оборванную фразу: «Я просил тебя: в мое отсутствие не пускать в дом посторонних».

— Я не совсем посторонний, был когда-то знаком с вашей покойной матерью...

Это было верно лишь отчасти. Когда-то в каком-то доме его действительно с ней познакомили, но он уже не помнил ни как она выглядела, ни о чем они говорили.

Упоминание о знакомстве с матерью ничуть не смягчило сурового юношу.

— Что вам угодно? — спросил он.

Пришлось перейти прямо к делу:

— Картина продается?

— А сколько вы за нее дадите? — Евгений говорил отрывисто, почти грубо.

«Что же ты, милый, сердисься, разве я виноват в свалившихся на твою голову несчастьях?» — подумал Семен Григорьевич. А вслух произнес:

— Сначала я хотел бы узнать, какова ваша цена...

— А я хотел бы узнать, сколько вы дадите. — На его лице вновь заиграл какой-то мускул.

Делать было нечего, Семен Григорьевич назвал сумму:

— Двести пятьдесят...

Парень усмехнулся, криво, на одну сторону:

— Нам за нее предлагали пятьсот, но мы не согласились.

Он не знал, что Люда уже успела все рассказать Семену Григорьевичу.

— Пятьсот? — удивился он. — Надо было отдавать... Другого такого покупателя может и не повернуться.

Евгений вызывающе дернул плечом:

— Нам торопиться некуда. Деньги у нас есть, — и для пущей убедительности добавил: — Мы же обменялись с доплатой.

«А доплата тю-тю... Ушла за долги», — снова мысленно продолжил его фразу Семен Григорьевич. Нечаянно он взглянул на Люду и поразился тому

страданию, которое выражало бледное личико. Бесплезная ложь брата была ей невыносима. Не выдержав взгляда Семена Григорьевича, девочка отвернулась. «А у тебя, милая, тоже нервишки пошаливают. Это и неудивительно. Дела-то плохи...»

Он склонил набок седую, с пробором, голову:

— Извините за беспокойство... — медленно направился к двери.

— Постойте! — громче, чем нужно, вскрикнул Евгений. — Ваша последняя цена?!

Семен Григорьевич сделал вид, что раздумывает:

— Двести семьдесят пять... Ну хорошо, триста... Это все. И так я плачу больше, чем могу. Ведь это же копия.

В последнее мгновение юношу охватило подозрение:

— Вот вы даете триста рублей. Такие деньги за копию?

«А он не глуп...» Семен Григорьевич быстро нашелся:

— Понимаете, на этой картине изображена святая Цецилия, покровительница музыки. А я скрипач. Мне давно хотелось иметь что-то в этом роде...

Евгений перебил его:

— Хорошо, берите!

Семен Григорьевич полез за деньгами. Отстегнул английскую булавку, на которой был закрыт карман, извлек из него потертое портмоне, стянул с него черную резинку (такими крепятся рецепты к аптечным пузырькам), отсчитал купюры, проверил еще раз — положил на край стола, рядом с невымытой вилкой, на которой желтели остатки яичницы.

Евгений повернулся к нему спиной, руки сложены на груди, взгляд устремлен в окно.

— Берите картину и уходите.

Его голос сорвался.

Семен Григорьевич, кряхтя, понес «Св. Цецилию» к двери.

Ольга Сергеевна оделась на выставку фарфора так, как если бы собралась на премьеру в Большой театр. На ней было серое шерстяное платье, обшитое по подолу черным шнуром, лиф отделан сереб-

ристым кружевами. На белой высокой шее — нитка мелкого жемчуга. Ноги — в черных лодочках на высоких каблуках. Кончики седых волос слегка подвиты и подкрашены чем-то фиолетовым. Рядом с нею Семен Григорьевич в только что полученном из химчистки шевиотовом костюмчике с лоснящимися бортами и отлетающей назад шлицей выглядел куда как скромно.

Это был их первый совместный публичный выход. Для Ольги Сергеевны посещение выставки было радостным событием, развлечением, которое она позволила себе впервые после смерти мужа. Чувства, обуревавшие Семена Григорьевича, были иного рода. Здесь и счастье от сознания, что рядом с ним любимая женщина, к тому же такая видная, красивая! И надежда на то, что посещение выставки крупнейшей коллекции фарфора каким-то образом приобщит Ольгу Сергеевну к главному делу его жизни — собирательству старинных и прекрасных вещей, а следовательно, еще более сблизит их. И непонятные ему самому страхи: а вдруг его ждут на выставке неприятные встречи, да еще на глазах у Ольги Сергеевны?

Огромная очередь у красивого здания музея... Переносные железные загородки, сквозь которые капля за каплей под наблюдением строгого милиционера просачивается внутрь людской поток...

— А где конец этой очереди? — интересуется его подруга.

Семен Григорьевич гордо говорит:

— Это не для нас! — и проводит ее мимо милиционера к служебному входу...

Ровный шум голосов, потоки света, льющиеся из высоких окон, приятный теплый воздух от стоящих по углам зала калориферов и сверкание волшебного фарфора. Чего тут только нет! Огромные, богато расписанные вазы, роскошные кубки, корзины с цветами, которые не отличишь от живых, настоящих, столовые и чайные сервизы, изящнейшие статуэтки. У Ольги Сергеевны кружится голова.

— Боже, какая красота!

— Вот почему я собираю фарфор, — шепчет ей на ухо Семен Григорьевич. И спохватывается: в сравнении с окружающей их роскошью его личная

коллекция наверняка покажется ей бедной и жалкой. Он ищет на лице Ольги Сергеевны признаки насмешки, но напрасно — она так оживлена, так весела!

Семен Григорьевич успокаивается и, склонившись к уху своей спутницы, начинает ей рассказывать нудную историю выгодного приобретения какого-то молочника. Он обнаружил его в провинции, не то в Орле, не то в Кинешме, в маленьком антикварном магазинчике. Семен Григорьевич взял молочник в руки, придерживая крышечку, перевернул вверх дном. И обнаружил под ярлычком с ценой, весьма невысокой, марку Венсенской мануфактуры! То-то было радости! Настоящая цена молочника — в сто раз выше!

— Представляете себе, — захлебываясь от радостного смеха, восклицал он, — подлинный Венсен! А они и не подозревали!

Однако Ольга Сергеевна слушала рассеянно, вполуха: ей была непонятна и неприятна его радость по поводу нечестной, чуть ли не жульнической покупки. Кроме того, ей хотелось услышать сейчас рассказ не о старом молочнике, а о том фарфоровом великолепии, которое разворачивалось перед ее взором...

— Друг мой! Кто эта прелестная незнакомка? Она с вами? Познакомьте!

Перед ними стоял статный мужчина в темно-коричневом бархатном пиджаке. Лицо удлиненное, с массивной челюстью, лоб высокий, брови кустистые, голос звучный и проникновенный. Ольга Сергеевна узнала известного мхатовского актера и смутилась. А он легко, по-юношески склонился к ее руке.

— Семен Григорьевич, должно быть, уже все поведал вам о французском фарфоре, — рокоча красивым басом, проговорил он.

— Нет-нет... Мне хотелось бы...

— Ну так слушайте!

И Ольга Сергеевна узнала, что до XVIII века в мире был известен лишь один вид фарфора — китайский, тайну которого его создатели хранили свято. Может быть, Европа так и осталась бы без своего фарфора, если бы не алхимики...

— А я думала, что алхимики — это псевдоученые, шарлатаны...

— Ничего подобного! — актер звучно рассмеялся. — Это любопытнейшая история! Алхимик Иоганн Фридрих Бётгер пообещал Августу II Сильному, курфюрсту Саксонскому и королю Польши, открыть способ превращения свинца в золото. Алчный правитель, боясь, что тайна этого превращения уплывет от него, заключил алхимика в заточение, где тот и занимался своими опытами. Золота Бётгер не открыл, зато разгадал секрет изготовления фарфора. Каков гусь!

Венценосные правители Европы быстро смекнули, что алхимик дал им в руки верный способ обогащения: фарфор, хотя и не являлся драгоценным металлом, тем не менее мог обогатить королевскую казну не хуже золота. Недаром Людовик XV выделил из своих средств 50 тысяч ливров на устройство фарфоровой мануфактуры близ Венсена. Не поспешил! Знал, что деньги возвратятся сторицей!

— Посмотрите вот на этот букет... Он сделан в Венсене... Цветы как живые... Какие формы, краски... Не хватает только аромата...

— Прелесть!

— Заводик в Венсене, — продолжал актер, — не удовлетворял растущего спроса на фарфор. И тогда на землях королевской фаворитки Помпадур возникло новое предприятие — Севрская фарфоровая мануфактура. Так что королевской фаворитке мы кое-чем обязаны. Отныне по указу короля все изделия с фирменным знаком Венсена должны были продаваться как бракованные. Севру не нужны были конкуренты!

Семен Григорьевич чувствовал себя глубоко несчастным. Его оттерли в сторону, затмили. Этот человек полностью завладел вниманием Ольги Сергеевны. Они идут рядом, оживленно беседуют, смеются, а он, жалкий, покинутый, плетется сзади. Вот он всовывает между ними свою узкую лисью мордочку и, пробуя перехватить инициативу, говорит:

— Севр нетрудно узнать по четким, геометрическим линиям классицизма...

Но актер его перебивает:

— Еще неизвестно, что стало бы с этим знаменитым Севром, кабы не российские целковики!

— Ой, расскажите! — Ольга Сергеевна раскрасне-

лась, как девочка. Ей явно льстит внимание этого красавца.

— Революция смела короля. Над Севром нависла угроза. Поток заказов от аристократии прекратился, мануфактура стала хиреть. Но тут подросла из России щедрая плата за «Бирюзовый сервис с камелиями», изготовленный на четверть века раньше по заказу Екатерины II. Это спасло Севр. Он выжил...

Семен Григорьевич предпринимает новую попытку:

— А как поживает ваша знаменитая коллекция? Есть ли новые приобретения?

— Моя коллекция?

Актер почему-то хмурится. На лице печать раздумий. И тут становится видно, что он уже далеко не молод и, по-видимому, нездоров.

— Душно здесь... Эти калориферы... Хорошо бы — на свежий воздух.

Он засовывает руку под пиджак и массирует грудь — там, где расположено сердце.

— Увы, человек смертен, — грустно говорит он. — Создания его рук, как правило, переживают его. А вот переживут ли нас с вами наши коллекции? Разойдутся по разным рукам, сгинут... Что останется? Ничего. Вот я и подумал: подарю-ка я свою коллекцию какому-нибудь музею. Может быть, расщедрятся, повесят табличку, мол, фарфор из коллекции такого-то... Все-таки память.

Ольга Сергеевна утешает его:

— Вам ли беспокоиться о памяти!.. Вас знают и любят миллионы поклонников театра!

— И поклонниц... — ревниво вставляет Семен Григорьевич.

— Да, да... — растерянно роняет актер. Достает из кармана бархатного пиджака стеклянный цилиндр, вытряхивает на ладонь белую таблетку, бросает в рот. — Я, пожалуй, пойду... А вы остаетесь?

— Да, надо еще осмотреть коллекцию русского фарфора.

— Елизаветинский... О, это моя любовь! — говорит актер и откланивается.

Семен Григорьевич с облегчением вздыхает. Наконец-то он остается наедине с Ольгой Сергеевной. Сейчас он прочтет ей лекцию о русском фарфоре.

Но едва он собрался открыть рот, как на него вихрем налетел низенький толстенный человечек и засыпал его ворохом слов:

— Как хорошо, что я вас встретил! Семен Григорьевич, вы мне поможете! Понимаете, приобрел я по случаю одну вещь: фигурка мальчика с корзинной пасхальных яиц. На мальчике синяя рубашка, ворот и пояс золотые. Штаны с лиловыми полосками. Черная шляпа, с розовой лентой.

— Клейма нет?

— Представьте, есть! Отчетливое клеймо фабрики Д. Насова — синяя подглазурная монограмма ДН.

— Ну, если насоновская, — говорит Семен Григорьевич, — то это начало XIX века. Насоновская фабрика просуществовала всего два года — с 1811 по 1813-й.

— Да это я знаю! — восклицает человечек. — Меня интересует другое. Аналогичная фигурка была в свое время определена собирателем Сомовым как изделие императорного завода конца екатерининского времени. Или павловского. Встает вопрос: кто у кого копировал — Насонов у императорского завода или императорский завод у Насонова?

— Скорее, первое, — подумав, говорит Семен Григорьевич.

— И я так рассудил! — радостно восклицает толстенный человечек. — Но вот заковыка: по Сомову выходит, что его фигурка сделана раньше, чем моя. Ошибается он, что ли?

— Гм... Гм... — мнется Семен Григорьевич. Но его собеседника уже и след простыл.

Мрачного вида мужчина с большим жировиком под левым ухом грубо хватая Семена Григорьевича за рукав, оттаскивает в сторону. О чем они говорят, Ольге Сергеевне не слышно, но на их лицах такая злоба, а жесты столь угрожающе, что она начинает встревоженно озираться, не видно ли где милиционера.

Спустя некоторое время Семен Григорьевич возвращается бледный, потрясенный...

— Друг мой, кто этот страшный человек? Что ему от вас нужно?

— Некий Клебанов.

— Коллекционер?

— Какой там коллекционер... Проходимец... Наглец... Вздумал меня запугивать... Я ему покажу... — изо рта Семена Григорьевича вылетают хриплые угрозы. Люди оборачиваются, с удивлением смотрят на Лукошко.

Ольге Сергеевне не по себе.

— Пойдемте. Здесь действительно душно, — она увлекает своего спутника к выходу. Он покорно плетется вслед за нею.

Во время утренней репетиции в зал вошел гардеробщик Никитич и знаками подозвал Семена Григорьевича.

— Что случилось? Опять три рубля до получки?

Никитич, неопределенного возраста мужчина, с бледным, отекившим от постоянного пьянства лицом, был единственным человеком, которому Семен Григорьевич ссужал небольшие суммы. А вообще-то он в принципе был против одалживания денег, полагая, что эти операции приносят не пользу, а вред — портят отношения. Ему нравились присказки: «Берем на время, а отдаем навсегда...», «Берем чужие, а отдаем свои...». Никитичу отваливал трешки по двум причинам: во-первых, тот их отдавал точно в оговоренный срок, а во-вторых, отдавал с процентами... Нет-нет, проценты Никитич выплачивал не деньгами, а услугами — то по его просьбе вызовет такси (хотя такси Семен Григорьевич пользовался крайне редко, лишь в исключительных случаях — не любил попусту транжирить деньги), то сбегает на уголок за бутылкой молока или кефира.

— Так сколько тебе? — хмурясь, Семен Григорьевич полез за своим портмоне. Расставаться с деньгами — это всегда так неприятно!

— К вам выюнош пришел... Просют выйти.

— Какой выюнош? Я никаких выюношей не знаю.

Вслед за Никитичем Семен Григорьевич двинулся по ковровой дорожке между креслами и вышел в вестибюль. Никитич отправился в гардеробную, где, усевшись за деревянной стойкой, стал протирать сушкой театральные бинокли.

Семен Григорьевич тотчас узнал о молодом человеке, вскочившем при его появлении с мягкой, обтя-

нутой кожей скамейки, стоявшей у большого зеркала, Евгения Извицкого, у которого на днях приобрел «Св. Цецилию». На юноше был старый рыжий плащ. С ним совсем не вязался длиннющий голландский шарф в красную и черную полоску, обмотанный вокруг худой шеи.

— Вы меня обманули! Верните мою картину! — сдавленным голосом выкрикнул юноша.

Семен Григорьевич оглянулся на Никитича, занятого своим делом (широко, словно судак, разинув рот, он дышал на линзы биноклей, а потом протирал их суконкой), и проговорил:

— Тише, пожалуйста... Успокойтесь.

Он увлек Евгения в противоположный угол фойе:

— Я не понимаю, о чем вы?

— Вы меня обманули! — продолжал твердить заученную фразу Евгений. — Я принес деньги, вот они, здесь почти все, а вы верните мне картину! Верните! Здесь не хватает тридцати рублей, я заработаю, принесу.

Семен Григорьевич пожал плечами:

— Криком вы ничего не добьетесь. Лучше спокойно объясните: в чем моя вина?

Юноша закинул через плечо разматывавшийся шарф и выпалил:

— Вы говорили, что это копия. А это подлинник!

Семен Григорьевич усмехнулся:

— Это была ваша картина. И ваше дело было знать, копия это или подлинник. Разве я не просил вас назвать вашу цену? Просил. Вы отказались, не так ли? Я назвал свою. Она вас устроила. Так чем же вы недовольны?

Юноша смешался. Лицо его побледнело, и ярче стали выделяться красные пятна прыщей. Он со злостью смотрел на Семена Григорьевича, не зная, что сказать.

— Кстати, кто вам сказал, что эта картина подлинник? Да еще ценный, потому что не каждый подлинник, как вы, должно быть, сами понимаете, представляет интерес!

— Один знающий человек! Он исследовал картину инфракрасными лучами!

— Вы говорите о Клебанове?

— А хотя бы и о нем! Какое это имеет значение?!

— Кое-какое имеет. Не заявил ли вам этот самый Клебанов поначалу, что картина — копия?

Честный юноша вынужден был это подтвердить:

— Да, заявил. Но потом он признался...

— Вот видите, — покивал седой головой с пробормом Семен Григорьевич. — Вы сами только что подтвердили, что Клебанов нечестный человек, обманщик. Почему же вы тогда упрекаете в обмане не его, а меня, человека, который вам вовсе не враг, не обманывал вас, а совершил с вами полюбовную сделку?

У Евгения забегали глаза. Видимо, железная логика Семена Григорьевича произвела на него впечатление. И в то же время он чувствовал себя одураченным.

— Как бы там ни было, а сделка недействительна. Я хочу, чтобы мне вернули картину!

Он резко взмахнул рукой. От этого движения концы длинного шарфа соскользнула вниз и теперь черной бахромкой касались затоптанного мраморного пола. Евгений подхватил концы, дважды обмотал их вокруг шеи. Но тут ему сделалось нестерпимо жарко. Он снова потянул шарф...

Семен Григорьевич следил насмешливым взглядом за муками современного Лаокоона.

— Вы не ребенок, а взрослый человек, и здесь не детский сад... — строго проговорил Семен Григорьевич. — «Я хочу, я не хочу». Вы, находясь в здравом уме и в здравой памяти, добровольно уступили мне картину за определенную, вполне устроившую вас цену. А теперь, почему-то решив, что можете сорвать за нее большие деньги, требуете ее назад! Это нонсенс! Представьте хотя бы на минуту, что произойдет, если все последуют вашему примеру и, следуя своим капризам, начнут аннулировать совершенные сделки? Будет хаос! Мой совет — гоните прочь негодяя Клебанова! Он вас хорошему не научит. У нас с ним старые счёты, и он нарочно, чтобы досадить мне, толкает вас на безрассудные поступки. Успокойтесь и ступайте домой. Я дал вам хорошую цену. Часть полученной суммы, если я не ошибаюсь, вы уже израсходовали? — он указал на красно-черный шарф.

Евгений залился краской, прыщи мгновенно куда-то делись, он на глазах похорошел. Запинаясь, сказал:

— Да... Нет... Я заработаю... Я верну...

В глазах Семена Григорьевича зажглись торжествующие огоньки. Он поднял указательный палец, назидательно сказал:

— Вы выглядите смешным... Это нехорошо. Прощайте.

Он повернулся и пошел через фойе назад — в зал.

Евгений, вцепившись в концы шарфа, истерично крикнул, срывая голос:

— Я так и знал, что ничего не добьюсь! Разве вы люди? Вы — звери! Когда-нибудь вы за это поплатитесь!

На ходу Семен Григорьевич оглянулся. Никитич, отложив в сторону огромный бинокль, тянул, как жираф, шею, стараясь не пропустить ни единого слова.

— Вы должны мне все рассказать! — строго, почти повелительно произнесла Ольга Сергеевна. Они сидели все в тех же вольтеровских креслах, как и несколько дней назад, когда Семен Григорьевич увлеченно рассказывал о своей новой покупке — картине с изображением святой Цецилии.

Но сейчас не было в их беседе безмятежной неторопливости, они были сосредоточенны, почти мрачны, и дух тревоги реял над их головами. Минуту назад, когда Семен Григорьевич вышел на кухню, чтобы снять с плиты чайник, прозвенел телефонный звонок. Ольга Сергеевна сняла трубку и остолбенела. На нее обрушилась площадная брань вперемежку с угрозами.

— Кто говорит? Вы куда звоните? — вскрикнула она, но на другом конце уже положили трубку.

И вот теперь Семен Григорьевич бледный, безмолвный, как провинившийся школьник, сидел перед Ольгой Сергеевной, опустив глаза долу.

— Ну прошу вас...

Еще секунду назад он принял твердое решение ничего не рассказывать ей, не отравлять ее жизнь своими заботами и страхами, но нежно-просительные нотки в ее голосе неожиданно вызвали у него прилив жалости к самому себе и развязали язык.

Он все рассказал. А закончив, встал из кресла, принес из кухни круглую табуретку, взгромоздился на нее и осторожно снял со стены «Св. Цецилию». Скривил губы в усмешке:

— Увы, я не заслужил ее покровительства...

Вынес картину в переднюю. Когда вернулся, Ольга Сергеевна как ни в чем не бывало разливала по чашечкам чай, накладывала в розеточки клубничное варенье, оживленно говорила о каких-то посторонних вещах, о милых пустяках. Ни гневного взгляда, ни слова осуждения.

Глядя на ее раскрасневшееся милое лицо, Семен Григорьевич с новой силой ощутил, как он любит эту необыкновенную женщину.

На другой день Ольга Сергеевна привезла ему подарок — вторую тарелку с изображением арфистки. Она сама поставила ее в стеклянную горку на среднюю полку — рядом с первой тарелкой. Как Семен Григорьевич ни возражал, как ни убеждал Ольгу Сергеевну, что ни за что не возьмет ценную тарелку, как ни клялся, что вещь эта будет ему вечно напоминать о его грехе, о некрасивом поступке, о его несмываемом позоре, но она проявила настойчивость. Резонно заметила:

— Какая разница, где она будет напоминать вам, как вы говорите, об этом самом позоре — в вашей квартире или в моей? Или вы решили со мной расстаться?

— Что вы, что вы! — замахал руками Семен Григорьевич. Блеклый румянец — свидетельство охватившего его волнения — появился на впалых щеках. Он и помыслить не мог, чтобы расстаться с этой женщиной. — Вы же знаете, мое единственное желание — быть всегда с вами... До гробовой доски. Если вы, конечно, меня раньше не прогоните.

Она посмотрела на него долгим взглядом, вздохнула и сказала:

— Если раньше не прогнала, то теперь уж не прогоню. Видно, судьба у вас с вами такая...

Тень легкой грусти набежала при этом на ее прекрасное лицо.

Семен Григорьевич принял к ее руке поцелуем и долго-долго не поднимал головы.

КВАРТИРНАЯ КРАЖА

18 июня вечером Коноплеву позвонил Ворожеев. В отличие от Николая Ивановича, не любившего без особой необходимости задерживаться на работе, его новый начальник по окончании работы часами сидел в своем кабинете. Наносил на листок блокнота распорядок завтрашнего дня, сортировал и перекладывал с места на место бумаги. Коноплев же, обычно закончив дела, выдвигал ящик стола, ребром ладони сгребал в него бумаги, ручки, карандаши — все, что положено, прятал в сейф и был таков!

Иногда Ворожеев звонил ему с работы домой, как правило, по пустякам. Видимо, ему хотелось продемонстрировать Коноплеву собственное усердие...

Но на этот раз повод был серьезный, этого нельзя было не признать.

— Чаи гоняешь? — послышался в трубке знакомый голос. — А в это время квартиры чистят.

— Какие квартиры? — не понял Николай Иванович.

— Какие, спрашиваешь? К Лукошко забрались!

— Давно?

— Час назад позвонили. Сомов уже выехал на место.

— А что же ты раньше не сообщил?

— Тебе разве дозвонишься?

Телефон у Коноплева действительно был занят: он разговаривал с женой. Разговор вышел неприятный. Она позвонила из театра, поинтересовалась, нашел ли он в холодильнике котлеты с вермишелью. Николай Иванович, как ему показалось, в шутку посетовал: угораздил господь жениться на актрисе, свалил дерево не по себе, вот теперь пробавляйся холодными котлетами. Но Танюша шутки не поняла, рассердилась: «Это мне не повезло, а не тебе. Вышла за милиционера и если бываю в театре, то только по долгу службы. Уже полгода, как вместе не выходили из дому». Коноплева почему-то слова жены обидели. «Ну, иди пой, а я пойду доедать котлеты», — буркнул он и повесил трубку. Теперь у него на душе кошки скребли. Все ожидал, что жена перезвонит и успокоит его, но телефон молчал.

В первые годы их совместной жизни Коноплев

никак не мог привыкнуть к мысли, что у него, скромного работника МУРа, такая молодая жена, и притом красавица, певица, и что она его по-настоящему любит. Ему все казалось, наваждение вдруг спадет с ее глаз, она увидит его заурядность и уйдет к другому — интересному, умному, знаменитому, который будет ей ровней. Он заранее успокаивал, утешал себя: ну и пусть, по крайней мере, ему дано было испытать счастье. Сколько людей могут только мечтать об этом!

Позже взял себя в руки, перестал контролировать каждый ее шаг, каждую минуту времени, которое она проводила без него. И все наладилось. С пронизательной женской чуткостью Танюша догадалась, сколько усилий потребовалось затратить мужу, чтобы переломить себя, и ответила на его доверие такой нежной любовью, что Коноплев почувствовал себя совершенно успокоенным и счастливым.

Что же случилось с ним полчаса назад, когда он столь грубо, да что там — просто по-идиотски разговаривал по телефону с женой!

Мысленно он вел бесконечный диалог с Танюшкой, когда вдруг раздался телефонный звонок. Это она! Наконец-то! Николай Иванович схватил трубку и с разочарованием услышал голос Ворожеева.

— Да, да, немедленно отправляюсь...

Как ни странно, но Коноплев, услышав, что вор забрался в квартиру Лукошко, испытал чувство облегчения. Он ведь давно пришел к выводу: разгадку убийства старого собирателя надо искать в его коллекции. Скорее всего, именно она послужила причиной разыгравшейся трагедии. Прав хитроумный историк Борис Никифорович Заяц: вещи не могут пребывать в неподвижности после того, как их хозяина не стало. Перемены обязательно произойдут, причем не просто так, а под воздействием чьей-то воли, в чьих-то корыстных интересах. Зафиксировать эти перемены и постичь их смысл — значит успешно довести расследование до конца.

Когда Николай Иванович прибыл на место, там уже находился капитан Сомов. Он только что исследовал дверной замок и теперь, вооружившись лупой, ползал по грязному линолеуму прихожей, что-то пристально разглядывая.

— Ну — как? — спросил Коноплев, стараясь ступать аккуратно, по половнику, чтобы не доставлять капитану лишней работы.

— Орудовали отмычкой. Отмычку сделали по слепку, — сказал Сомов.

— А забитую дверь с черной лестницы на пожарный балкон проверили?

— Так точно. В первую очередь. Злоумышленник, видимо, поначалу пытается взломать ее... Видны следы топора. Но это ему не удалось. Вот и пришлось ему прибегнуть к отмычке...

— Значит, он тоже знал о черном ходе! Не слышком ли много посвященных? Хозяин дома?

— У себя. Он и сообщил.

— Опись коллекции прихватили?

— Вон там, в папке.

— Я возьму, — сказал Николай Иванович и, вынув из пластмассовой, под крокодилову кожу, папки Сомова пару соединенных железной скрепкой листов, двинулся дальше. Толкнул дверь и почувствовал, что она наткнулась на что-то мягкое... На пороге, потирая плечо, стоял Митя.

— Я вас ушиб? Извините! Не предполагал, что стоите под дверью.

— Я собирался выйти... Должен же я вам рассказать, как все произошло.

— Рассказывайте.

— Можно, я сначала воды выпью? В горле пересохло.

— Вы у себя дома. И вправе делать все, что хотите. Это мы у вас в гостях.

Митя вышел на кухню, потом снова вошел, вытирая ладонью мокрые губы.

— Возвращаюсь с работы... Вдруг вижу в окне свет. Не верю своим глазам! Жена войти в квартиру не могла, у нее нет ключа...

— А почему у нее нет ключа? Ей что — вход в квартиру воспрещен?

— Ну что вы, что вы! Просто я на днях потерял второй ключ. А заказать дубликат не так-то просто. Зошел в Металлоремонт, говорят, каких-то болванок нет. Требуют принести замок, только так они могут подобрать к нему ключ. Это ж надо! Разве я могу оставить дверь открытой?

— К сожалению, и закрытая дверь не всегда надежна, — пробормотал Коноплев. — Кстати, почему, уходя, вы не включили сигнализацию? Ведь квартира поставлена на охрану...

Митя махнул рукой:

— Была поставлена... Раньше... При отце...

— Вы что — расторгли договор?

— Ничего я не расторгал... Не уплатил за два месяца, и все... Ваши товарищи обрадовались, сняли с охраны.

— Платежи надо делать регулярно, — строго сказал Коноплев. — Итак, вы увидели свет в окне...

— Да. Вбегаю на пятый этаж, толкаю дверь — открыта. Вхожу, свет погашен. Никого.

— А вы, оказывается, храбрый человек, — заметил Коноплев. — Не каждый бы на вашем месте решился.

— Видимо, я действовал в состоянии аффекта...

— И что же вы сделали в состоянии аффекта дальше?

— Позвонил в милицию. И вот приехал ваш капитан.

— Вы уже успели осмотреть коллекцию? Похищено много?

— Насколько я успел определить — немного. Но есть несколько ценных вещей. Например, складень серебряный... Кто-то из коллекционеров предлагал отцу за него тысячу рублей, но он не отдал. И правильно сделал! Складень стоит в пять раз дороже!

— Что еще?

— Иконы... Несколько миниатюр и табакерок.

— И табакерки тоже?

— А почему это вас удивляет?

— Мне кажется, стоимость миниатюр и табакерок может определить только специалист. Простой взломщик не разберется.

— Пожалуй, вы правы. Я об этом не подумал. Значит...

— Значит, грабителя, скорее всего, следует искать среди людей, сведущих в антиквариате... или тесно связанных с таковыми. Вы никого не подозреваете?

— Господи! Кончится это когда-нибудь или нет! — простонал Митя. — Мало того, что вы до сих пор не

можете отыскать убийцу отца, вы и меня не в состоянии оградить от злоумышленников! Заберите у меня эту коллекцию! Она мне не нужна! Это из-за нее лишился жизни отец... И мне тоже она принесет беду, я чувствую! Я знаю!

— Умолять не надо, достаточно должным образом оформить дарственную и передать ценности в музей или в Фонд мира, куда вам будет угодно, — сухо ответил Коноплев. Он не любил беспочвенных нападок на свое ведомство.

Митя мгновенно успокоился:

— Извините, нервы...

— Давайте для скорости сделаем так. Я буду называть вещь по описи, а вы будете ее показывать. Не возражаете?

Митя с кислым видом согласился:

— Раз вы просите...

Следователь Ерохин, узнав о краже в квартире Лукошко, подумал, почесал лоб пластмассовым наконечником шариковой ручки, сказал:

— Очень может быть, что в квартиру забрался не случайный воришка... Ведь для чего убили Лукошко? Скорее всего, для того, чтобы завладеть коллекцией... Вот и не терпится... Вы мне этого голубчика хоть из-под земли, а достаньте.

Коноплев и сам понимал: наступает решающий этап расследования. Как в детской игре. Сначала «холодно», потом «тепло», а там уж недалек момент, когда можно будет воскликнуть «горячо».

Он начал активно действовать. Во все комиссионные магазины, занимавшиеся скупкой произведений искусства, были направлены списки украденных в квартире Лукошко предметов. Сомову и Тихонову было велено взять под наблюдение места нелегальной торговли антиквариатом. К Александровскому и многим другим известным коллекционерам обратились с просьбой: если в поле зрения появиться вещь из коллекции Лукошко, немедленно дать знать на Петровку.

И тем не менее Коноплева не покидало ощущение недостаточности всех этих мер. Следовало придумать еще что-то...

Решение пришло неожиданно, в тот момент, когда Николай Иванович задержался у концертной афиши, раздумывая, куда бы повести Танюшу, чтобы доставить ей удовольствие и таким образом заглушить неприятные воспоминания о недавней размолвке. Как ни странно, Танюша, будучи серьезной оперной певицей, тем не менее любила легкомысленные эстрадные концерты. А может, и не любила, а только делала вид, что любит, чтобы подладиться к Коноплеву, который прямо-таки обожал легкий жанр.

Коноплев разглядывал ярко-синюю афишу, сообщившую о предстоящих выступлениях в Центральном концертном зале гостиницы «Россия» известного ансамбля. Рядом с именами солистов, набранными крупным шрифтом, столбцом были напечатаны имена музыкантов. Одно из них показалось Коноплеву знакомым. Он напряг память и вспомнил: да жто же зарубежный друг красавицы Монастырской! Николай Иванович вынул из кармана блокнотик и записал дни выступлений ансамбля — 22, 23, 24 июня.

...И вот наступил день концерта. Выведя жену по окончании представления на набережную, Николай Иванович обогнул угол здания и оказался у входа в ресторан.

— Я приготовил тебе еще один сюрприз. Прощу! — сказал он Танюше, галантно пропуская ее вперед, в гостеприимно распахнутые стеклянные двери. Николай Иванович повел жену в ресторан.

— Но ведь мест наверняка нет, — на ходу поправляя прическу и охорашиваясь, озабоченно говорила Танюша.

— Для кого нет, а для кого есть, — гордо ответил Николай Иванович и, шепнув что-то на ухо метродотелю, уверенно направился к уже сервированному столику, уютно примостившемуся возле отливающей золотом колонны.

— Прощу!

Танюша уже смекнула: неспроста муженек разыгрывает ресторанный завсегдатай, наверняка его привело сюда какое-либо дело. Но решила не портить настроения ни себе, ни ему, они и так уже в последнее время и наволновались и нанервничались. Один только раз она не выдержала и спросила:

— Коля, ты кого-нибудь ждешь?

На что он отвечал:

— Разве ты не видишь, дорогая, что стол накрыт на двоих?

— И все же тут что-то не так...

Николай Иванович наклонился и поцеловал ей руку:

— Тебя не обманешь. Недаром ты столько лет живешь с сыщиком.

Неизвестно, до чего бы они договорились, но трое молодых людей на полукруглой эстраде, которые до этого убивали время тем, что с недовольным видом дули в микрофон, крутили ручки настройки двух громадных усилителей, запутывали и распутывали провода или просто перекидывались словами, вдруг расселись по местам, схватились за инструменты и создали такой шум, что разговаривать стало невозможно. Коноплев налил жене шампанского, себе коньяку и показал жестом: давай пить и есть, а поговорим потом, в антракте.

Вдруг Танюша положила руку на локоть мужа и показала глазами: «Смотри!» От дверей к большому, накрытому неподалеку от них столу двигалась шумная компания. Коноплев взглянул: это были они, участники эстрадного представления, которое только что закончилось в Концертном зале гостиницы. Один из музыкантов, смуглолицый и черноволосый, шел в сопровождении дамы — высокой, рыжеволосой, облаченной в серебристое, отделанное светлой норкой платье. Она так и сверкала драгоценностями. Танюша окинула ее ревнивым взглядом, а потом обиженно посмотрела на мужа. Он понял этот безмолвный укор.

— От трудов праведных не наживешь палат каменных! — громко, стараясь перекрычать шумное трио, проговорил Коноплев. Но музыка внезапно смолкла, и его возглас привлек всеобщее внимание. Оглянулась и рыжеволосая женщина. Она узнала Коноплева и, обольстительно улыбнувшись, кивнула ему. Золотые подвески на ее ушах качнулись и тихо зазвенели.

— Кто это? Откуда ты ее знаешь? — нахмурившись, спросила Танюша.

Однако Коноплев не ответил жене, он вскочил и галантно раскланялся.

— Кто это?

— Одна моя знакомая. Ты не знаешь.

— Я и сама догадываюсь, что не знаю ее. А вот ты, по-видимому, знаешь. И притом очень хорошо.

Коноплев не спешил успокоить жену. Более того, спустя несколько минут, когда эстрадники расселись за столом, он встал, подошел к женщине и, склонившись, шепнул ей что-то. Танюша заметила, что слова эти женщину встревожили, но она быстро овладела собой и согласно закивала головой. Золотые подвески в лучах света засверкали еще ярче.

Николай Иванович вернулся за свой столик, взглянул на жену, успокаивающе накрыл ее руку своей большой ладонью и произнес только одно слово:

— Работа.

— В следующий раз я тоже буду ссылаться на работу, — надув губы, проговорила Танюша, но было видно, что у нее отлегло от сердца.

Погас верхний свет, по залу заскользили синие, зеленые, красные блики.

— Пойдем танцевать, — предложил Коноплев.

На другой день Коноплев забежал на огонек к Монастырской. Она встретила его в роскошном кружевном пеньюаре. Рыжие волосы распущены по плечам, на ногах — расшитые золотом остроносые домашние туфельки.

— Это не для меня? — показав на коньячный бокал, стоявший возле бутылки французского коньяка «Корвуазье», спросил он.

Монастырская ответила серьезно, как на допросе:

— От меня только что ушел мой друг. Я вам о нем говорила. Музыкант-иностранец.

В ее голосе прозвучала гордость: мол, знай наших.

— Я видел его в ресторане. Красивый мужчина.

— О, это моя большая любовь! Когда он здесь, я не живу, а плыву по морю жизни под солнцем любви.

— А вы, оказывается, еще и поэтесса, — усмехнулся Коноплев.

Она снова ответила всерьез:

— Да, мне говорили, что я зарыла талант в землю...

— У вас столько талантов! Все не зароешь, что-нибудь да останется.

Теперь она поняла шутку и лениво улыбнулась:

— Хорошо, что вы не пришли на полчаса раньше. Мой друг очень ревнивый.

— Ничего. Я владею приемами самообороны.

— Но по отношению ко мне вы их применять, надеюсь, не будете?

— Если вы не будете на меня нападать...

— Мне кажется, готовитесь напасть на меня вы.

«Она не так глупа, как кажется. По крайней мере, хитра».

— С вами лукавить нельзя, вы все равно догадаетесь. Я к вам вот с чем...

Коноплев достал из кармана листок с описью вещей, похищенных у Лукошко.

Она бегло взглянула на него:

— Ну и что?

— У меня к вам просьба: если вам подвернется одна из этих вещей, позвоните мне по этому телефону. Моя просьба не кажется вам слишком обременительной? Кстати, мы обратились с аналогичной просьбой ко всем известным коллекционерам.

Слова «известным коллекционерам», как и рассчитывал Коноплев, явно польстили Монастырской. Томно закатив глаза, она сказала:

— Можете на меня рассчитывать.

«Я на тебя и рассчитываю, голубушка», — подумал про себя Коноплев и стал прощаться.

План его был прост. Было известно, что отношения Монастырской и иностранного музыканта носят не только любовный характер. Монастырская помогает ему выгодно реализовать вырученные за гастролы деньги. За что получает от своего друга ценные подарки.

Коноплев не без основания надеялся, что с появлением в Москве своего друга Монастырская активизирует поиски предметов старины, которые можно приобрести за полцены. И сознательно навел ее на след вещей, похищенных у Лукошко. В том, что среди представителей темного мира у нее есть своя клиентура, он не сомневался.

Теперь оставалось ждать.

...Минули дни гастролей. Для Монастырской они

пролетели как одно мгновение, для Коноплева тянулись мучительно долго. Но вот настал срок отъезда эстрадного коллектива на родину. Коноплев и Сомов за два часа до взлета авиалайнера прибыли в таможенную Шереметьевского аэропорта. В отличие от них гости не спешили. Появились у контрольно-пропускного пункта, когда до отправления самолета оставалось тридцать минут.

— Явный расчет на цейтнот, — сказал Коноплев. — Думаю, мы на верном пути.

Несмотря на нетерпеливые выкрики эстрадников, указывающих на неумолимо бегущую по циферблату стрелку настенных часов, таможенники спокойно делали свое дело. Потом попросили друга Монастырской пройти в служебное помещение.

— Вам придется задержаться. У вас обнаружены вещи, вывоз которых запрещен.

— Оставьте их себе, а меня отпустите!

— К сожалению, сейчас не можем. Надо выполнять некоторые формальности.

С ближайшим самолетом музыкант не улетел.

В тот же день Коноплев вызвал на Петровку Монастырскую. Разговаривал с нею строго и сухо.

— Вы не сочли нужным сообщить мне о том, что вам предложили указанные в моем списке вещи...

— А я что — обязана?

Монастырская глядела на него с неприкрытой злобой.

— Нет, не обязаны... Просьба носила частный характер. Но повторяю, вы не только не выполнили моей просьбы, но и, приобретя их, постарались с помощью вашего дружка и сообщника сбыть их за границу. А это уже явное нарушение закона. Вот что: или вы мне немедленно называете человека, который продал вам ворованные иконы и миниатюры, или...

— Что будет с моим другом?

— Не скрою, его судьба во многом зависит от вашего ответа.

— Я понимаю... В любом случае для меня он потерян навсегда.

В ее хриплом голосе прозвучало неподдельное горе. «Кажется, это уже не игра. Она действительно привязана к этому человеку».

— Я жду.

— Скажу... Только отпустите его.

Лицо ее выглядело поблекшим и некрасивым.

— Я вам уже объяснил...

Она прошептала;

— Клебанов... Широкоплечий, коренастый, с живчиком под ухом...

В тот же день Клебанов был задержан. Когда его привели на допрос, Коноплев вспомнил, что уже видел его. В квартире Изольды, соседки Лукошко.

— С вами приятно работать, Клебанов, — сказал в середине разговора Коноплев. — Вот если бы все так...

Тот сидел, низко склонив голову с зачесанными набок редкими волосами и свесив меж широко расставленных колен короткопалые руки. Был он как будто вырублен топором — мощная шея, квадратные плечи, сильные руки с буграми мышц.

«Такой не то что двоих, четверых запросто на тот свет отправит», — подумал Коноплев. Однако об убийстве Лукошко пока разговора не было, речь шла только о краже вещей из его квартиры. К удивлению подполковника, Клебанов в этом грехе признался сразу, усилив подозрение, что меньшим проступком — кражей — хочет покрыть большее преступление — убийство. Но пока надо было уточнить обстоятельства ограбления. Здесь Коноплеву тоже далеко не все было ясно.

— Вы утверждаете, что вас спугнули... Кто? Каким образом?

— Кто — не знаю. Неожиданно я почувствовал, что в квартире кто-то есть.

— Что значит — кто-то есть? Вы слышали шум? Видели кого-нибудь?

Клебанов покачал головой:

— Нет. Просто я почувствовал, что в помещении кто-то есть... Схватил мешок и вон из квартиры.

— В квартиру напротив?

— Нет, сначала я поднялся по лестнице наверх. Переждал, нет ли погони. Слышу — тихо, только тогда спустился на пятый.

— Расскажите, когда у вас впервые созрел план ограбления квартиры Лукошко? Как вы, бывший моряк, дошли до жизни такой?

Клебанов поднял красное от прилившей крови

лицо, посмотрел на Коноплева мутными, в розовых прожилках глазами, уяснил заданный ему вопрос, вспоминая, готовя ответ. Мысль его работала туго. Коноплеву казалось, что он угадывает за этим низким неровным лбом медленное и натужное верчение тяжелых шестерен, заржавевших и нуждавшихся в смазке.

— Ну, — поторопил он.

Николай Иванович долго, слово за словом, будто клещами, вытаскивал из Клебанова факты, обстоятельства, подробности. Не оттого, что тот хотел что-либо скрыть или утаить, просто все эти сведения в беспорядке были свалены в кучу у него в голове.

Клебанов когда-то плавал капитаном на речном буксире. Схватил ревматизм, перешел на инвалидность. Пристроился в Москве у одинокой тетки, жившей на окраине в собственном домике. Однажды она попросила Клебанова продать какую-то старинную книгу в черных досках вместо переплета. Бывший моряк был убежден, что за такую рухлядь и десятки не получишь. Но книгу, что называется, оторвали с руками, домой принес сотню рублей. Мало-помалу Клебанов вошел во вкус — рылся на теткинском чердаке, извлекал оттуда разные разности и выгодно сбывал. Потом смотался в родную деревню, походил по родственникам, пособирал старые вещи. Проник в полуразрушенную, заброшенную церквушку, что стояла поодаль на холме, там нашел кое-какие ценности. В Москву вернулся с поживой. Кое-что продал, кое-что обменял на другие вещи, выгодно сбыв их.

Со временем стал завсегдатаем антикварных магазинов, свел множество нужных знакомств, знал людей, которые продают и которые покупают. Его место было между ними — посередине. Старинные вещи проходили через его руки, не задерживаясь, но какой-то «приварок» оставался. Однажды он крупно погорел: купил старую картину, а оказалось — ловкая подделка. Долго вызнал, есть ли надежное, верное средство определить, старая картина или новая. Оказалось, есть. Долго охотился за ним и наконец приобрел у одного умельца-технаря хитрый аппаратик. Достаточно было с помощью этого аппарата просветить полотно инфракрасными лучами,

чтобы вмиг стало ясно, что это такое — подлинная старина или липа, «фальшак».

Клебанов всюду таскался со своим чудо-аппаратиком. Сначала над ним посмеивались, а потом по привычке и даже нередко униженно просили его выручить, пустить свой аппаратик в ход... Но Клебанов, как правило, отказывался: вот еще, будет он за дарма технику портить, дураков нет, поищите их в другом месте.

Пожалуй, единственным, кто к нему не обращался с просьбой насчет аппарата, был Семен Григорьевич Лукошко. Казалось, в его удлинненной седой голове был размещен свой безошибочный механизм для угадывания — стоящая вещь или нет и, если стоящая, то какая ей цена. Вернее, он сразу определял не одну цену, а две — истинную цену вещи и ту цену, за которую ее можно выторговать или просто «выдурить». Если Клебанов относился к числу мелких жучков-перекупщиков, то Лукошко был птицей более высокого полета, — коллекционером. То есть был Клебанову предназначен как бы самой судьбой для обмана. Но не тут-то было! Не только Клебанову никак не удавалось обвести вокруг пальца, обхитрить Лукошко, всучить ему с выгодой какую-нибудь вещьцу, а даже наоборот — Лукошко неоднократно надувал Клебанова, и хитрый аппаратик не помогал.

Да вот взять хотя бы историю с часами, которые Клебанов купил по случаю у одной ветхой старухи за 25 рублей. Зная, что Лукошко в последнее время заинтересовался старинными часами, позвонил ему, предложил купить. Семен Григорьевич отнекивался: мол, ни к чему ему эти часы, зря он взялся из их собиранье, скорее всего, свою коллекцию распродавать будет, не его это дело. Однако в конце концов взглянуть согласился.

Часы были бронзовые, в стеклянном корпусе, с круглым циферблатом и маятником, выполненным в форме женской фигуры. На тыльной стороне отчетливо различалась надпись: «Глубокоуважаемому Георгию Александровичу Соколову от податной инспекции Рязанской губернии, 1913 г.»

— Эвон какая старина! Еще до первой мировой войны дарены... — закачал узкой, как у лисы, головой Семен Григорьевич. — Конечно, не идут, и механизм

за давностью лет восстановить невозможно. К тому же безвкусная вещица, можно даже сказать, пошлятина... Где вы ее раздобыли? Сколько уплатили, небось четвертак?

«Вот дьявол, сразу распознал, что часы не идут и что за четвертак куплены. Нет, на этом прохиндее не работаешь».

Лукошко поглядел на часы с такой безразличностью, что Клебанов поспешил к ним, чтобы убрать этот срам с глаз долой.

Лукошко небрежно сказал:

— Ну ладно... Чтобы вам не таскаться с такой тяжестью взад-вперед, дам вам... сколько бы вы хотели? Да, впрочем, что я вас спрашиваю, вы бы хотели много за них огрести. — Лукошко засмеялся скрипучим смехом, будто закудахтал, — я вам дам за них сорок рублей, надо же и вам на что-то жить.

С тем Клебанов и отчалил. А через некоторое время узнал, что Лукошко «помыл» часы, то есть привел их в порядок, и перепродал другому коллекционеру за 1200 рубликов. Вот тебе и «пошлятина»! Клебанов аж зубами закрипел: ему бы, дубине стеросовой, догадаться, что податная инспекция, давая начальству взятку в виде часов, мелочиться не будет! Вот ворона! Прозевал!

Ну, а второй пример совсем свежий. Вынюхал Клебанов, что у двух сирот ценная картина есть, «Св. Цецилия» называется. Заявился к ним, машинкой для верности полотно просветил, в подлинности убедился, решил выждать чтобы сбить цену, приходит снова — бац! а там, оказывается, этот старый лис Лукошко уже побывал, накинул энную сумму, картину под мышку и был таков!

Тут уж Клебанов прямо-таки в ярость впал. Это ж надо какой подлец! И как таких земля только носит! Ему и жить-то осталось всего ничего, а он все людей обманывает.

...Некоторое время назад тетка присмотрела Клебанову невесту.

— Вон ты крепкий какой, оглоблей не свалишь, еще не одной бабе радость доставить можешь, а ходишь в бобылях! — сказала тетка. — У меня для тебя на примете женщина есть. С собой неплоха, в теле и квартира хорошая...

— Опять будет, как с той генеральской вдовой, которую ты мне сосватала, — сказал Клебанов. — Мы хоть сейчас, а она и в ус не дует.

— Какой у бабы ус, что городишь!

— А что, она хоть и баба, а и вправду в усах была, что твой генерал!

— Ой, замолчи. Совсем уморил старуху!

— А этой... новой... Сколько годков-то стукнуло?

— Говорит, пятьдесят пять!

— Пятьдесят пять?!

— А что такого? разве плохо? Пятьдесят пять — баба ягодка опять, — захихикала старуха. — Всем взяла невеста, одно только плохо...

— Что такое?

— Имя у нее... не выговоришь. Изольда! Тьфу ты, язык сломаешь.

— Из чего, из чего? Изо льда?

— Да не изо льда она, бестолковый ты какой, наоборот, горячая, сил нет. Она, как молодая была, в жиличках у меня проживала. Так я насмотрелась, что ни день, то новый калавер!

— Кавалер?

— Я как сказала? Так и сказала: кавалер.

— Зачем же мне такая, гулящая? — с обидой произнес Клебанов.

— А тебе что, девица нужна? Это хорошо, когда баба на веку своем набегалась да нагулялась, значит, спокой тебе с ней будет. Да я ее завтра на блины и приглашу. Чай, масленица, надо отметить, ведь мы — русские люди, не басурманы какие.

И надо так случиться, что Изольда с первого взгляда влюбилась в Клебанова! На следующий день он уже распивал чай с вареньем в ее трехкомнатной квартире в доме на старом Арбате. А иногда и ночевать оставался. Помимо всего прочего душу Клебанова грела мысль, что живет он на одном этаже с самим Лукошко, вроде бы совсем уж поднялся до его уровня, за малым только остановка — коллекции у него нет, да и не будет уж, видно...

Однажды, стараясь вызвать ревность своего нового друга и подогреть его желание поскорее оформить их отношения, Изольда прозрачно намекнула: мол, Клебанов не единственный претендент за ее руку, сосед Семен Григорьевич Лукошко не раз

жаловался ей на свое одиночество и зазывал по вечерам к себе в гости.

Тут-то Клебанову в голову и ударило. Вот было бы здорово — выдать Изольду за Лукошко и таким путем прибрать к рукам его коллекцию! Старику шестьдесят, да на вид хилый, видно, что долго не протянет.

Недолго думая, посвятил в свой план Изольду. Та сначала всплакнула: как это любимый человек собственноручно толкает ее в объятия к другому, но Клебанов свою даму сердца успокоил:

— Какие там у него объятия! Взгляни на него — одуванчик, дунь — и осыплется.

— А кто дуть-то будет? — со страхом спросила Изольда.

Клебанов ответил туманно:

— Найдутся...

И заключил Изольду в свои железные объятия, вследствие чего она быстро утешилась и примирилась с ожидавшей ее участью.

Однако этим планам не суждено было осуществиться. Как ни старалась Изольда, как ни обстреливала призывно-кокетливыми взглядами своего бывшего ухажера, как ни угождала ему — то свежее выпеченный батон из булочной принесет, то кусок вырезки у знакомой буфетчицы раздобудет, то редкое лекарство достанет, Семен Григорьевич не поддавался. Более того, подслушивания и подглядывания открыли Изольде неприятную новость: у Лукошко появилась женщина, которая, судя по всему, крепко забрала его в полон.

И вдруг случилось страшное: из-под льда в Москве-реке выловили труп коллекционера.

— Все ясно, — сказал Изольде Клебанов, — это его Пустянский пришил.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, раз говорю. Они давно по темным делам якшались. Видно, не поделили чего-то. Теперь жди гостя к соседушке. Этот Пустянский парень не промах, небось давно к коллекции подбирался. Как бы он нас не опередил...

— Так может тебе про него сообщить куда следует? — предложила Изольда.

Клебанов одобрительно взглянул на сожительницу:

— А ты у меня голова. Ну-ка, тащи бумаги и чернила. Садись, пиши. А я буду диктовать.

— Значит, вы утверждаете, Клебанов, что не убили Лукошко. А может быть, все-таки вы? Убедились, что ваши планы завладеть коллекцией посредством женитьбы Лукошко на Изольде потерпели провал, и приступили к крайним действиям.

— А зачем мне они? Эти крайние действия? Чтобы вышку заработать? Я себе не враг, чтобы ни с того ни с сего человека жизни решить! Страшный грех на душу взять.

— А воровать — это не грех?

— Да что я там украл! Самую малость. Несколько иконок да пару табакерок. Есть о чем говорить.

— Украли бы и больше, если бы вас не спугнули. Кстати, серебряный складень не в счет?

— Какой еще складень? Не брал я никакого складня!

— Не брали! А куда же он тогда делся?

— А это уж, гражданин начальник, вам выяснять.

— Оставим пока складень в покое. Вернемся к убийству Лукошко. Итак, вы признаетесь, что анонимное письмо, в котором указывается на Пустянского как на убийцу Лукошко, написано по вашей инициативе?

— Признаю, а чего скрывать?

— Вы располагали какими-нибудь фактами, свидетельствовавшими в пользу вашей версии?

— Какие факты... Они на пару работали — Пустянский и Лукошко. Вот и не поделили что-то между собой.

Коноплев даже привстал с места:

— На пару? В каком смысле?

— Один наводил, другой грабил.

— С вами не соскучишься, Клебанов. А доказательства у вас есть?

— Люди говорили.

— Ну, это еще не доказательства!

— Вы мне верьте, гражданин Коноплев. Оттого Щеголю так и везло: куда ни ткнется — банк сорвет. Думаете, случайность? Нет. Вдвоем — это не то, что одному...

— Да, вам, Клебанов, конечно, приходилось потруднее. Скажите, а прежде, до Лукошко, вам уже доводилось совершать кражи?

По той быстроте, с которой Клебанов ответил: «Нет-нет, что вы, гражданин подполковник, впервой это, видит бог, впервой», по крупным каплям пота, выступавшим на лбу, Коноплев догадался: «А ты, голубчик, не такой уж новичок в разбойном деле, каким пытаешься себя представить. Надо будет копнуть поглубже».

Он снял трубку:

— Увести!

Вызвал лейтенанта Тихонова:

— Поинтересуйтесь кражами, подобными той, что совершена в квартире Лукошко. Особенно теми, что остались нераскрытыми. Не удастся ли напасть на похожий почерк...

— Вы имеете в виду почерк Клебанова?

— Именно. Сдается мне, что это не случайное грехопадение. Действовал он как заправский взломщик...

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!

В первое мгновение Коноплев не узнал вошедшего. Благообразный мужчина в соломенной шляпеканотье, из-под нее выглядывают стриженные в кружок седые волосы. Брови, усы, борода — тоже седые. Интеллигентно поблескивают круглые стекла очков.

— Беру на себя смелость напомнить — мы с вами знакомы. Имел честь принимать у себя дома. Николай Иванович, если не ошибаюсь?

Стоя в дверях, профессор Александровский внимательным взглядом окинул кабинет. И Коноплев тоже огляделся, словно увидел свою комнату заново. Стол, два стула, сейф, лампа, графин с водой, телефон — вот и все нехитрое убранство присутственного места. Невольно вспомнился богатый и красочный мир профессорской квартиры, где вещи не только выполняли утилитарную функцию, но и как бы участвовали в жизни своего владельца, делая ее многомерной, протяженной в пространстве и времени. Они, эти вещи, хранили в себе память поколений и

вели нескончаемый безмолвный разговор по их поручению и от их имени...

«Неплохо было бы, — подумалось Коноплеву, — если бы и казенные помещения выглядели не так казенно. В последнее время много говорят о современных интерьерах. Жаль, что до нас это еще не дошло...»

— Чему обязан? — помимо своей воли подпадая под влияние старинного строя профессорской речи, спросил Коноплев и склонил голову набок: так обычно делал, ожидая ответа собеседника, Александровский.

— Что? Ну да, конечно, я сейчас все объясню.

По выражению растерянности, промелькнувшей на лице профессора, Коноплев понял, что если у того и была какая-то конкретная причина для прихода сюда, на Петровку, то начинать с нее ему явно не хотелось.

Николай Иванович взял инициативу в свои руки:

— Очень хорошо, что вы пришли. Я вот о чем хотел вас спросить... Откуда появляются в наше время и в нашей стране столь обширные и дорогие частные коллекции?

В голубых глазах Александровского светилось понимание:

— Вы хотите сказать, можно ли нажить такую коллекцию, как, например, моя, честным путем?

— Не о вас речь, дорогой профессор. Не о вас! — поднял вверх обе руки Николай Иванович.

Александровский, не обращая внимания на эту фразу и этот жест, задумчиво заговорил:

— С чего началась моя коллекция? С небольшого эскиза Репина, который я отыскал в 1914 году, будучи еще мальчишкой, на Кузнецком мосту. А потом пошло, пошло... Во времена больших потрясений вещи резко меняют свою цену, и картина Сурикова стоит меньше полбуханки ржаного хлеба. В собрании любого коллекционера, даже честного, — ваш покорный слуга относит себя к их числу — оседают эти отмеченные человеческим горем ценности, иногда миновав ряд нечестных рук.

— Понятно, — вставил Николай Иванович.

С неожиданной резкостью Александровский перебил его:

— Да нет... Вам этого не понять! Когда приходишь к пределу, положенному для твоей жизни, мысли эти — об истоках коллекции и о конечной цели твоих усилий, если хотите — о смысле жизни, мысли эти одолевают днем и ночью... Это нелегкие мысли, поверьте, ох, какие нелегкие!

— Ну почему же... если коллекция нажита честным путем, — начал было Коноплев, но Александровский вновь перебил его:

— Я не об этом! Поймите, собирательство *для себя*, без венчающего действия — *от себя*, бессмысленно!

Запальчиво выкрикивая эту фразу, Александровский мотнул головой, волосы разлохматились, образовав вздыбленный кок, придав профессору воинственный и немного смешной вид.

— Скажите, а Семена Григорьевича Лукошко эти мысли волновали? О смысле коллекционирования, о судьбе коллекции? — спросил Николай Иванович.

— О! Лукошко мог стать великим коллекционером. Но, увы, не стал... Вот я вам опишу одного человека, а вы попробуйте угадать, кто это. Сумрачен, неразговорчив, не улыбочив, скуп, потребности минимальные: из года в год — щи да каша на обед, костюм носит десятилетиями, одержим только одной страстью — страстью собирательства, настойчив, фанатичен в достижении цели...

— Отгадать нетрудно, вылитый Лукошко!

— А вот и не угадали! Я описал вам другого собирателя — Павла Михайловича Третьякова. Вот он был замечательный человек! Сын замоскворецкого купца второй гильдии, Третьяков начал с приобретения довольно скромной картины Шильдера «Искушение», а окончил свое собирательство спустя тридцать лет, имея в двадцати двух залах своей галереи более 1200 картин выдающихся русских художников... А вам знакомо имя Сергея Михайловича Третьякова? Это родной брат Павла... Он собрал и завещал Москве 84 картины иностранных живописцев. Немалый щедрый дар... А вы вот его не знаете. Не смущайтесь, о нем мало кто слышал. Что тут удивительного? Он был всего лишь собиратель. Роль его брата, Павла Михайловича Третьякова, несоизмеримо выше! Начав как коллекционер, он со временем

стал деятелем русской культуры, материально и морально поддерживал художников, заказывал им картины, во многих случаях был их первым и строгим судьей! Цель собирательства — вот что определяет нравственную ценность усилий собирателя!

— Вы об этом говорили с Лукошко?

— Сколько раз! Но он пропускал мои слова мимо ушей, как будто это не касалось его. Казалось, он собирается жить вечно, как Агасфер! — Александровский горько усмехнулся. — Однажды я спросил Лукошко напрямик: неужели ему безразлично, что станет с его коллекцией после смерти...

— И что он?

— Он ответил: вам, мол, хорошо рассуждать на эти отвлеченные темы... Он так и выразился — «отвлеченные темы»... «Ваша коллекция или завершена или близка к завершению... а я еще только на полдороге». И перевел разговор на табакерку с изображением Наполеона — не уступлю ли я эту вещицу за умеренную цену. Я сказал, что нет — ни за умеренную, ни за баснословную.

— А он?

— Помрачнел, замкнулся в себе. И ушел.

— А почему вы в прошлый раз, при первом нашем свидании, не сказали, что Лукошко интересовался этой табакеркой?

Александровский растерянно развел руками:

— Да потому что вы не спрашивали... А потом — мало ли чем он интересовался! Ему у меня все нравилось. Глаза у него были завидующие!

— А руки загребушие... — пробормотал Коноплев.

— Что?

— Не обращайтесь внимания, так сказать, реплика в сторону... Итак, Лукошко, говорите вы, будущая судьба его коллекции не волновала?

— Мне так казалось. Вначале, но потом я получил от Семена Григорьевича письмо. Я буквально на днях вспомнил о нем, разыскал среди своих бумаг, поверьте, это было нелегко, и вот принес... Это — причина моего прихода к вам.

Александровский полез в карман и извлек оттуда аккуратно сложенный вчетверо листок. Коноплев прочел:

«Глубокоуважаемый Георгий Дмитриевич!

Пишу Вам это письмо потому, что не могу не написать. В одном из своих прекрасных сонетов Петрарка писал о горечи «позднего меда», имея в виду любовь. Но трижды горше «поздний мед» мудрости! Я познал его и теперь хочу Вам сказать, что Вы были правы, тысячу раз правы! Страсть собирать имеет оправдание только тогда, когда на смену ей приходит другая страсть: страсть отдавать. Впрочем, что я говорю! Желание отдавать нельзя назвать страстью, потому что страсть — стремление, не повинующееся разуму. Потребность же одарить мир и людей глубоко разумна.

Я, старый уже человек, посвятивший всю свою жизнь собирательству, говорю сегодня: будь проклята владевшая мною окаянная страсть, ввергшая меня во множество страшных грехов и в том числе — в тяжкий грех перед Вами. Я с радостью пришел бы к Вам и слезами искупил бы свою вину. Но не могу сейчас... Может, позднее, потом, когда найду в себе силы.

С. Лукошко».

— А чем это он так провинился перед вами?

— Ума не приложу. Странное какое-то письмо. Может быть, не стоило его вам приносить?

— Нет, нет... Вы очень хорошо сделали, что пришли. Письмо и вправду странное. Как будто не Лукошко писал, а кто-то другой. Вы разрешите оставить его у себя? Я хочу поразмыслить над письмом на досуге.

— Ради бога! Счастлив быть вам полезным.

Еще утром, до начала работы, Коноплев заскочил в гастроном «Новоарбатский» и купил там три банки детского питания с названием, более подходившим средству для натирки полов, — «Лиолак». Теперь он вытащил его из шкафа, уложил в пластиковый пакет и отправился к следователю.

Ерохин, принимая банки, вежливо поблагодарил Николая Ивановича, однако радости большой не высказал:

— Понимаешь, у внучки аллергия, красные такие пятнышки вот здесь и здесь... Я и думаю: не от этого ли заграничного питания? Мне мать, бывало,

хлебного мякиша нажует, в тряпицу завяжет — и все мое питание... И никакой аллергии. Сколько я тебе должен?

После того как денежный расчет был произведен, Коноплев принялся излагать Ерохину свой план розыска подружки Лукошко.

Следователь по своей привычке, прежде чем ответить, подумал минуты две, катая ладонью по столу шариковый карандаш и хмуря брови, потом сказал:

— Ну отыщем мы твою Прекрасную Даму... Толку-то что? Разве это приблизит нас к главному — к обнаружению убийцы?

Коноплев принялся терпеливо убеждать Ерохина.

Судя по всему, незадолго перед смертью в жизнь Лукошко вошла Женщина. Не просто женщина (случайных знакомых у неугомонного старика было немало), а именно Прекрасная Дама. История не совсем обычная, можно даже сказать — невероятная, учитывая довольно-таки преклонный возраст Семёна Григорьевича и отсутствие в нем, казалось бы, какой бы то ни было склонности к романтике и сентиментам. Но факт оставался фактом. На склоне лет к Лукошко пришла любовь.

Коноплев сослался на свидетельство соседки Лукошко Изольды. Семен Григорьевич и его подруга тайком, прячась от посторонних взоров, поднимались по черной лестнице, затем входили на пожарный балкон и, отодвинув в сторону кусок оргалита, которым была заделана дыра в переборке, незамеченными проникали в квартиру с антресолями. Балконная дверь в такие дни Семеном Григорьевичем была предусмотрительно отперта, а сигнализация охраны отключена. Николай Иванович живо вообразил, как Лукошко и его подруга, разгоряченные этим приключением, напоминавшим им далекие дни молодости, оказывались наконец в своем убежище, обменивались быстрыми взглядами, короткими, исполненными чувства фразами, громко и весело смеялись, забывая, что голоса их проникают на лестничную клетку, достигая ушей ревливой сплетницы Изольды.

— Но нам что до приключений этого старого греховодника! — воскликнул Ерохин. — Какое это имеет отношение к делу?

— Самое прямое! — увлекаясь, отвечал Коноплев.

Неожиданно обрушившееся на Лукошко чувство захватило его с такой силой, что он подверг уничтожающей критике всю свою прежнюю жизнь, все свои взгляды и привычки. Можно сказать, что он перестал быть самим собой!

Проверяя показания Пустянского, Коноплев тщательно расследовал странную — до нелепости — историю с картиной, которую принес этому типу Лукошко. Да, все было так, как рассказывал Щеголь. Николай Иванович разговаривал с братом и сестрой, которым ранее принадлежала картина. Они оба почти с фотографической точностью запечатлели в своей цепкой детской памяти все — и лисью повадку Лукошко, пытавшегося поначалу выдать себя за бескорыстного друга их умершей матери, и его расчетливость, нечеловеческую жадность. Они вспомнили, как он, аккуратно отведя от груди полу пиджака и скособочившись, старательно отстегивал большую английскую булавку, которой для надежности был пришпилен карман, как вылавливал с его дна потерянный бумажник, перетянутый посередине черной резинкой, как тонкими и длинными пальцами музыканта отсчитывал денежные купюры, а потом вновь и вновь — до неприличия! — перепроверял себя, не ошибся ли. Обычно люди стесняются на глазах у других людей пересчитывать деньги, демонстрируя свою скаредность, но для этого противного старикашки (выражение сестры) не существовало никаких ограничений, ему было в высшей степени наплевать на то, как он выглядит со стороны и что о нем могут подумать.

И вдруг цепь совершенно непонятных поступков — продажа картины музею и возвращение брату и сестре всех причитающихся им денег! Сначала сироты ничего не могли понять в этой истории, потом объяснили происшедшее внезапно пробудившейся в старике совестью. Верное объяснение! Совесть в Семене Григорьевиче действительно пробудилась, но, конечно, не сама собой. Коноплев объяснил невероятный поступок Лукошко уже начавшим проявляться магнетизмом Прекрасной Дамы.

А письмо Семена Григорьевича коллекционеру Александровскому? Разве оно тоже не свидетельст-

уует о невероятном перевороте, происшедшем в душе Лукошко, о полном пересмотре им всех своих нравственных, а вернее сказать, безнравственных устоев?

— Я уверен, что убийство Лукошко самым непосредственным образом связано с теми переменами, которые произошли в нем за последнее время. Пролить свет на эти перемены — значит установить подлинные мотивы преступления. А узнав мотивы, уже нетрудно будет выйти на след преступника.

— Ну хорошо, сдаваясь, проговорил Ерохин, — допустим, что все так и было, как ты... присочинил... Допустим... Но где она, твоя Прекрасная Дама? Почему таится? Если бы она была такой, какой ты ее описал, разве она стала бы прятаться после его смерти? Нет, она бы нам с тобой все телефоны оборвала, успела бы начальству десять раз пожаловаться на то, что мы затянули розыск убийцы. Так или не так?

Николай Иванович вынужден был признать правоту Ерохина. Человек, созданный воображением Коноплева, стал бы действовать именно так... Значит?..

Коноплев помрачнел. Неожиданно для себя сказал:

— В свое время Тихонов высказал предположение, что трупов было два...

— Кто такой — Тихонов?

— Лейтенант... Он сейчас в нашем отделе работает.

— А-а... — Ерохин небрежно махнул рукой. — Ты верь больше этим лейтенантам. Они такое напридумывают.

— Пойдите, пойдите... — пробормотал Коноплев и замер. На периферии его сознания забрезжила сначала неясно, а потом все сильнее, все отчетливее одна догадка. Она нуждалась в немедленной проверке. Изложив ее Ерохину и получив его согласие на целый ряд неотложных розыскных действий, Коноплев стремительно вышел из кабинета.

С фотографии на Коноплева внимательно смотрела безгрешным взором человека, которому ведомы только светлые стороны жизни, красивая женщина

лет сорока. Сейчас, согласно полученным в ЖЭКе данным, вдове дирижера музыкального театра Смирницкого Ольге Сергеевне — пятьдесят. Значит, снимок сделан лет десять назад. Николай Иванович постарался представить себе изображенную на снимке женщину постаревшей, с лапками предательских морщинок у глаз и возле губ, с оплывшими чертами лица, но не получилось. Жена Коноплева не так давно видела в театре Ольгу Сергеевну. У Танюши сохранилось воспоминание о ней как о женщине привлекательной и достойной.

— Вот именно — достойной! — сказала она мужу — это слово как никакое другое определяло ее сущность. Такие женщины с юных лет и до седины верны раз и навсегда выбранным нравственным идеалам, чрезвычайно строги и взыскательны как по отношению к себе самим, так и к окружающим. Неудивительно, что она так бурно реагировала на подлый поступок Лукошко!

Лейтенант Тихонов, побывавший в доме, где жила Смирницкая, кроме фотокарточки (он снял ее с жэковской доски Почета — Ольга Сергеевна была активная общественница) принес сведения, которые настораживали. Месяца два назад Ольга Сергеевна куда-то уехала. Обстоятельство это в доме беспокойства не вызвало, поскольку в последнее время она не раз заговаривала с соседями о своих планах поехать погостить к своей дальней родственнице. «Если понравится на новом месте, то и останусь там. Здесь не могу, все напоминает мне о муже...» Розыски близких и дальних родственников Ольги Сергеевны, предпринятые по поручению Коноплева лейтенантом Тихоновым, не дали результатов. Большинство из них не пережили долгих блокадных зим Ленинграда.

С разрешения прокурора в квартире Ольги Сергеевны был произведен обыск. В ящике тумбочки лежали паспорт и пенсионная книжка — документы, без которых люди обычно в дорогу не отправляются...

Коноплев показал фотографию Ольги Сергеевны Виталию Пустянскому. Не узнаёт ли он в этой гражданке ту даму, которая была с Лукошко на выставке фарфора?

Он ответил неопределенно:

— Кажется, та была гораздо старше. Может, Марина запомнила? Она художница. У нее глаз наметанный.

Марина ответила:

— Лица не запомнила, больше смотрела на ее платье. Серое, отделанное серебряными кружевами... И нитка жемчуга... Настоящего. Очень красиво.

Коноплев, прихватив с собой Марину, вновь отправился на квартиру Ольги Сергеевны. В присутствии понятых распахнули дверцы шкафа. Марина воскликнула:

— Да вот оно! — Среди немногочисленных нарядов висело серое шерстяное платье, отделанное серебряными кружевами. Марина подтвердила: да, на выставке фарфора вместе с Лукошко была владелица этого платья. Сомнений нет.

Соседям, почтальону, участковому врачу предъявили фотографию Семена Григорьевича. Интересовались: не видели ли они этого человека у Ольги Сергеевны. Утвердительный ответ дал только один человек — врач, молодая энергичная женщина.

— Я на этом участке недавно, примерно с год, — сказала она. — Приезжаю однажды по вызову, дверь открывает этот гражданин... Я его сначала за мужа больной приняла. Потом уже узнала, что ошиблась, муж ее незадолго до этого умер. Она объяснила: это сослуживец мужа. Друг, что ли...

— И часто этот сослуживец бывал у нее? — спросил Коноплев.

— Да все время, пока она болела. Тихий, услужливый. Он ее, можно сказать, выходил, спас. Она тяжело болела.

Итак, еще одна, пожалуй, самая смелая гипотеза Коноплева подтвердилась. Ольга Сергеевна Смирницкая и была той самой Прекрасной Дамой, которую он разыскивал. Еще недавно она и Лукошко были врагами, причем врагами непримиримыми, потому что за их плечами лежали по-разному прожитые жизни. И казалось, не было на всем белом свете такой точки, где могли бы пересечься линии их судеб.

Что могло объединить эту гордую и чистую женщину с прохиндеем Лукошко? Судя по всему, ничего. Эти двое людей находились по разные стороны границы, отделяющей добро от зла.

Почему же Коноплеву пришла в голову мысль попытаться соединить их жизненные линии, их судьбы? Прежде всего — таинственность, которой были окутаны отношения Лукошко с его новой знакомой. Эта таинственность была бы объяснима, если бы речь шла о романе существ совсем юных, еще не вышедших из-под родительской опеки, или, наоборот, людей зрелых, но не свободных, связанных узами брака, мешавшими им свободно отдаться своей страсти. Здесь случай был иной.

Если этой Дамой была Ольга Сергеевна, то все становилось ясным и понятным. Женщина, недавно потерявшая любимого мужа, дорожившая его памятью, не могла в глубине души не считать если и не преступлением, то позором новые близкие отношения. И с кем? С Семеном Григорьевичем, человеком, который совсем недавно пытался самым подлым образом обмануть ее, выманить за бесценок дорогую для нее вещь. Если такое с ней произошло, если Лукошко удалось каким-то непонятным образом увлечь ее, то, конечно, первым делом она должна была позаботиться о том, чтобы сохранить новые отношения в тайне. От кого? Конечно, прежде всего от оркестра, коллектива, с которым на протяжении многих лет была крепко-накрепко связана жизнь ее мужа, дирижера, и ее собственная жизнь и мнением которого, как она знала, нельзя было пренебречь.

— Не понимаю, зачем ей нужно было говорить соседям, что собирается уехать к родственнице, если у нее этой самой родственницы даже в наличии не имеется? — спросил Тихонов у Коноплева, когда они после осмотра квартиры Ольги Сергеевны возвращались на Петровку.

Николай Иванович и сам уже задавал себе этот вопрос. Неожиданно родился ответ:

— Я думаю, они с Лукошко собирались съехать. Жить хотели у него, там ведь коллекция, ее не бросишь. Вот она и придумала этот свой отъезд к дальней родственнице, чтобы в доме не знали о ее вторичном замужестве.

— Почему это надо было скрывать?

— Стеснялась соседей. Любимый муж совсем недавно умер, а она уже нового завела. И потом, ведь

ей уже пятьдесят. В этом возрасте люди не любят выставлять своих чувств напоказ.

— И где же она теперь? Неужели...

Коноплев не ответил. Отвернувшись, смотрел в окно «Москвича» на ажурные ограждения Большого Каменного моста и дальше — вниз, на блестящую реку, по которой стремительно двигался навстречу течению белый речной трамвай.

В пять утра, когда под напором солнечных лучей лиловые шторы на окне стали нежно-сиреневыми, Николай Иванович, стараясь не шуметь, встал с кровати и отправился в соседнюю комнату. Там в углу стоял маленький письменный столик, за которым он дома работал. Достал из ящика лист со знакомой схемой... Лента реки... Крымский мост... Чуть ниже его, напротив здания Картинной галереи, крестиком помечено место, где выловлен труп Лукошко. А выше моста — другой крестик. Его Николай Иванович нанес на бумагу вчера...

Несколько дней назад, давая поручение лейтенанту Тихонову, Коноплев сказал:

— Не такой человек Ольга Сергеевна, чтобы после смерти Лукошко уехать куда-то к родственникам и там затаиться. Скорее всего, она, так же как и он, пала жертвой убийцы. Поговори-ка еще раз с экспертами...

Наутро Тихонов доложил:

— Есть новости, товарищ подполковник... По нашей просьбе товарищ Подгорцев еще раз исследовал веревку, которой обвязан был труп Лукошко. Веревка перетерта. В ней обнаружены древесные частицы. Должно быть, какая-нибудь свая...

— Если бы свая, то она торчала бы из воды... Ты бы ее давно углядел...

— Она может и не выглядывать из воды.

— Как же ты тогда ее отыщешь?

— Речники обещали помочь.

Снова ожидание... И снова новости... Обнаружены затопленные сваи метрах в 700 от того места, где выловлен был труп Лукошко. Сегодня в семь утра туда на катере из Речного порта отбыла бригада, в составе которой находились Тихонов и аквалангист.

Коноплев взглянул на телефонный аппарат, и тот, словно подчиняясь неслышиму приказу, тотчас же зазвонил:

— Нашли, Николай Иванович!

Лейтенант Тихонов звонил из телефона-автомата. Аппарат был неисправен, голос сопровождался каким-то неприятным дребезжанием.

— Ну!

— Она это, товарищ подполковник. Сомнений нету.

— Не торопись, подожди заключения экспертизы.

— Да нет, она это, товарищ подполковник, — уверенно произнес Тихонов. — Тот же целлофан, та же веревка, тот же брезент. Кому же еще быть?

...«Смерть наступила от механической асфиксии органов шеи...» — Коноплев отодвинул заключение медэкспертизы и встал из-за стола. Почему не просто написать — «шеи»? По выработавшейся за долгие годы привычке он иногда нарочно заставлял себя фиксировать внимание на мелких, незначительных подробностях, чтобы не дать страшной картине завладеть его воображением, потрясти, лишить способности рассуждать. Лишь спустя некоторое время, когда первые впечатления, вызванные второй находкой в Москве-реке, улягутся, он оценит происшедшее в полном объеме. Так что к моменту похорон Ольги Сергеевны Смирницкой он уже будет иметь точный план дальнейшего розыска.

...Ваганьковское кладбище, где должны были состояться похороны несчастной вдовы дирижера Смирницкого, являло собой тревожащее зрелище вечной борьбы жизни и смерти. Смерть напоминала о себе бесконечной чередой маленьких загончиков, обнесенных, в зависимости от возможностей, желаний и достатка наследников, разномастными железными оградками — от самых хилых, крашенных масляной краской или вовсе некрашенных, ржавых, до чугунных, кованых по заказу. Так же разнились друг от друга и сами надгробия: одни хватали за душу молодостью усопшего, глядевшего с вкрапленной в скромный камень фотографии, другие тешили взор матовым блеском мраморных изваяний и свер-

канием витиеватых золоченых надписей. Однако и бедные надгробия, и богатые, аляповато-безвкусные, и, наоборот, сделанные с отменным вкусом и тщанием — все они в равной степени свидетельствовали об одном и том же — о беспощадной жестокости смерти, с которой не может примириться ничто живое. Взгляд так и норовил зацепиться за все, что говорило не о смерти, а о жизни, непрерывности ее процесса; прилив радости вызывали и бурный рост зеленой травы по обе стороны утопанной сотнями ног дорожки, а также там, за оградами могил, и яркость цветов, положенных кем-то на беломраморную плиту, и щебетание птиц над головой, и движение пухлого облака в ярко-голубом, прогретом майскими лучами небе.

Шуршали приглушенные голоса:

— Бедная, бедная. Такая милая женщина! Кто бы мог подумать, что у нее есть враги...

— Это все он... Если бы она с ним не связалась...

— Он и она... кто бы мог подумать!

— А что, этот ее скрипач тоже здесь похоронен?

— Да нет... Он на Немецком кладбище... А ее хоронят рядом с мужем, за оградой есть место...

— С мужем... Знал бы — в могиле перевернулся...

— Чего в жизни не бывает...

— Так-то так, да ужас-то какой!

— Не говорите...

Коноплев стоял в толпе, прислушиваясь к разговорам и внимательно приглядываясь к собравшимся. Народу, к его удивлению, было много. Пришли сослуживцы Лукошко и мужа Ольги Сергеевны, музыканты оркестра. Их привело сюда желание узнать хоть что-нибудь определенное о страшной и загадочной гибели двух знакомых им людей. Однако, судя по вспыхивавшим то тут, то там разговорам, никто ничего толком не знал. Да и что тут удивительного, сам Коноплев, которому по должности полагалось все знать, еще только-только начинал поднимать завесу над случившимся.

— Привет!

— Привет! — Николай Иванович повернулся, давая место рядом с собой следователю Ерохину. — Как вы думаете, он здесь?

Под словом «он» Николай Иванович подразумевал

не кого-нибудь, а убийцу, которого, согласно широко распространенному в народе поверью, обычно приводит к могиле жертвы нечистая совесть. Ерохин понял его, он хмыкнул, не одобряя несерьезности Коноплева, и отвернулся, оглядывая участников похорон.

— Здравствуйте, Николай Иванович!

Коноплев резко обернулся и увидел Бориса Никифоровича Зайца. После неприятного объяснения по поводу пропавших скрипок Николай Иванович меньше всего был расположен к общению с историком. Однако тот заговорил с ним как ни в чем не бывало:

— Вас, конечно, интересует, что привело меня сюда, на кладбище, в эту юдоль печали и скорби? Должен вас огорчить — не больная совесть преступника... Нет... Я имел честь быть знакомым с мужем Ольги Сергеевны, дирижером Смирницким. Неоднократно бывал у них в доме...

— Значит, ваш интерес к музыке не ограничивается интересом к старым скрипкам? — спросил Николай Иванович.

Заяц болезненно поморщился:

— Далась вам эта скрипка... Кстати, как идет розыск убийцы Лукошко?

— Удалось обнаружить кое-что чрезвычайно интересное, — с подчеркнутой нарочитостью произнес Коноплев.

— Что именно? — на лице Зайца промелькнуло выражение беспокойства. — Впрочем, это не мое дело. Желаю удачи...

— Пропустите, пропустите... Дайте пройти! — энергично расталкивая толпу, к могиле пробиралась немолодая уже, ярко накрашенная женщина. Это была соседка Лукошко Изольда. Узнав Коноплева, она нахмурилась и отвернулась. «Не везет тебе, голубушка, на ухажеров, — подумал Коноплев. — Одни в могиле, другой в тюрьме теперь. Только и остается, что по кладбищам бегать».

— Как, вы тоже здесь? — раздался над ухом Коноплева тихий интеллигентный голос. Николай Иванович обернулся и увидел профессора Александровского. Подполковник не мог скрыть удивления:

— А вас что сюда привело? Вы ведь, кажется, не знали покойной.

— Стариков тянет на кладбище, — туманно ответил коллекционер. — Должно быть, не терпится увидеть, что нас ждет в ближайшем будущем.

— Ясно — что... Как сказал Гете, смерти можно бояться или не бояться — придет она неизбежно.

На лице Александровского появилось досадливое выражение:

— Я не люблю разговоров о смерти. Даже на кладбище стараюсь думать о жизни. Тем более что в тяжбе с мертвыми живые всегда правы...

— В том числе и их убийцы?

Александровский опустил голову, так что седая борода уткнулась в грудь. Задумался. Сказал:

— О мертвых — или хорошее или ничего. Но вот какая мысль не отпускает меня: откуда грабители, побывавшие в моей квартире, смогли узнать, где хранится ключ от сейфа?

Коноплев заинтересовался:

— А Лукошко знал, где находится этот ключ?

— Знал... Однажды, желая показать ему одну вещь, я на его глазах открыл сейф.

— А кроме него никто?

— Никто!

— Уж не об этой ли своей вине перед вами он пишет в своем письме?

Александровский приблизил свое заросшее седыми волосами лицо к лицу Коноплева и шепнул:

— Как вы думаете, такое возможно?

Коноплев не успел ответить. Какой-то мужчина начал произносить речь у могилы. Поминал он главным образом не Ольгу Сергеевну, которую, по-видимому, знал плохо, а ее ранее умершего мужа, своего сослуживца. Как только оратор закончил, двое здоровых мужчин стали подводить под гроб широкие брезентовые ремни, подобные тем, какими пользуются грузчики мебельных магазинов, переноса тяжелые вещи.

Вдруг в толпе произошло движение, люди зашептались. Коноплев оглянулся и увидел Митю, сына покойного Лукошко. Тот появился на дорожке вместе с каким-то пестро одетым молодым человеком, помогавшим ему тащить большой венок из бу-мажных цветов. Жидковатые Митины волосы раз-лохматил ветер, но он не мог поправить прически,

потому что руки были заняты венком. Бледное лицо выглядело расстроенным, лицо же его франтоватого спутника не выражало ничего, кроме брезгливости. Видно, ему было неприятно на глазах у всех тащить этот венок.

Гроб опустили в заранее приготовленную узкую щель могилы и засыпали землей. Люди стали расходиться. Коноплев ускорил шаг и поравнялся с Митей и его спутником.

— Я же говорил, что это глупость... — недовольным голосом выговаривал Мите его приятель.

— Кеша, ты ничего не понимаешь.

— Извините, Дмитрий Семенович, можно вас на два слова...

Митя с облегчением отвернулся от наседавшего на него приятеля, но, узнав Коноплева, помрачнел.

— Вы? Чем могу быть вам полезен? — пробормотал он.

Коноплев попридержал шаг, удерживая Митю рядом с собой.

— Вы принесли такой шикарный венок. Вы знали эту женщину?

— Нет. Не знал. — Митя важно надул щеки и склонил голову: — Кто бы она ни была... Но отец любил ее. Я не мог остаться равнодушным к ее гибели.

— А откуда вы знаете, что отец ее любил? Он что — говорил вам об этом?

— Ничего он мне не говорил. Но слухом земля полнится. В оркестре все знают, от них ничего не скроешь.

— Послушайте, Дмитрий Семенович, а вы не задавались вопросом: почему их убили обоих?

— Откуда я знаю?! Почему вы меня спрашиваете? Спросите лучше того, кто это сделал!

— Вы имеете в виду...

— Пустянского! Это он! Мерзавец! — Митя поднес руку ко рту, вцепился в нее зубами, как бы удерживая рвущееся из груди дыхание.

— Вы его когда-нибудь видели?

— Пустянского? — В Митиных глазах была мука. Он пошлепал влажными губами, затряс головой: — Нет, я его никогда не видел! Боже, как мне это все надоело!

— Что именно?

— Все, все! Весь этот кошмар... Все эти трупы, похороны. Я ему говорил, да, я ему говорил... Сколько раз! Он не послушал. А теперь и сам в могилу ушел, и ее с собой прихватил!

«А он, оказывается, истерик».

— Можно, я пойду?.. Мы спешим.

— Конечно, идите... С вашего разрешения, я к вам зайду на днях. Хочу еще раз взглянуть на коллекцию.

— Хорошо, — сквозь зубы процедил Митя и вприпрыжку бросился вслед за своим приятелем. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру Мити с покатыми плечами и по-женски широким тазом, Коноплев вдруг вспомнил: Пустянский как-то упомянул, что в тот день, когда он впервые перешагнул порог квартиры Лукошко, дверь ему отворил сын. Между тем Митя только что сказал, что никогда не видел Пустянского. Конечно, он мог знать его в лицо и не знать по фамилии... Надо будет выяснить, в чем тут дело.

После окончания похорон Коноплев вместе со всеми неторопливо направился к кладбищенским воротам. Поискал глазами Ерохина, однако не нашел, по-видимому, тот ушел раньше. Конечно же теперь, когда отыскалась вторая жертва, следовательно с удвоенной энергией будет требовать от Николая Ивановича ускорить розыск убийцы.

МАТЬ И МАЧЕХА

— Ну? — спросил Николай Иванович.

Лейтенант Тихонов, голубоглазый, скромный, точно девушка, присел на уголок табурета и, облизнув языком свежие яркие губы, сказал:

— Кое-что есть...

— Выкладывай! Не тяни...

Коноплеву нравился этот парень. Сила из него не перла наружу, как у Сомова, не выхлестывала водоворотом слов, как у Ворожеева, но была запрятана глубоко, и запасы ее, еще как следует не разведанные, могли оказаться огромными. Почему-то Коноплев верил, что так оно и окажется.

Тихонов начал без подготовки, не заглядывая в папку, которую держал на коленях:

— 16 октября прошлого года совершено хищение в квартире гражданки Лопатиной Антонины Дмитриевны, проживающей по адресу: Шаболовка, дом 33, квартира 47.

— Кто-нибудь привлекался?

— Гражданка Лопатина показала, что кража — дело рук ее бывшего воспитанника Ивана Булыжного, который однажды, будучи в нетрезвом виде, пытался силой вломиться к ней в квартиру и выкрикивал по ее адресу всевозможные угрозы, что могут подтвердить многочисленные соседи. Они выбежали на лестничную клетку, привлеченные шумом... По этому сигналу местным отделением милиции было произведено дознание. За неимением доказательств, уличающих Булыжного в хищении, дело было прекращено.

— Что же вам дает, Тихонов, основание считать, будто это дело представляет для нас интерес?

— Дверь квартиры Лопатиной была вскрыта посредством отмычки...

— И это все?

— Нет, не все... Отмычка изготовлена по слепку. Из замка были извлечены частицы пластилина.

— Химанализ делали?

— Вот результаты.

Тихонов извлек из папки и положил перед Коноплевым листок — акт экспертизы.

— А где второй? — неторопливо произнес подполковник.

Тихонов улыбнулся — они с Коноплевым понимали друг друга с полуслова, и это, по-видимому, было ему приятно — и положил рядом с первым актом второй.

— Этот — по квартире Лукошко?

— Да...

— И что — совпадают?

— Убедитесь сами.

— Что еще?

— Из опроса соседей удалось выяснить, что за несколько месяцев до ограбления у Антонины Дмитриевны появился жених. Ходил недели две, распивал чай с вареньем. А потом скрылся: не сошлись характерами.

Теперь Коноплев с одобрительной улыбкой смотрел на молодого лейтенанта:

— Внешность жениха я тебе сам опишу. Коренастый, ходит вразвалку, а под левым ухом...

Тихонов кивнул:

— Жировик...

— Клебанов! Ну что могу тебе сказать... Молодец! Напишу рапорт начальству с просьбой отметить в приказе.

— Это еще не все...

По блеску тихоновских глаз подполковник понял, что его ждет еще одна интересная новость.

— Благодарности в приказе, я вижу, тебе мало. Медали захотелось?

Природа наградила Тихонова редкой зрительной памятью. Стоило ему, хотя бы мельком, увидеть человека, как тот запечатлевался в его памяти. Правда, последний случай был довольно сложный, даже для Тихонова.

Пострадавшая, дородная, пышущая здоровьем дама по имени Антонина Дмитриевна обрушила на молодого красивого лейтенанта такой водопад восклицаний, жарких вздохов, нежных обволакивающих взглядов, что поначалу он заробел и начал думать только о том, как бы поскорее покинуть это просторную, все еще богатую, несмотря на недавнюю кражу, квартиру, вырваться из полных, но мощных рук ее хозяйки. Однако сработало профессиональное любопытство, особый локатор, чутко улавливающий все то, что хотя бы как-то могло иметь отношение к расследуемому делу. Тихонову показалось странным, что Антонина Дмитриевна, вопреки фактам, явно уличавшим ее бывшего жениха Клебанова в совершении неблагоприятного поступка, всю ответственность за ограбление упрямо валила на своего бывшего воспитанника Ивана Булыжного. Она до того разгорячилась, что сорвалась с места, выхватила из серванта деревянный ларец, на крышке которого масляными красками неумело были изображены озеро и плывущий по нему лебедь, и, вывалив на стол груду фотографий, принялась в ней судорожно рыться.

— Вот этот байстрюк! Только поглядите на него!

Набычился, взгляд исподлобья, губу закусил, того и гляди, гадость какую-нибудь выкинет. Где были мои глаза, зачем ввела его в свой дом, это же преступник, готовый преступник! Что хотите говорите, а я буду твердить свое: это его работа. Он ко мне забрался, больше некому.

Тихонов взглянул на фотографию мельком — парень как парень, худоват только, а так ничего, и почему только Антонина Дмитриевна на него взялась — непонятно. Но вдруг заинтересовался: что-то в лице паренька, изображенного на порывежней любительской фотографии, показалось ему знакомым. Поинтересовался, нет ли других, более поздних снимков Булыжного.

Антонина Дмитриевна, углядев во внезапно вспыхнувшем у лейтенанта интересе к Булыжному доказательство справедливости своих подозрений, с готовностью назвала адрес («...он у моей бывшей домработницы поселился, в каморке под лестницей, там ему, гаденышу, и место...»), а также указала должность и место работы: инженер объединения Системтехника.

Тихонов не скрыл удивления: «гаденыш»-то, оказывается, выбился в люди, стал инженером! После некоторых раздумий он решил навестить Булыжного не дома, а на работе. Отыскав бывшую церквушку, где временно размещалось объединение Системтехника, прошел по длинному коридору, каменные своды которого источали прохладу, толкнул дверь с табличкой «Начальник». Молоденькая секретарша на вопрос, где можно увидеть инженера Булыжного, ответила: «Он сейчас на совещании». В это мгновение открылась обитая дерматином дверь и из нее, выбрасывая вперед длинные худые ноги, с недовольным видом вышел скуластый мужчина.

— Пустая говорильня! — буркнул он.

— Это и есть товарищ Булыжный, — шепнула секретарша. Тихонов целую минуту, не меньше, остолбенев, стоял возле секретарши и тупо глядел в закрывшуюся за Булыжным дверь. Теперь он точно знал, когда, где и при каких обстоятельствах видел этого верзилу.

Через полчаса он докладывал подполковнику Коноплеву:

— Я отыскал человека, который в подъезде напротив комиссионного продавал табакерку с изображением Наполеона!

— Ту, что была украдена у Александровского?

— Точно.

— И кто же этот человек?

— Иван Булыжный. И еще. Он работает в том же учреждении, что и сын Лукошко. Я его тоже сегодня там видел.

Иван Булыжный вырос в детдоме. Ни матери, ни отца, ни родственников — никого. Всех потерял в войну. Он даже не знал, откуда появилась у него эта странная фамилия — Булыжный, тяжелая, как камень сиротства, давивший на его худенькие плечи все время, сколько он себя помнил. Он был слаб здоровьем, хил, но занозист и своенравен. Приходилось ему нелегко. Неуступчивый характер без крепких кулаков немногого стоит, когда приходится жить с буйной оравой трудных подростков.

Однажды, казалось, жизнь улыбнулась ему: из нескольких десятков мальчишек и девчонок его выбрала и усыновила генеральская вдова Антонина Дмитриевна, женщина высокая, дородная, полная жизненных сил.

И вот Ванечка начал новую жизнь в огромной, но тем не менее казавшейся тесной из-за обилия заполнявших ее вещей квартире. Повсюду стояла темная тяжеловесная мебель — шкафы, серванты, буфеты, горки, столы, кресла, стулья, пуфики, на стенах почти впритык друг к другу висели картины в тяжелых золотых рамах, свободные проемы занимали тарелки, на полу лежали ковры. Много было всякой посуды, дорогой, золоченой, а также хрусталя.

Ванюшина комната (раньше здесь проживала бабушка Степанида) была обставлена попроще, победнее. Но после детдомовской скудости и она казалась мальчику роскошной.

Работая машинисткой в НИИ, Антонина Дмитриевна считала себя человеком науки и за Ванечкино воспитание взялась по-научному. Расчертила схемы и графики, в соответствии с которыми школьное образование должно было органически сочетаться с

физическим воспитанием, физическое воспитание — с эстетическим и т. д. Вернувшись из школы и сделав уроки, Ванечка тотчас должен был отправиться на уроки музыки, языка, фигурного катания.

Конечно, на одну зарплату машинистки с размахом держать такой дом, да еще вести воспитание приемыша было бы нелегко. Но Антонина Дмитриевна не тужила. Муж-генерал оставил ей немало — не только квартиру с богатейшими коллекциями мебели, картин и посуды, но и дачу, при которой имелось немалое хозяйство — сад, огород, всякая живность. В городской квартире командовала Антонина Дмитриевна, на даче заправляла дальняя родственница Степанида. С появлением в городской квартире Ванюши та была отправлена за город на постоянное жительство.

Наезжая на дачу, Антонина Дмитриевна медленно обходила сад и огород, всматривалась — нет ли какого непорядка, упущения. Заметив что-либо, начинала нервно пощипывать черные усики, к пухлым щекам прилиwała кровь. Верные признаки гнева. Заметив их, бедная Степанида клонила к земле повинную голову. Не помогало. Антонина Дмитриевна — в крик с самой что ни на есть высокой ноты:

— Почему малинник не подрезан?! Ты что, старая, думаешь, я зря тебя кормлю? А в доме пылица, я еще в прошлый раз заметила, думаю, посмотрю — уберет или нет. Ах ты, грязнуля!

Старуха стоит ни жива ни мертва, в лице — ни кровинки. Только тяжелые, в узлах голубых вен руки конвульсивно подергиваются, перебирая черный передник.

Антонина Дмитриевна успокоилась так же быстро, как заводилась.

— Ладно, — говорила она вдруг нормальным человеческим голосом. — Чтоб все мигом сделала. А сейчас иди, старая, ставь самовар, будем чай пить с черносмородиновым вареньем. Я люблю черносмородиновое, оно душистое!

О себе любила говорить: «Я вспыльчивая, но отходчивая. Зла не помню». Последнее не соответствовало истине. Была Антонина Дмитриевна сильно злопамятна, если уж что втемяшится в ее черноволосую, без седины, голову, то надолго, можно сказать, навсегда.

С таким характером кота-мурлыку воспитать трудно, не то что ребенка. Графики и диаграммы преспокойненько висели на стене детской, демонстрируя выгоды гармонического воспитания Ванюшки, а практика, увы, как нередко бывает, постыдно отставала от теории.

Однажды Антонина Дмитриевна, ступая бесшумно в своих небесно-голубых, богато расшитых бисером тапочках, подошла к открытым дверям и увидела, что ее приемыш стоит посреди детской полуголый. Смотрел в противоположную сторону, и она не видела, что он делает, низко склонив голову и выставив худые лопатки. Антонина Дмитриевна, затаив дыхание, остановилась. Хотя она очень верила в силу своего воспитания, все-таки где-то на дне души у нее постоянно гнездились подозрение, что рожденный неизвестно где и кем, возвращенный в детдоме мальчик может в любой день и час обнаружить какие-нибудь темные, порочные наклонности своей натуры. Потому она старалась постоянно держать его под наблюдением, а проще сказать — подглядывала, шпионила за ним.

И вот миг настал! Она сделала шаг вперед и грозно спросила:

— А ну-ка, что ты там делаешь, паршивец?!

Ничего такого Ванюша не сделал. Взял с маленького столика, украшенного перламутровыми инкрустациями, плоскую фарфоровую блюдку и прилепил ее к разгоряченной коже живота гладкой, приятно охлаждающей поверхностью. Убрал руку — блюдка держалась. Но не успел он обрадоваться этому достигнутому им эффекту, как за спиной раздался грозный окрик. От страха он втянул живот, и блюдка тотчас же со звоном упала на пол.

Антониной Дмитриевной мгновенно овладел привычный порыв бешенства. Во-первых, жаль было ценной фарфоровой блюдки (на ее обратной стороне можно было увидеть скрепленные голубые мечи — знак знаменитой фирмы), а во-вторых, копившиеся в ней долгие месяцы подозрения хотя и не подтвердились в их худшей части, но тем не менее не были совсем безосновательны — другой, *порядочный* ребенок никогда не позволил бы себе так варварски обойтись с принадлежавшей родителям, а следова-

тельно, и ему самому дорогой вещью. Надо сказать, что хотя Антонина Дмитриевна и не имела никогда своих отпрысков, тем не менее была, по-видимому, отлично осведомлена, как ведут себя порядочные дети, и постоянно, к месту и не к месту, ставила их в пример Ванюше.

— Ах ты, байстрюк несчастный! Чтoб тебя холе-
ра взяла! Ты зачем разбил дорогую пепельничку?

Волны гнева поднимались откуда-то из недр ее существа и овладевали ею все больше и больше. Антонина Дмитриевна чувствовала себя оскорбленной в своих лучших чувствах. Как же так! Она подобрала, можно сказать, на улице, вырвала из нищеты, грязи этого мальчишку, ввела его в приличный дом, усыновила, практически сделала единственным наследником всех своих немалых богатств (а что делать, не возьмешь же их с собой в могилу!). И этот заморыш не только не чувствует к ней благодарности, а наоборот — покушается на эти самые богатства. Этот фарфоровой пепельнице цена не менее полусотни!

Ванюшке бы захныкать, пустить слезу, попросить прощения... А он, не единожды руганый и драный — и товарищами и воспитателями за пору своего нелегкого детства выработал в себе некий вид бесчувственности. Она кричит, а он хмуро и мрачно сверлит ее своими глазенками, кулаки сжаты, голова упрямо наклонена вперед. Антонина Дмитриевна как увидела эту его бандитскую стойку, так и ойкнула и схватилась за могучую грудь. Так и есть: достался ей негодяй, подонок, а чего было и ждать — детдомовский. Тут никакое воспитание, никакие графики не помогут, недаром говорится: черного кобеля не отмоешь добела.

Она шагнула вперед, фарфоровый осколок впился в тапок, прорезал тонкую подметку, царапнул ногу. Антонина Дмитриевна совсем озверела: фарфоровую блюдку до слез жалко, а тут еще дорогие тапки погублены по его милости. И в ногу боль. Она подняла тяжелую руку и отвесила приемышу полновесную оплеуху, отчего он отлетел в угол и ударился головой о железную кровать.

Вот в эту самую минуту и был поставлен жирный крест на гармоническом воспитании, перечеркнуты

все графики и диаграммы, и все пошло наперекосяк. Хуже некуда. В школе — одни двойки, на уроки английского, в кружок фигурного катания Ванюшка — ни ногой. Она уж и била его, и уговаривала, и голодом морила — ничто не помогало.

Кто-то подсказал Антонине Дмитриевне действенную педагогическую меру — отправить мальчишку обратно в детдом, не насовсем, а на год, с условием, если исправится, будет хорошо учиться и вести себя, то его возьмут домой. А нет, пусть там остается навсегда. Ему же хуже!

Степанида, безответная старуха, тратившая последние силы в многоотраслевом дачном хозяйстве Антонины Дмитриевны, как прознала, что Ванюшку отправили обратно в детдом, так завывала в голос, ушла в свою каморку под лестницей, заперлась и не выходила три дня и три ночи. Чего только ни делала испуганная этим неожиданным бунтом Антонина Дмитриевна — и в дверь громыхала своими кулачищами, и грозилась выгнать из дому, и уговорами действовала — ничто не помогало. После старуха сама вышла из каморки и принялась за прежние хлопоты по хозяйству, но на Антонину Дмитриевну глаз не подымала, как будто ее тут и нет.

Ванюша скоро пожалел о потерянном доме. Отсюда, издалека, мелочные придирки и грозные окрики Антонины Дмитриевны уже не казались ему столь болезненно унижительными, зато вспоминалась тихая, залитая солнцем комната, сытная еда, тихая ласка бабушки Степаниды, а главное — чувство семьи, дома.

За год мальчонка переменялся — не узнать, в учебе подтянулся, воспитателям не дерзил, с товарищами наладил ровные отношения. В общем, постарался. И теперь ждет-пождет, когда за ним приедут и возьмут обратно. Директор детдома шлет Антонине письма одно за другим: мол, Ванюшка перевоспитался, не парень — золото. Приезжайте и берите, спасибо скажете. Но она молчала. Надоест писать — отвяжутся. Оказывается, она пришла к новой мысли: приемный сын ей не нужен. От него — одни хлопоты, а прибытка никакого.

А Ванюшка тем временем, смекнув, что домой его брать не хотят, совсем озверел. Учебу снова за-

бросил, грубит, дерзит, чуть что — в драку. А потом собрался — и в бега. Его задержали на Ярославском вокзале и, расспросив, доставили на Шаболовку, в генеральскую квартиру.

Антонина Дмитриевна открыла дверь и замерла на пороге, узрев своего приемного сына и стоявшую рядом с ним женщину — лейтенанта милиции.

— Вот, принимайте беглеца, — улыбаясь, сказала женщина.

Но та не спешила заключить мальчишку в объятия. Даже не постыдилась, чтобы пропустить посетителей в переднюю. Она стояла, подергивая черные усики над верхней губой и наливаясь краской.

— Отправляйте его туда, где он был, — заявила Антонина Дмитриевна. — Мне он не нужен... Да и держать его негде, комната занята, там прислуга живет!

В это мгновение случилось неожиданное. Непонятно, каким образом оттеснив плечиком в сторону дородную Антонину Дмитриевну, на лестничную клетку проскользнула эта самая прислуга бабка Степанида. Приветливо сказала: «С приездом, Ванюша. Пошли, дитятко, домой». Оправив на голове платок, обняла Ванюшу и, даже не оглянувшись на Антонину Дмитриевну, повела его с лестницы.

Так они и зажили вдвоем, Ванюша и Степанида. «Комната тесная, но, глядишь, дом на слом пойдет, тогда новую получим и заживем», — утешала его старушка.

После восьмого класса Ванюшка поступил в ПТУ. Окончил, на завод пошел работать... Подал документы на вечернее отделение института. Стал инженером. И все это время рядом с ним, любя, поддерживая и обихоживая его, находилась золотая женщина Степанида.

После того как она умерла, он вдруг обнаружил, что одинок на земле. Пока старуха была жива, он и не подозревал, что она занимает такое место в его бренном существовании. Забота ее была невидная, ненавязчивая: сходит в магазин, сварганит на плите в общей кухне нехитрое блюдо, что-то простирнет, где-то зашьет. В отличие от своих товаров-пенсio-

нерок, целыми днями перемалывавших языками домашние новости вперемешку с новостями, почерпнутыми по телевидению, Степанида была молчаливой. Спросит: «Ты здоров, Ваня? Ну и слава богу». После ее смерти вокруг Ивана образовалась такая пустота, что казалось просто невозможно чем-то ее заполнить. И он стал попивать.

Однажды, в подпитии, вспомнил о последней просьбе Степаниды.

В свое время старушка привезла из деревни икону, старую, почерневшую от времени и копоти, на которой едва-едва проступало изображение богоматери. Повесила в углу своей комнатенки на даче. Как-то туда заглянул генерал (тогда он еще был жив), заметил икону, выбежал, вернулся с лупой. Взгромоздился на табурет, стал внимательно разглядывать тусклое изображение на доске.

— Откуда это у вас, Степанида?

— Из деревни. Еще моей матушке служила...

— Вот как, ну-ну...

Генерал удалился, но вместо него появилась Антонина Дмитриевна. Не спрашивая у Степаниды разрешения, решительно сняла икону со стены, сказала:

— Вот что... Икона будет находиться в московской квартире. Там сохраннее. Зимой ты с нами живешь — вот и молись своей богоматери. А летом здесь тебе молиться некогда, работать надо.

Степанида заробела и спорить с хозяйкой не стала. Икона перекочевала в московскую квартиру — только она ее и видела.

Степанида вспомнила об этой иконе в последний миг своей жизни. Сказала Ивану:

— Сходи к ней... Икону возьми... Не хочу, чтобы у нее, у супостатки, оставалась. Знаю, на стену не повесишь, так в шкафу схорони... Хочу, сынок, чтоб с тобой было благословение божье...

Едва Иван переступил порог дома, где жила его бывшая приемная мать Антонина Дмитриевна и где когда-то жил он сам, как обида, тоска, гнев мутной волной нахлынули на него. Когда-то, давным-давно, восьмилетним мальчонкой он вместе с дородной властной женщиной поднялся по широким ступеням в свой новый дом. По этой же лестнице некоторое

время спустя, униженный и оскорбленный, он спустился вниз. Рядом с ним, обнимая и прижимая его к своему худенькому, почти невесомому телу, шла бабка Степанида, приговаривая: «Ничего, дитятко, ничего. Проживем...» Так получилось, что богатая, полная жизненных сил женщина оказалась жадной, черствой и скудной на проявление человеческих чувств. А бедная, старая женщина — бесконечно щедрой в любви и доброте. И вот теперь он шел к мачехе, чтобы выполнить последнюю волю той, которая заменила ему мать.

На мгновение задержался у знакомой, обитой коричневым коленкором двери. Определил: появился еще один замок — третий. Видимо, богатства продолжали расти и умножаться в этой квартире, вытесняя из нее людей, а из людей — людское.

Позвонил. За дверью послышались тяжелые шаги, щелкнул один замок, второй, третий... Дверь приоткрылась, ее удерживала цепочка. В щели показалось распаренное от кухонного жара лицо Антонины Дмитриевны.

— Вам кого?

— Я — Иван... Пришел, чтобы выполнить последнюю волю Степаниды. Она просила вас вернуть икону.

— Что?! Какую икону?

— «Богоматерь от бедственно страждущих».

По своему обыкновению Антонина Дмитриевна тотчас же перешла на крик:

— Ты как посмел сюда явиться? Я же сказала, чтоб ноги твоей не было у меня в доме!

Ивана охватила злоба:

— Это не ваша вещь! Она вам не принадлежит! Отдайте!

Антонина Дмитриевна нюхнула воздух:

— Да он пьяный! А ну пошел отсюда, хулиган! А то я сейчас милицию вызову! Был подонком и подонком остался!

Иван что есть силы дернул дверь на себя, но цепочка удержала ее.

— Караул! Грабят!

На площадке начали открываться двери, из-за них выглядывали испуганные лица. Иван повернулся и ушел. Бессильная злоба распирала его грудь.

Была бы его воля, он бы вырывал двери таких квартир вместе с цепочками, никакие запоры бы его не удержали.

Вернувшись домой, в свою убогую комнатенку под лестницей, оставшуюся ему в наследство от бабки Степаниды, Иван согрел на плите чайник, разыскал на полке в шкафу засохший кусок сыра и ломоть зачерствевшего хлеба и теперь вершил свой ужин, разложив нехитрый съестной припас прямо на клеенке.

В этот момент стукнули в дверь и позвали:

— Иван, к вам!

Он, как был, в голубой майке и синих тренировочных штанах, шагнул к порогу и остолбенел, увидев перед собой красавицу Нину, жену Дмитрия Лукошко. Он готов был сквозь землю провалиться! Нина видит его в этой жалкой комнате и в таком виде! «А, плевать, что мне эта дамочка», — тотчас же успокоил он себя, но на щеках его загорелся лихорадочный румянец, потому что образ Нины уже давно, несколько месяцев, тревожил его.

— Что ж вы не приглашаете меня в свои хоромы? — насмешливо проговорила она, шагнула в комнату, сбросила со стула засаленное кухонное полотенце и села.

— Чаю налить? — только и нашел что сказать Иван.

— С удовольствием выпью, — неожиданно ответила Нина. — А то меня что-то знобит...

Ее и вправду била мелкая дрожь.

Он молча налил ей в чашку с обитыми краями крепкого чая, и она так же молча выпила.

Булыжному давно уже следовало бы сказать: «Чем обязан?» — и услышать от Нины объяснение ее неожиданного появления в своем доме. Но он был как во сне, ему хотелось, чтобы это длилось вечно — и питье чая, и молчание.

— Плохо у вас! — оглядев комнату, проговорила Нина. — Мне не нравится. Вот что давайте сделаем: пойдемте куда-нибудь и поужинаем. Вы знаете какое-нибудь приличное место?

— Знаю. Кафе «Лира».

— Ну что ж, «Ли́ра» так «Ли́ра». Одевайтесь. Или вы так пойдете? — она издевалась над ним, а он терпел и, кажется, готов был терпеть дальше.

В кафе «Ли́ра» знакомая официантка быстро усадила их за столик... Наступила минута, когда Нине надо было объяснить Булыжному, что означает ее странное появление. Она выглядела такой уверенной, но если бы Иван только знал, какая растерянность царила в ее душе. Она смело начала, не зная, что скажет дальше.

— Меня просил переговорить с вами Митя, мой муж.

Булыжный сморщился как от зубной боли и резко отодвинул от себя тарелку со шницелем:

— Ваш муж? Что ему от меня надо?!

— Ему кое-что от вас надо, — отвечала Нина. — Но я не собираюсь об этом говорить... потому что мне наплевать на его дела.

Булыжный сидел растерянный, ничего не понимая.

— Я приехала к вам потому, что не хотела сегодня оставаться в одиночестве... А вы.. я знаю, что мое общество вам не неприятно, — она вызывающе рассмеялась.

— Вы странная женщина, — пробормотал Иван, не зная, что и думать о неожиданном появлении Нины.

— Я знаю, что я привлекательная женщина... Имела не один случай в этом убедиться, — ее голос отдавал полынной горечью. — Но счастливой себя не чувствую. Мужа я не люблю...

Он, удивленный такой откровенностью, пристально взглянул на нее.

— Не спешите торжествовать, Булыжный, вас я тоже не люблю... С чего бы мне вас любить? Я вас совсем не знаю. Но меня к вам тянет. Мне кажется, с вами мне будет интересно. А может быть, я ошибаюсь. Вот сейчас уйду, и больше мы никогда не увидимся.

Она говорила с вызывающей прямоотой и эта прямоота корбила Ивана, он не привык, чтобы женщины так с ним разговаривали.

Раскатывая на покрытой целлофаном скатерти хлебный шарик, Нина продолжала:

— Всю жизнь мне не везло. Прежде всего мне не повезло с родителями. Я знаю, что не должна так говорить. Но что поделаешь, они мещане и хотели, чтобы я жила так, как они считали это правильным... Из духа противоречия я делала все наоборот.

— Ну и много принесло вам это радости — ваше «наоборот»? — спросил Булыжный.

Она быстро взглянула на него:

— Не знаю, что вы там себе вообразили... Так получалось, что за недолгие минуты радости мне всегда приходилось расплачиваться месяцами тоски и уныния.

— В жизни за все надо платить, и за хорошее и за плохое, — сказал Иван.

— Ну а наша с вами встреча — это хорошее или плохое? — ее глаза вызывающе блестели.

Он промолвил:

— Не знаю.

— Вот этим вы мне и нравитесь. По крайней мере, честно: «Не знаю». А другой стал бы распинаться. Ненавижу мужчин!

Булыжный хотел было сказать: «А я кто — не мужчина?», но странное оцепенение овладело им. Он словно находился в лодке, движение которой направлял кто-то другой. Протянул свою ручищу и осторожно дотронулся до ее руки. Нина тотчас же отдернула руку. Сказала резко, почти гневно:

— Вот что! Если что и будет, то только тогда, когда этого захочу я. Поняли?

Он попробовал возмутиться:

— Как вы со мной разговариваете?! «Эй вы, стойте смирно, руки по швам, когда будет надо, вас позовут!» Я так не привык.

Она рассмеялась:

— Привыкайте. Вы уловили мою мысль: ждите, когда вас позовут. Или не позовут. Что скорее всего...

В эту минуту он ее почти ненавидел.

На рассвете Ивана разбудил участковый:

— Вставайте, одевайтесь, поедете со мной в отделение.

В отделении милиции, куда его привезли, узнал: вчера совершенно ограбление квартиры Антонины Дмитриевны. В числе других вещей похищена и икона с богородицею, за которой он приходил. Когда Антонину Дмитриевну спросили, не подозревает ли кого, она прямо указала на своего бывшего приемыша Ивана Булыжного.

— Это его работа! Я всегда говорила, что он законченный преступник.

На допросе Иван заявил, что потерпевшей абсолютно не сочувствует, более того — искренне рад, что так случилось. Была бы его воля... В общем, подробно изложил свои взгляды по данному вопросу. Следовательно уже было приготовился записывать признание преступника, но Иван его разочаровал, заявив, что к ограблению квартиры «этой стервы и живоглотки» никакого отношения не имеет. Сотрудник угрозыска, безуспешно бившийся над тем, чтобы отыскать улики против Ивана, не подозревал, что сам допрашиваемый занят распутыванием одного странного и неприятного происшествия, участником которого не так давно ему довелось стать.

...Булыжному не давала покоя та, давняя драка в кафе «Лира» и, главным образом, разговор, который произошел у него в отделении милиции с симпатичным старшим лейтенантом. В тот вечер, внимательно выслушав короткий рассказ Ивана, милиционер в задумчивости постучал пластмассовым карандашиком по столу и сказал:

— Вы говорите, с вами дрались двое... Откуда появился еще один? Почему парни так быстро скрылись? Кстати, они заранее рассчитались за выпитое. Очень смахивает на запланированное нападение. Кто-нибудь мог затаить на вас злобу?

Однако Булыжного в тот раз не заинтересовали предположения милиционера.

— Так я пойду? — хмуро произнес он.

— Распишитесь вот здесь. И ступайте. Если кого-нибудь из них задержим, поставим вас в известность. Кстати, сколько вам лет?

— Я же назвал год рождения.

Лейтенант сделал вид, что разглядывает в лежащей перед ним бумаге год рождения Булыжного:

— Ага... Тридцать. Возраст! Это я к тому, что в

«Лире» обычно проводит время более молодой контингент.

Да, в тот вечер, в кафе, ему здорово влетело. Но не это потрясло Булыжного. Мало ли ему влетало на его веку! А скольких отлупил он сам? Не в этом дело...

Нетрудно догадаться, что имел в виду интеллигентный старший лейтенант, когда напомнил ему о возрасте — тридцать лет. В тридцать нормальные люди не шатаются по молодежным кафе и не затевают пьяных драк из-за девчонок. Нормальные. А он кто? Нормальный или ненормальный?

Еще вчера ему было наплевать на то, что о нем подумают. Пусть думают и говорят, что хотят. Ему не холодно, не жарко. А сегодня слова лейтенанта почему-то разбавили его.

Да, недавно ему, Булыжному, стукнуло тридцать лет. Но разве это новость? Что, он сам этого не знает? Знаю, отлично знаю, уважаемый товарищ старший лейтенант. Тридцать — это только пролог к жизни, если, конечно, меньше пить и беречь свое здоровье. Но зачем его беречь, во имя чего и для кого продлевать свою жизнь — вот в чем вопрос. Ради Нины? Но любит ли она его?

Булыжный задал себе этот вопрос дома, разглядывая в старом и рябом, с облупившейся амальгамой зеркале свое опухшее лицо. Лилово-зеленый синяк растекся по левой скуле. Один глаз заплыл, а второй пылал горячим, беспокойным огнем.

Булыжный потрогал синяк пальцем и поморщился от боли.

Неожиданно возникла мысль: а лейтенант прав, скорее всего, то была не случайная драка, а нарочно подстроенная. Уж слишком быстро и организованно действовали эти парни! Ему стало легче. Обидно пасть жертвой собственной глупости, случайного стечения обстоятельств. Но если это запланированное нападение неизвестных врагов — другое дело. Тогда следующий ход за ним... Он оживился. Правда, свести счеты с двумя-тремя хулиганами — не очень-то вдохновляющая цель для тридцатилетнего мужчины, неожиданно обнаружившего, что если за испорченное детство и можно кого-нибудь обвинить, то за пущенную под откос жизнь винить будет

некого, кроме самого себя. И все-таки, все-таки... Он найдет этих парней.

Вырос Иван Булыжный и инженером, можно сказать, интеллигентным человеком стал, а давние, казалось, забытые детдомовские законы и правила не потеряли над ним своей власти. Один из этих законов гласил: «Получил — дай сдачи!» А Булыжный что? Получить-то получил, причем сполна, почти месяц не сходило со скулы фиолетово-желтое пятно, такое яркое, что хоть по цветному телевизору показывай. А вот сдачи пока не дал. Выходит, должок за ним.

Кому понадобилось мстить ему, Булыжному? Чью дорогу он перешел?

Прежде всего это надо было выяснить. Но вот вопрос — как выяснить? Каждый вечер Булыжный после работы отправлялся в кафе. Посиживал за свои любимым столиком, а сам зорко смотрел, не мелькнет ли где знакомая физиономия. Однако ни парни, ни девчонка больше в кафе не появлялись. И в этом факте Булыжный усмотрел еще одно доказательство того, что имела место карательная акция...

Однажды показалось ему, что за стеклом «Запорожца», принадлежащего управленческому мастеру по оргтехнике Кеше Иткину, мелькнула наглая физиономия, вызвавшая в его памяти кое-какие неприятные ассоциации и болезненные ощущения в области скулы. Но точно Иван не мог сказать, что этот парень или не тот. А в его деле без уверенности действовать никак нельзя.

После работы он настиг Кешу возле принадлежащего ему оранжевого «Запорожца».

— Кто это с тобой на днях в машине рядом сидел? Узколицый, с баками... Вроде где-то я его раньше видел.

Кеша ответил как ни в чем не бывало:

— Это один мой знакомый, кандидат наук... Из Курчатовского. Пристал как банный лист — подавай ему последние диски... Вот и мотаюсь с Маяка на Бега, с Бегов к «Снежинке». А твоей гирле ничего не нужно? Есть платье, — Кеша закатил глаза, — улентон! Выше крыши! Все отдашь, и мало. А еще рикорда могу достать, закачаешься.

ОТВЕРГНУТЫЙ ДАР

Николай Иванович, сидя в кресле с развернутым журналом на коленях, исподтишка наблюдал, как одевается и украшает себя жена. Не любивший даром терять время, он прежде торопил ее, но каждый раз его реплики вызвали такой взрыв возмущения, что пришлось смириться. Сегодня же долгие сборы Танюшки даже доставляли ему удовольствие. Тщательность, с которой жена выбирала платье, причесывала у зеркала густые и блестящие темные волосы, красила губы, ясно показывала, что она рада этому нечастому развлечению — совместному походу с мужем в Третьяковку.

Это означало, что еще не все потеряно, что Танюша еще не разуверилась окончательно в его способности не только сделать ее счастливой, но и — что гораздо труднее — на протяжении долгих лет поддерживать высокий тонус их совместной жизни. Она терпеть не могла тусклых, вялых семейных союзов, которые, раз возникнув, далее уже существовали как бы по инерции, становились формой без содержания — ложь, фикция, самообман. Коноплев, поначалу восторженно воспринявший эту жизненную позицию молодой и красивой жены, только недавно понял, какие огромные обязательства это накладывает, каких интеллектуальных и эмоциональных усилий требует от него. Иногда он готов был посетовать на судьбу: у других жены как жены, — ну, отругают за поздний приход, хмуро подадут остывший обед, в знак протеста против вечной занятости мужа откажутся принять участие в товарищеской вечеринке, но сам брак под сомнение не ставится, на этот счет его товарищи могут быть спокойны. А тут... Танюшка слова ему резкого не скажет, ни жестом, ни поступком не выразит своего разочарования, а он уже сам каждой клеточкой своего организма, нервом каждым чувствует — сморщивается, сжимается, словно бальзаковская шагреновая кожа, тонкая ткань их семейного счастья, только промедли — и нет ее совсем.

«Вот Митя Лукошко... Тоже взял себе жену-красавицу... Так сказать, свалил дерево не по себе. И что же... Как говорит всезнающий Сомов, завела

себе любовника, неотесанного парня, пьянчугу, и радуется...» Коноплев поежился: сопоставление своей личной жизни с личной жизнью этого тьюфака Мити было почти противоестественно, он отогнал от себя эти неприятные мысли.

— Признайся, — лукаво взглянув на мужа своими блестящими, словно отражавшими свет рампы, глазами, проговорила Танюша. — В Третьяковку мы идем не просто так, для моего удовольствия... а по делу?

На что Коноплев отвечал:

— Если честно... я сам думал, что просто так... Но вот ты сказал, и у меня мелькнула мысль... Не мешает задать сотрудникам музея несколько вопросов. Ты сердисься?

Он выглядел столь испуганным, что Танюшка почувствовала прилив нежности к мужу, стала на цыпочки и поцеловала его в щеку, оставив на ней легкий след помады.

— Не дрейфь передо мной, это тебе не к лицу. Вытри щеку и пойдем...

Был майский солнечный день. Бывший дом Пашкова выглядел ослепительно белым и нарядным, зелень на большом газоне напротив — свежей, недавно обновленные, кремлевские стены отливали теплым розовым цветом; в такой день улицы города кажутся особенно широкими и чистыми, женщины особенно привлекательными и стройными; в такой день у людей, медленно бредущих под голубым небом по бесконечным тротуарам, меньше забот и больше надежд, это видно по их лицам, на которые ложится ласковый солнечный свет.

Они миновали два моста — Большой Каменный и Малый Каменный и свернули на набережную Водотводного канала. Вот и Лаврушинский. Впереди уже видно невысокое здание из красного и белого кирпича. Солнце сверкает в призмах остекленной крыши.

— Скажи, Коля... как пришла Третьякову мысль поселиться в таком тереме?

— Сначала был дом как дом. Потом возникла галерея... Ее достраивали пять раз. В начале века, уже после смерти Павла Михайловича, фасад переделали. Междо прочим, по эскизам Васнецова. Появились островерхие кровли и цветные изразцы. Дом превратился в сказочный терем...

«Приедет ли в Москву человек из Архангельска или из Астрахани, из Крыма, с Кавказа или с Амура — он тотчас назначает себе день и час, когда ему надо, непременно надо идти в дальний угол Москвы, на Замоскворечье, в Лаврушинский переулок...» Знаешь, чьи это слова? Стасова.

Коноплевы вступают под своды галереи. Внизу у киоска столпотворение — продают какие-то буклеты. С широкой лестницы вприпрыжку, с выкриками и смехом, спускается стайка школьников в красных пионерских галстуках. Хмурая учительница с высокой прической безуспешно пытается их утихомирить.

— Пусть шумят, — говорит учительнице Танюшка. — Это же дети!..

Стоит Танюше увидеть малыша, и она сама не своя. Николай Иванович испытывает острый укол совести. Это он убедил жену, что ребенка заводить поздно. Она вроде бы согласилась с ним, да, видно, сердцу не прикажешь. Он бережно берет жену под локоть и увлекает вверх по лестнице.

Вспоминая прочитанное накануне, Коноплев берет на себя роль гида:

— Произведения древнерусского искусства... Главное здесь — вот эта икона. Рублевская. «Троица», XV век. Обрати внимание — «Нерукотворный спас» Симона Ушакова. Крупнейший мастер...

— Ты знаешь, я в иконах не очень-то разбираюсь. Пойдем дальше...

Особенно много зрителей у огромной картины «Явление Христа народу». Здесь Коноплев замолкает, уступая слово экскурсоводу, маленькой, сухонькой женщине с седыми волосами, стянутыми в пучок... Медленно и со значением произнося свою речь, женщина не сводит немигающих глаз с Николая Ивановича. Он — высокий, статный, лицо значительное и доброе, такие мужчины нравятся старым дамам.

— По-моему, она в тебя влюбилась, — толкает его в бок жена.

— Тише, услышит...

— Этим своим созданием, над которым трудился свыше двадцати лет, почти всю свою творческую жизнь, — говорит негромким, но хорошо поставлен-

ным голосом экскурсовод, — автор картины Александр Иванов встал в один ряд с такими мастерами, как Фидий, Рафаэль, Микеланджело...

— Фидий! Рафаэль? А она не преувеличивает? — шепчет на ухо мужу Танюшка.

Тот молча пожимает плечами. Они идут дальше.

— Залы передвижников, — говорит Коноплев. — Сердце и мозг галереи. — Здесь походка Николая Ивановича становится медленной, он уже не тянет руку жены: «Вперед, вперед», не бормочет скороговоркой, выдавая информацию о картинах, а замыкается в себе, внимательно всматриваясь в развешанные по стенам картины и рисунки.

Но теперь уже Танюшка, вошедшая во вкус, то и дело дергает мужа за рукав:

— Что это? Расскажи... А это? Мне интересно... Не молчи.

— Репин в живописи то же, что Лев Толстой в литературе... «Бурлаки на Волге», «Запорожцы», «Не ждали...»

Жена надувает губы:

— Ты что — считаешь меня совсем темной? Неужели я не знаю «Бурлаков»? Я думала, ты мне что-нибудь интересное расскажешь...

Николай Иванович морщит лоб, сосредоточивается:

— Вот эта картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»...

— Читать я умею, — перебивает его жена. — Тут написано...

Он продолжает:

— Эта картина создана Репиным под воздействием музыкального произведения Римского-Корсакова «Месть» и убийства народовольцами Александра II. Была запрещена «по высочайшему повелению».

— Почему? — широко раскрытыми глазами Танюшка смотрит на Николая Ивановича. Он улыбается:

— Подумай над этим сама... Я пока погуляю по залу. Хорошо?

По выражению собранности и сосредоточенности, появившемуся на лице мужа, Танюша догадывается: «Ну вот... Начал работать...» Она покорно кивает головой:

— Иди, иди... Я побуду здесь...

Коноплев ныряет в толпу. Он и сам не знает, что именно привело его сегодня, в этот майский день, сюда, в знаменитую «Третьяковку». Желание доставить удовольствие жене? Конечно. Но не только это... Вдруг всплывает в памяти фраза из последнего письма старика Лукошко, адресованного им бывшему другу коллекционеру Александровскому: «Я думаю вот что: нет такой вины, которой нельзя искупить. Я имею в виду не свою вину перед вами, моя вина неизмеримо больше и шире. Прежде всего эта вина перед самим собой. К чему я пришел, чего добился? Окружавший меня огромный мир съезжился; жизнь, казавшаяся такой разнообразной, исполненной поисков, новизны, волнений, эта жизнь с дорогами, ручьями, лесами, запахами цветов и сена — всю эту жизнь я попытался вместить, всунуть в обветшавшую квартиру с антресолями. Какая глупость! Но все еще можно исправить. Можно!!! У меня имеется уникальная вещь, даже вы этого не знаете, — рисунки Сурикова с поисками композиции к картине «Боярыня Морозова». Это будет первая ласточка. Если она долетит до места назначения, за нею последуют другие. Да, другие!»

Тренированный, четко действующий мозг (на него-то, не в пример сердцу, пока, слава богу, не приходится жаловаться!), этот мозг услужливо выдал из своих запасником необходимую информацию. Даже не информацию, а намек на нее, зацепку, ухватившись за которую можно попытаться вытащить необходимое звено, пока отсутствующее в цепи умозаключений.

Говорят, самая малая, самая ничтожная причина — брошенный камень или даже громко произнесенное слово — может вызвать в горах стихийное бедствие, миллионотонный обвал, сдвинуть с места кошмарную лавину, все сметающую на своем пути. Убийство человека тоже бедствие, но ни стихийное, оно предопределено целенаправленными действиями преступника. Но означает ли сказанное, что он, преступник, свободен в этих своих действиях, что выбор жертвы, времени и места преступления определены в соответствии с его свободной волей? Нет. Выбор этот в свою очередь — результат известных

обстоятельств. А вернее сказать, неизвестных. Вот их-то ему, Коноплеву, и предстоит выяснить, проявить, как проявляют на чистом листе фотобумаги уже реально существующее, но еще не видимое глазу изображение.

Многие из этих «роковых» для старика Лукошко обстоятельств Коноплеву и его товарищам удалось установить в процессе следствия. И тем не менее подполковника не оставляло ощущение, что полученная картина не полна. Без всякого сомнения, сближение Семена Григорьевича Лукошко с Ольгой Сергеевной в силу каких-то таинственных обстоятельств ускорило приближение трагического конца. Но одного этого было мало, чтобы объяснить случившееся. Имелось еще что-то...

Николай Иванович отыскал суриковскую «Боярыню Морозову», скользнул взглядом вбок и замер на месте, увидав картон с карандашным наброском... Эскиз к картине. Совсем забыв о жене, он быстрым пружинистым шагом вышел из зала и отправился в дирекцию музея. Предъявил удостоверение, задал вопрос:

— Знакома ли вам фамилия Лукошко?

Сотрудник дирекции почесал бородку, заведя в потолок глаза, ответил:

— Кажется, да, знакома... А в чем, собственно, дело?

Коноплев поинтересовался:

— Не этим ли человеком передан галерее эскиз Сурикова?

Сотрудник спросил:

— Когда это могло быть? Это облегчит поиски...

Николай Иванович ответил твердо:

— Совсем недавно... Месяца три-четыре назад.

Из шкафа была извлечена толстая тетрадь. Наконец розовый квадратный ноготь нашел искомую строку:

— Да, в феврале сего года некий Лукошко Семен Григорьевич передал галерее два рисунка Сурикова.

— За деньги? — спросил Коноплев.

Ему ответили:

— Нет, бесплатно. Дар.

Николай Иванович поблагодарил и, довольно

улыбаясь, отправился на поиски жены. Подхватил ее под руку:

— А теперь мы идем в буфет, есть пирожные и пить крошон.

— Но я не хочу пирожных!

— Зато я хочу. — У него действительно разыгрался зверский аппетит. — Скажи, а мог бы, по твоему мнению, покойный Лукошко отдать кому-нибудь даром ценную вещь из своей коллекции?

Танюшка с удивлением смотрит на него:

— Лукошко? Ну что ты, конечно, нет! Такой жадюга!

Николай Иванович чувствует себя так, как чувствовал бы себя Менделеев, узнав, что в пустые клеточки его знаменитой таблицы вписаны названия химических элементов, свойства которых он предсказал заранее, — галлий, германий, скандий. Открытие Коноплева, конечно, куда как скромнее, и все-таки, и все-таки...

В который уже раз он вчитывается в строки официального письма: «Руководство института от своего имени и от имени общественности выражает глубокую благодарность музыканту Семену Григорьевичу Лукошко за его бескорыстный дар — собрание картин, фарфора и других уникальных предметов искусства и быта. Эта коллекция ляжет в основу создания местного музея, послужит делу духовного обогащения людей. Она даст возможность тысячам сибиряков и гостей нашего города приобщиться к благородному и прекрасному искусству художников и мастеров прошлого».

Сколько сил пришлось потратить, чтобы заполнить этот документ! Буквально на другой день после посещения Третьяковки Коноплев вызвал к себе лейтенанта Тихонова. Задание было такое: обзвонить все московские музеи, установить, не предлагал ли им в дар какие-либо произведения искусства некий коллекционер Семен Григорьевич Лукошко.

Молодой лейтенант решил не ограничиваться телефонными звонками: дело это ненадежное, рискуешь попасть на случайного, а может, и недобросовестного человека, которому лень поднимать архивы, копаться в старых документах, а проще ответить:

нет, никаких предложений от гражданина Лукошко не поступало. Он вызвался объехать музеи и лично переговорить с их сотрудниками. Коноплев подумал-подумал и согласился. Конечно, жаль было времени, сроки поджимали, но уж если действовать, то наверняка — тут Тихонов прав.

На казенном ярко-желтом «Москвиче» с синей опоясывающей полосой и государственным гербом на дверце лейтенант с утра и до ночи ездил по городу — с Волхонки на улицу Обуха, с Кропоткинской на улицу Димитрова, с улицы Бахрушина в переулок Васнецова... Однако на этот раз результаты оказались обратно пропорциональные затраченным усилиям: ничего интересного обнаружить не удалось. Николай Иванович не удержался, съездив: «Ну, этого-то можно было добиться и при помощи телефона», но он сам понимал, что не прав. Отрицательные результаты — тоже результаты. Иногда они не менее важны, чем положительные. Но, увы, не в данном случае...

Удача пришла совсем неожиданно. В Москву прибыла какая-то дальняя родственница Ольги Сергеевны, седьмая вода на киселе, совершенно чужой ей человек, они, кажется, и не виделись вовсе при жизни... Тем не менее она предъявила претензии на наследство покойной жены дирижера, и эти претензии были признаны обоснованными. Родственнице предстояло вступить в права наследства.

И тут у Коноплева сработал инстинкт: он попросил Сомова еще раз побывать в квартире Ольги Сергеевны — до того как меркантильная родственница переступит ее порог и уничтожит все следы...

— Какие следы? — пожал квадратными плечами Сомов, — мы же с вами все тщательно осмотрели...

Коноплев ответил честно:

— Сам не знаю...

И тем не менее кое-что нашлось. Разбирая еще раз бумаги Ольги Сергеевны, сложенные в круглую картонную коробку из-под шляпы, Сомов обнаружил письмо-благодарность, написанное руководством сибирского института и адресованное Семену Григорьевичу Лукошко. Письмо было датировано январем сего года.

— Все ясно! — обрадованно потирая руки, воск-

ликнул Коноплев. — Получив эту бумагу, он тотчас же показал ее своей подруге: кому из нас не хотелось выглядеть перед любимой женщиной щедрым и уважаемым человеком! Не исключено, что именно она и побудила старика к этому поступку. Сам он никогда бы не решился...

— Да он ведь передумал! Коллекция-то на месте! — проговорил Сомов.

— Это вы правильно заметили, коллекция на месте. По каким-то неизвестным нам причинам дело не было доведено до конца. По каким — нам еще предстоит выяснить. Впрочем, этим я займусь сам...

Коноплев отправился к Ворожееву и сообщил ему, что хотел бы съездить в сибирский городок, где был расположен известный на всю страну институт, и лично выяснить, почему коллекция Лукошко не сменила прописки.

— Ситуация необычная, согласись, — сказал он. — Все равно как если бы ты дал мне расписку в получении тысячи рублей, а денег не получил...

— У тебя, пожалуй, получишь, — буркнул Ворожеев. — Кстати, ты знаешь, сколько билет в оба конца стоит? К тому же существует такой документ, как отчет о командировке. Что писать-то будешь?

— Что-нибудь напишу, — легкомысленно ответил Коноплев. — Так ты даешь добро на поездку, или мне к начальству идти?

— Делай что хочешь!

Этой фразой Ворожеев убивал сразу двух зайцев: с одной стороны, вроде бы шел навстречу Коноплеву, а с другой — снимал с себя всякую ответственность за его действия.

— Спасибо! — поблагодарил подполковник и отправился оформлять командировку.

В последние дни у Коноплева появилось стойкое ощущение, что он приблизился к разгадке таинственных превращений старика Лукошко. Этот человек, давно уже, несколько десятилетий назад,ывавший себе в жизни дорогу и упрямо двигавшийся по ней, не раздумывая, верная ли эта дорога или нет, внезапно сбился с ног и стал кружить на месте, словно путник в кромешной тьме. Позже появился

просвет. Слабо-слабо, ежесекундно угрожая затухнуть, засветилась вдали новая цель, но она была не ясна и не вызывала доверия. Но и жить, как он жил раньше, больше было нельзя. Что-то случилось, что-то произошло вокруг старика или внутри него, а может быть, и вокруг и внутри, нечто такое, что требовало остановиться, оглядеться и сделать выбор. Иной выбор.

Коноплев видел мысленным взором, как этот человек сидел в потертом вольтеровском кресле с опущенной от нездоровья головой, с серьезным выражением на своем треугольном лице, в котором всегда было, а может, появилось с годами что-то лисье.

Городок расположен на восточном берегу водохранилища, образованного плотиной гидростанции. Летом, когда стоящее в зените солнце источает невыносимый жар, со стороны водохранилища дуют прохладные ветры, становится легче дышать. Воздух напоен густым сосновым концентратом, сосны здесь — везде... Они стоят по обочине бетонированного шоссе, по краям улиц, между четырехэтажных коробок домов, они вплотную обступили институтские корпуса, бетонные, отделанные цветной глазурованной плиткой. «Это не город в лесу. Это — город-лес. Воплощенная в жизнь новаторская градостроительная идея — так объяснил Коноплеву молодой бородатый мужчина, с которым он перекинулся двумя фразами в приемной директора. — Город не разрушил среду, а вписался в рельеф местности, вобрал в себя каждое вековое дерево, каждую поляну».

— Симпатичный парень, — сказал Коноплев секретарше, когда его собеседник вышел из комнаты.

Она усмехнулась:

— Этот «парень» — член-корреспондент Академии наук. Вы знаете, с чего начались его успехи в науке?

— С чего?

— С того, что однажды, будучи школьником, он единственный из класса не решил задачи по стереометрии.

— Вы хотели сказать — решил?

— Нет, не решил. Однако учитель поставил ему

за это отличную отметку, поскольку оказалось, что из-за опечатки в учебнике задача не имела решения.

— Ого! А ваш директор? Он тоже что-нибудь не решил?

Однако на вопрос о своем непосредственном начальнике секретарша предпочла ответить всерьез:

— Академик... Лауреат... Герой Социалистического Труда.

— А-а, — протянул Коноплев.

В огромный кабинет директора вошел, печатая шаг, как входил у себя на Петровке в кабинет генерала. Однако хозяин кабинета ничем не напоминал генерала. Узкоплечий, невзрачный, щуплый, за глаза в институте его в шутку называли ГД — господин директор — именно потому, что внешне он меньше всего был на него похож.

ГД поднялся из-за стола:

— Чему обязан?

У Коноплева уже был готов ответ на этот вопрос:

— Приехал с лекцией по приглашению местных товарищей... Так сказать, обмен опытом... Вам же хочу задать один вопрос: что помешало передаче институту собрания картин и предметов старины московского коллекционера Лукошко?

ГД с удивлением смотрел на Коноплева:

— Что помешало? Честно говоря, не помню... В январе он к нам приезжал, мы устроили выставку. Собирался подарить нам свою коллекцию, мы ему даже благодарственное письмо послали. А потом дело не выгорело. Подробностей я не помню. Кажется, этот Лукошко ставил какие-то условия... Должно быть, мы не смогли их выполнить...

— Значит, не очень были заинтересованы... — не удержался от замечания Коноплев.

— Еще как заинтересованы! Он потребовал застраховать коллекцию, мы застраховали... Оплатить доставку — мы оплатили. Институт у нас богатый. Он существует немногим более десятка лет, а полученный нами экономический эффект уже вчетверо перекрыл все расходы. Думаю, дело тут было не в деньгах...

— Может быть, в отсутствии интереса? Физики — это не лирики.

Директор нахмурился, сказал с вызовом:

— Тем не менее упрекать нас в невежестве нет оснований. Тяга к культуре у нас очень велика. Она носит, я бы даже сказал, гипертрофированный характер. Это объясняется нашим удалением от мировых центров. Вы знаете, что ставит наш драмкружок? Арбузова, Вампилова, Сартра, Ануя. Вы любите Сартра?

Коноплев сказал примирительно:

— Честно говоря, меня не столько интересует Ануя, сколько Лукошко...

— А что случилось с этим самым Лукошко?

— Самое плохое, что только может случиться с человеком.

— Понятно, — произнес ГД. — И вы думаете, наш отказ принять коллекцию сыграл свою роль в этой печальной истории?

— Может быть, да, а может быть, нет.

ГД подпер подбородок рукой, задумался:

— Вам нужны подробности? Понятно. Кто же может быть в курсе?.. Постойте... Коллекция выставлялась в нашем местном Доме ученых. Там, должно быть, знают...

Коноплев выходит на Морской проспект... Над головой в ветвях деревьев — птичий гомон, что-то не поделили представители пернатого царства.

— Смотрите, белка! — раздается радостный ребячий выкрик.

Коноплев задирает голову, смотрит вверх. Золотисто-зеленые верхушки сосен плавно покачиваются на ветру, кажется, что они плавают в голубом небе. Никакой белки не видно. Он идет дальше. Вот и Дом ученых. Он ничуть не меньше своего московского собрата, только архитектура другая — бетонная коробка с огромным навесом над входом. На фронте огромная цветная мозаика, видимо отображающая поступательное движение науки. Николай Иванович сумел опознать только одного персонажа — в буклях и коротких панталонах, с мясистыми икрами ног. Судя по всему, это был Ломоносов, в руке он держал реторту.

В просторном холле на доске объявлений висел

приколотый кнопкой листок. На нем кроваво-красным фломастером было размашисто написано: «Внимание драмколлектива! Сегодня, 5 июля, в 16 часов репетиция «Мертвые без погребения» Ж. П. Сартра. Зал».

Николай Иванович взглянул на часы: половина шестого. Значит, репетиция уже в разгаре.

Он пробрался в зал, незаметно уселся в заднем ряду. Было темно. Впереди тускло светился прямоугольник сцены. Действие, судя по маленькому за решетченному окну на стене под потолком, происходило в тюремной камере. Трое мрачных мужчин в полосатой арестантской одежде обменивались репликами.

Вдруг один из арестантов, коренастый, обросший черной окладистой бородой, сильно хлопнул в ладоши и уже не театральным, а другим, обыкновенным голосом объявил:

— Все! На сегодня хватит! — — И спрыгнул со сцены.

Коноплев поаплодировал. Парень с бородой, приставив руку ко лбу козырьком, взгляделся в темный зал:

— Кто здесь?

Коноплев поднялся со своего места и двинулся ему навстречу:

— Вы не знаете, где я могу найти директора Дома ученых?

— Я — его зам. Моя фамилия Шакин. Федор Шакин. А вы, собственно, по какому делу?

— Длинный разговор.

— Ну тогда прошу ко мне...

В маленьком светлом кабинете Шакин сорвал с себя черную бороду, бросил на диван.

— Вы разрешите, я сниму грим?

Скрылся в соседней комнате. Через несколько минут появился снова.

У него было неприятно-добродушное лицо компанейского парня. Этакий завсегдатай туристских походов.

Коноплев представился и сказал:

— Вы и зам. директора и актер... Все в одном лице...

— Собираюсь этим летом поступать в Щукин-

ское, — улыбнулся Шакин. — Простите, а можно узнать цель вашего прибытия к нам?

— Я по поводу коллекции Семена Григорьевича Лукошко... Знакомо вам это имя?

— Лукошко? Да, да... А как же... Примерно пять месяцев назад мы устраивали в Доме ученых его выставку... Между прочим, с большим успехом прошла, я даже заметку написал для газеты. Постойте, как же она называлась? Вспомнил: «Подарок любителям прекрасного».

— Он, кажется, хотел подарить коллекцию вашему городу? Вы не скажете, отчего это мероприятие сорвалось?

— Отчего сорвалось?..

Его крупное лицо, казалось, покрыто было обильным потом. А может, это вазелин, которым актеры, сняв грим, смазывают лицо, чтобы сохранить кожу. Так поступает ежедневно после спектаклей и его жена Танюша.

Шакин, как эхо, повторил:

— Отчего сорвалось?.. Я хочу сделать вам предложение. У меня сейчас дела. Давайте прервемся, а вечером, часов в восемь, встретимся в кафе «Под интегралом». И обо всем поговорим. Я, кстати, соберусь с мыслями, в документы гляну, освежу память, а то ведь почти полгода минуло...

Коноплев, которого страшил долгий скучный вечер в чужом городе, охотно согласился:

— Хорошо. Ровно в 20.00.

...Как было договорено, они встретились вечером перед входом в кафе, над которым светилось неоновое название «Чашечка кофе под интегралом».

Шакин приоделся. На нем был джинсовый костюм, еще более подчеркивавший атлетическую мощь его фигуры.

— Вы, конечно, знаете, что такое интеграл? — с улыбкой спросил он Коноплева.

Тот замялся:

— Когда-то, в юности, знал... Интегральное исчисление — это область математики, которая... которая...

Шакин, видя затруднение Николая Ивановича, пришел на помощь:

— В которой изучаются свойства и способы вы-

числения интегралов и их приложения к решению различных математических и физических задач... Начало всему этому положил Архимед... Тогда речь шла о задачах определения площадей...

— Пощадите! — Коноплев поднял вверх руки. — На голодный желудок...

— Пойдемте! — с видом завсегдатая Шакин уверенно толкнул дверь в кафе. Объяснил: — Здесь два этажа... На первом, так сказать в знаменателе, собираются всякие умники и чертят на стене всякие формулы... Нас, простых людей, насколько я понимаю, больше интересует числитель — второй этаж. Там бар и оркестр. И перекусить можно.

Едва они уселись за столик, Коноплев напомнил:

— Так что же произошло с коллекцией Лукошко?

— Обычная для нас история. Человек хотел сделать доброе дело — подарить городу ценнейшую коллекцию. Его поблагодарили, а дар отвергли...

— Отвергли? Почему?

— Лукошко поставил некоторые условия. Коллекция должна была называться его именем. Кроме того, он просил установить ему некое постоянное материальное пособие.

— Ну и...

— Ну и — ничего не вышло.

— А точнее...

— Насчет присвоения коллекции имени дарителя решили быстро, а вот как дошло до денег, дело застопорилось.

— И что, руководство института не могло пробить?

— Шакин пожал плечами:

— А кому это нужно — пробивать? Каждый о своих делах печется. Я толкнулся в одну дверь, в другую... И отступился. Единственное, что мог для старика сделать, — это вернуть ему его богатство в целостности и сохранности. Но он даже не поблагодарил... Я не обижаюсь. А вы у руководства института спрашивали насчет коллекции?

— Спрашивал у директора... Он не помнит подробностей. Направил к вам.

— Запоминал... Где уж ему, гению, держать в голове всякую ерунду.

Коноплеву показалось, что Шакин испытал об-

легчение. Видимо, он опасался, что ответственность за срыв дела с передачей коллекции городу может быть возложена на него. Коноплеву захотелось подержать парня.

— Слушайте, — сказал он, — а у вас там, на сцене, неплохо получалось. Вы кого играете?

Шакин ответил не без гордости:

— Канориса. Сильная личность! Он приходит к выводу, что нужно пойти на компромисс с врагами, чтобы спасти свою жизнь.

Коноплев не удержался:

— Это же подло.

Шакин пожал плечами:

— Каждому дорога своя жизнь... И никто не знает, как он себя поведет в экстремальных обстоятельствах...

— Ну, положим, это ерунда... Я, например, знаю... Философ вы никакой. А вот актер из вас, помоему, получиться может.

Шакин нервно облизнул пересохшие губы:

— Давайте тогда выпьем за мое поступление в Щукинское училище. Хотя поступить нелегко. Как я слышал, конкурс там ой-ой-ой... Должно же мне хоть один раз в жизни повезти!

И, закинув голову, Шакин залпом осушил бокал.

В зале погас свет, по лицам сидящих за столиками забегали красные и синие отсветы, а из динамиков, укрепленных на стене по обе стороны стойки бара, громко грянула музыка.

Разговаривать стало невозможно.

На обратном пути, в самолете, Николай Иванович, как ему показалось, наконец постиг сложный механизм перемены, происшедшей в старике Лукошко незадолго до его смерти. Всю свою жизнь Семен Григорьевич только тем и занимался, что отталкивал от себя людей — сначала жену, потом сына, не говоря уже о дальних родственниках, с которыми он и знать-то не хотел, — холодным равнодушием, жестокой бессердечностью, расчетливой жадностью. Ему казалось, что всех близких заменили вещи, старые, добротные и дорогие вещи, ценность каждой из них была точно определена и все-

ми признана, они принадлежали ему, верные и безропотные, он был их единственным и полновластным хозяином. Он был убежден, что спокойно встретит свой последний час в их тихом и достойном окружении, в свечении золота и серебра, в сиянии хрусталя и блеске полировки дорогих пород дерева.

И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, под воздействием Ольги Сергеевны, исподволь меняется структура его души. Сначала незаметно, а потом все явственнее в нем стала проявляться потребность в действии, вернее сказать, в противодействии тому, что он делал всю свою жизнь.

В прошлом экспонаты его коллекции не раз участвовали во всевозможных выставках с обязательным указанием — на этом он настаивал неукоснительно: «Из личного собрания С. Г. Лукошко». Для него как коллекционера это было большой честью, и он эту честь ценил. И все же отдать насовсем, причем безвозмездно — это было выше его понимания.

Но в один прекрасный день (это было прошлой осенью) он достал из шкафа рисунки Сурикова и отнес их в Третьяковку. Передавая их из рук в руки директору музея, Лукошко поставил условие (без условий он не мог — такой уж у него был характер): рисунки ни в коем случае не должны храниться в запаснике, их немедленно следует вывесить для всеобщего обозрения.

Должно быть убедившись, что условие это выполнено, Лукошко пригласил Ольгу Сергеевну в музей. «Вы увидите кое-что любопытное!» — с коротким смешком, похожим на кудахтанье, сказал он ей. Узнав драгоценные листы, не раз виденные ею дома у Лукошко, Ольга Сергеевна (Коноплев отчетливо себе это представил) вмиг обо всем догадалась, прижала руку к кружевной черной мантилье в том месте, где было сердце, и сказала нежным грудным голосом: «Я знала, милый друг, что не обманулась в вас». А он засмеялся счастливым смехом, повторяя одну и ту же фразу: «Это первая ласточка, только первая ласточка...»

У Лукошко зрело решение, грандиозное, как то чувство, которое переполняло его. Он подарит свою коллекцию государству. Одним махом перечеркнет

все ошибки и заблуждения своей долгой жизни, искупит вину перед обманутыми людьми, обретет покой и счастье.

Исподволь он начал искать город, которому передаст свою коллекцию. Это должен быть молодой город, чья судьба только-только начинает складываться. Но город, как принято сейчас говорить, перспективный, с будущим. Он заранее решил, что поставит условие: коллекция ни в коем случае не должна раствориться среди других экспонатов, она будет существовать как единое целое и называться «Коллекцией С. Г. Лукошко». Было бы также неплохо, чтобы в благодарность за его поступок (про себя он называл его «подвигом») ему выплачивали небольшое ежемесячное вознаграждение, добавок к пенсии. Соединив свою судьбу с его судьбой, Ольга Сергеевна ни в чем не должна испытывать нужды.

Свой выбор Лукошко остановил на малом сибирском городке, который, судя по тому, что он читал в прессе, ожидало великое будущее. Он написал в этот городок письмо с предложением своего щедрого дара. Ответ был получен немедленно: присылайте! И приезжайте сами. Начнем с того, что устроим в Доме ученых выставку...

Семен Григорьевич, не мешкая, заказал на железнодорожной станции несколько контейнеров — по 39 рублей за штуку (благо институт все расходы обещал возместить по предъявлении отчетных документов). И отправился.... Дожидаясь в Сибирске коллекции, не находил себе места: вдруг с нею что-нибудь случится? Успокаивал себя тем, что коллекция застрахована. Наверное, он твердил себе: стоит ли так терзаться, ведь он по собственной воле отказывается от этих сокровищ, передает их в чужие руки?

В глубине души, однако, он не верил, что это когда-нибудь произойдет. Так и вышло: коллекция вновь вернулась к нему.

Неожиданно Семен Григорьевич ощутил не радость, а разочарование. Общество отказалось от его сокровищ. Его дар отвергнут. Он помрачнел, погрузился в себя.

...Коноплев не сомневался: такой человек, как Лукошко, не мог смириться с неудачей. Эта неуда-

ча, должно быть, вызвала к жизни такую неумную вулканическую деятельность, остановить которую могла лишь смерть.

САЛЬТО-МОРТАЛЕ

Январь вместо трескучих морозов и снегов принес ростепель, ненастье. Недолго и простуду схватить.

Митя почувствовал себя совсем больным. Голова тяжелая, словно чугуном налита, во рту горечь, то и дело испарина прошибает. За что ни возьмется — из рук валится.

Ушел с работы, поплелся к врачу. Хотелось получить бюллетень и отлежаться. Однако в поликлинике возле врачебного кабинета на стульях уже сидело человек восемь — десять. Митя повернулся обратно: не торчать же целый день в этом душном, пропитанном лекарственными запахами коридоре. Гораздо полезнее для здоровья погулять в сквере, благо дождь перестал.

Однако пойти в сквер не решился: вдруг его увидит гуляющим кто-нибудь из сотрудников объединения? Скажут: хорош больной! Начнутся разговоры...

«И хорошо, что не взял бюллетень, — успокаивал он себя. — Не иначе, как дней на десять уложили бы в постель» А тут я за два дня приду в норму, прямая выгода!»

Однако начальник управления, узнав, что Лукошко два дня отсутствовал на работе без уважительной причины, взглянул на дело иначе.

— Это же прогул! — воскликнул он. — Вы — руководитель коллектива, вам поручено такое дело. И что же? Боюсь, что мы ошиблись, выдвинув вас на столь ответственный пост.

Митя надулся, принял высокомерный вид, резко ответил:

— Я отвергаю ваше замечание! Важно не то, сколько времени человек протирает штаны на работе, важно другое — КПД его деятельности!

Начальник управления, не ожидавший такой отповеди, дрогнул:

— Так, может быть, вы дома работали? Тогда так и скажите...

Митя важно склонил голову, дал понять: да, он работал. Однако вслух ничего не сказал: врать не хотелось.

— Кстати, о КПД... Пора нам подвести некоторые итоги. Посмотреть, что сделано. И куратор интересовался... Прошу вас подготовить доклад ко вторнику.

Выходя из кабинета, Митя испытал облегчение. Фу! С прогулом дело, кажется, сошло с рук. Пронесло!

А под ложечкой сосало: о чем он будет докладывать руководству во вторник? Что день грядущий еще готовит?!

Вернувшись к себе в объединение, начал лихорадочно рыться в графиках и планах. Еще раз убедился в том, что и так прекрасно было ему известно: дела запущены, все установленные сроки просрочены. По графику к середине июня должна быть в основном завершена разработка и унификация документации для АСУ, пройден тот самый «домашинный этап», о котором в свое время говорил Булыжный. Однако, по существу, сделаны только самые первые шаги... «Это ничего, — утешил себя Митя. — Можно свалить на несчастие, которое приключилось с Булыжным... Начальство у нас сердобольное, поймет».

Хуже обстояло дело с разработкой конкретных автоматизированных систем, за что нес ответственность лично он, Митя. Заглянув в тощие папки, на которых жирным красным фломастером его рукой было выведено «АСПР», «АСОСБЕН» и др., Митя подпер щеку кулаком и невесело задумался. Что делать? Срочно лечь в больницу на обследование? Нельзя. Он совсем недавно оттуда вышел. Так недолго и заработать репутацию инвалида. Тогда прости-прощай все его надежды на деловую карьеру. За последний месяц Митя, по существу, не притронулся к папкам с проектом. «А зачем? — думал он. — Все равно профессор Воздвиженский зарубит проект. Как пить дать зарубит. Тогда к чему все это — усилия, хлопоты, переживания?»

И вот теперь пора давать ответ за бездеятельность, халатность, равнодушие.

«Надо как-то выкручиваться», — сказал себе Митя.

В Митин кабинетик зашла предместкома Кукаркина. Поинтересовалась:

— Где ваш больничный, Дмитрий Семенович? Профорг жалуется, задерживаете. В бухгалтерии не успеют оформить к зарплате...

Митя вспыхнул:

— Какой еще вам больничный?! Если хотите знать, мое двухдневное отсутствие согласовано с начальником управления. Что вы ходите, вынюхиваете? Не ваше дело меня контролировать!

Опешившая Кукаркина замахала руками:

— Господь с вами, Дмитрий Семенович! Какой контроль? Ничего я не вынюхиваю. Я думала...

— Значит, плохо думали! — начальственным рыком закончил Митя разговор.

Когда вконец расстроенная Кукаркина затворила за собой дверь, он с запоздалым сожалением подумал: «Что это я на нее напустился? Кукаркина — баба неплохая, мне здорово помогла: дело с Ньюшей замяла. А я на нее нашумел. Нехорошо».

...И вот Митя с папкой под мышкой входит в отделанный дубовыми панелями кабинет куратора. Тот сидит за огромным письменным столом, а начальник управления — за другим, небольшим столиком, приставленным к первому. Встают, здороваются. Но без доверительности и радушия, на замкнутых лицах печать отчуждения.

У Мити по спине разбегаются мурашки. Страшно! Но он не подает виду, усаживается напротив начальника управления, раскрывает хлорвиниловую папку. Откашливается.

— Вы разрешите? Быстрое развитие электронной вычислительной техники — одно из наиболее характерных явлений современной научно-технической революции! — важно говорит он.

— Это мы знаем, — перебивает его куратор. — Я просил бы вас перейти к делу!

Но Митя не намерен сдаваться:

— Мы не можем конструировать наше ближайшее будущее, не имея представления о перспективах более отдаленных, — твердо произносит он.

— Ну, хорошо, мы вас слушаем.

Митя идет в наступление. Он обращается к куратору:

— Помнится, на вас произвело большое впечатление замечание инженера Булыжного о подготовке документации к вводу в компьютер...

— Да, да, — кивает седой головой куратор, — это очень важно.

— Да, это важно... — соглашается Митя. — Но, решая эту проблему, надо ориентироваться не на вчерашний день, а на завтрашний. До сих пор, как вы знаете, информация вводится в машину в виде перфокарт.. А между тем у нас в стране уже созданы устройства, позволяющие машинам отвечать на вопросы, задаваемые в виде печатного текста.

— Все это так, — нахмурившись, произнес куратор. — То, о чем вы рассказываете, само по себе интересно, но ведь это дело будущего. А мы должны создавать АСУ сегодня, сейчас. Доложите, как идет выполнение согласованного графика работ...

«Все, погиб!» — пронеслось у Мити в мозгу.

— О каком «согласованном графике» может идти речь, когда сам проект в целом не согласован? — резко спросил он.

— Что? Как это? Не понимаю... — куратор обратил недоумевающий взор на начальника управления.

Тот пожал плечами. Хотел что-то сказать, но Митя не дал:

— Управление до сих пор не может составить себе собственное мнение о проекте. Поэтому не нашло ничего лучше, как отфутболить проект лицу, прямого отношения к нему не имеющему.

Начальник управления покраснел. Начал оправдываться:

— Не отфутболили, а послали на заключение... И не постороннему лицу, а профессору Воздвиженскому, одному из виднейших ученых в области автоматизации.

— Профессор Воздвиженский относится к числу моих ярых недоброжелателей. Дело в том, что его дочь много лет преследует меня. А я, между прочим, женат.

Куратор поморщился.

— Послушайте, — сказал он, обращаясь к начальнику управления. — А нельзя ли попросить отзыва

о проекте у кого-нибудь другого? Есть ведь в стране и другие специалисты...

— Я лично знаю профессора Воздвиженского и глубоко его уважаю. Это честный и принципиальный человек, суждению которого можно полностью доверять, — твердым голосом произнес начальник управления.

— Ну, а пока вопрос о проекте в целом не будет решен, я считаю нецелесообразным заниматься частностями! — С обиженным видом Митя вышел из кабинета.

Он конечно, понимал — да и как тут не понять! — что дела его плохи. Поэтому утешал, успокаивал себя: «Вы обо мне еще услышите. Я еще вам покажу!» А мысль его лихорадочно билась в поисках выхода: что же делать? Куда идти? В другую контору? Нст, увольте. На это не согласен. Если уж дерзать, так дерзать. Мите снились афиши с его портретами, аплодисментами, крупные гонорары. В общем, богатство и слава.

В конце концов, он, Митя, необыкновенный человек. Сейчас, в век НТР, таких, как он, немного, всего несколько десятков. Платон говорил, что изобретение письменности способствовало ухудшению памяти. В свою очередь, создание вычислительной техники разучило людей считать. Многих людей. Большинство. Но только не его, Митю. Его способности к счету феноменальные. Разве он не доказал это тогда, в Вычислительном центре, в присутствии куратора?

Так почему бы не сделать свою редкую способность профессией? Стал же известный математик Арраго артистом оригинального жанра? Чем он хуже?

И вот Митя стоит на Цветном бульваре у выщербленных тысячами детских ног ступеней, возле здания Госцирка, перед огромной фотографией, на которой отливающий черным маслянистым блеском морской лев, расположившись посреди арены, подбрасывает вверх остроносой мордой огромный полосатый мяч.

Митя входит, небрежно говорит билетерше: «Я к директору!» — и идет по длинному полутемному ко-

ридору. Сворачивает к дверям и оказывается у арены.

— Это и есть главная арена? Такая маленькая?! — невольно вырывается у него.

Старческий голос произносит за спиной:

— Во всем мире цирковая арена одинаковая: тринадцать метров в диаметре.

— Во всем мире? Это точно?

Это известие несколько примиряет Митю с ареной. Но вообще-то он бы предпочел, чтобы сцена, на которой ему придется выступать, была попросторнее, поимпозантнее, что ли... Почему арена расположена внизу, а зрители как бы нависают над ней? Лучше бы наоборот, как в театре, зрительный зал внизу, а сцена вознесена. И на ней он, артист.

— Вы не скажете, как пройти к директору?

— Следуйте за мной, я провожу.

Старичок — маленький, сутулый, с длинными пегими космами. Обогнав Лукошко, семенит впереди него, указывая дорогу. Отгибает край парусины. Они оказываются за кулисами. Здесь резкий и неприятный дух, из полутьмы доносятся грозное рычание, вздохи, всхлипывания... У самого своего лица Митя видит белую лошадиную голову. Шарахается в сторону.

— Осторожно, не оступитесь, — шепчет старичок и скрывается по тьме.

Митя и не заметил, как отстал. Всему виной белая лошадь, она испугала его, и он упустил старичка из виду. Митя бросается вперед и налетает на серую громадину слона. Тот переступает огромными ногами, надвигается на Митю, его охватывает страх.

— Эй! Кто здесь есть? Помогите! — кричит он.

Из темноты выныривает знакомый старичок:

— Как вы сюда попали? Сюда же нельзя!

Митя задыхается от негодования. Сам же его бросил, а теперь ругается.

Старичок хватая Митю за рукав, тянет в узкий проход.

— Вот кабинет директора, — говорит он. — Но его нет. Он на обеде.

— Так что же вы мне сразу не сказали? — ершит-ся Митя.

— Да вы не волнуйтесь, — успокаивает его старичок. — Садитесь, ждите. Он скоро придет.

— А вы не уходите! — капризным тоном произносит Митя. — Что я тут один буду делать?

Старичок радуется: хоть кому-то он нужен. С готовностью усаживается рядом с Митей.

— Вы давно здесь работаете?

До Мити доносится то ли кудахтанье, то ли курлыканье: старичок зашелся в смехе.

— Давно ли я? Вы спрашиваете: давно ли я? — снова приступ смеха. Все его маленькое тело содрогается в конвульсиях.

— Да я выступал еще в балагане! Вы знаете, что такое балаган? Представление начиналось в двенадцать часов, после окончания обедни в церквях, и продолжалось до позднего вечера. За вход брали деньгами и натурой, чаще всего яйцами. Кассир складывал их в специальный сундук.

— Яйцами? — удивляется Митя.

Неожиданно старичок запел тонким, надтреснутым голосом:

Пожалуйста к нам в театр, господа!

Остальное — ерунда.

Пять копеек за вход — небольшой расход.

Кто на наше представление не пойдет —

В рай не попадет!

— А вы кем работали в цирке? — интересуется Митя.

— Кем я только не был! Вы знаете, в 1914 году я поставил мировой рекорд. Перепрыгнул через трех слонов! Этот номер был даже снят для киножурнала «Патэ все видит, все знает».

— Вы?!

— Да, я, — говорит старичок. — А потом еще прыгал через девять лошадей и через горящий дом. Горящий дом?!

— Да... бутафорский дом, горящий бенгальским огнем.

— Должно быть, это было красиво! — с завистью произносит Митя. Мысленно представляет свой будущий номер и морщится. Постаревший, заплывший жирком, с редкими волосами, сквозь которые в лучах прожекторов поблескивает лысина, он будет

стоять посреди арены и бормотать цифры, цифры, цифры... Кого это заинтересует, кого привлечет?

И, словно отвечая на его невысказанные мысли, старичок бормочет:

— Цирк — это прежде всего трюк. Такой, какого до тебя не делал никто! Понимаете, никто! И еще красота! Человеческая красота!

Митя инстинктивно втягивает брюшко, старается придать себе бравый вид.

— Вы ко мне? — На них строго смотрит высокий худой мужчина. Старичок испуганно вскакивает и ретируется. Митя проходит в кабинет, без приглашения садится, закидывает ногу на ногу. Ему хочется казаться бывалым, уверенным в себе человеком. Директор пальцами одной руки массирует фаланги пальцев другой. На вошедшего не смотрит. Митя внезапно догадывается: директору невыносимо надоели посетители, эти жалкие дилетанты, обуреваемые честолюбивым желанием стать артистами цирка.

— Я вас слушаю, — с мученическим выражением лица говорит директор. — У вас есть идея номера. Ведь так? В чем она? Говорите!

Митя, чувствуя, как жаркая волна стыда охватывает его, бормочет:

— Собственно говоря, у меня нет идеи номера.

Директор удивляется:

— Нет? Совсем нет? Тогда что же... Простите... Я не понимаю.

Митя заставляет себя сказать:

— Я — математик. Обладаю редкой способностью быстрого счета...

— Быстрый счет — это хорошо. Но может, вам обратиться в банк? В цирк-то зачем?

— А что, если устроить состязание с ЭВМ? — наугад произносит Митя.

— Состязаться с ЭВМ? А зачем? Публику забавляет, когда механический робот выполняет некоторые функции человека. Это необычно. А что, скажите, сенсационного в том, что человек возьмет на себя функцию машины? В конце концов, разве не этим человечество занималось на протяжении всей своей истории — с рождения Христа? А?

Мите давно бы встать да уйти. Но им овладевает упрямство. Надувает щеки:

— Вы недооцениваете... Вы даже не испытали меня, а уже с порога отвергаете. Я не понимаю... Мы живем в век НТР. Один из писателей сказал: «Ни одна из возможностей нашего мозга не кажется столь удивительной, как загадка чудо-счетчиков». Эта способность была присуща великим ученым — Амперу, Гауссу, Эйлеру...

Директор перебивает Митю:

— Они же не выступали в цирке! Почему же вы?

Митя выходит на середину кабинета, принимает, сам не замечая того, наполеоновскую позу: брюшко выставлено вперед, голова откинута назад, пухлые пальцы подсунуты под полу пиджака.

— Напишите на бумажке какое-нибудь сороказначное число.

Директор пожимает плечами, пишет.

— Тут пять телефонных номеров моих знакомых и почтовый индекс.

— Не имеет значения. Дайте. Теперь возьмите.

Митя закрывает глаза, молчит. Потом произносит все число полностью. Директор сверяет его ответ с бумажкой:

— Все верно!

— А теперь я произнесу то же число в обратном порядке.

Директор заглядывает в бумажку:

— Здорово! — В его голосе звучит уважение. — Но понимаете, если бы это проделывал не человек, а...

— Морской лев? Или питон? — заканчивает Митя начатую директором фразу. — Все ясно! Извините! — И, повернувшись на каблуках, с высоко поднятой головой выбегает из кабинета.

...К выходу Митя прошел коротким путем, прямо через манеж, посреди которого человек на ходулях кувыркался через голову. Занятие, видимо, было нелегкое, пот лил с него в три ручья. А он все прыгал и прыгал...

«Нет, спасибо, я не ишак, чтоб вам тут часами прыгать», — сказал себе Митя, спускаясь с каменных ступеней на тротуар. О том, что еще один его великий план потерпел крушение, — об этом старался не думать.

В тот же вечер Митя отправился в дом на старом Арбате. В последнее время он ходил туда все чаще и чаще. Даже мысль, что Нина остается в своей квартире совсем одна (и неизвестно, как молодая, красивая и взбалмошная женщина может отнестись к этому одиночеству, на что оно может толкнуть ее, какой фортель жена выкинет), даже эта мысль не могла его удержать от частых посещений дома на старом Арбате. Потому что в старой квартире с антресолями жил не только отец, там жила коллекция, которой Митя был предан всей душой. Он шел на свидание с ней, сгорая от страсти неразделенной любви, подтачиваемый изнутри желанием завладеть ею, всеми этими редкостными и дорогими вещами. Присутствие при их свидании третьего, отца, выводило Митю из себя, он с трудом удерживал kloкoтaвшyю в нем ярость.

В тот вечер, когда Митя, прыгая через ступеньку, поднялся на пятый этаж (у него не хватило терпения дожидаться лифта) и, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру, сначала в темную переднюю, а потом, не вытирая ног, дальше — в залитый светом зал, он обнаружил, что на свете кроме их троих, его самого, Коллекции и отца, существует еще кое-кто. Она.

В первый миг Митя оторопел, не мог понять — стара сидящая за столом женщина или молода, хороша собой или некрасива. Его оглушило внезапно пришедшее понимание, что женщина эта — не случайная посетительница, не гостья, зашедшая «на огонек», попить чаю с клубничным вареньем! Она здесь своя. Когда прошел минутный столбняк и Митя оказался в состоянии управлять мыслями и чувствами, он понял: незнакомка стала как бы частью Коллекции, ее делало неотразимо прекрасной сияние старинной мебели, многоцветная игра света в хрустале, тусклое свечение серебра.

Митя мгновенно постиг весь ужас создавшегося положения. Эта женщина возникла из небытия специально для того, чтобы поставить под сомнение его неотъемлемое право наследника, посягнуть на то, что в мыслях он давно считал своим, на Коллекцию. И, поняв это, он замер в черном проеме двери, бледный, дрожащий, с взлохмаченными волосами, похожий на привидение.

— Митя! Что с тобой? Что случилось? — отец положил на хрустальную розеточку серебряную ложку с вареньем и удивленно воззрился на сына.

Митя в свою очередь не мог отвести взгляда от хрустальной розеточки и серебряной ложечки. До этого они никогда не пользовались в своей обычной жизни предметами Коллекции, употребляя в быту их простенькие дубликаты — пластмассовые розеточки и обыкновенные металлические ложечки. Ему захотелось крикнуть в ответ: «Это я должен спросить тебя, вздорный старик, что случилось?! Как ты посмел без моего ведома и разрешения ввести в святая святых постороннего человека и выложить перед ним все наши сокровища?!» Но он смолчал, преодолев овладевшее им оцепенение, шагнул к столу, склонил голову на грудь:

— Митя!

— Это мой сын, — проговорил Семен Григорьевич. Нет, отцовская гордость не звучала в его словах.

Он смотрел на женщину умоляющим взглядом, как бы призывая ее не судить слишком строго этого великовозрастного увальня, его сына, появившегося без предупреждения, внезапно до неприличия.

Она немедленно успокоила Семена Григорьевича ласковым взглядом своих больших серых глаз и, протянув Мите белую, в кольцах, руку, певуче произнесла:

— Очень приятно! Ольга Сергеевна...

Женщина, попив чаю, ушла, а Митя остался в отцовской квартире. Отец предложил ему три тысячи рублей:

— Дал бы и больше, потому что хорошие отношения дороже денег, но, к сожалению, не могу. У меня зреет великий замысел. Я уверен, сын, ты его одобришь.

На мгновение Мите даже показалось, что старик над ним издевается. Чтобы этот скупердяй сам, по собственной воле, без принуждения предлагал ему тысячи, да еще сожалел, что не может дать больше, — такое даже представить себе было невозможно! А эта фраза относительно того, что хорошие отношения дороже денег! Это не его фраза! Он услышал ее от кого-то. Должно быть, от своей лисы Ольги Сер-

геевны. Она на него влияет, старик так переменялся, его узнать нельзя.

Сочтя разговор насчет денег законченным, Семен Григорьевич легко поднялся с кресла и пошел к спальне. При взгляде на его узкую, но крепкую, обтянутую роскошным халатом спину, Митя вдруг ощутил в себе прилив такой бешеной ненависти к нему, что дыхание перехватило.

Он остался ночевать. До утра не смыкал глаз. Да, отец сделал шаг, который наверняка дался ему с трудом — ох, с каким трудом! — написал завещание, по которому Коллекция после его смерти должна была отойти Мите! А что, если это с его стороны только хитрый ход, попытка усыпить бдительность, чтобы он не возражал против их женитьбы? А потом долго ли — уничтожить старое завещание и написать новое? В свое время Митя отыскал заветную бумагу и перепрятал в другое, ему одному известное, место — в секретер. Так он лишил отца возможности уничтожить завещание. Но он, конечно, никак не мог помешать ему написать новое.

Он не верил старику. Никогда не верил. И сейчас — тоже. Что-то здесь нечисто. Эта мысль не давала ему покоя. Ему казалось: в ту самую минуту, когда он беспечно полеживает здесь, в своей бывшей комнате, в эту самую минуту отец, подсев к письменному столу и включив настольную лампу с давно вышедшим из моды стеклянным зеленым абажуром, пишет другое завещание. Митя готов был вскочить с кровати и, как был, в длинной, до пят, ночной рубашке (пижам он не признавал), стремглав бежать в отцовскую спальню и убеждениями, угрозами, а если понадобится, и силой заставить старика отойти от стола.

А может, новое завещание уже написано и отдано на хранение в чьи-то надежные руки (Ольги Сергеевны)? Митя готов был завывать от тоски и бессильной злости.

Под утро к нему пришло прозрение. Он вдруг понял, что означал неожиданно щедрый дар отца — три тысячи — и его слова о великом замысле, который у него зреет. Все ясно! Эти деньги — не что иное, как выдел из коллекции. А самой коллекцией отец решил распорядиться по-иному. Как именно,

Митя не знал, да это его и не интересовало. Главное, что коллекция уплывает из его рук.

Как только он это понял, сдавило грудь, пересеклось дыхание... Мите показалось, что он умирает. Он проглотил пару таблеток нитроглицерина, пришел в себя. Решил: нет, этого нельзя допустить. Мало-помалу в его мозгу сложился план. Он заставит старика подчиниться своей воле, хватит, помудрил, поиздевался над женой и сыном (одну загнал в могилу, другого привел на грань умопомешательства), теперь, когда его жизнь, по сути, уже кончилась, подошла к пределу, воздвигаемому самой природой, пора изменить порядок вещей. Все будет так, как захочет он, Митя.

Ему не понадобилось даже совершать умственного усилия, все получилось само собой, как будто этот план уже давно сложился у него в мозгу и теперь нужно было только уточнить некоторые детали.

В ноябре прошлого года произошло ограбление старого приятеля Семена Григорьевича — коллекционера Александровского. В числе других вещей, похищенных вором, была первая русская табакерка с изображением Наполеона, о чем свидетельствовала заметка в старой газете. Через несколько дней после этого неизвестный принес отцу злополучную табакерку. По случайности Митя в тот день оказался дома, он сам открыл дверь незнакомцу, впустил его в квартиру. Он видел, как взволнован и растерян был отец. Буквально выхватив драгоценную табакерку из рук мужчины, он тотчас же выпроводил его из дома, и, явно таясь от Митиных глаз, побежал прятать свое сокровище. Но Митя, как будто чувствуя, какую роль этот случай может сыграть в его жизни, почти силой разжал руку отца и полюбовался на старинную вещицу.

Уже после, сопоставляя и анализируя факты (быстрое охлаждение отца к Александровскому, таинственность, с которой он прятал и перепрятывал табакерку), Митя, как ему казалось, приподнял завесу над тайной. Он пришел к выводу, что отец, в безумном фанатическом стремлении завладеть табакеркой, которую, как знал Митя, Александровский никак не хотел ему уступить, пошел на преступление: приобрел краденую табакерку.

Однажды, повинувшись какому-то неосознанному желанию, внезапно налетевшей на него блажи, Митя взял из отцовского шкафа табакерку и спрятал в своей комнате. Через несколько дней отец обнаружил пропажу.

Митя еще больше укрепился в своем подозрении, когда увидел, как расстроился отец, не найдя табакерки на привычном месте. Он побледнел, лицо его исказилось, он почти умолял сына: «Это ведь ты взял, скажи? Ты хотел пошутить, да? Признайся, я не буду сердиться?. Наслаждаясь видом терзаемого страхом отца, Митя придал лицу индифферентное выражение: «А зачем она мне? Что я, рехнулся — брать какую-то табакерку, когда здесь более ценных вещей неупропорот?»

И вот теперь у него родился план: шантажируя отца позорным эпизодом с табакеркой, угрожая ему разоблачением его преступных связей с уголовниками, заставить его уже сегодня, сейчас передать ему коллекцию и тем самым оградить себя от всех и всяческих случайностей.

Митя убеждал себя, что другого выхода у него нет. На успех проекта он более не мог рассчитывать. Его послали на отзыв профессору Воздвиженскому. Без всякого сомнения, Лялин отец похоронит Митин проект по первому разряду. С цирком тоже ничего не вышло, там засели деляги, бюрократы. Они делают ставку на голую животную силу, а тонкие способности человеческого интеллекта для них пустой звук. Если он ничего не предпримет, Нина уйдет от него, это ясно, как дважды два четыре. Что же остается? Пойти в ванную и повеситься? Но это от него никуда не уйдет.

Утром, войдя в ванную, он заглянул в зеркало и ужаснулся: ему показалось, что за одну ночь он состарился на двадцать лет.

Когда же он начал так стареть?

В этом доме не старели только вещи. Во всяком случае, если и старели, то это было неразличимо глазом. Более того, с годами все больше выявлялись их достоинства, они приобретали все большую ценность.

И это странное и загадочное свойство вещей коллекции — не стареть — казалось, имело самое непосредственное отношение к старению людей. Митя не

помнил нестарым отца. Не помнил нестарой покойную мать. Да и сам он тоже: еще недавно, еще вчера был ребенком, подростком, юношей, а сейчас, заглянул в старинное овальное зеркало, ужаснулся: в его туманной глубине проступали черты пожилого человека. Дряблая кожа лица, мешки под тусклыми, словно выцветшими глазами, серебристые нити в редяющих волосах, покатые безвольные плечи. В его жизни было детство и старость. Из детства он сразу перешел в старость. Митя отшатнулся от зеркала, огляделся. В этом проклятом доме живут прекрасные, вечно юные вещи и старые люди, которые как будто никогда не были юными.

Старость... Она или уже наступила, или вот-вот наступит. Ее встречаешь бестрепетно, когда сознание: сделал все, что мог.

А он, Митя, чего достиг? Где взятая им вершина? Знаменитым математиком не стал, проект его, кажется, положили под сукно, на работе склока за склокой, дома плохо, жена, того и гляди, уйдет к другому.

Кстати, почему она до сих пор не ушла? Правда, уходить ей куда не нужно, она в своей квартире живет. Вопрос правильнее поставить так: почему она не выставила Митю за дверь?

В ее любовь Митя не верил. Выгода? Где она? В чем? Зарплата у него небольшая, сколько приносит в дом, столько и тратит. Нового платья жене купить не может, не то что золотое кольцо или бриллиантовые серьги. Почему же она не рассталась с ним?... Чем ближе Митя думал, тем яснее становился ему ответ: Коллекция! Страх потерять надежду на Коллекцию — вот что удерживает ее с ним.

Эта мысль утвердила Митю в правильности его замысла. За завтраком он потребует от отца, чтобы тот передал ему Коллекцию — и не когда-нибудь, а сейчас, сегодня. Если тот этого не сделает, Митя вынужден будет пойти на крайние меры.

Набравшись храбрости, он заговорил с отцом. Тот изменился в лице. Больно ухватил Митю за руку, закричал:

— Ты смеешь мне угрожать, мерзавец? А я еще хотел дать тебе денег... Ничего не получишь! Вон отсюда!

Выйдя из дому после неудавшегося объяснения с отцом, поглядел на календарик часов. Семнадцатое. Дурацкое число. Неудивительно, что у него ничего не вышло. Есть другие числа, удачные. Правда, у него, у Мити, например, все равно ничего не получится, какое число ни выбери. С отцом должны поговорить другие люди, которых не запугаешь громким голосом и страшными гримасами. Другого выхода нет.

Внезапно Митя почувствовал холодок в груди. Закружилась голова. Как будто он стоял высоко вверх, под самым куполом цирка, и собирался совершить прыжок: сальто-мортале. Без страховки.

СТАРИННАЯ ТАБАКЕРКА

Иван Булыжный долго и, увы, безрезультатно искал своих обидчиков, парней, которые однажды напали на него в кафе «Лира». Как-то ему показалось, что он узнал одного из них в спутнике Кеши Иткина. Но тот разубедил Ивана: смирнейший человек, мухи не обидит, кандидат наук из Курчатковского. «Такой вряд ли стал бы ни с того ни с сего лупить первого встречного по мордасам, — подумал Иван. — Выходит, обознался».

И вдруг, спустя некоторое время, Булыжный снова увидел Кешу в обществе узколицего и теперь уж точно опознал его. Сомнений нет. Тот самый тип, что сидел за соседним столиком и первым нанес удар Ивану, вступившемуся за его хныкавшую малявку.

Встреча произошла на Кутузовском проспекте, в магазине, куда Булыжный заглянул, чтобы купить обои — его комнатенка обветшала и явно требовала обновления. Кеша и узколицый уже приобрели увесистую пачку обоев и, отойдя в сторону, о чем-то горячо спорили. У обоих были расстроенные, встревоженные лица. Потом, видимо придя к согласию, они быстро направились к выходу и уселись в Кешин «Запорожец». Булыжному повезло, ему подвернулось такси, он попросил шофера следовать за «Запорожцем». Тот прикатил на Большую Полянку, свернул в переулок и остановился возле маленького,

в одно окошко, домика, казавшегося необитаемым. Здесь Кеша высадил своего спутника и быстро укатил. А тот поволок тюк с обоями к входу в дом. «Такие дома сносить надо, а их еще ремонтируют», — подумал Булыжный. Для него самого это был наиболее важный вопрос: дом, в котором он жил, уже который год собирались сносить, а тот все стоял и стоял.

Булыжный быстро расплатился с шофером, выскочил из машины и окликнул парня: «Эй ты, стой!» Тот обернулся, на лице у него был такой испуг, что Иван удивился, подумал: «Что это он так? Словно домового увидел...»

— Кафе «Лира» помнишь? — спросил он. К его удивлению, парень даже как будто обрадовался их встрече, но обдумывать причины столь странной перемены — от страха к радости — было некогда. Иван размахнулся и нанес сильный удар, метя в скулу. У него имелось желание подвесить парню такой же живописный фонарь, какой после драки в кафе долго украшал его собственную физиономию.

После второго удара парень упал, веревка, которой был обвязан тюк обоев, порвалась, и рулоны покатались в разные стороны.

— Кто вам подучил напасть на меня там, в кафе? — спросил Иван.

Парень, размазывая по лицу кровь, молчал.

Когда Ивана через некоторое время после этого вызвали на Петровку, он решил: грядет расплата за новую драку. Но разговор пошел о другом.

Допрос вел Сомов. Как всегда, брал быка за рога.

— Гражданин Булыжный! У нас есть сведения, что 5 июня сего года в подъезде дома № 32 на Дмитровской улице вы попытались продать по спекулятивной цене гражданке Семеновой табакерку с изображением Наполеона. Вы признаете этот факт?

Булыжный пожал плечами:

— Признаю: продавал. Только вот насчет спекулятивной цены не согласен. Во-первых, о цене мы не успели условиться, ваш товарищ, как беркут, налетел и схватил табакерку. А во-вторых, какая у этой вещи цена спекулятивная, какая нет? Вы знаете? Не знаете. Я тоже.

— А то, что табакерка краденая, — это, надеюсь, вы знаете?

На лице у Булыжного появилось удивленное выражение:

— Краденая? Первый раз слышу. Я, во всяком случае, не крал, это точно.

— Мы это выясним. От кого вы получили табакерку?

— А вот этого я вам не скажу. Это моя личная тайна.

— Как бы вам не пришлось за эту личную тайну поплатиться, — угрожающе проговорил Сомов.

Булыжный исподлобья поглядел на него и ничего не ответил.

Следователь Ерохин, выслушав Коноплева, пожал плечами:

— Далась вам эта табакерка...

Коноплев со своей обычной полуулыбкой — непонятно было, всерьез говорит или шутит, — возразил:

— Вы ошибаетесь. Это не простая табакерка... Первая русская табакерка с изображением Наполеона...

— Мне лично все равно, первая она или последняя.

— Вам-то, конечно, все равно, вы не коллекционер. А вот покойный Лукошко в ногах валялся у профессора Александровского: продай да продай. Правда, по своей скупердяйской привычке пытался выманить понравившуюся ему вещицу за полцены.

— А вся цена какая?

— Сотни полторы — не меньше.

— Полторы сотни за какую-то табакерку? Но почему она вас так интересует, эта табакерка?

— Мне кажется, она имеет самое непосредственное отношение к убийству Лукошко.

— Кажется? — Ерохин пожал плечами. — Я такого слова не знаю.

— Ну, не кажется... Я уверен.

— Даже уверены? Это уже интересно. Булыжный заговорил?

— Нет. Молчит. Даже Сомов не может вытянуть из него ни полслова. Кстати, он настаивает на применении по отношению к Булыжному меры пресечения.

— Вы, конечно, против?

— Как вы угадали?

— Нетрудно. Я, кстати, тоже против. К этой мере надо прибегать в самых крайних случаях. А вот то, что он молчит, это плохо.

— Еще разомкнет уста, я уверен. А пока послушаем, что говорит сама табакерка.

— Говорит табакерка?

— Бывает, что и вещи начинают говорить. Надо только уметь их слушать.

На лице Ерохина появилось обиженное выражение:

— Ну вы-то, конечно, умеете? В отличие от других...

— Вы не правы. Я не переоцениваю своих скромных способностей. Что мы имеем? Вскоре после начала следствия Тихонов пытался задержать в подъезде жилого дома, неподалеку от антикварного магазина, мужчину, продававшего табакерку с изображением Наполеона...

Ерохин фыркнул:

— Пытался задержать! Да ничего не вышло! Гнать надо таких из органов. В шею.

Коноплев поспешил защитить своего питомца:

— Но именно он спустя некоторое время опознал в Булыжном продавца табакерки. Как показал на допросе Пустянский, эта табакерка, похищенная из коллекции Александровского, была им передана Семену Григорьевичу Лукошко.

Коноплев с удовлетворением следил за впечатлением, которое произвело на следователя его сообщение.

— Что? Передал старику Лукошко? А вы молчите?

Коноплев пружинистым шагом прошелся по комнате:

— Если вы это называете молчанием... По-моему, я говорю. И довольно-таки громко!

Ерохин втянул голову в плечи и стал похож на нахохлившуюся птицу.

— Может быть, вы расскажете поподробнее, подполковник? А не будете играть в шарады?

— На одном из допросов Клебанов сказал: ходили слухи, будто Пустянский и коллекционер Лу-

кошко «работали на пару». Лукошко якобы передавал Пустянскому кое-какие сведения о своих собрatьях-коллекционерах, а тот его за это благодарил.

— Вот подлец! — воскликнул Ерохин. — И Пустянский это подтвердил?

— Не в полном объеме... Но кое-что узнать удалось.

Коноплев вспомнил, как долго пришлось биться с Пустянским, прежде чем тот сказал правду о своих отношениях со старым коллекционером. Сначала начисто отрицал, будто между ним и Лукошко имелся сговор. Боялся, что наличие такого сговора явится еще одним доводом в пользу версии, будто бы это он, стараясь избавиться от сообщника, убил коллекционера. Догадавшись об этих опасениях, Коноплев тогда сказал:

— А если я вам скажу, Пустянский: я убежден, что вы старика не убивали, более того — я уже вышел на след подлинных преступников, то, может быть, вы скажете правду?.. Учтите, эти ваши показания чрезвычайно важны не только для успеха следствия, но и для определения вашей собственной участи.

Пустянский, за последние недели побледневший, осунувшийся, тоскливо посмотрел в окно:

— Да разве я, сидя здесь, могу решить, что для меня выгодно и что не выгодно? Вы ведь дело повернуть по-всякому можете, где с вами тягаться!

Коноплев сдвинул брови к переносице:

— Я, кажется, вас еще ни разу не обманывал. Так это или нет?

— Так.

— А вот вы меня обманули. Явились с повинной, а всей правды не рассказали, ее из вас, эту правду, клещами по кусочкам вытягивать приходится.

— Хорошо. Скажу, — после некоторых колебаний произнес Пустянский. — У нас с Лукошко были особые отношения...

— Что значит «особые»? Вы хотите сказать, что он служил вам наводчиком?

— Да нет, что вы! Он и я... Мы разного поля ягоды.

— Так в чем же ваши «особые» отношения состояли?

— Иногда он в разговоре действительно подбрасывал мне информацию. Так, полунамеками, полусловами, будто бы в шутку. Словно бы не догадываясь, что я этим могу воспользоваться. Хитрый был старик.

— Так было и в случае с Александровским?

Пустянский кивнул:

— Разговор начался с одной вещицы, которую Лукошко давно уже выторговывал у Александровского, а тот все артачился, не хотел продавать...

— С табакерки, на которой изображен Наполеон?

Пустянский удивленно вскинулся:

— Вы все знаете?

— Все не знаю... Кое-что, — честно ответил Коноплев. — Но хочу узнать больше.

— Да, очень уж ему не терпелось завладеть этой табакеркой. Когда говорил о ней, прямо дрожал... Я закинул удочку: может, могу помочь? Сначала он надо мной посмеивался: чем, мол, вы можете помочь? Александровский-де вам не по зубам. Его сокровища, как в сказке, далеко упрятаны. Табакерка в шкатулке, шкатулка в сейфе, ключ от сейфа в синей вазе, а ваза в книжном шкафу на самом виду стоит. Никому и в голову не придет, что до заветного ключа рукой подать.

— Все так и оказалось?

— Да, все так и оказалось.

— Веселый старик.

— Да, негодай, каких мало, — сказал Пустянский. И тотчас же спохватился: — Только я его не убивал! На что он мне?

— Верю, верю. Хотя и других грехов на вас немало.

Пустянский тяжело вздохнул:

— Уж скорей бы суд! Чтобы знать свою судьбу.

— Скоро узнаете. Но мы отвлеклись от дела. В награду за полученные сведения вы поднесли Лукошко табакерку на блюдечке с голубой каемочкой? В то самое единственное ваше посещение квартиры Лукошко?

— Да...

— И он, не моргнув глазом, принял ваш дар?

Пустянский усмехнулся:

— Не так он был прост, этот старик... Увидел меня и говорит: «Что там у вас, молодой человек?» —

«Да вот, — говорю, — табакерка. Удалось достать по случаю...» Он поглядел и спокойненько так: «Милая вещица. Могу приобрести, только много не дам». Я уже понял, куда он клонит, подыгрываю: «Давайте, сколько не жалко». — «А мне, — говорит, — не жалко пятнадцати». Так я и ушел с пятнадцатью рублями в кармане... А табакерке, между прочим, цена в десять раз дороже!

Следователь Ерохин терпеливо выслушал рассказ Коноплева о разговоре с Пустянским и, побарабанив по лбу кончиками пальцев, сказал:

— И все-таки не могу поверить. Из-за какой-то паршивой табакерки пойти на сговор с Пустянским, взять тяжкий грех на душу...

— Паршивая табакерка? Я вам сейчас прочту отзыв специалистов о коллекции табакерок, которая осталась после Лукошко. Слушайте:

«Среди табакерок необходимо отметить: чрезвычайно редкую даже для западноевропейских музеев коробочку XVIII в. с миниатюрным бритвенным прибором, украшенную типичным инкрустированным «китайским» рисунком с вкрапленным в него алмазом; золотую табакерку с мужской миниатюрой на эмали эпохи Людовика XIV, принадлежащей, по видимому, знаменитому Жану Петито; удивительной красоты коробку-табакерку с нежною мифологическою живописью на эмали во вкусе Буше, быть может, кисти самого Бургуэна; превосходную по выполнению и сохранности лаковую табакерку французской работы конца XVIII в. с очаровательною женскою миниатюрой Созажа — дети казенного Людовика XVI; табакерку XVIII в. с инкрустацией из ляпис-лазури и оникса...» А вот табакерки с изображением Наполеона у него не было... Представляете, как ему не терпелось ею завладеть? Он предлагал за нее Александровскому любые деньги, тот продать отказывался, да еще посмеивался над Лукошко. Вот тот и решился...

— Ну хорошо. Допустим, вам удалось установить: табакерка с изображением Наполеона перекочевала из коллекции Александровского в коллекцию Лукошко. Но я не понимаю, что это нам дает?

Коноплев ответил:

— Табакерка с изображением Наполеона не просто ценная вещь... Это нечто гораздо большее. Это — вещественное доказательство. Доказательство преступного соучастия Лукошко в ограблении Александровского. Этой табакеркой могли шантажировать старика. Если это так, становится понятным стремление избавиться от табакерки, сбить ее с рук.

Сощурился один глаз, как при упражнениях в тире, следовательно выстрелил вопросом:

— Так что же выходит: табакерка покинула коллекцию Лукошко после его смерти, а не до?

Коноплев до того забылся, что заплодировал:

— Браво! Вы попали в самую точку. Это имеет решающее значение: когда табакерка покинула квартиру Лукошко — до его убийства или после. Если до, то она нас не интересует, если после...

Ерохин напустился:

— Вы мне, пожалуйста, подполковник, отметок за поведение не ставьте. Даже пятерки мне ваши не нужны... А отвечайте на поставленные вопросы.

— Извините, — Коноплев склонил голову, пряча улыбку. — Я убежден, что после. И могу точно сказать, когда именно — 28 мая в 19 часов 33 минуты.

У Ерохина полезли на лоб глаза от удивления:

— Почему именно в 19.33?..

— 28 мая, возвращаясь с работы, я подошел к дому, где жил Лукошко, и увидел в окне на пятом этаже свет.

— В запечатанной квартире?

— Да, в запечатанной. Сургуч на дверях не тронут, я в этом убедился.

— Значит, кто-то проник в квартиру, не потревожив сургуча?

— По всей видимости.

— И вы утаили этот факт от следствия?

Ерохин гневно бурлил Коноплева своими близко посаженными глазами.

— Тогда это еще не было фактом! Я решил, что меня ввел в заблуждение свет скользнувших по окнам фар проезжавшей по улице машины. Сургуч, как я уже сказал, был на месте, а в духов я, будучи материалистом, не верил.

— А сейчас верите?

— Сейчас я начинаю подозревать, что сын убитого Дмитрий Лукошко 28 мая, проникнув в квартиру по черной лестнице через пожарный балкон, унес оттуда не только скрипку Вильома, но и табакерку с изображением Наполеона.

Минуту Ерохин сидел молча, собираясь с мыслями.

— Сделаем допущение, — наконец проговорил он. — Все было так, как вы сказали. Для чего, спрашивается, была подменена скрипка Вильома? Чтоб заплатить Зайцу долг чести?

— Нет... Срочно понадобились деньги.

— Табакерка тоже могла быть похищена с этой целью.

— Не думаю. Скрипка стоит пять тысяч. А табакерка — сто пятьдесят рублей. Стали бы вы рисковать из-за рублей, если бы вам нужны были тысячи? Нет, табакерка финансовых проблем не решала. Ее взяли из других соображений.

Ерохин откинулся на спинку стула:

— Не кажется ли вам, подполковник, что мы бегаем по кругу за собственным хвостом?

— Не кажется. Развязка близка.

Все эти последние недели Иван Булыжный жил как во сне. С того самого дня, как Нина неожиданно появилась на пороге его комнатенки, жизнь его полетела вперед с ужасающим ускорением, даже дух захватывало. Чем все это может кончиться, над этим Иван не задумывался. Он всецело отдался своей любви.

Человек своенравный и строптивый, Иван почему-то всецело подчинился диктату этой женщины. Нина приходила и уходила, когда хотела. Разговоров о любви, на которые вдруг потянуло обычно сдержанного Булыжного, она терпеть не могла. Объяснила кратко:

— Надоело. Пустые слова. Я их столько слышала! Он мысленно представлял себе длинную череду ее прежних поклонников, и у него портилось настроение.

Как-то раз она иронически сказала:

— Уж не задумал ли ты меня ревновать?

Пришлось разубеждать, хотя ревность грызла его душу. Попробовал заговорить об их будущем. Она ответила:

— Пока хорошо — будем вместе. Станет плохо — не взыщи.

Его привычные представления о любви были перевернуты с ног на голову. Нина относилась к их отношениям, как ему казалось, с мужским легкомыслием. В себе же он с удивлением обнаружил черты почти женской привязанности.

А что будем делать с Митей? — спросил он ее.

Она удивилась:

— С Митей? А при чем тут Митя?

— Но он же твой муж!

— Ты думаешь, я этого не знаю?

Его возмутил ее легкомысленный тон, он грубо сказал:

— Ты должна порвать с ним!

— Зачем?

— Как зачем... — он почувствовал, что краснеет. — Разве ты не хочешь, чтобы мы... были вместе?

— Мы и так вместе.

— Я имею в виду другое. Ты не хочешь, чтобы мы поженились?..

Она ответила:

— Нет, не хочу. Ты не такой человек, которого бы я мечтала иметь своим мужем.

Ивану захотелось обидеть ее:

— Что — мало зарабатываю?

Он думал, Нина смутится, но она ответила просто:

— Мало зарабатываешь. Много пьешь. Но это не главное. Я уже давно не вижу идеала семейной жизни в роскоши, довольстве и сытости... Это было и прошло. Я поумнела. Меня бы теперь, пожалуй, устроил и рай в шалаше.

Он осклабился:

— Так в чем же дело? Милый есть, шалаш тоже.

Нина не поддержала шутки, заговорила всерьез:

— Ты максималист. Мы с тобой едва знакомы, а ты уже хочешь завладеть мной целиком. Я нужна тебе вся, с потрохами. Но стоит тебе во мне разочароваться, и ты тотчас же скомандуешь: «Полный назад». До тех пор, пока нас ничто не удерживает

друг возле друга, кроме чувства, это не вырастет в проблему. Но вступить с тобой в брак — это все равно, что войти в клетку к тигру. Б-р-р!

Он невесело усмехнулся:

— Я-то тигр? Да я по сравнению с тобой чувствую себя беспомощным котенком.

Неожиданно в лице ее появилось что-то трогательное, на глазах выступили слезы. Он еще никогда не видел ее такой — милой и беззащитной.

— Ты правда меня любишь?

Что-то подтолкнуло Ивана. Он шагнул, обнял Нину, стал покрывать ее лицо поцелуями. Она расплакалась. Донесся ее шепот:

— Мне кажется, что меня никто... никто по-настоящему не любил... Я такая несчастная...

Ивана подхватила большая теплая волна. До чего же он любил эту женщину!

...Когда Нина попросила Булыжного продать по-выгоднее старинную табакерку, ему и в голову не пришло отказать.

Нине срочно понадобились деньги — надо было отдать полторы сотни за вельветовое платье-балахон (подумать только, такие деньги — за хлопчатобумажную тряпку!), а в доме ни копейки. Митя зарплату приносит от случая к случаю, на Ивана надежда тоже плоха, сам у нее трешки стреляет.

Однажды дома она стала рыться в ящике Митино-го стола и там, в дальнем уголке, среди каких-то коробочек из-под лекарств и спичечных коробков обнаружила завернутую в старую, порыжевшую от времени газету табакерку. при взгляде на эту вещь в ней тотчас же вспыхнуло раздражение против мужа. В его руках полумиллионная коллекция, а он боится к ней притронуться, все чего-то ждет, выжидает. Ей захотелось чем-нибудь досадить этому мямле, рохле, она сунула обернутую в газету табакерку в сумочку и, встретившись с Булыжным, обратилась к нему с просьбой «превратить ее в деньги». Мысль, что дорогую для Мити вещь (была бы недорогой — не прятал бы в ящике стола) продаст не кто иной, как его личный враг Булыжный, доставила ей странное удовольствие.

Охотно взявшись оказать Нине услугу — продать старинную вещицу, Иван, однако, вскоре пришел к выводу, что сделать это не так-то просто. Конечно, стоит ему обратиться к Кеше, и все в мгновение будет устроено. Но иметь какие-либо дела с этим подонком Ивану не хотелось. Поэтому он отправился в комиссионный магазин на улице Димитрова и занял место в очереди сдававших вещи на комиссию. Какой-то старичок с седой бородой клинышком взял у него табакерку из рук:

— Разрешите?

Поднес к близоруким глазам, воскликнул:

— Какая прелесть! Однако, молодой человек, вам здесь за нее гроши дадут. Советую продать любителью, отвалит сотни три, не меньше.

— А где его взять, этого любителя? Может, вы купите?

На что старичок грустно ответил:

— Я уже давно молодой человек, не покупаю, а продаю.

Их разговор услышала проходившая мимо молоденькая продавщица. Она сделала глазами знак Булыжному: мол, идите за мной. Завела в какой-то закуток, взглянула на табакерку, сказала:

— Одна женщина просила меня подыскать ей что-либо в этом роде... Я ей позвоню. А вы зайдите завтра, спросите Люсю из секции фарфора. Я вам скажу, что делать дальше.

— А комиссионные кому? — поинтересовался Иван.

— Мне. Десять процентов от продажной цены, потом занесете. Думаю, не обманете?

«Вот дрянь какая!» — подумал о девице Иван. Буркнул:

— Не обману.

На другой день Люся назвала номер дома, в подъезде которого состоится купля-продажа, и время — два часа дня.

Чем закончилась операция для Булыжного, мы уже знаем: оставив злополучную табакерку в руках лейтенанта Тихонова, он позорно бежал, унося в кармане лишь обрывок старой газеты, в которую была завернута переданная ему для продажи вещь.

Что делать? Булыжный выклянул на работе в

кассе взаимопомощи 175 рублей и при встрече вручил их Нине.

— Продал?

— Продал.

На полученные деньги Нина тотчас же приобрела понравившееся ей платье. Радость покупки была, однако, сильно омрачена скандалом, который закатил ей муж, обнаружив пропажу табакерки.

Сам того не замечая, Митя вел себя точно так же, как вел себя в подобной ситуации отец, когда в свое время не нашел табакерки на привычном месте. Сначала тихое оцепенение, затем лихорадочные поиски и взрыв — дикие крики, упреки.

— Ты понимаешь, что ты наделала?! — заламывая руки, вопрошал он жену, глядя ей в лицо налитыми кровью глазами.

— А что тут такого? — равнодушно отвечала Нина. — У тебя на старом Арбате вся квартира снизу доверху забита драгоценными вещами, а ты устраиваешь скандал из-за какой-то ерунды...

— Это не ерунда! — кричал Митя. — Это очень важная вещь, не дай бог, если она кому-нибудь попадется на глаза!

— Если это такая важная вещь, то почему, спрашивается, ты бросил табакерку в стол, где она валялась среди всякой дряни? По крайней мере мог бы запереть ящик, я бы взламывать не стала.

Ее слова были справедливы. Митя был крайне легкомыслен, хитроумие каким-то странным образом уживалось в нем с простоватостью, расчетливость с безалаберностью и разгильдяйством. Конечно, это было верхом глупости — с таким трудом извлечь табакерку из опечатанной квартиры, а потом бросить в ящик стола, даже не заперев этот самый ящик на ключ! Но таков был Митя, в его действиях никогда не было системы. Больше всего он верил в свою счастливую звезду, был уверен: что бы ни произошло, в конце концов все само собой устроится и притом обязательно в его пользу.

— А газета, где газета? — растерянно спросил Митя.

— Какая газета? — не поняла Нина.

— Ну та, в которую была завернута табакерка.

— Да ты совсем рехнулся... В доме шаром пока-

ти, куска хлеба не на что купить, а он вместо того, чтобы раздобыть денег, плачет по обрывку старой газеты!

— Деньги? Тебе нужны деньги?

Она увидела, как при этих словах исказилось, приобрело выражение жадности его лицо и он стал похож на своего отца. Странное дело: прежде Нина никогда не замечала сходства между отцом и сыном, они казались совершенно разными людьми, и внутренне и внешне, а в последнее время, после смерти старика, в Мите все явственнее проступали отцовские черты.

Митя полез в карман, извлек оттуда портмоне, до отказа набитое деньгами.

— Откуда у тебя это?

— Неважно... Тебе сколько?

— Дай сколько-нибудь. Хозяйство же надо вести.

Митя, по-отцовски послунив палец, отсчитал несколько купюр, протянул их Нине.

— Послушай... — нерешительно произнес он. — А кому продана табакерка?

Нина пожала плечами:

— Какой-то женщине. Она хотела сделать мужу подарок ко дню рождения.

Митя пробормотал едва слышно, словно разговаривая сам с собой:

— Может, это и к лучшему... Перст судьбы. По крайней мере, мы от нее избавились.

— Что ты там бормочешь? — не поняла Нина.

— Никогда не бери мои вещи! — надув щеки, важно изрек Митя и, спрятав портмоне с деньгами в карман, вышел из комнаты.

После допроса на Петровке, когда напористый капитан Сомов четкими, отрывистыми фразами, действие которых усиливалось оттого, что произносились они холодным, неприязненным голосом, пытался загнать его в угол, Иван Булыжный пришел к выводу, что влип в некрасивую историю. До этого он уже дважды бывал в милиции. Первый раз — после драки в кафе «Лира». Второй — после доноса милейшей его воспитательницы Антонины Дмитриевны, когда пришлось доказывать, что он не занимается

квартирными кражами. Теперь же он влип как следует. В нем опознали человека, который пытался сбыть с рук краденую табакерку. Что за напасть!

Конечно, проще всего было сказать правду — сослаться на Нину, которая передала ему табакерку для продажи, но назвать ее имя, впутать любимую женщину в грязную историю он не мог. Язык не повернулся. Решительно отказался отвечать на поставленный вопрос. Однако ясно было, что настырный капитан этим ответом не удовлетворен, впереди новые допросы, новые мытарства.

Булыжному позвонила Нина и, посмеиваясь, рассказала о безобразной сцене, которую устроил муж, обнаружив исчезновение табакерки. «Представляешь, — сказала она, — ему даже жаль газету, в которую она завернута».

В тот вечер, явившись домой после неудачной операции с табакеркой, Булыжный извлек из кармана газетную страницу, в которую вещь была завернута, и, с досадой скомкав ее, бросил в угол. Теперь Нинины слова заинтересовали его. «Интересно, почему Митя вдруг вспомнил об этой старой газете?» — подумал Иван, отодвинул тумбочку и отыскал газетный обрывок. Разгладил на подоконнике, стал изучать. Внимание привлекла записка, в которой говорилось об участившихся случаях ограбления коллекционеров. Одна фраза в записке была подчеркнута красным карандашом. «Среди вещей, похищенных у профессора Александровского, — первая русская табакерка с изображением Наполеона».

— Выходит, табакерка-то действительно краденая, — подумал Булыжный. — И Митя это знал. Недаром хранил табакерку вместе с вырезкой из газеты. Зачем ему это понадобилось? Как оружие против отца, доказательство, что старик при пополнении коллекции не брезговал ворованными вещами? Скорее всего, так... Но к чему Мите это доказательство? Против кого он собирался пустить его в ход? Допустим, Митя таким образом шантажировал отца при жизни, выманивая у него деньги. Но почему тогда он не избавился от табакерки после его смерти? Почему так разнервничался, узнав о ее исчезновении?»

Булыжный прошелся по комнате, пытаясь поймать ускользающую нить размышлений. Ну, еще один шаг, подбадривал он себя, еще один... Истина где-то рядом.

«Если бы табакерка и вырезка из «Вечерки» свидетельствовали против самого Мити, ясное дело, он бы их не хранил. Может быть, собирался использовать против тех, кто, возможно, шантажировал, а потом и убил его отца? Это больше похоже на правду. Но кто они — эти люди? По всей видимости, Митя знал их...»

И вдруг Булыжного осенило! А что, если мало-разборчивый в средствах, слабовольный Митя хотел поставить себе на службу Кешиных дружков, однако сам оказался в их руках? А теперь мечется, как зверь, попавший в западню?

Жалкая, смешная личность? Булыжный удивился: почему-то былой злобы по отношению к Мите он уже не чувствовал. Злоба уступила место презрению.

У Булыжного созрел план. Он встретится с Кешей Иткиным, намекнет на свои подозрения и постарается по его реакции догадаться, в точку попал или нет. Если в точку, Иван отправится на Петровку к неулыбчивому капитану Сомову и все расскажет. А идти туда с непроверенными предположениями — на это он не согласен. Не такой он человек.

Иван подошел к Кеше Иткину в буфете в обеденный перерыв. Кеша пил молоко прямо из бутылки. На худой цыплячьей шее ходуном ходил кадык. Одет Кеша был, как всегда, экстравагантно: яркосиние джинсы, розовый батник, темно-синий пуловер с ярко-красной эмблемой, на которой выделялась броская белая надпись: «Suzuri».

— Поговорить надо, — сказал Иван.

— О чем?

— Есть у меня одна вещица: табакерка с изображением Наполеона. Хочу показать твоим друзьям... Может, сторгуемся?

Кеша со страхом огляделся по сторонам:

— Тише ты... Вон народищу сколько! Могут услышать. Давай поговорим в другом месте. Встретимся завтра после работы. Тогда поговорим. А сейчас мне пора.

И скрылся.

Иван был недоволен собой. Ничего не выяснил, зато дал возможность этому слизняку подготовить к предстоящей встрече своих друзей.

...Назначенная на завтра встреча состоялась. Иван и Кеша подошли к ярко-оранжевому «Запорожцу». Из него вылез знакомый Булыжному узколицый парень с баками. Протянул руку:

— Голубков.

— Иван. Мы, кажется, с вами уже встречались?

Голубков осклабился:

— Мы квиты... Сначала мы вас в кафе, потом вы меня. Счет один — один. Теперь поговорим о деле. Вы хотели что-то предложить? Какую-то табакерку? Вообще-то, мы не интересуемся. Мы больше об выпить и об закусить, — он расхохотался, показав редкие кривоватые зубы. — Но если что-нибудь действительно стоящее...

— Может поговорить в кафе «Лира», — предложил Иван. Главным для него было, чтобы место значил он, а не они.

Узколицый насмешливо взглянул на него:

— В «Лире»? Неприятные воспоминания не будут мучить?

— Ничего. Выдержу.

Они уселись рядом на заднем сиденье, как добрые друзья. Кеша сказал, что высадит их напротив кафе:

— Вам только улицу перейти, а мне разворачиваться... Я и так опаздываю, у меня важное свидание.

— Уж не с Митей ли? — не удержался, съязвил Булыжный.

— Лишь бы не с господом богом, — не оборачиваясь, ответил Кеша. Он остановил машину у перекрестка.

Иван и его спутник стояли на краю тротуара, пережидая, когда светофор остановит поток транспорта. Голубков резко толкнул его:

— Двигай!

Булыжный торопливо шагнул, не заметив, что на светофоре все еще светится красная табличка: «Стойте!» Оступился и, потеряв равновесие, полетел прямо под колеса стремительно мчавшегося вдоль самой бровки тротуара панелевоза.

Коноплев, нахмурившись, спросил Тихонова:

— Насмерть?

— Жив, товарищ подполковник. Однако в сознание так и не пришел. Находится в коматозном состоянии.

— Несчастный случай?

— Он, по всей видимости, в кафе «Лира» торопился. Говорят, сильно баловался коньячком.

— Так что же он, по-вашему, от нетерпения под колеса сиганул? Если бы после кафе, я бы еще понял. А то ведь — до. Вещи его обследовали?

— Вот.

Тихонов положил на стол паспорт, кошелек, аккуратно сложенный лист городской газеты. Обратил внимание подполковника на сделанную в уголке карандашную запись — «Казачий, 13».

— Адрес вроде бы знакомый, — задумчиво произнес Николай Иванович. — Мне кажется, там проживает кто-то из свидетелей, привлекавшихся по этому делу. Постарайтесь выяснить — кто именно. А я пока пройду к следователю Ерохину. Сообщу о случившемся. Он и так уж обижается, что мы не держим его в курсе...

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Неожиданно на Москву налетел то ли циклон, то ли антициклон, натянул над крышами провисшую от обилия влаги серую холстину, намочил и сделал черным и скользким асфальт, а по переулку и дворам развел слякоть и грязь.

Пока ехали по Большой Полянке, было еще ничего, надо только держать дистанцию. А то зазеваешься, вовремя не нажмешь на тормоза — и с грохотом уткнешься носом в бампер передней машины, внезапно замершей у светофора. Скользко!

А свернули в переулок — новая беда: колеса запрыгали по булыжникам, и рессоры не помогли, того и гляди затылком крышу прошибешь. Ох уж эти московские переулки! Обогнешь угол нового многоэтажного дома и словно перенесешься на сто лет назад: мостовая узкая, извилистая, домики двухэтажные, с обвалившейся штукатуркой, вровень с

тротуарами — утопленные в землю оконца полуподвалов; поднимешь голову кверху и видишь на фоне свинцово-тусклого неба горбатые буро-красные крыши, сверкающие жестяными заплатами... А строение № 13 и того хуже: миновали маслянисто-черную миргородскую лужу, а там — дом не дом, сарай не сарай, а что-то низенькое, кособокое, с кривоватым окошком... Вот тебе и строение!

— Его давно уже снести должны были. Да почему-то дело затянулось, — сообщил Коноплеву лейтенант Тихонов. — Однако жильцы уже выехали. И осторожно добавил: — По данным ЖЭКа.

— Верь больше этим данным... — недоверчиво хмыкнул Сомов и потрогал в кармане ребристую рукоять пистолета.

Выяснилось, что в строении всего две квартиры. Двери одной из них были распахнуты настежь. Повсюду валялись вороха бумаги, какие-то тряпки, ведро без дна, красный резиновый мячик с вмятиной на боку и кукла без головы.

Дверь в другую квартиру, на которой мелом была крупно выведена цифра 2, оказалась закрытой. Они переглянулись. Техник-смотритель, которого предусмотрительно прихватили из ЖЭКа, отворил дверь:

— Товарищи понятые! Входите!

Коноплев сразу отметил про себя, что квартира не выглядела покинутой. На плите стоял чайник, на гвозде у раковины висело засаленное полотенце, в темном углу гудел счетчик, отсчитывая киловатты, в уборной журчала вода, безостановочно вытекая из бака...

Коноплеву почудилось: вот сейчас раздадутся шаркающие шаги и навстречу на своих кривоватых ногах выйдет бывший оперный певец Петр Антонович. Николай Иванович даже мысленно представил себе, как тот будет одет: старые сандалии на босу ногу, полосатые штаны от пижамы, на плечах — просторная ночная рубашка довоенного образца с крупными желтыми пуговицами.

Видение это возникло на миг и исчезло. Петр Антонович не появлялся.

Сомов подналег на дверь, ведущую в комнату. Она отворилась, огласив квартиру резким неприят-

ным скрипом. На них пахло спертым сладковато-затхлым воздухом. Маленькое окошко пропускало скудный свет, позволявший разглядеть убогий скерб: топчан, небрежно застланный серым солдатским одеялом; на полках книжного шкафчика, превращенного в буфет, — разномастные чашки, стаканы с трещинками и выбоинами; пузырек корвалола, рядом с ним маленькая рюмочка.

Но все это они разглядели потом, когда начали планомерный осмотр комнаты, а сначала их взгляды приковал к себе диван с ярко-зеленой новой обивкой, почему-то стоявший поперек комнаты.

Он казался залетной птицей в ярком оперении, по ошибке попавшей на чужое, бедное и разоренное гнездовье!

— Это он! — воскликнул Сомов. — Из гарнитура «Лейпциг», ГДР! Точно такой же, как у Марины Белой...

— Вы уверены?

— Еще бы! Мне да не знать! Сколько магазинов обегал. Он мне по ночам снится.

— Обратите внимание на обои, — сказал Тихонов. — Свежие, по всей видимости недавно наклеенные. Между тем с чего бы, кажется, браться за ремонт, когда не сегодня-завтра дом снесут и извольте пожаловать в новую квартиру?

— И пол... Недавно циклевали... — проговорил Сомов.

— Что-то я не пойму, — сказал Коноплев технику-смотрителю. — Старик здесь еще живет или уже переехал на новую квартиру?

— Переехал, — почему-то усмехнулся тот. — Да только не в новую квартиру, а в Матросскую Тишину.

— Матросскую Тишину?

— Да. Что-то у него с мозгами того... — он покрутил пальцем у виска.

— И давно это случилось?

— Месяца полтора назад... Я потому знаю, что у Петра Антоновича за квартиру с марта не плачено.

— А вы не знаете случайно, кто его отправил в эту Матросскую Тишину?

Техник-смотритель пожал плечами:

— В этой квартире кроме старика была только

одна жилица — Марья Игнатьевна, да она еще зимой померла.

Чем дальше продвигался осмотр комнаты Петра Антоновича, тем мрачнее становился Коноплев. В душе у него крепло убеждение, что Лукошко и его спутница встретили свой последний миг именно здесь, в этой жалкой комнатенке, под этим низким, в ржавых водяных потеках потолком. Они сидели на этом зеленом, неизвестно откуда и как появившемся здесь диване, не подозревая о том страшном, что случится с ними через секунду.

В пользу этой догадки говорило многое: и уединенность старого, покинутого жильцами домика, и неожиданная, скорее всего, кем-то подстроенная отправка престарелого актера в больницу, и ремонт, наспех произведенный совсем недавно. Этот ремонт выглядел бы бессмысленным, если бы не имел целью сокрытие следов преступления. Второпях обои были наклеены кое-как, полотна не совпадали по рисунку, края внизу у плинтусов были обрезаны косо и криво... Циклевка тоже была сделана крайне небрежно. Возле зеленого дивана пол тщательно выскоблен, хоть сейчас лаком покрывай, а в других местах — грязный, затоптанный.

— Тихонов! — распорядился подполковник. — Отдерите пару плинтусов, взломайте несколько плиток паркета — и немедленно на экспертизу!

— А что делать с диваном? — поинтересовался Сомов. У него к этому предмету был особый интерес.

— Диваном пусть займутся эксперты НТО здесь, на месте... Не тащить же его с собой на Петровку... И вообще, надо позаботиться о том, чтобы все здесь выглядело так же, как до нашего прихода. Нам, судя по всему, еще не раз предстоит совершать сюда экскурсии.

— Взгляните, товарищ подполковник, — Тихонов извлек из-за шкафа потемневшую от времени, почти черную икону «Богоматерь от бедственно страждущих».

— Икону — тоже на экспертизу. На предмет исследования отпечатков.

— А что вы об этом скажете? — Сомов держал в руках огромный кухонный нож с деревянной ручкой и обрезок свинцового кабеля.

— Где это вы обнаружили?

— Нож — в ящике кухонного стола... Кабель — за газовой плитой...

— Посмотрим, что скажут эксперты... — пробормотал Коноплев. Но он уже не сомневался: убийство коллекционера совершенно здесь.

Приехав наутро в управление, Николай Иванович обнаружил на столе акты экспертиз. Быстро пробежав их, он поднялся с места, подошел к окну и, уткнувшись широким с залысинами лбом в прохладное стекло, долго смотрел на улицу. Хотя подполковник всего несколько минут назад вошел в свой кабинет, он вдруг почувствовал себя таким усталым, словно за плечами был целый рабочий день. Ему захотелось покинуть служебное помещение, оказаться там, на воле, вдохнуть хотя бы глоток свежего воздуха. Мутило, кружилась голова, под лопаткой возникла давящая боль...

Коноплев со страхом подумал: неужели сейчас, когда долгое и трудное расследование подходит к концу, он выбудет из игры и уляжется в постель? Вытащил из кармана стеклянную трубочку, сунул под язык крошечную белую таблетку. Вернулся к столу, сел, подождал, пока в голове прекратится неприятный шум. Снова придвинул к себе акты.

В каморке Петра Антоновича всюду — под обоями, на плинтусах и паркете, на обивке дивана при биологических исследованиях были обнаружены мелкие капли человеческой крови. Эта кровь по группам совпадала с кровью Лукошко и Ольги Сергеевны. Было также установлено: зеленые ворсинки, обнаруженные на одежде Семена Григорьевича в тот день, когда его труп выловили из реки, были от той зеленой ткани, которой обтянут стоявший в каморке диван.

Коноплев снял трубку, тихим, бесстрастным голосом сообщил о полученных данных следователю Ерохину. Тот проговорил: «Ого!» — и изъявил желание немедленно побывать в строении № 13.

— Если не возражаете, часика через полтора, — сказал Николай Иванович. — Нужно срочно отдать кое-какие распоряжения.

Это была отговорка. Никаких распоряжений в данную минуту Коноплев не собирался отдавать.

Просто он испытывал потребность посидеть у себя в кабинете в одиночестве, в тишине и как следует обмозговать все то, что удалось обнаружить в комнате бывшего певца.

Николай Иванович вылез из «Москвича», предъявил удостоверение сторожу, миновал красную будку и очутился за бетонной оградой. Когда-то, давным-давно, здесь была господская усадьба; в те времена, должно быть, на клумбах ярко пламенили цветы, дорожки были посыпаны желтым песком, просвечивающий сквозь густую листву дом ласкал взгляд свежей окраской. Сейчас здание, где разместилась психоневрологическая больница, выглядело неказисто: штукатурка во многих местах обвалилась, клумбы превратились в хаотичные нагромождения земли, на дорожках стояли черные лужицы.

Следуя указаниям сторожа, Коноплев обогнул дом и вошел в боковой, явно не парадный вход. По черной лестнице поднялся на второй этаж и остановился у высокой двери, обтянутой потрескавшимся, белесым на сгибах дерматином. Написанное от руки объявление, висевшее рядом с дверью, гласило, что колбасные изделия и консервы больным передавать нельзя, а молоко и кефир — можно. «Что же это я — гостинец позабыл прихватить», — подумал Коноплев, испытав угрызения совести.

Он нажал кнопку звонка, и его тотчас же впустили внутрь. В просторной передней былолюдно. Слева у окна стоял круглый стол, возле него хлопотали посетители. Они ложками перекладывали содержимое принесенных с собой бутылок и банок в казенные железные миски. В углу жалась к стене стайка людей в байковых халатах.

— Где я могу увидеть врача? — спросил Коноплев у сестры.

— Прямо по коридору. Упретесь в белую дверь.

Врач, дородная женщина с добрым лицом, на вопрос о состоянии здоровья бывшего певца Петра Антоновича ответила:

— Диагноз: прогрессирующая шизофрения. На-

дежд на полное излечение никаких. Вы хотите с ним поговорить? Можно. Только вряд ли это вам что-либо даст.

— Скажите, а можно узнать, по чьей просьбе человек определен в психбольницу?

Женщина кивнула:

— Конечно можно. Все это фиксируется. Надо только заглянуть в больничную карточку. К сожалению, сейчас это невозможно, карточки у главврача. Позвоните мне завтра, я скажу.

Коноплев едва узнал Петра Антоновича в усохшем старичке с пепельно-серым лицом и потухшими глазами.

— Как ваше здоровье, Петр Антонович? — участливо спросил он.

— Пастилы принес? — отвечал ему хорошо поставленным баритоном Петр Антонович.

Узнав, что пастилы гость не принес, старик потерял к нему всякий интерес. И опять Коноплев побранил себя: «Это ж надо — в больницу и с пустыми руками! Стыд-то какой».

— О вас хорошо заботятся? Кто-нибудь навещает? — поинтересовался он.

Собственно говоря, в этом и заключалась цель его приезда сюда — выяснить, кто и при каких обстоятельствах поместил в больницу Петра Антоновича. На этот вопрос старик не ответил. Взгляд его был устремлен поверх плеча Коноплева. Казалось, он кого-то высматривает там, вдали.

— Нет, его, бедненького, никто не навещает. Один как перст, — сказала проходившая мимо сестра жалостливым голосом. — Ничего, старичок тихий, нетребовательный.

Коноплев сделал последнюю попытку вызвать старика на разговор:

— А вы домой не собираетесь ли? Вам комнату дали. В хорошем доме на седьмом этаже...

В ответ Петр Антонович протянул худую руку, цепко схватил Николая Ивановича за лацкан, притянул к себе и шепотом сообщил:

— На семи поясах бог поставил звездное течение. Над семью поясами небесными сам бог, выше его покров. На первом поясе небесные ангелы, на втором архангелы, на третьем начала, на

четвертом власти, на пятом силы, на шестом господства, на седьмом херувимы, серафимы и многочисленные.

— Я вам гостинец пришлю. Сегодня же, — сказал Коноплев, поднимаясь.

Слово «гостинец» Петр Антонович, видимо, знал. Оживившись, он выкрикнул:

— Дай пастилу!

Вернувшись в управление, Коноплев первым делом вызвал лейтенанта Тихонова и, вручив ему пять рублей, велел соорудить гостинец для Петра Антоновича и немедленно отвезти в больницу.

— Главное, чтоб пастила была. И побольше. Хоть из-под земли, а достань, — сказал он.

— Наверное, он вам полезные сведения дал... — высказал предположение Тихонов.

— Еще какие полезные, — ответил подполковник. — Он мне сообщил, что бог поставил звездное течение на семи поясах.

— Чего-чего? — не понял Тихонов.

— Задание вам ясно, лейтенант? Выполняйте.

На другой день Коноплев получил по телефону от врача интересовавшие его сведения. Петр Антонович был помещен в больницу 24 марта, в то время Семен Григорьевич Лукошко и Ольга Сергеевна еще были живы и здоровы. Узнав об этом, Николай Иванович облегченно вздохнул. До последнего момента его не оставляла мысль: а вдруг убийство коллекционера — дело рук старика с помраченным рассудком? Теперь эта версия отпадала.

Как выяснилось, Петр Антонович был помещен в больницу по сигналу жильца из соседней квартиры Петракова, сообщившего по телефону о его тяжелом состоянии. По просьбе Николая Ивановича Тихонов в тот же день отыскал Петракова, ныне проживавшего в новом доме в районе Хорошево — Мневники. Тот сообщил, что в последние месяцы здоровье Петра Антоновича действительно заметно ухудшилось. Между собой соседи не раз толковали: мол, неплохо бы подлечить старика в больнице. Но дальше разговоров дело не шло. Лично он, Петраков, в больницу не звонил и никаких заявлений не делал.

Коноплев отыскал следователя в столовой.

— Итак, место преступления обнаружено...

Ерохин тщательно выскреб из стакана следы бледно-лилового киселя, сунул в рот, облизал ложку и сказал:

— И все-таки я не понимаю, чему вы так радуетесь. Ведь кто убил, по-прежнему неизвестно?

— А я не радуюсь, — проговорил Коноплев. — Просто пытаюсь объективно оценить то, что удалось сделать.

— Пусть начальство дает оценку сделанного, а наше дело двигаться вперед и вперед...

— Но нельзя двигаться вперед, не оценив содеянного, — упорствовал Коноплев.

— Ну ладно, оценивайте.

— Итак, что мы имеем? Нам известно место, где совершено преступление. Располагаем и орудиями убийства.

— Кухонный нож и кусок кабеля?

— Да.

— Почему убийца не выбросил орудия преступления в реку вместе с трупами?

— Как я выяснил в ЖЭКе, дом по плану должны были снести еще два месяца назад. Убийца знал об этом. Расчет был на то, что улики в самом скором времени будут уничтожены вместе с домом. Поэтому следы заматали кое-как... Лишь бы не бросались в глаза. Поэтому и нож с кабелем оставили на месте. Тщательно вымыли и оставили.

— Допустим... Еще что?

— Преступление готовилось очень тщательно. Петра Антоновича спланировали в больницу за несколько дней до намечавшегося сноса дома. В этот промежуток и совершено убийство. Преступник явно был в курсе всего, что происходит в доме.

— А что соседи говорят? Навещал его кто?

— Единственный человек, который мог бы нам дать сведения, соседка Мария Игнатьевна, умерла зимой.

— Ты говорил, что певца взяли в больницу по сигналу некоего Петракова. А его проверяли?

— Отпадает... Мастер завода «Серп и молот», уважаемый человек, член парткома. Говорит, в больницу не звонил.

— Так что же, выходит, опять ни одной ниточки? Ерохин с силой хлопнул ложечкой по пластмассовой поверхности стола. На них стали оглядываться.

— Потихе, а то нас сейчас выведут, — усмехнулся Николай Иванович. — Что же касается ниточек, то у нас их целый пучок. Тяни за любую! Не исключено, что скоро к Булыжному вернется сознание...

— Так! Вы что же — все свои надежды на этого Булыжного возлагаете? Он место преступления отыскал, а теперь еще и имена преступников назовет? Так, что ли?

Коноплев ожидал этого выпада. Кто-нибудь должен был задать ему каверзный вопрос — не Ерохин, так Ворожеев, не Ворожеев, так начальник повыше. Он ответил:

— Как вы не понимаете... Наши пути пересекались с Булыжным не случайно. Так же, как и он, мы вышли на след... И двигаемся вперед... Разгадка близка.

— Как складно да ладно все получается! Вашими бы устами, подполковник, да мед пить... — недоверчиво проговорил Ерохин и с сожалением заглянул в пустой стакан из-под киселя.

«Видно, в детстве, бедняга, не наелся киселя вдовсталь», — подумал Коноплев и встал из-за стола.

— Вот что, — сказал Ерохин строго. — Надо немедленно и самым тщательным образом расследовать все, что связано с этим Булыжным. Смотрите — не оборвите свою ниточку! Худо будет!

— Ну, как там Булыжный? — спросил Николай Иванович у Сомова.

— Плох... Боюсь, не выживет.

— Мужик крепкий... Авось вынырнет, — сказал подполковник. Но тут же вспомнил недавний разговор со следователем и нахмурился. — Однако мы не должны сидеть и ждать, что этот Булыжный очнется и за руку приведет нас к убийце. Нужно действовать, и притом энергично. Не исключено, что Булыжный не случайно попал под машину. Ему помогли — так, во всяком случае, считает Ерохин. Как говорится, «он слишком много знал».

— Я допросил постового, который дежурил в тот

день на перекрестке... Он высказал предположение, что Булыжный за минуту до несчастного случая подъехал к перекрестку на ярко-оранжевом «Запорожце».

— Предположение? — Коноплев отчетливо представил себе, какую кислую гримасу скроил бы следователь Ерохин, если бы услышал это слово. Он терпеть не может всяких версий и предположений, ему подавай факты. А между тем длинная дорога к факту, подумал Николай Иванович, часто выложена именно предположениями...

— Да, предположение. Он не совсем уверен. Говорит, что обратил внимание на «Запорожца» только потому, что недавно купил пополам с сыном машину этой марки. Они долго спорили насчет цвета. Сын хотел желтый, а отец — цвета «белая ночь». Так что все его внимание было обращено на автомобиль, Булыжный же попал в поле его зрения случайно. Вот поэтому он и говорит предположительно.

— Меры к розыску «Запорожца» приняты?

— В Москве, по данным ГАИ, около 20 тысяч «Запорожцев».

— Но ярко-оранжевый цвет довольно-таки редкий.

— Да... Но тысячи полторы оранжевых наверняка наберется. И как найти тот, что нам нужен? По каким признакам?

Коноплев задумался.

— Владельца оранжевого «Запорожца» надо искать среди знакомых и сослуживцев Булыжного,

Сомов усмехнулся:

— А не уподобимся ли мы тому пьяному, который ищет потерянную монету под фонарем — не потому что там ее потерял, а потому что светло?

Коноплев терпеливо объяснил:

— Будем исходить из того, что Булыжный пришел к месту с человеком, который заранее имел на его счет преступные намерения. А коли так, его спутник вряд ли стал бы брать «левака»: ведь тот впоследствии мог бы опознать его. Скорее всего, сидевший за рулем был из той же шайки.

— Вы полагаете, что Булыжный тоже «из их шайки»?

«И этот туда же... Взял себе манеру надо мной

насмехаться», — подумал Коноплев. Ответил спокойно:

— Нет, он не из их шайки. Но я думаю, что водитель был ему знаком. Иначе он вряд ли сел бы в эту машину, зная с кем имеет дело. И «Лиру» избрал как место встречи не случайно.

— Почему вы решили, что место встречи определил именно он?

— Да это же ясно. Во-первых, «Лира» — его излюбленное место. И еще — называя место встречи, он мог не опасаться, что там его будет ждать сюрприз.

— И все-таки сюрприз его ждал, — пробормотал Сомов. — На пешеходной дорожке.

— Да... Он забыл призыв ГАИ: соблюдать осторожность на проезжей части. Вы сказали, что ведется розыск по двум направлениям... Второе — это расследование старой драки в «Лире»?

В глазах Сомова засветилось нечто вроде уважения к подполковнику.

— Так точно, — сказал он.

— Удалось что-нибудь узнать?

— Немного, но кое-что есть. Те парни, что неожиданно напали на Булыжного, больше в кафе не появлялись. Но девчонка, из-за которой вспыхнула драка, иногда туда навевывалась. Ее разыскивает Тихонов. Я ему поручил...

— Хорошо, — сказал подполковник. — Знаете, Сомов, вы мне начинаете нравиться.

— Вы мне тоже, товарищ подполковник, — ответил капитан.

Как выяснилось позже, они оба поторопились, взаимно обменявшись комплиментами.

Вот уже третий день лейтенант Тихонов в своем единственном штатском костюме проводил вечера в кафе «Лира». Однако интересовавшая его девчонка не появлялась. В первый вечер Тихонов пил минеральную воду, во второй кофе, в третий — заказал пива. «Если так дело пойдет, — подумал он, — я и до коньяка дойду. Однако подполковник вряд ли признает мои расходы оправданными».

Принимая плату за пиво, официантка в белом,

отделанном кружевами фартучке и с кружевной наколкой на голове низко склонилась к молодому лейтенанту и шепнула:

— Вон за тем столиком у окна... Четверо гуляют. Сдается мне, что я ту девчонку, которой вы интересовались, как-то в их компании видела.

Тихонов пересел на другое место. Теперь ему были видны все четверо.

Гуляки совсем юные: девочки смахивали на восьмиклассниц, их кавалеры, кажется, еще не начинали бриться. Тем не менее вели себя шумно и самоуверенно, громко хохотали, всюду дымили импортными сигаретами, шампанское, как говорится, лилось рекой.

«Небось на папины денежки пируют», — подумал Тихонов и, последовав совету официантки, подошел к честной компании:

— Друзья, а вы не скажете, где ваша юная подруга? Черненькая такая... Со вздернутым носиком... У нее еще такие забавные клипсы-кораблики.

Тихонов описал девушку по приметам, которые оставил в свое время Булыжный в отделении милиции.

— А! Это Люба! — воскликнул один из парней. — А вы что, на нее глаз положили?

— Да, девочка что надо, — в тон ему ответил Тихонов.

— Ничего себе девочка! У нее у самой уже девочка растет! — хихикнула одна из восьмиклассниц.

— А где ее можно увидеть, вы не знаете?

— Да она сегодня в «Интуристе» гуляет. У нее день рождения, — ответил парень.

— А вас что же не пригласила?

— У нее своя компания, у нас своя. Мы с фарцовщиками не водимся! — отвечал парень, но потому, что на лицах всех четверых появилось одинаковое обиженное выражение, было ясно, что компания с удовольствием бы перенеслась в эту минуту из «Лиры» в «Интурист».

— В «Интуристе»? А где именно?

— В «Седьмом небе», — последовал точный ответ.

Ресторан «Седьмое небо», к удивлению лейтенанта, расположился не на верхотуре, как это можно было бы предположить по его названию, а на пер-

вом этаже. Пройдя мимо очень красивой, крытой медными листами сверкающей лестницы, Тихонов вошел в полутемное помещение. Веселье било ключом. Играла музыка, раздавались возбужденные голоса, звенела посуда. Метрдотель усадил лейтенанта за служебный столик, подал меню и отошел. Тихонов тотчас отыскал глазами Любу. Черноволосая девочка со вздернутым носиком и нагловатым выражением красивого узкого лица с важным видом восседала во главе стола. В руке у нее дымилась сигарета. Посреди стола возвышалась огромная плетеная корзина с белыми цветами. В ушах у девицы медленно покачивались клипсы-кораблики.

— Люба, сбцаем? — предложил ее сосед, хлющ, облаченный в малиновый свитер с золотыми пуговицами. Люба выпустила ему в лицо струю сигаретного дыма, встала и величавой походкой принцессы, покачиваясь на непомерно высоких каблуках, направилась к танцевальной площадке...

Они гуляли до закрытия ресторана. На улице, у входа в гостиницу, долго и шумно прощались. Потом Люба в сопровождении своего кавалера двинулась вверх по улице Горького. Не доходя до Центрального телеграфа, пара свернула в переулок. Там их ожидал «Запорожец». Оранжевого цвета.

Тихонов, заранее вызвавший по телефону дежурную машину, уселся рядом с водителем:

— Следуйте за ними!

Доехали до площади Маяковского, повернули направо, на Садовое кольцо. Еще один поворот, на этот раз налево, «Запорожец» проехал под эстакадой, по которой, грохоча и сверкая освещенными окнами, промчался поезд, миновал Комсомольскую площадь, затем Сокольники. На Преображенке «Запорожец», замигав задними фарами, остановился у тротуара. Прошло три минуты...

Вскоре дверца отворилась, из нее вышла Люба и, неуверенно переступая на своих высоченных каблуках, направилась к подъезду девятиэтажного дома. Корзину с цветами она волочила вслед за собой по земле.

Тихонов проводил девушку долгим взглядом, на всякий случай запомнил подъезд.

«Запорожец» развернулся и поехал назад. Мили-

цейский «Москвич» ринулся за ним. Обогнал, прижал к обочине.

Милиционер выскочил из «Москвича», обратился к водителю:

— Вы нарушили правила! Левый поворот запрещен. Там знак. Предъявите документы.

Сидевший за рулем парень, стараясь не дышать в сторону милиционера, залопотал:

— Виноват, старшой... Извини. Могу штраф заплатить. Только дырку не пробивай.

Однако на этот раз «дырка» нарушителю правил движения не угрожала. Следуя инструкциям Тихонова, милиционер ограничился тем, что выписал из паспорта хозяина «Запорожца» данные и отпустил его.

Обладателем оранжевого «Запорожца» оказался Иткин Константин Сергеевич, 1958 года рождения. Докладывая о нем Коноплеву, лейтенант подчеркнул: этот тип работает в том же самом учреждении, что Иван Булыжный и Дмитрий Лукошко.

— Пошлите ему вызов! — выслушав лейтенанта, распорядился Коноплев. — Нет никакого сомнения, что именно Иткин доставил на своем «Запорожце» Булыжного к роковому перекрестку. Он же, скорее всего, и был организатором нападения на него в кафе «Лира». Подружка Иткина при этом исполнила роль подсадной утки... Этому субчику есть что рассказать.

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

На допросе Кеша Иткин показал: 8 июля он по просьбе сослуживца Ивана Булыжного довез его до кафе «Лира», высадил у перекрестка и поехал дальше. Торопился на станцию техобслуживания, где ему обещали по блату быстро сделать кое-какой ремонт. На вопрос, не было ли в машине кроме него самого и Булыжного еще кого-нибудь, ответил отрицательно.

А не слышал ли он что-либо о драке, приключившейся не так давно в кафе «Лира»? Кеша завел к потолку лживые глаза, подумал и сказал: да, знает. К его знакомой пристали двое парней. Кто-то из

присутствующих вступился за нее, и вспыхнула драка.

Известно ли ему, что за девушку вступился его сослуживец Иван Булыжный? Кеша сделал удивленное лицо: первый раз слышит. Правда, теперь он вспоминает: как раз в то время Булыжный пришел на работу с фонарем под глазом. Но Кеша не знал, откуда у него взялся этот фонарь.

Не известны ли ему парни, что приставали к его подруге и напали на Булыжного? Кеша ответил: нет, к сожалению, не знает. А то бы он их в порошок стер.

Коноплев поглядел на узкие плечики Кеши, на его цыплячью грудь и усмехнулся. Нет, недаром так расхрабрился Кеша. Знает, что драка с обидчиками зазнобы ему не угрожает.

Пока Коноплев вел неторопливый разговор с Кешей, лейтенант Тихонов побывал у того дома, спросил Кешиных соседей о его житье-бытье. Узнал следующее. Живет Кеша один. Свою восемнадцатиметровую комнату превратил в студию звукозаписи. Какой только аппаратуры там нет! И магнитофоны, и проигрыватели, и усилители, и акустические системы — все иностранных марок. С помощью этой техники Кеша зарабатывает себе на жизнь — переписывает с пластинок на магнитофонные кассеты самые модные мелодии и продает их втридорога молодым меломанам.

— Руки у парня золотые, а голова дурная: все что ни зарабатывает, все пропивает, путается со всякими подозрительными личностями, — со вздохом сказала соседка.

Тихонов попросил ее назвать кого-либо из Кешиных друзей. Старушка сказала:

— Есть у него один... Геннадием зовут. Дружат они. Кеша ему даже комнату ремонтировать помог. С обоями и клеем все носились...

Тихонов насторожился:

— Обои? Какие обои? Когда это было?

Соседка призадумалась:

— Да месяца три назад.

Однажды, вернувшись из магазина, она застала Кешу в коридоре. Стоя на табурете, он доставал с полка банку «Бустилата» — клея для обоев. Она спросила Кешу: «Что, соседушка, надумал ремонт

делать? Небось грязи в квартиру натащишь!» Он ответил: «Не бойтесь, это не я ремонт затеял, а мой кореш... Голубков. Обои раздобыл, а клея нет... Надо помочь...»

Утром солиста ансамбля «Поющие гитары» Геннадия Голубкова разбудил звонок в дверь. Парень с трудом очнулся от владевшего им оцепенения. Накануне «Поющие гитары» с успехом выступили на студенческом вечере, после этого, как водится, сильно выпили, и теперь у Геннадия раскалывалась голова.

«Кого это черт принес в такую рань?» — пробормотал он и, как был, в трусах и майке, нечесаный и невымытый, поплелся открывать дверь.

— Кто там?!

— Повестка.

— Какая там повестка...

Геннадий распахнул дверь и вздрогнул, увидев миллионера. Да не простого, а лейтенанта.

— Вам надлежит расписаться в получении, — протягивая ему повестку, проговорил Тихонов.

— А ручка у вас есть?

— Увы, нет, — отвечал лейтенант.

Шариковая ручка у Тихонова имелась, но он этот факт утаил. И не без умысла.

— Сейчас, — буркнул Геннадий и зашлепал босыми ногами в глубину квартиры. В спальне он подобрал свалившийся со стула пиджак, начал шарить по карманам. Отыскал авторучку, поднял глаза и увидел стоявшего в дверях лейтенанта. Тот внимательно оглядывал жилище Голубкова.

— Миленькие обои, — сказал Тихонов.

— А я вас, кажется, в гости не приглашал! — сердито проговорил Геннадий.

— Извините, — вежливо ответил лейтенант и, взяв из рук Голубкова корешок повестки, козырнул и двинулся к выходу:

— Так вы не забудьте, завтра к десяти.

— А по какому делу? — с тревогой спросил Геннадий.

Вежливый лейтенант ответил:

— Точно не знаю.

— А почему на Петровку, а не в отделение?

— Там вам скажут...

После ухода лейтенанта Голубков бросился к телефону и принялся названивать Кеше Иткину. То, что он услышал, насторожило его.

— Вчера ушел и не возвращался, — сказала соседка.

«Может, у своей Любки заночевал», — успокаивая себя, подумал Голубков. Поплелся в ванную и сунул голову под холодную воду. Но лучше бы он этого не делал. Стоило ему сбросить с себя путы алкоголя и сна, как им овладел страх.

Вернувшись в управление, лейтенант Тихонов немедленно отыскал Коноплева и доложил:

— Спальня Голубкова оклеена теми же самыми обоями, что и комната в строении № 13.

Подполковник усмехнулся:

— А у этого гитариста крепкие нервы. Я бы в такой спальне глаз не сомкнул, а он ничего, дрыхнет.

Подполковник задумался. Ясно: расследование убийства Лукошко вступает в завершающую стадию. Тут особенно важно действовать быстро, решительно. Но вместе с тем осторожно. Один неверный шаг — и с таким трудом возведенное здание может рухнуть. И не столь уж важно, что под его обломками окажется погребенной его, Коноплева, репутация. Опаснее другое — преступник, словно хищная рыба, отыскавшая прореху в сети, вырвется на волю, и ищи-свищи... Все придется начинать сначала.

Поэтому Коноплев еще раз все тщательно взвесил, а потом уж только отправился к следователю Ерохину.

— Предлагаю срочно задержать Иткина и Голубкова! — сказал он.

— А вы готовы предъявить обвинение? — спросил тот хотя не хуже подполковника знал, что пока доказательств для обвинения маловато. — Учтите, я на фу-фу работать не привык.

— Какое там фу-фу, — усмехнувшись, проговорил Коноплев. У него было кое-что припасено для следователя. Медленно и четко выговаривая слова, он произнес: — На обоях комнаты, где было совершено убийство, обнаружены отпечатки пальцев. Они

идентифицированы с отпечатками пальцев Геннадия Голубкова.

— Так... — только и сказал Ерохин.

В тот же день Голубков и Иткин были заключены под стражу, как подозреваемые в совершении тяжкого уголовного преступления. Иткина задержали на квартире его подружки Любы.

Допросы шли с утра и до вечера. Но картина преступления прояснялась медленно, луч следствия выхватывал только некоторые детали, целое же по-прежнему оставалось укрытым от глаз.

Геннадий Голубков показал: три месяца назад, а точнее, 30 марта его приятель Иткин обратился к нему с просьбой оклеить обоями комнату в строении № 13 по Казачьему переулку. По словам Кеши, дом уже покинут жильцами, однако сносить его пока не собираются. Есть возможность некоторое время использовать помещение в своих целях. Однако комната страшно запущена, в нее войти страшно, не мешало бы освежить.

Получив от Кеши 60 рублей, Голубков на часть суммы купил обоев, а остальное удержал за работу.

На вопрос, знал ли он, что в этой комнате совершено преступление и что он фактически принял участие в сокрытии его следов, Голубков заявил, что понятия об этом не имеет и не верит, что Кеша Иткин мог втравить его в эту грязную историю.

— Оклеивая комнату, вы не могли не обратить внимание на пятна крови, — сказал Сомов. — Они были всюду — на стенах, старых обоях, мебели...

— Никакой крови я не видел! — истерично выкрикнул Голубков. — Старые обои до моего приезда были кем-то оборваны. Мебель укрыта газетами.

Сомов попробовал припугнуть Голубкова:

— Ваши увертки не помогут. У нас есть все основания предполагать, что вы имели самое непосредственное отношение к преступлению, следы которого пытались скрыть.

Голубков побледнел, но присутствия духа не потерял:

— Никаких оснований подозревать меня в совершении преступления у вас нет! Весь март я отсутст-

вовал в городе, вместе с ансамблем был на гастролях в Костроме. В Москву вернулся только 30 марта. О своем приезде сообщил по телефону Иткину, чтобы он встретил меня с машиной. Мы заехали ко мне домой, оставили вещи, после чего поехали за обоями. Из Костромы я не отлучался ни на один день — можете проверить, все участники ансамбля подтвердят.

— Хорошо. Пока оставим это, — сказал Сомов. — Лучше расскажите мне, как вы столкнули под машину гражданина Булыжного, угрожавшего вам разоблачением.

— Кто? Я? Не делал я этого! Поверьте! Я только сказал ему: «Двигай». А он и шагнул...

А вот что рассказал на допросе Иткин. Помочь в ремонте комнаты его попросил знакомый Валера. Этот Валера иногородний, по делам службы время от времени наезжает в Москву. Получить номер в гостинице трудно, вот он и решил оборудовать себе временное пристанище. Дал денег на обои, а также заплатил за работу. Мысль привлечь к этому Голубкова пришла Иткину, когда он вспомнил, что до того, как осесть в ансамбле «Поющие гитары», его приятель маляричил на стройке.

Кеша признался: на одном из допросов он сказал неправду. 3 июня в «Запорожце» кроме него самого и Булыжного находился Геннадий Голубков. В его задачу входило: во время беседы в кафе «Лира» выяснить, что имеет против них Булыжный, и постараться с ним помириться. Он, Кеша, не верит, будто бы Голубков толкнул Булыжного под машину.

О преступлении, которое якобы совершено в строении № 13, он, Иткин, ничего не знает. В то, что сделал это Валера, не верит. Мужик интеллигентный, с положением, при деньгах. Познакомились в «Интуристе», где случайно оказались за одним столом. Фамилии Валеры Иткин не знает, профессии тоже. Описать внешность? Пожалуйста. Среднего роста, широкоплечий. Особые приметы? Пожалуй, только черная борода...

— Докладывай! — вся фигура Ворожеева источала недовольство.

Коноплев сказал:

— Голубков и Иткин в один голос утверждают, что в глаза не видели ни Лукошко, ни Ольги Сергеевны и не убивали их. Кто убил — не знают.

— И ты им поверил?

— Я бы рад не верить, да не могу. Факты, понимаешь, упрямая вещь. День убийства, как мы установили, — 28 марта. Так вот, в этот день Голубкова в городе не было, выступал с концертом в Костроме, что могут подтвердить 250 человек — столько зрителей вмещает конференц-зал в местном пединституте.

— А ты уверен, что убийство было совершено именно 28-го?

— Убежден. Вечером 28-го Лукошко еще был жив, преспокойно сидел в оркестровой яме театра и вел партию первой скрипки в спектакле «Дочь Анго». А 30-го Голубков уже оклеивал комнату...

Ворожеев пробормотал:

— Вот тебе и «Дочь Анго»... Выходит, у Голубкова алиби. Может, Иткин?

Коноплев покачал головой:

— Кеша Иткин — убийца? Этот хлюпик? Не верится. Он, конечно, подонок, но убить двоих людей, нет, на это у него ни сил, ни нервов не хватит. Как говорится, слаб в коленках. Но убийцу-то он, я думаю, знает. Иткин указывает на Валеру как на человека, по поручению которого они с Голубковым приобрели обои... Но сообщенные им сведения до крайности скупы. Познакомились в ресторане. Мужик лет тридцати, с густой черной бородой. В Москве бывает наездами. От личных контактов с Голубковым решительно отказался. Где живет этот Валера, кем работает, какое отношение имеет к Петру Антоновичу и к его комнате, Иткин якобы не знает.

— Словесный портрет Валеры по описаниям Иткина сделали?

— Сделали. Но вполне возможно, что этот портрет так же похож на убийцу, как на нас с вами.

— Сел в галошу с этими преждевременными арестами да еще шутите?!

— Погодите-ка... — проговорил Коноплев. В его памяти вдруг всплыли слова, сказанные полусумасшедшим стариком Петром Антоновичем лейтенанту Тихонову при вручении пастилы:

«Человек лукавый, замысливший зло, а на устах его как бы огонь палящий».

«Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство».

«Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамный и бесчестный».

«Своя своих не познаша»...

Уж не так ли бессмысленна сбивчивая речь Петра Антоновича? А что, если он имел в виду вполне конкретного человека? Того самого, кто беспощадно расправился с несчастным стариком? Комнатенка в заброшенном, обреченном на слом доме показалась ему удобным местом для совершения преступления. И он хладнокровно довел Петра Антоновича до умопомешательства, а затем отправил его в психиатричку. Преступник... Человек лукавый, замысливший зло... придумывает коварство, замышляет злодейство... Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный...

Коноплеву припомнилось письмо Петра Антоновича Семену Григорьевичу Лукошко. Тогда, возмущенный поступком коллекционера, цинично выманившего у него драгоценную тарелку с изображением арфистки, старый артист выразил обуревавшие его чувства с помощью библейских текстов. Не исключено, что и сейчас его слова полны смысла. Если догадка Коноплева верна, то убийцу Лукошко следует искать среди людей, близких Петру Антоновичу. Среди тех, кто «своя своих не познаша»...

Первые известия расхолаживали. Выяснилось, что Петр Антонович круглый сирота, если можно так выразиться о человеке, которому уже перевалило за семьдесят. Не было у него ни братьев, ни сестер, а следовательно, ни племянников, ни племянниц. В пору было отступить, но Коноплев направил Тихонова в театр, где до ухода на пенсию пел Петр Антонович. «Актеры, как правило, долго живут, — сказал лейтенанту Николай Иванович, — не исключено, что отыщешь какого-нибудь товарища Петра Антоновича по юным забавам...» — «Какие там забавы!» — горько усмехнулся Тихонов, живо

представив себе жалкую фигуру бывшего артиста, облаченную в выцветший больничный халат. «Вам, молодым, кажется, что у нас, стариков, и молодости не было, и забав...» — нахмурился Коноплев. «Ну, какой же вы старик, товарищ подполковник», — улыбнулся Тихонов и отправился выполнять поручение.

«Улов» его оказался невелик. Говорят, была лет этак двадцать — двадцать пять назад на гастролях в Костроме у Петра Антоновича какая-то любовная история, какой-то пылкий роман, едва не заставивший его уйти из театра. Но артист нашел в себе силы отказаться от личного счастья ради высокого служения искусству.

— Не много же принесло ему его искусство, — сказал Коноплев, мысленно представив себе скудное жилище артиста. — Когда, ты говоришь, это было? Лет двадцать пять назад? Что ж... надо и это проверить. Собирайся в Кострому.

На другой день после отъезда Тихонова в кабине Коноплева раздался звонок. Лейтенант сообщал, что примерно с полгода назад, а точнее, 3 января, женщина, которую любил Петр Антонович, гражданка Пастухова, умерла — видимо, от сердечного приступа. Стараясь дотянуться до столика с лекарствами, уронила лампу. Возник пожар, от которого сгорел дом. У Пастуховой был взрослый сын, который жил отдельно. На похороны матери не приехал.

Услышав это сообщение, Коноплев сказал:

— Жди... к вечеру буду самолетом. А пока не теряй времени даром: узнай, кому выплачена страховка...

И положил трубку.

Узнав поздно вечером от исполнительного лейтенанта, что страховка выплачена сыну Пастуховой — Шакину Федору Борисовичу, проживающему в Сибирске, Коноплев присвистнул. Он тотчас же припомнил заместителя директора Дома ученых, коренастого здоровяка с загорелым простоватым лицом, завсегдатая туристических походов, с которым провел вечер в шумном кафе «Чашечка кофе под интегралом». Припомнилось ему и многое другое, что тогда, месяц назад, не показалось ему подозритель-

ным, но сейчас, в свете новых фактов, явно стоило того, чтобы над этим поразмыслить... Крупные капли пота на лице Шакина, которые Коноплев ошибочно принял за следы густо намазанного на лицо вазелина... Его подчеркнутое спокойствие, не просто спокойствие, а именно подчеркнутое... Тогда он не придавал этому значения. С инспектором угрозыска многие люди начинают вести себя странно — или излишне нервно, или слишком развязно. Причем даже если совесть их совершенно чиста. Коноплев вспомнил, как быстро прервал Шакин их разговор, сославшись на занятость. Правда, он перенес встречу на вечер, в кафе, но поговорить им так и не удалось: не успели они усесться за столик, как грянула музыка, общение стало невозможным. Частый посетитель кафе, Шакин, конечно, хорошо знал о часах работы оркестра и его шумовых достоинствах и, должно быть, нарочно приурочил беседу к этому времени. Не мог, конечно, Коноплев не вспомнить и о черной бороде, украшавшей лицо Шакина, когда он на небольшой полутемной сцене Дома ученых так вдохновенно исполнял свою роль. А ведь черная борода была, по свидетельству Кеши Иткина, почти единственной отличительной приметой таинственного Валеры, по поручению которого скрывались следы преступлений. Коноплев давно заподозрил, что эта «особая примета» ничего не стоит, борода явно фальшивая. Теперь его предположение, похоже, подтверждалось.

— Тихонов? Зайдите, пожалуйста!

Он испытал чувство удовольствия, когда увидел перед собой свежее лицо голубоглазого лейтенанта, смотревшего на него с уважением и явной любовью. «Конечно, на работе любить друг друга вовсе не обязательно... Но все-таки как хорошо, когда людей, делающих трудное и опасное дело, объединяют между собой не только официальные узы, но и теплые человеческие чувства».

— Садитесь, — почти нежно произнес он. — Скажите, вы давно не навещали Петра Антоновича?

Коноплев знал, что, посетив однажды по его поручению старика, Тихонов впоследствии уже по

своей инициативе несколько раз бывал в больнице, привозил кое-что из еды, а также сладости, до которых бывший актер был большим охотником. Это еще больше расположило Николая Ивановича к молодому сотруднику.

На нежных щеках Тихонова появился легкий румянец.

— Неделю уже не был, — с раскаянием произнес он. — Забегался... А вы знаете, товарищ Коноплев, он меня узнает. В прошлый раз даже попытался мне кое-что спеть...

— Значит, Петр Антонович к вам расположен... Это хорошо. У меня к вам деликатное поручение. Надо выяснить, не прихватил ли Петр Антонович с собой в больницу кое-какие бумаги. Я имею в виду письма своей бывшей возлюбленной... Да, да, той самой женщины, что так трагически погибла в Костроме. Эти письма драгоценны для старика, это все, что осталось у него в жизни. Не исключено, что он не захотел с ними расстаться и в больнице.

— Вряд ли он мог соображать... Вы ведь знаете, в каком Петр Антонович состоянии...

— Знаю. А вы разве забыли, что именно его речи, казавшиеся поначалу столь безумными, подсказали нам путь к поимке преступника?

— Разрешите выполнять?

Коноплев оказался прав. Под подушкой у Петра Антоновича удалось обнаружить пачку писем, перехваченную черной резинкой, какими крепятся рецепты к аптечным пузырькам. Лейтенант Тихонов снял с них ксерокопии. Таким образом, Петр Антонович мог по-прежнему, лежа в своей постели, спокойно ощущать исхודהвшей, костлявой рукой спрятанное под подушкой сокровище.

**Два письма Елизаветы Пастуховой
Петру Антоновичу, написанные с промежутком
в двадцать пять лет**

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Ненаглядный мой! Счастье моей жизни. Я так люблю тебя! Все внутри у меня поет, а сердце — болит. Я вспоминаю нас с тобой, когда мы были вме-

сте, и думаю: мы друг для друга больше, чем муж и жена. Ты — моя жизнь. Ничего прекраснее нет, чем быть с тобой. Счастье, когда ты смотришь на меня, а я иду к тебе. У меня больше нет сил не видеть тебя, не знать, как ты и как я для тебя. Я знаю одно: для меня без тебя нет жизни, это все равно, что в тюрьме бессрочной.

Скажи, милый, родной, самый сильный и самый полноценный, самый интересный на свете человек, скажи, ты приколдовал, ты приворожил меня на мою беду? Да! На горе? Меня ждет что-то страшное, какое-нибудь жесточайшее ранение, после которого не поправляются, а дотягивают больно-больно свою жизнь. Да? Ах, что ты делаешь со мной? Чем мне жить? Я должна жить для тебя — другого смысла в жизни нет.

Иногда так обостряется чувство тоски, что, кажется, сейчас лопнут все мои нервы. Может, у тебя есть другая женщина? Но разве это возможно, чтобы у нас были другие? Скажи! Нет, нет. Не надо! Об этом и думать мне страшно.

Жизнь идет, я вроде бы и жива. Просыпаюсь по утрам, если с вечера удалось заснуть, иду на работу. Но сердце мое полно тобой. О, сколько у меня вариантов наших встреч! Родной, почему нам надо разлучаться, почему мы не можем жить вместе? Я всю себя тебе отдам, а ты меня сбереги, ведь я твоя единственная.

Твоя собачка.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Дорогой мой, бесценный друг!

В чем же мы с Вами так провинились перед Господом, если он заставил нас нести столь тяжкий крест! Меня совсем одолели хворобы, вся исхудала, стала как тростиночка. Вы теперь совсем не узнали бы своей Лизоньки, которая имела когда-то счастье обратить на себя Ваше внимание. Я одна, совсем одна, в четырех стенах этого осточертевшего мне дома. Мне бы, глупой, вспорхнуть и улететь, словно птица, вслед за Вами, Вы ведь звали меня, ох, как звали, помните? Но я не захотела бросить дом, боялась на закате жизни своей остаться с сыном на ру-

ках без крыши над головой. Будь проклята эта самая крыша! Однажды, я это чувствую, она рухнет на мою голову и погребет меня под собой. Ну и пусть, поделом мне, сама отказалась от своего счастья, испортила, искалечила и свою жизнь и Вашу.

Дорогой мой! Я должна, я хочу сделать Вам признание, объясниться с Вами, чтобы ничто не омрачало нашей Великой Дружбы, главного и единственного сокровища моей жизни. Вы помните письмо, которое послали мне несколько лет назад, письмо, на которое я Вам не ответила? Впрочем, что я говорю? Конечно, помните, и, возможно, проклинали тот момент, когда написали его. И напрасно, и напрасно! Если бы Вы знали, сколько радости и счастья доставило мне оно! Я его читала и перечитывала, и заливалась слезами. Значит, Вы действительно любили жалкое создание, провинциальную вдовушку, в которой если и было что-то, так только сердце, способное оценить Вашу любовь и ответить на нее со всей пылкостью и страстью. Впрочем, мне ли, старухе, которой и жить-то осталось всего-ничего, говорить о любви и страсти! Совсем, должно быть, тронулась разумом старая, подумаете Вы...

Впрочем, я отвлеклась. Мысли скачут, разбегаются, в голове звон, я задыхаюсь, но я должна все сказать до конца и сбросить с души тяжкий камень, который давит, как могильная плита.

Подумать только: это Ваша рука вывела на бумаге те драгоценные строки! Вы со свойственной Вам деликатностью — как я ценю в Вас это редкое в наши дни свойство! — дали мне понять, что не возражали бы против того, чтобы оставить свою квартиру в Москве и переехать в провинцию, в тихое, уютное место, и там, на свободе и воле, скоротать свои последние дни... Разумеется, я сразу все поняла, сердце мое дрогнуло и на мгновение остановилось; неужели это возможно: такой человек согласен оставить столицу, яркую и разнообразную жизнь, и для чего? Чтобы прожить осеннюю пору с немолодой уже женщиной, тенью той, которую он когда-то щедро одарил своей любовью. Неужели это возможно? — не переставая восклицала я, и плакала, и смеялась от счастья.

Почему же я, спросите Вы, тотчас же не побежа-

ла на почту и не послала Вам в сей же миг телеграмму: «Приезжай! Люблю! Жду! Твоя Лизонька»? Я расскажу вам все. Хотя шел дождь, я, как была, в одном платье, с непокрытой головой, выскочила на улицу, чтобы бежать на почту. И на свое несчастье, на полдороге натолкнулась на него. Он шел с вокзала домой. Я как увидела его, обомлела, сердце-вещун подсказало мне: это конец! Так все и вышло.

Кто-то рассказывал мне об одном страшном заграничном фильме (они там любят всякие ужасы, видно, с жиру бесятся). Так вот, в этом фильме у обыкновенной женщины вместо нормального ребенка рождается Сатана. Так вот это — обо мне. В детстве он был такой хорошенький, как девочка, глазки голубые, румянец во всю щеку, беленькие волосы локонами до плеч. Глаз не отвести! А подросток, сделался как волчонок. Ко мне, матери, которая родила, вскормила и вспоила его, ни капли жалости. Мои слезы всегда вызывают у него или ярость, или смех. И в кого он только такой жестокий?

Вы помните, ему было только двенадцать лет, когда он так грубо и решительно, как взрослый, разрушил наше счастье. А что еще довелось перенести потом! Сосед сказал, будто в нашем доме завелся древесный жучок и теперь из-за этого жучка-де дом потерял в цене. Что тут началось! Он орал на меня, топал ногами, как будто это я занесла в дом этого проклятого жучка. Мне кажется, он и уехал так стремительно из Костромы потому, что возненавидел меня и не мог более ни одного дня находиться со мной под одной крышей. Вы думаете, мои страдания на этом кончились? Как бы не так! Он как в воду канул — ни письма, ни иной весточки. А ведь я все-таки мать и люблю его, хотя он этого не стоит. Что поделаешь — сердцу не прикажешь! Я уж не говорю о том, что он ни копейки мне не присылал все это время, не помогал матери, а пенсия у меня сами знаете какая — 60 рублей. На эти деньги надо и самой кормиться, и дом содержать, а с ним все неладно: то крыша прохудилась, то стропила подгнили, то пол рассохся...

И вдруг — как гром среди бела дня: вызвал на переговорный пункт, позвонил из Сибирска (вон куда забрался!) и наказал написать Вам, Петр Антоно-

вич, письмо, чтобы Вы приняли его, как родного. Я написала, и Вы, мой бесценный друг, я знаю, все сделали для него, как сделали бы для меня, в этом не сомневаюсь ни минуты. Вы скажете: он не стоит нашей заботы; но ведь я — мать, а для нее любой ребенок люб и дорог.

При нашем телефонном разговоре я порадовала его доброй весточкой, сказала, что сосед ошибся, в доме завелся не древесный жучок, а другой, не опасный, так что зря он рассердился на мать. Он стал расспрашивать про страховку, но я не смогла ему объяснить, тогда он обругал меня бестолковой, сказал, что придется ему делать крюк, заехать в Кострому и самому все выяснить.

И надо было так случиться, что он появился как раз в тот момент, когда я побежала на почту, чтобы немедленно вызвать Вас, Петр Антонович, к себе. Он, конечно, тут же выведал у меня про Ваше письмо, грубо схватил меня за руку и потащил домой. Я весь вечер проплакала в своей комнате. Ему, должно быть, надоел бабий вой, вошел, щелкнул выключателем. Я подняла с подушки распухшее от слез лицо. Он поглядел и расхохотался сатанинским смехом. Схватил со стола зеркало, поднес. «Погляди, — говорит, — на себя. Не пора ли выкинуть дурь из головы». Я ему отвечаю: «Что ты, сынок, так заведено, живой думает о живом». — «Да разве ты живая, — кричит, — ты свой век отжила! — Так что, — спрашиваю, — мне, что ли, самой пойти и в могилу лечь?» А он посмотрел на меня долгим и страшным взглядом, скрипнул зубами и, ничего не ответив, вышел.

Так и получилось, что я ничего не ответила на Ваше письмо, бесценный мой друг, Петр Антонович. А что было отвечать? Этот супостат все равно не дал бы нам спокойно скоротать свой век. Вот я и сделала вид, что не поняла Ваших слов, хотя, ох, как поняла, они до сих пор огнем жгут мое сердце.

Не обижайтесь и не сердитесь на меня, я вся Ваша. Это мое письмо вам перешлет подруга после моей смерти. И умирать буду, последняя моя мысль будет о тебе, Петя.

Твоя Лизонька».

— Так, — прочитав эти письма, задумчиво проговорил следователь Ерохин. — А этот Шакин — отпетый мерзавец!

Коноплев заметил:

— Петр Антонович раскусил его... помните? «Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамной и бесчестный»... «прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство». Чем не словесный портрет?

БЫВШИЙ ФИЗИК

В один из жарких августовских дней к зданию Щукинского театрального училища, расположенному в одном из арбатских переулков, подошел средних лет мужчина. Лицо его, носившее на себе следы южного загара, выразило изумление. Он ожидал увидеть у подъезда шумную стайку юношей и девушек, слетевшихся сюда со всех концов страны, чтобы предстать перед строгой комиссией и испытать свои силы в нелегком искусстве лицедейства. Однако переулок был пустынен, в здании стояла тишина, и ничто не говорило о том, что экзамены уже начались.

Мужчина полез в карман плаща, извлек оттуда почтовую открытку, еще раз прочел отпечатанные на машинке строки. Сомнения не было, дирекция училища предлагала ему, Федору Борисовичу Шакину, явиться для собеседования именно сегодня, 5 августа, в 10 часов 30 минут утра. Он решительно преодолел ступени, миновал вестибюль, поднялся на второй этаж. Одна из дверей была открыта, из нее в полутемный коридор падал прямоугольник света. Он вошел. За пишущей машинкой сидела миловидная секретарша.

Прищурившись, вошедший окинул девушку оценивающим взглядом опытного сердцееда.

— Меня вызывали, — сказал он, придав своему негромкому голосу бархатистый оттенок.

Секретарша взглянула сначала на открытку, потом на загорелое лицо Шакина и, указав на высокую белую дверь с медной ручкой, проговорила:

— Вас ждут.

Шакин потянул дверь на себя. Посреди зала за узким и длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидел мужчина с удлинённым лицом и внимательным взглядом. Этот человек показался Шакину знакомым.

— Моя фамилия... — начал было вошедший, но мужчина перебил его:

— Я знаю: Шакин Федор Борисович. Мы же с вами знакомы.

И в это самое мгновение за спиной Шакина скрипнула дверь. Он оглянулся. Вошли двое. Один — высокий, широкоплечий, мрачноватый на вид. Другой — юношески стройный, с нервным румянцем на щеках.

Шакин сделал пару шагов вперед, к столу, и остановился:

— Я не понимаю...

— Сейчас поймете, — ответил сидевший за столом мужчина. — Вот санкция прокурора на ваш арест, гражданин Шакин. Вам предъявляется обвинение в совершении тяжкого преступления — убийства двух человек.

Он встал и протянул Шакину какую-то бумагу. Тот отпрянул. Те двое, что были за спиной, приблизились и стали у него по бокам.

Вчетвером они вышли из здания и уселись в стоявшую у тротуара черную «Волгу». Шакин отметил про себя, что машина появилась только что: когда он подходил к парадным дверям училища, ее не было. «Наверное, стояла за углом, а потом подъехала. Все продумали, сволочи, — вяло подумал он. — Интересно, этот подполковник все знал уже тогда, когда приезжал в Сибирск, или вынюхивал что-то потом?»

Эти мысли были пустяжные, бесполезные, но ничего другого, дельного, в голову не приходило. Это испугало Шакина. Ведь он заранее готовил себя к подобной ситуации, десятки и сотни раз мысленно перебирал варианты своего поведения, отыскивал единственно верные пути к спасению.

Он верил в себя. Шакина никогда не оставляло ощущение, что судьбою ему начертано стать выше других, вознестись над тем общим уровнем, который казался ему уделом посредственностей. И постоян-

но тревожил страх: вдруг не выйдет, сорвется и тогда сама его физическая крепость, сулившая долгое и безболезненное существование, станет его врагом, обречет на бесконечные страдания... Сумеет ли он оборвать свою жалкую, никчемную жизнь, хватит ли воли и сил?

От природы он не был ни жалостливым, ни сентиментальным. Охотно принимал участие в мальчишеских забавах — мучил кошек и собак, испытывал странное удовлетворение, наблюдая за их последней агонией. Даже среди свирепых огольцов выделялся крайней жестокостью. Это давало ему власть над товарищами, власть, которой он упивался.

А дома пытался командовать. Это оказалось нетрудно. Отца не было, не вернулся с войны, а мать души не чаяла в единственном отпрыске, спешила удовлетворить каждое его желание, каждый каприз.

Он называл ее не иначе, как «мать», говорил отрывисто и резко. Как ни странно, ей это нравилось. «Ах ты, мой мужичок, ах ты, мой командир!» — любила восклицать она, сложив руки на фартуке и любовно глядя на сына. В ее жизни давно не было мужчины, может быть, поэтому ранняя мужественность сына покоряла.

Неожиданно к ней пришла любовь. В местном театре давала гастроль московская труппа, спектакли шли веселые, яркие, с музыкой и танцами. И публика, заполнившая партер и балконы, тоже была какая-то особенная — шумная, веселая, праздничная. Она не узнавала этих людей, неужели это ее земляки, которых она видит ежедневно — на улице, в райсобесе, где теперь работает инспектором, в магазине, в автобусе? Она не знала, что и сама, попав в театр, в его радостную приподнятую атмосферу, тоже становилась быстрой, упругой. Никого никогда не любившая, кроме своего покойного мужа, давно поставившая крест на своей личной жизни, она вдруг почувствовала неодолимое желание любить и быть любимой.

Среди мужской половины труппы, где было немало высоких и красивых актеров, она обратила внимание на самого неказистого — с черными пуговичками глаз, утолщенным носом-бульбочкой и кривоватыми ногами. Ее сердце безошибочно определило:

этот человек, так же как и она, безнадежно одинок, несчастен и жаждет любви.

На очередной спектакль она пришла с букетом хризантем, которые нарвала в своем саду, но не стала бросать цветы на сцену, как это делали другие, а, дождавшись конца, вышла из театра, обогнула здание, подошла к служебному входу и заняла свой пост. Если бы кто-нибудь еще месяц назад сказал ей, что она окажется способной на такие безрассудные поступки, она бы рассмеялась ему в лицо.

Так произошло знакомство с Петром Антоновичем. Чувство тотчас же захватило их обоих, подобно тому как огонь мгновенно охватывает сухое дерево. Уже на другой день московский гость сидел за столом в просторной горнице ее дома и распивал чай с вареньем, до чего, как выяснилось, был большой охотник.

Душераздирающий крик под окном заставил их вздрогнуть и побледнеть.

— Что это, Лиза? — спросил Петр Антонович, отставляя в сторону розетку с душистым клубничным вареньем.

Она молчала.

Крик повторился. Петр Антонович выскочил на крыльцо. И увидел, как мальчишка мучает кошку. Привязал к хвосту веревку, перекинул ее через сук яблони и тащит изо всех сил.

— Ты что, паршивец, делаешь! — в гневе воскликнул Петр Антонович, сиганул с крыльца на своих крепких ногах, ухватил подростка за ухо цепкими пальцами и дернул.

Тот издал такой же вопль, как за минуту до этого бедное животное, которое он мучил, но Петр Антонович уха не выпустил, а, наоборот, дернул еще раз, посильнее.

Мальчишка с ужасом глядел не на Петра Антоновича, а на свою мать, которая смотрела на все это с высокого крыльца и, к его удивлению, вовсе не собиралась вмешиваться, чтобы защитить своего сына. Похоже было, что все ее симпатии были на стороне Петра Антоновича. Поняв это, мальчишка мгновенно возненавидел и этого человека, что причинил ему боль, и мать, готовую предать свое дитя ради первого встречного хахала.

Он дернулся, едва не оставив в пальцах артиста полуха, и с громкими рыданиями скрылся за сараем. Если бы он мог, то отомстил бы им немедленно, самой страшной мстью, скажем, облил бы бензином и поджег, как он проделал это на днях с колченогим кобелем Борькой, укусившим его за руку.

С той самой минуты Петр Антонович сделался его лютым врагом. Стоило московскому гостю появиться в их доме, как подросток начинал вести себя так, словно в него бес вселялся. Включал приемник на полную мощность, ронял на кухне бельевой таз, кидал в окна комнаты, где сидели мать и Петр Антонович, комья глины. А один раз поджег дымовую шашку, подбросил под дверь и был таков. Клубы черного удушливого дыма быстро заполнили комнату, хозяйка и гость мигом выскочили на крыльцо, вытирая слезящиеся глаза и надсадно кашляя.

Им хотелось остаться вдвоем, но он не давал им такой возможности. Пришлось Елизавете Николаевне, спрятав стыд, пробираться мимо служителей гостиницы в номер Петра Антоновича, откуда он предварительно с большим трудом выпроваживал своего напарника, баса Потехина. Здесь, в маленькой комнатке, поминутно вздрагивая от шума приближающихся шагов, гудения пылесоса, звяканья ключей, они испытали самое большое счастье в своей жизни.

Увы, это счастье оказалось недолгим. Гастроли приближались к концу. Петру Антоновичу надо было уезжать. Елизавета Николаевна, отбросив в сторону женскую гордость, первой заговорила о женитьбе. Петр Антонович и сам был бы рад соединиться навеки с любимой и любящей его женщиной, да возникло множество проблем. Взять с собой в Москву Елизавету Николаевну с ее отпрыском он не мог — не позволяли жилищные условия, поскольку жил с ветхом строении, в тесной, невзрачной каморке. О том же, чтобы оставить сцену и поселиться в просторном доме своей жены, — речи быть не могло. Петр Антонович всей душой был предан искусству и не мыслил вне его своей жизни.

Может быть, они и нашли бы какой-нибудь выход, если бы не сын этой женщины. Он, казалось, поставил своей целью отравить существование мате-

ри и ее нового друга. С недетской настойчивостью и яростью добивался своего.

Так и укатил Петр Антонович в Москву, увозя с собой фотографию своей милой и подаренную ею ценную тарелку с изображением арфистки.

Кстати, из-за этой арфистки Елизавете Николаевне пришлось выдержать жесточайший скандал. Дело в том, что Федя (так звали сына) давно, как говорится, с младых ногтей, привык относиться к дому и всему, что было в нем, как к своему законному достоянию. Он ревниво наблюдал за тем, чтобы не было никакой убыли или порчи. И вдруг на другой день после отъезда певца обнаружилась пропажа красивой тарелки. Тут же матери был учинен строжайший допрос. Узнав, что тарелка подарена ненавистному Петру Антоновичу, Федя угрожающе произнес: «Ты еще пожалеешь, мать!» — и, хлопнув дверью, ушел из дому. А на другой день Елизавета Николаевна нашла свою любимую коричневую плиссированную юбку изрезанной на мелкие кусочки. Бедная женщина расплакалась. Это была юбка, в которой она бегала к Петру Антоновичу в гостиницу на свидания.

Все попытки Елизаветы Николаевны наладить отношения с сыном потерпели крах. Он исподлобья, таким волчком смотрел на мать, цедил слова сквозь зубы, злобно усмехаясь и передергивая плечами. Если ж она особенно приступала к нему с жалобами на свою горькую участь, круто поворачивался и уходил, хлопнув дверью. «Когда придешь?» — кричала ему вдогонку мать. Он не отвечал, возвращался домой, когда хотел, иногда на рассвете. Мало-помалу Елизавета Николаевна привыкла к этому, утешалась тем, что сын, по крайней мере, учился хорошо, только по поведению у него всегда была тройка.

С годами у Федора в душе утвердилось отношение к матери как к жалкому и ничтожному существу. Часто плакала, закрыв лицо тонкими пальцами, пряди поредевших волос падали вниз, занавешивая плоскую грудь. Елизавета Николаевна сильно сдала в последнее время. Она вложила в любовь к Петру Антоновичу все свои жизненные силы, и крах этой любви оказался ее жизненным крахом. Таяла на глазах.

Федор терпеть не мог женских слез. Вид покрасневших глаз, мокрых бледных щек, все эти судорожные подвывания рождали в нем холодную ненависть, желание причинить еще большую боль, еще более сильное страдание, смять и уничтожить. Жизнь — для крепких духом и телом, а все изнеженное, хилое, слабое обречено на гибель, на умирание. Иногда у него чесались руки довершить то, что зашло уже так далеко и мучительно агонизировало на его глазах.

Глядя на ее понурую фигурку, Федор подумал: нет, жить вместе с этим жалким существом в этом доме он дальше не будет. Прочь отсюда! Пора ему искать свое место под солнцем! Принял решение: он станет физиком. Знал, что физики в чести, на них как из рога изобилия сыплются награды и деньги, почему бы и ему не сделаться физиком, благо способности есть. Аттестат у него был неплохой, а вот характеристика подкачала: чего только не написали про него — высокомерен, эгоистичен, имеет явную склонность к антиобщественным поступкам.

Он разорвал характеристику на мелкие части. Взял чистый лист, написал про себя другие, достойные слова. Не хватало только печати. Но это его не беспокоило. Он давно уже поднаторел в этом деле — брал фотобумагу, изготавливал плоское рисовальное клише и путем влажного копирования наносил печать на документ. Созданная им таким образом новая характеристика ничем не отличалась от той, настоящей, если не считать содержания, конечно...

«Для его творческого почерка, — говорилось в новом документе, — характерно владение математическим аппаратом при ясном понимании сущности физических явлений».

Эта характеристику направил в Сибирск. Об этом самом Сибирске рассказывали легенды.

Во вновь организованный институт ядерной физики понаехали мальчишки, выпускники. Их имена не были известны никому, кроме родных и знакомых. Да еще преподавателей, которые совсем недавно читали им лекции, помогали сделать первые робкие шаги в таинственный мир физики. Но прошло несколько лет, и мир узнал о потрясающих откры-

тиях, сделанных этими мальчишками. Вместе с успехом пришла слава, пришли высокие награды и звания. Среди вчерашних студентов появились члены-корреспонденты и академики...

Федору Шакину не терпелось испытать свою судьбу. Казалось: время уходит, он зря теряет драгоценные годы на зубрежку, сдачу никому не нужных экзаменов и зачетов. Главный его экзамен впереди, не опоздать бы!

Повезло. Из института пришла письмо с приглашением прибыть в Сибирск на собеседование. Шакин тотчас же подхватился и на аэродром.

— Научный городок!

Он вздрогнул, услышав голос кондуктора, объявившего автобусную остановку. Это прозвучало как пароль, открывающий вход в землю обетованную! Но попасть туда нелегко. Причем не только в переносном, а и в самом прямом смысле этого слова — у входа — девушка в гимнастерке и с кобурой у пояса.

— Я на собеседование... Куда?

Она с удовольствием задержала взгляд на видной фигуре Шакина, на его круглом лице добряка и балагура.

— Пройдите в этот коридорчик... Эти товарищи тоже ждут.

На подоконнике шептались двое — парень и девушка. Она горячо шептала своему соседу в ухо:

— Слушай, наверняка спросят про уравнение Максвелла...

Он усмехнулся высокомерно: «Дети!» Сам Шакин давно уже ощущал себя не по годам взрослым мужчиной, довольно-таки глубоко познавшим тайны жизненной механики. Разве дело в знании какого-то уравнения? Главное — произвести впечатление на того, кто будет его экзаменовать, а для этого нужно ему «подыграть», помочь проявить себя перед новичком таким сверхчеловеком, полубогом... И тогда все будет в порядке.

— Ну-с, с чем вы к нам прибыли? — пощипывая редкие усики, говорит экзаменатор, насмешливо поглядывая на Федора сквозь линзы очков. По виду

он — ровесник Шакина, но тому известно, что этот «пацан» уже защитил докторскую и не сегодня-завтра станет член-корром. Экзаменатор изучает Федора, Федор изучает экзаменатора. И говорит:

— У меня готов сюжет научно-фантастического романа...

На узком, почти юношеском лице доктора наук удивленно ползут вверх дужки бровей:

— Научно-фантастического? Ин-те-ре-сно! О чем же?

Шакин с облегчением вздыхает: кажется, он не ошибся. Ему удалось заинтересовать собеседника. Он кратко объясняет: речь в романе пойдет о полете космического корабля к другим мирам.

— Понятно, — роняет доктор наук, — у меня к вам один вопрос: откуда берется энергия, за счет которой осуществится движение корабля?

Федор кивает: да, их, физиков, должно волновать именно это... Объясняет: в специальной машине рождаются протон и антипротон положительной массы и протон и антипротон отрицательной массы. Подобные пары частиц, как известно, можно получить практически из ничего... Потом за счет аннигиляции протона и антипротона корабль получит энергию движения, и вторая пара частиц будет выпущена в пространство. Достигая далеких звезд, она сталкивается с ними и потухает.

— Получается, что корабль как бы берет энергию у звезд взаймы, — говорит Шакин, мысленно моля бога, чтобы книжка, из которой он заимствовал этот сюжетец, не была известна «пацану».

Нет, кажется, все нормально. «Пацан» заводит глаза в потолок, морщит лоб, что-то обмозговывает. Потом с одобрением смотрит на Федора:

— Что ж... То, о чем вы говорите, принципиально вполне возможно. Я бы сказал, вы фантазируете физически грамотно. Правда, практически эту идею пока осуществить невозможно, но не в этом дело... Думаю, вы нам подойдете... А учиться будете в Новосибирском университете. Подавайте документы на заочный. Слушайте, а откуда у вас в это время года такой загар? Вы случайно не альпинист?

— Альпинист, горнолыжник, — отвечает Шакин.

— Я — тоже! Вот здорово! — совсем по-мальчи-

шески оживляется доктор наук, и румянец окрашивает его щеки.

Он просто умолил Шакина взять его с собой, в Тянь-Шань.

— Федя! Я никогда не был на семитысячнике. Это мечта всей моей жизни. Федя, я прошу...

Его серые глаза смотрели умоляюще. Он даже подлизывался к нему:

— Вы мне очень нравитесь. У вас такое простое, такое симпатичное лицо. Вы человек, на которого можно опереться. Простой и надежный.

«Далась тебе моя простота! — с досадой подумал Шакин. — Ты еще увидишь, какой я простой». Но самолюбию его льстило — доктор наук, известный на всю страну физик обхаживает его, словно девушку. Проявляет свое хорошее отношение. И не только теоретически. Сказал кому надо пару слов, и Шакин зачислен в штат, включен в состав группы, работающий над очень перспективной темой. В случае удачи... Федор от волнения прикрыл глаза тяжелыми веками, в виске резкими толчками забила кровь. Удача! Неужели она близка? В таком случае он не упустит ее...

К альпинизму Федор пристрастился давно, еще в школе. Однажды летом по туристскому маршруту попал в Кабардино-Балкарию, пристал к группе альпинистов, вместе с ними совершил первое восхождение. Понял: это то, что ему нужно. Вернувшись домой, свысока поглядывал на своих школьных товарищей. Пацаны, хлюпики, где им до него! Рассказы о смертельных опасностях, якобы подстерегавших Федора в горах буквально на каждом шагу, еще больше укрепили его авторитет среди подростков. Он не оставил альпинизма и теперь. Создал и возглавил в университете альпинистскую секцию. Относился к своему увлечению всерьез: много читал о горных восхождениях, изучал опыт старших, обзавелся разнообразным снаряжением. Речь шла ни больше ни меньше, как о жизни, а играть своей жизнью он не собирался.

Просьба Сергея Панкратова взять его с собой в горы для восхождения на семитысячник поначалу

вызвала у него протест. В горах он всегда рассчитывал только на самого себя, посторонняя помощь была ему не нужна, но и другие пусть на него не рассчитывают. Перспектива нянчиться с этим слабаком, как Федор мысленно называл Сергея Панкрата, не увлекала его. Но по зрелом размышлении все-таки пришел к выводу, что надо согласиться. В институте он делает лишь первые шаги, содействие Панкрата, не по годам авторитетного человека, без всякого сомнения, пригодится ему еще не раз. А следовательно...

— Не понимаю, зачем вам это нужно? — сказал он Панкратову. — Вы ученый с именем, у вас такое будущее... Стоит ли рисковать?

Панкратов рассмеялся:

— Я не первый и не последний ученый, отдающий дань этому пристрастию. Среди альпинистов немало ученых, еще более известных, чем я... Тамм, Александров, Делоне. А потом... вы тоже будущий ученый. Вам можно, а мне нет?

«Я будущий, а ты настоящий, в этом разница», — подумал Шакин, испытав чувство острой зависти к Сергею Панкратову, любимцу богов и ученого совета.

Он попробовал припугнуть его:

— Но у этой вершины особый характер. Немало людей сложили на ее склонах свои головы.

Но на Панкрата эти сведения не произвели должного впечатления. Он сдвинул у переносицы брови, вздохнул:

— Знаю. Читал. Эти трагедии — результат целого ряда грубых ошибок, допущенных альпинистами. Нельзя пренебрегать законами гор.

— Что еще за такие законы гор? — насмешливо спросил Шакин.

— Первый — помни об акклиматизации. Второй — взаимовыручка. Если рядом ощущаешь надежное плечо товарища, никакие опасности не страшны.

Федор посмотрел на него насмешливо. «Плечо товарища». Скажет же... Совсем мальчишка. Неужели он и впрямь сделал в физике что-то стоящее? Вот уж поистине — дуракам счастье.

...Группа, в составе которой были Шакин и Панк-

ратов, решила штурмовать семитысячник со стороны ледника. Сначала совершили акклиматизационный поход. Он прошел удачно, хотя шел обильный снег и приходилось специальными лавинными лопатами разгребать перед собой траншею.

— Хорошо, что маршрут идет по гребню, — сказал Панкратов. — По крайней мере, лавина нам не угрожает.

Шакин про себя отметил: «А этот Сережа, оказывается, не так зелен, как кажется. И забот особых не требует. Все делает сам. Это хорошо».

Федор за эти дни так привык к Панкратову, что потерял обычную осторожность и нарушил данный себе запрет: не открывать душу перед посторонними. Однажды вечером он ушел от палаток и, выбрав поодаль тихое, укромное место, присел на торчащий из снега валун. Он уже жалел, что не предпринял восхождения в одиночку, на свой страх и риск, а присоединился к этой компании. Одержимые идеей коллективизма, эти шумные парни постоянно лезут к нему с предложениями своей помощи, а потом в свою очередь требуют помощи от него. А на кой черт, спрашивается, они ему нужны?

Он услышал за спиной скрип снега под ногами и выругался: опять кого-то леший несет!

Это был Панкратов.

— Я вам не помешал? — присаживаясь рядом, сказал он.

Федор заставил себя ответить вежливо:

— Нет, что вы. Вдвоем веселей.

— Терпеть не могу одиночества.

— Значит, вы не любите свободы, — проговорил Федор. Ему вдруг захотелось поспорить с Панкратовым.

— Не люблю свободы? Откуда вы это взяли?

— Свобода возможна только при условии одиночества. Если вы не любите одиночества, значит, не любите и свободы.

— А разве в нашем перенаселенном мире одиночество возможно? — улыбнулся Панкратов. — Разве только здесь, в горах, или где-нибудь в пустыне...

— Чтобы быть одиноким, не надо забиваться в пустыню или лезть в гору, — ответил Федор.

— А что же надо?

— Что надо? Прежде всего — работать не на толпу, а на себя.

Панкратов возразил:

— Но разве не от этой самой толпы вы ждете оценки сделанного вами? Не ее признания жаждете?

— Плевать мне на ее признание. Мне не оценка нужна, не жалкие слова, мне нужны деньги, — грубо сказал Федор. — Это единственно стоящий эквивалент затраченных мною усилий. Наличие денег делает меня свободным и счастливым.

— А что в вашем понимании означает быть свободным и счастливым?

— Отвечу. Взять и слетать на недельку-другую с девочкой в Сочи. Или махнуть в Молдавию — попить молодого вина... Или выкинуть еще какую-нибудь штуку... У нас не принято говорить об этом вслух. А про себя каждый думает: вот бы мне денюжат побольше. Я бы кооперативную квартиру купил, да на пол медвежью шкурку бросил, да винный погребок сообразил с французским коньячком. Вам мои идеалы, конечно, кажутся мелкими и примитивными.

Панкратов ответил примирительно:

— Нет, почему же... Я не против устроенного быта. Но устройство быта не может стать целью жизни. Да вы так и не думаете, я в этом уверен. А то бы пошли не в физики, а, скажем, в скорняки...

«Я бы и пошел, — мысленно ответил ему Федор, — если бы имел способности и знал бы, как за это дело взяться».

Вслух произнес:

— Холод тут в горах собачий, вот и потянуло в Сочи под солнышком погреться. Пойдемте. Спать пора. Завтра рано вставать.

Он уже жалел, что разоткровенничался с этим типом. Баловень судьбы, разве он его поймет?

За восемь дней они поднялись на высоту семь тысяч метров. До вершины оставалось метров четыреста, но они были самыми трудными. На штурм отправились три связки, в одной из них Шакин с Панкратовым. Они опередили остальных и первыми

оказались в районе, как говорят альпинисты, «официальной вершины». На отметке «7439,3». Погода стояла хорошая, ясная. Над ними без конца и края простиралось голубое небо. На одном уровне с ними лежали горные хребты и белые вершины. Внизу были видны сползающие по склонам ледники. Еще ниже — серебристые извивы горных рек и буйная зелень альпийских лугов.

— Ради таких моментов стоит жить! — прерывающимся от радости голосом воскликнул Панкратов. Он стоял на скалистом уступе, широко раскинув руки. На глазах его, Шакин мог поклясться, блеснули слезы.

Он тоже испытывал удовлетворение. Приятно было еще раз убедиться: ты сделан из особо прочного человеческого материала. Единственное, что омрачало его настроение, это сознание, что подъем оказался под силу и этому пацану Панкратову. На вид худой, изнеженный, а поди ж ты... Выдержал там, где сдались и отстали более крепкие, более опытные альпинисты.

— Надо уходить, — сказал он Панкратову. — Видите — облачко? Погода портится.

— Может, подождем остальных? — неуверенно спросил Панкратов.

— Ждите, если хотите, — сказал Шакин. — А я пошел.

По скрипу шагов на снегу догадался: Панкратов идет за ним. Вскоре он обогнал Федора. Видно, это было в его характере — всюду быть первым.

Шакин оказался прав. Погода резко ухудшилась. Поднялась вьюга. Ветер бил в лицо, забивал очки снегом, никакой видимости. Следов, по которым они ориентировались, уже не видно, их замел снег. Шакин заметил, что его спутник уже совсем выбился из сил, но молчит, качаясь, словно пьяный, упрямо движется вперед, в снежную круговорот.

— Стойте! — кричит Шакин. Догоняет Панкратова. — Выход один: закопаться в снег и переждать до утра.

Они скребут снег руками, силы уходят, а дело не движется.

Внезапно непогода стихает. Уходят вниз черные тучи, очищается небо. Но оно уже не ярко-голубое,

как прежде, а фиолетовое: близятся сумерки. Уже в темноте они начинают спуск по острому снежно-ледяному гребешку. Панкратов впереди, Шакин сзади. Они в связке.

Впереди крик: «Держи!»

Шакин мгновенно вонзает в снег ледоруб, всей силой тела наваливается на него. Быстрая мысль обжигает: крутой склон, на котором он из последних сил пытается удержать сорвавшегося Панкратова, длится всего лишь метров шестьдесят. А дальше обрыв, отвесная скальная стена, под которой — ледник. Стоит Федору на мгновение потерять равновесие или Панкратову там, внизу, совершить резкое движение — и их обоих ждет верная гибель. Шакин соображает: может быть, ему удастся, одной рукой удерживая ледоруб, другой достать нож и перерезать веревку? Тогда он спасен. О судьбе Панкратова он сейчас не думает. Его беспокоит другое — веревка. Он лишится веревки, а без нее спуск — дело опасное. Почти безнадежное. Теперь мысль его обращается к Панкратову. Представляет себе, как он в одиночестве, без него, возвращается в Сибирск: слухи, сплетни, косые взгляды. Вряд ли в этих условиях он сделает себе карьеру. Придется опять срываться с места, метаться по белу свету в поисках нового шанса. А представится ли он еще раз?

— Сергей! Цел? — кричит он, приняв решение.

— Цел! — раздается снизу хриплый голос.

— Постарайся ногами выдолбить ступеньки в снегу! Только осторожно! А то оба сорвемся!

— Понял!

Внезапно натяжение веревки ослабевает. Значит, Панкратов стоит на ногах. Кажется — все, пронесло.

— Будем выбираться на гребень! — громко произносит Шакин, выдергивает из снега ледоруб, вгоняет его повыше... Шаг за шагом они медленно продвигаются вверх по склону. На гребне устраиваются на ночевку, чтобы утром при солнечном свете снова двинуться вниз.

...На бивуаке притихший было Панкратов, улучив момент, когда они остались одни, подошел к Шакину, крепко обнял:

— Спасибо, Федор! Ты — настоящий. Я всегда догадывался, что ты лучше, чем стараешься ка-

заться. А теперь... В общем, я твой должник до гроба!

— Да что там... На моем месте так поступил бы каждый, — скромно ответил Федор. На самом деле он этого не думал. Гордое чувство переполняло его. Он поступил как герой. Пусть мальчишка не задирает нос.

В Сибирске не выдержал: обратился к Панкратову с просьбой — не может ли тот ему подкинуть тысячки три. Надо срочно помочь матери, дом, в котором она живет, развалился, срочно требует ремонта.

Панкратов страшно обрадовался:

— Да, да, конечно... Бери. Я на «Жигули» отложил, а мне ГД казенную подбросил...

— ГД тебя ценит, — с завистью сказал Шакин. — Правда ли, что тебя в институте зовут «начальник директора»?

— Правда; — смущенно засмеялся Панкратов. — ГД верит в мою интуицию и часто советуется со мной.

— Только учти, деньги отдам не скоро. Через год, не раньше. Я тебе дам расписку.

— Хорошо, хорошо. Когда сможешь, тогда и вернешь. И никаких расписок, мы же с тобой друзья! Не так ли?

Вскоре друг пригодился Шакину еще раз. Когда он по халатности сжег в лаборатории дорогой прибор и ему указали на дверь, Сережа Панкратов помог ему устроиться заместителем директора местного Дома ученых.

— Спасибо, друже, — сказал Шакин, с трудом вымучив благодарственную улыбку. На душе у него кошки скребли. И дернул его черт удрать с дежурства на свидание с миловидной вахтершей, без памяти влюбившейся в него! Мог бы с успехом встретиться с девчонкой и на другой день, в выходной.

Два события произошли почти одновременно: отчисленный из института Шакин приступил к исполнению новых обязанностей в Доме ученых, а Сережа Панкратов стал членом-корреспондентом Академии наук. Он побывал на одном из любительских спектаклей, в котором Федор играл главную роль.

По окончании представления преувеличенно хвалил его артистический талант, сулил в искусстве большое будущее. Шакин понял: путь в физику ему заказан. В эту минуту он пожалел, что там, в горах, не перерезал веревку, на которой висел Панкратов... Впрочем, кто бы тогда устраивал его на работу, у кого бы он брал займы?

Взятые у Панкратова займы деньги разошлись быстро. Федор осуществил свое заветное желание: слетал в Сочи, гульнул на всю катушку. На обратном пути заехал в Москву. Быстро оброс знакомствами. На женщин не жалел денег: эти юные меркантильные создания позволяли ему чувствовать себя большим и сильным. Назначенный им самим срок расчета с Панкратовым давно прошел, а он так и не расплатился с ним. Когда при встречах Федор затрагивал эту тему, смущался и краснел не он, а Панкратов. Отводил в сторону глаза, торопливо говорил:

— Да, да... Потом... Когда сможешь... — и заговаривал о чем-нибудь другом.

Шакин догадывался: Панкратов мысленно уже давно распрощался со своими деньгами и не надеялся получить их обратно. Рассматривал эту сумму как плату за спасение, полученную с него предприимчивым приятелем. Казалось бы, такое положение должно было устроить Шакина. Что может быть лучше долга, который не надо возвращать?

Но в том-то и дело, что этот долг и именно этому человеку Шакин должен был выплатить. Не мог не выплатить. Мимолетная тень, которая набегала на лицо молодого член-корра каждый раз, когда заходила речь о просроченной задолженности, надолго отравляла Федору настроение, выбивала из колеи. Не мог он допустить, чтобы мальчишка, которому он в горах Тянь-Шаня подарил жизнь, смотрел на него сверху вниз. И Шакин поклялся себе во что бы то ни стало, любой ценой раздобыть проклятые деньги и в один прекрасный день с независимым и гордым видом бросить их на стол Панкратова.

Но денег не было.

Он уже начал терять надежду: неужели так ничего и не подвернется? В этот момент в Сибирск пришло письмо от старого московского коллекционера Лукошко, а вскоре прибыл и он сам. Первое

время Федор даже не мог поверить в реальность случившегося: как снег на голову сваливается какой-то чудик и прямо-таки упраскивает, только что не умоляет, избавить его от богатства — коллекции ценной в полмиллиона. Шутка ли!

Справедливости ради следует отметить, что коллекцию свою старик жаждал вручить обществу, городу Сибирску, а не Федору. Но это уже детали. Как-нибудь Шакин найдет возможность взять то, что плохо лежит.

От примитивной кражи Федор отказался сразу: из-за двух-трех вещей мараться не стоит, а всю коллекцию в мешке не унесешь. Да и охранялась она вовсю, поскольку по требованию старика застрахована была на большую сумму. Надо придумать что-нибудь другое.

Для начала надо сорвать передачу коллекции городу и институту. С обществом сладить труднее, чем с частным владельцем. Он отправил коллекционеру письмо, сообщил: поставленные им условия (старик просил выплаты ему небольшой ежемесячной дотации к пенсии, а также присвоения коллекции его имени) выполнены быть не могут. Как Шакин и ожидал, от Лукошко немедленно поступило требование вернуть коллекцию назад. Федор лично проследил, чтобы при отправке ни одна из ценных вещей не пропала, не была повреждена. Он уже относился к этой ценной коллекции как к своей собственности.

Списавшись с матерью, выяснил московский адрес ее дружка, престарелого артиста Петра Антоновича. И в один прекрасный день нагрянул в его каморку, расположенную в строении № 13 по Казачьему переулку.

Вскоре с удивлением узнал, что Петр Антонович имеет честь состоять с коллекционером Лукошко в самых дружественных отношениях. «Это знак свыше», — подумал Федор и рьяно принялся за дело.

«ВСТРЕЧНЫЙ» УЗЕЛ

На одном из допросов, за секунду до того, как войдет сержант и уведет Шакина туда, в страш-

ное одиночество камеры, Шакин задал Коноплеву вопрос:

— Там, в Сибирске... в Доме ученых... и в кафе... вы уже знали, что я?..

Язык словно распух, с трудом поворачивался у него во рту.

— Что же вы замолчали? Договаривайте... — оживившись и сбросив с себя путы усталости, проговорил Коноплев. — Вы хотели сказать, что «я убил Лукошко»... Ведь так?

— Не ловите меня на слове! — наливаясь темной злостью, выкрикнул Шакин. — Все равно у вас ничего не выйдет. На суде от всего отрекусь... И видеомagneфоны ваши не помогут.

Подполковник словно не слышал последних слов:

— Итак, вы хотите спросить, знал ли я тогда, во время нашей первой встречи, что вы тот самый человек, которого мы ищем? Нет, не знал.

И снова Шакин — в который уже раз! — удивился почти наивной откровенности Коноплева и той легкости, с которой она ему давалась. Он ожидал ответа вроде: «Здесь вопросы задаю я. Ваше дело, Шакин, отвечать!» А тут... «Он или глуп как пробка, или дьявольски умен», — подумал Шакин, с ненавистью и страхом глядя на удлиненное лицо подполковника, на котором лежала печать то ли усталости, то ли болезни, а может, того и другого вместе.

Коноплев однако же не чувствовал сейчас ни усталости, ни упадка сил. Наоборот, он переживал в эти дни большой душевный подъем. Дело об убийстве коллекционера Лукошко усилиями подполковника и его товарищей сдвинулось с места и успешно шло к своему завершению. Как тут не порадоваться.

...Ознакомившись с письмами матери Шакина к Петру Антоновичу, подполковник вызвал к себе своего помощника Сомова.

— Вот что нужно выяснить... — проговорил он, когда капитан с трудом пристроил свое громоздкое тело на хилом казенном стульчике. — Между Шакиным и Петром Антоновичем была, конечно, тесная связь. Шакин не раз бывал у старика, следы его пребывания должны остаться в комнате. Надо еще раз тщательно осмотреть жилище бывшего артиста.

Повторный визит капитана в Казачий переулок

принес кое-какие результаты... На бутылках от дорогого марочного коньяка, обнаруженных за кухонным столом, были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежавшие Шакину. Таким образом, было доказано: Шакин бывал в квартирке Петра Антоновича, устраивал там пьяные оргии.

— Гражданин Шакин! Вам предъявляется обвинение в убийстве Семена Григорьевича Лукошко и Ольги Сергеевны Смирницкой. 28 марта сего года вы обманным путем, под предлогом продажи иконы, заманили их в квартиру Петра Антоновича, расположенную в строении № 13, по Казачьему переулку, где и совершили задуманное...

Шакин облизнул вспухшие губы:

— У Петра Антоновича бывал... И не раз... А вот к убийству Лукошко никакого отношения не имею. Я не мог убить Лукошко хотя бы потому, что в это время находился в другом месте.

— Где именно?

— У своей невесты Антонины Дмитриевны Лопухиной. Я приехал к ней вечером 27-го, переночевал, а потом мы с нею вместе отправились по магазинам, надо было кое-что купить к свадьбе. К обеду вернулись домой. Я сильно выпил и уснул. Проснулся лишь на другой день часов в 12. Антонина закатила мне скандал: мол, я слишком много пью, только пьяницы ей не хватало... Мы поссорились, я собрал вещи и поехал на аэродром.

— Хорошо. Проверим, — проговорил Коноплев.

— Проверяйте. Все, что я сказал, чистая правда.

Примерно через час Коноплев сидел в тесно заставленной мебелью квартире Антонины Дмитриевны и вел с нею разговор.

— Могу вас поздравить, нашлась ваша иконка, — он развернул сверток и положил почерневшую от времени доску на край стола.

— Вот спасибо! — Антонина Дмитриевна жадно схватила икону, рукавом халата смахнула пыль, прижала к высокой груди. — Вас просил передать мне эту вещь Федор Борисович?

Коноплев ответил вопросом:

— Скажите, Антонина Дмитриевна, когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Шакиным?

Черные глазки Антонины Дмитриевны беспокойно забегали, полные щеки окрасились кирпичным румянцем.

— С ним что-нибудь случилось?

— Я жду ответа.

— Каждый год я выезжаю на курорт. Прошлым летом была в Сочи в санатории «Актер». Чудесное место! На пляже познакомилась с Федором. Он — физик из сибирского центра. Интеллигентный человек. Узнав, что он возвращается домой через Москву, я пригласила его к себе. Он прожил у меня несколько дней.

— Если не секрет, какие отношения вас связывают с этим человеком?

— Самые близкие! Он мне сразу понравился, с ним можно поговорить о литературе, искусстве... И потом он так умеет ухаживать за женщинами: букеты цветов, коробки конфет, шампанское... Широкий человек... Мы с ним собираемся соединить наши судьбы.

Коноплев придал своему лицу сочувственное выражение:

— В ближайшее время это вряд ли удастся.

— Что именно?

— Соединить судьбы.

— С ним что-нибудь случилось?! Я так и думаю... Эта странная записка...

— Какая записка? — насторожился Николай Иванович. — Что он пишет?

Антонина Дмитриевна прикусила язык:

— Для вас — ничего интересного. Глубоко личное.

— А то я подумал: уж не признался ли он вам в краже иконы...

— В краже? Вы ошибаетесь, Шакин иконы не крал. Ее похитил кто-то другой... То ли Булыжный, то ли Клебанов и кому-то продал... Шакин же, зная, как мне дорога икона — это память об одной моей знакомой, которую я очень любила, — отыскал где-то эту вещь.

— Почему же икона не вернулась к вам?

Расспросив Антонину Дмитриевну, Коноплев установил любопытные подробности. Однажды она полезла в портфель своего сожителя за какой-то мелочью и обнаружила там свою икону. На вопрос, как эта вещь попала к нему, он ответил, что долго разыскивал ее по коммиссионным. Уж очень ему хотелось доставить Антонине Дмитриевне радость! Расцеловав его, Антонина Дмитриевна хотела быстро водрузить икону на прежнее место, но он не дал. Сказал, что сначала снесет доску в реставрацию. Это не только вернет иконе прежнюю красоту, но и сотрет с нее грязные отпечатки пальцев тех нечестных людей, через руки которых она прошла. Он снова унес икону из дому, и больше она ее не видела.

«Все ясно, — сказал себе Коноплев. — Шакину во что бы то ни стало надо было раздобыть какую-нибудь старинную вещь, чтобы с ее помощью заманить на квартиру бывшего певца Петра Антоновича коллекционера Лукошко. По странной случайности в его руки попала икона, похищенная Клебановым у его сожительницы. Можно представить его растерянность, когда Антонина Дмитриевна, заглянув к нему в портфель, вдруг находит там свою икону! Шакину понадобилась вся его находчивость, чтобы объяснить, как эта вещь оказалась у него... Надо будет еще раз поспросить Клебанова, кому именно он сбыл краденую икону».

— А теперь скажите... Шакин не занимал у вас денег?

Лицо Антонины Дмитриевны на глазах обрюзгло, отяжелело:

— Занимал. Тысячу рублей. Он сказал, что там, в Сибири, у него есть жена. Деньги нужны ему, чтобы откупиться от нее и получить развод.

— Нет у него никакой жены, Антонина Дмитриевна. Шакин холост.

— Нем может быть!

— Уверяю вас. Шакин обманывал вас, это нечестный человек.

— Но он оставил мне расписку... Указал данные паспорта...

Она с трудом подняла со стула свое тяжелое те-

ло, метнулась к шкафу. Дрожащими руками извлекла из ящика бумагу:

— Вот.

Коноплев прочел: «Я, Шакин Федор Борисович, получил от Лопатиной Антонины Дмитриевны 1000 рублей. Обязуюсь вернуть ей сумму не позднее 10 мая».

— Что ж это вы с жениха расписку потребовали? — не удержался от вопроса Николай Иванович.

Щеки Антонины Дмитриевны мгновенно окрасились багрянцем:

— Любовь любовью, а деньги деньгами.

— Скажите, а кроме иконы, у вас ничего не пропало в последнее время?

Антонина Дмитриевна растерянно пощипала черные усики над верхней губой:

— Вы думаете, это он?

— Значит, пропало?

— Пачка облигаций трехпроцентного займа и грузинский рог в серебряной оправе. Но я думала, что его похитила домработница. Ко мне приходит убиаться одна девчонка.

Наступило молчание.

Антонина Дмитриевна была как оплывшая квашня: лицо отекло, стал виден тройной подбородок, плечи поникли, руки бессильно опустились меж не красиво расставленных колен.

— А теперь покажите мне последнюю записку Шакина, — тихо, но строго произнес подполковник.

Безропотно подчинившись, Антонина Дмитриевна поднялась и направилась к шкафу, из которого за минуту до этого извлекла расписку. На этот раз она принесла клочок бумаги, на котором было нацарапано: «Будут спрашивать, подтверди. Был у тебя 27 марта, ночевал, до обеда ходили за покупками, вечером поссорились, я улетел. Записку уничтожь».

— Что же вы не уничтожили? — поинтересовался Коноплев.

Она ответила:

— В последнее время у меня у самой появились сомнения на его счет. Но я гнала их от себя. Не хотелось верить. Думала: не может быть, чтобы мне опять не повезло... Как с тем... Клебановым... Эта записка мне показалась подозрительной. Решила со-

хранить на всякий случай. Как документ против него... Он ведь мне так и не отдал денег. Думала: в случае чего — припугну...

— Хорошо, что вы его не припугнули. А то так дешево не отделались бы... — сказал Коноплев и, спрятав записку в карман, поднялся с места.

— А расписка вам не нужна? — жалким голосом спросила Антонина Дмитриевна.

— Нет, расписку можете оставить себе. На память.

— Не понимаю, — следовательно Ерохин пожал правым плечом. Левое, из-за прижатой к груди руки, постоянно было приподнято. — На что он рассчитывал, вылезая с этим липовым алиби? Что мы не докопаемся до истины?

Коноплев прошелся по кабинету:

— Шакин ведет с нами сложнейший психологический поединок. В этой борьбе, с его точки зрения, все средства хороши: ведь ставка здесь — жизнь. Он не хочет упустить ни одной возможности. А вдруг любовь к нему этой престарелой красавицы столь велика, что она, даже узнав о содеянном им, подтвердит алиби? Не сработало...

Ерохин недоверчиво хмыкнул:

— А коли так, ответьте на другой вопрос: почему он предъявил это алиби сейчас, а не на суде? Ведь там это могло принести ему большую пользу.

— Вопрос закономерный, — согласился Коноплев. Он уселся, положил на стол кулак, на него второй и уперся подбородком. В этом положении просидел минуты три, не меньше. Ерохин, попыхивая сигареткой и щурясь от евшего глаза дыма, смотрел в окно, где между рамами билась, громко жужжа, неведомо как попавшая туда муха.

— Все! Догадался!

Коноплев вскочил, расправил плечи, молодцевато выпятив грудь, прошелся по комнате.

— Ну? — Ерохин вытянул вперед губы и подвесил в воздухе ровный кружок дыма.

Коноплев, внимательно следя за тем, как кружок этот, поднимаясь вверх и расслаиваясь, расширяется в диаметре, объяснил:

— Он знает, что сроки следствия истекают. А у нас против него, как ему кажется, нет ни одной прямой улики. Что он должен в этих условиях сделать — ясное дело, подкинуть нам работенки, чтобы отвлечь от главного — поиска этой самой решающей улики. А мы знаете чем должны ответить?

— Ну?

— Предъявить ему эту самую улику.

В камере Шакину часто спился один и тот же сон. В горах он срывается с крутого склона и, вздымая тучи снега, стемглав несется вниз к скалистому обрыву, к гибели. Сердце его замирает, и он, еще живой, явственно ощущает свою смерть. Хочет крикнуть и не может, не хватает воздуха в груди, нет сил расцепить сомкнутые зубы, открыть рот... И когда все уже, кажется, кончено, вдруг — резкая встряска, падение внезапно прекращается, и Шакин повисает в пустоте на веревке, второй конец которой, как он начинает понимать, кто-то удерживает сверху.

Он спасен. Однако не успевает теплая волна радости затопить его уже начавшее цепенеть тело, как в нем вновь оживает страх: а что, если тот, наверху, отпустит конец веревки и ему, Шакину, придется вторично ощутить ужас гибели? «Я заплачу, заплачу! Только держи, не отпускай!» — хочется крикнуть ему во всю силу легких, но крика не получается. С его губ слетает хрип, он вздрагивает и просыпается.

Лежа на койке с закрытыми глазами, мучительно силится разгадать тайну этого страшного сна. На самом деле ничего подобного с ним никогда не было. Он не срывался с крутого склона, и гибель не грозила ему. Наоборот, он, Шакин, сам удержался на крутом склоне и спас Панкратова, этого новоявленного гения науки. В чем же тогда смысл этого сна? Почему он так часто снится ему? Может, это проделки больной совести, напоминающей ему о невыплаченном долге?

Шакин и сам не понимает, что с ним. Никогда еще совесть не тревожила его. Он сам установил для себя правила игры, и, кажется, его совесть сми-

рилась с этими правилами и приняла их. Так почему же мысль о долге, не выплаченном Панкратову, так терзает его и во сне и наяву?

Ему вдруг кажется, что он находит ответ, разгадку. Там, в горах, спасая жизнь Панкратову, он действовал в расчете на его будущее покровительство. Но получил не только это, но и нечто большее — огонь благодарности, вспыхнувший в глазах спасенного. Тогда ему вдруг захотелось, чтобы огонь этот пылал вечно, но он сам все испортил, попросив у Панкратова денег взаймы, в глубине души заведомо зная, что никогда их ему не отдаст. Правда, Шакин пытался убедить себя в ином: он-де обязательно раздобудет требуемую сумму, вернет ее Панкратову и вновь обретет право на его уважение и благодарность. Но это был самообман, не более того...

— На вопрос!

Он вскочил с койки, пригладил обеими руками спутанные волосы, поправил одежду. Но гораздо труднее было навести порядок внутри себя, в своих мыслях и чувствах. Он попытался подстегнуть свое любопытство. Интересно, чем закончилась проверка его алиби, подтвердила его Антонина или не выдержала, раскололась?

Выражение собранности на лице подполковника, его явная готовность к какому-то важному, может быть, решительному действию вывели его из оцепенения, заставили насторожиться. Скорее всего, эта жадная карга Антонина Дмитриевна подвела его. Ну и черт с ней, она ему уже послужила. Ну так что же она все-таки сказала хитроумному подполковнику?

Но Коноплев не торопился завести речь о проверке алиби... Шакина обожгла радостная мысль: неужто повезло, записка подействовала и Антонина подтвердила его слова? Если так, он женится на ней, видит бог, женится, только бы его догадка оказалась правдой... Он смотрел на подполковника почти умоляюще: ну, не тяни, скажи, что это так.

Коноплев, внимательно наблюдавший за Шакиным, понял его состояние. Спокойно произнес:

— Увы, Шакин. Порадовать вас нечем. Вот письменное заявление Антонины Дмитриевны, полностью опровергающее ваши алиби.

Шакин набрал в грудь воздуха, как будто собирался нырнуть:

— Вы думаете, загнали меня в угол этим сообщением? Ерунда. Вы не хуже меня знаете, что все ваши доказательства моей вины — липовые. Ничего, суд разберется...

— Вы правы. Суд разберется. У меня к вас просьба, Шакин. Помогите-ка мне связать вот это... — он полез в стол и протянул сидевшему напротив него человеку два конца веревки.

— Связать? Зачем? — растерянно проговорил Шакин и вдруг понял: мертвенная бледность проступила на его лице.

— Связывайте, связывайте...

Шакин подчинился.

Коноплев поднял со стола газету, указал на то, что лежало под нею:

— Вы требовали предъявить вам улики, пожалуйста... Вот срезки двух узлов... Один с упаковки трупов Лукошко и Смирницкой... Другой нам передан членом-корреспондентом Академии наук товарищем Панкратовым, имевшим неосторожность в свое время совершить вместе с вами высокочеловеческое восхождение. Согласно письменному свидетельству Панкратова, вы рассказали ему, что западные альпинисты для страховки пользуются не веревками, а шнуром типа парашютных строп, концы которого соединяют особым, «встречным», узлом. Вы дали ему такой шнур и, демонстрируя свое искусство, завязали на нем несколько, так сказать, показательных узлов. Экспертизой точно установлено, что шнур и узел, которым он был завязан на трупах Лукошко и Ольги Сергеевны, полностью идентичны шнуру и узлу, которые переданы вами Панкратову.

Шакин скрюченными пальцами с силой рванул на шее ворот:

— Не верю... Не верю... Он не мог! Я ему жизнь, подлюге, спас... А он?

— Ну, во-первых, вы сами поспешили получить плату с Панкратова, содрав с него несколько тысяч рублей... Так что он вам ничего не должен... А во-вторых... Давая мне свои показания, Панкратов взял с меня клятву, что я в точности передам его слова.

А сказал он следующее: «Передайте Шакину, что мне невыразимо стыдно быть обязанным ему жизнью. Лучше бы я погиб. И что моего уважения он лишился давно. Не тогда, когда я понял, что он не собирается отдавать денег. Я сам бы с удовольствием подарил их ему... А в тот момент, когда мне попался на глаза научно-фантастический роман «У звезд займы»: он выдал в качестве своей, идею, украденную у другого... Для него нет ничего святого...» Как видите, улик против вас больше чем достаточно. На пиджаке Лукошко нами были обнаружены волокна от мебельной ткани. Экспертиза установила: именно такой тканью обит диван в комнате Петра Антоновича. Мы отыскиали мебельный магазин и продавца, который этот диван вам продал. В комнате вы повсюду оставили свои отпечатки: на бутылках коньяка, на иконе, посредством которой заманили Лукошко в Казачий переулок. Правда, на орудиях убийства — ноже и обрезке свинцового кабеля — отпечатков нет, вам удалось их уничтожить, но вас полностью изобличают принадлежащая вам веревка, которой обвязаны были трупы, а также ваши «фирменные» узлы... Кроме того, нам удалось найти в Рязани шофера, помогавшего вам доставить к берегу Москвы-реки ваш страшный груз... Ваша вина доказана. Отрицая ее вопреки фактам, вы ведете себя просто глупо...

Шакин произнес вызывающе:

— Никто не знает, как поведет себя, когда собственная жизнь окажется под угрозой. За жизнь надо бороться!

— Кажется, это почти дословное повторение реплики Канориса, роль которого вы исполняли в Доме ученых... — усмехнулся Коноплев. — Но здесь не сцена. И следствие — не спектакль. Вам придется отвечать за свои поступки.

Шакин рванул ворот, ему нечем было дышать. Хрипло сказал:

— Хорошо. Все скажу. Пишите. Убил я...

Из заявления Шакина прокурору:

«В связи с тем что сроки следствия иссякают, а оно... находится в прежнем состоянии, то есть топ-

чется на месте, я прихожу к выводу, что пора приподнять занавес над человеческой комедией.

Когда-то я мечтал стать киношником, снять детектив. И вот мечта сбывается.

Мне позвонил некий Валера и подал идею, о которой я мечтал. Я отправился в неизвестный мне мир приключений.

И вот встреча с оперативником во главе с интеллигентным подполковником Коноплевым. Поскольку времени у них было в обрез, то они ограничились пересчетом моих шейных позвонков, хотя все это было излишним, так как я и без того был готов к лжепризнанию. Мои показания для оперативников были как глотки живительного воздуха — лица их светлели, разглаживались. Еще бы — откровенное признание со всеми деталями! Я понял: сработало, поверили.

Выезд на место преступления. Я — в главной роли.

Перетряхивание белья, книг. Простукивание стен, осмотр обоев — все как в современном детективе.

Режиссерский дебют удался! Из этих слов ясно: я согласился взять на себя вину, чтобы самому пережить ситуацию убийства и эмоциональное состояние убийцы.

И вот теперь мне предлагают написать новое признание, т. е. снова, на этот раз всерьез, взять на себя преступление. Не выйдет! У меня есть козырь, с помощью которого я посрамлю представителей Фемиды!

Итак, до суда!

Ф. Шакин».

Ерохин отложил бумагу, снял очки, строго поглядел на Коноплева:

— Как там насчет шейных позвонков, подполковник? Врет, или вправду кто его...

От обиды у Коноплева затвердели скулы.

— Да ты не обижайся... Я тебе верю. Однако всякое бывает... Может, Сомов в твоё отсутствие? Он, говорят, суров?

— Всякого не бывает, — твердо ответил подполковник. — Бестактность, грубость — это да...

могло быть. Но на прямое нарушение закона он не способен. Уверен. Отвечаю, как за самого себя. Головой.

— Голова-то у тебя одна, подполковник. А не три, как у Змея Горыныча. Ты бы ее поберег. Однако, если действительно так в Сомове уверен... Вот тебе бумага, пиши. Прозакладывай свою голову. Стати, это — не единственное заявление Шакина. Вот второе. Настаивает, чтобы его подвергли психоневрологической экспертизе.

Коноплев с облегчением присвистнул:

— За сумасшедшего себя хочет выдать? Хороший признак. Значит чувствует, что карта его бита.

— Вот видите, Шакин, вы завязали «встречный узел»... А мы развязали. Теперь только остается предъявить вам заключение психоневрологической экспертизы. Вот оно. Ознакомьтесь!

Шакин протянул руку. Лист с отпечатанным на машинке текстом заметно дрожал в его руке.

«В результате стационарного исследования гр. Шакина Ф. Б. комиссия в составе председателя психоневрологической экспертизы, эксперта, доктора медицинских наук профессора Кунца Д. Р., членов комиссии Илеевой, Кокакбаева, Заволовской и Ванина пришли к выводу, что гр. Шакин критически относится к сложившейся ситуации и к своему состоянию. Психическим заболеванием не страдает, а обнаруживает некоторые нерезко выраженные психопатические черты характера с истерическими проявлениями и эмоциональной неустойчивостью. Обнаруживает склонность к самоутверждению любой ценой, демонстративности, уверен в своем превосходстве над окружающими».

— Обратите внимание, Шакин, как заключение специалистов перекликается с заявлением вашего дружка и сообщника Кеши Иткина: «Шакин — это человек, для которого в жизни не существует ничего святого. Очень самоуверенный и считает, что любой его поступок правильный, болезненно воспринимает, когда кто-либо сомневается в его действиях и словах. Это человек, который использует всех сво-

их знакомых только с целью наживы и личной выгоды». Иткину не откажешь в наблюдательности, а? Будем передавать дело в суд!

Ворожеев встал из-за стола, одернул китель, торжественно произнес:

— Поздравляю! Честно говоря, я не верил, что он признается. Везет тебе.

Николай Иванович поддакнул:

— Ну да... дуракам счастье.

— Ворожеев смутился, захлопал белесыми ресницами:

— Я не то хотел сказать... Но согласись, он ведь мог и не расколоться.

— Не мог. Кстати, я не совсем уверен, что он уже все выложил...

На лице Ворожеева появилось мучительное выражение:

— Господи! Чего же тебе еще надо? Ведь Ерохин-то доволен?

— Доволен. Или делает вид... Вообще-то, он работник опытный и не может не понимать: что-то тут не вяжется, не совсем ясны мотивы убийства. Как все-таки Шакин собирался завладеть коллекцией Лукошко?.. Не хватает какого-то звена.

— Для тебя уже и Ерохин не авторитет?

— Понимаешь, Аким... — Коноплев не договорил фразы, на столе Ворожеева громко и как-то сердито зазвонил телефон.

— Подполковник? Да, он у меня... Сейчас подзову.

Николай Иванович взял из рук Ворожеева трубку и услышал скрипучий голос следователя:

— Вы там небось победу празднуете? А между тем радоваться рано. Мне лично не совсем ясны мотивы убийства.

— Мне тоже, товарищ следователь, — сдерживая улыбку, ответил Коноплев и торжествующе посмотрел на Ворожеева.

Следователь Ерохин строго глядел на Коноплева, будто тот провинился перед ним. «Вот чудак. Дума-

ет, успокоились раньше времени, победу празднуем. Слышал бы он мой разговор с Ворожеевым...»

— Вы того... Рано почиваете, — угрюмо сказал Ерохин.

— А мы не почиваем, — с вызовом ответил Коноплев. — Мы работаем. И, кажется, кое-что сделали.

Ерохин вынужден был согласиться:

— Ваша правда. Вина Шакина доказана. Да вот только неясно, как этот тип собирался завладеть коллекцией Лукошко? Ожидал, что сын убитого добровольно поднесет ему сокровища на блюдечко с голубой каемочкой? Что сам-то Шакин говорит?

— На этот счет — ни гу-гу... И понятно. Одно дело — совершить убийство под влиянием аффекта, и совсем другое — с заранее обдуманном намерением, из корыстных побуждений... Я его спрашиваю: «Вы знали, конечно, что после смерти Лукошко коллекция переходит к сыну?» Говорит: «Что сын есть — слышал. Говорят, слабак, хлюпик. Может, и познакомились бы, да вы помешали».

— Значит, расправившись с отцом, человеком сильным и волевым, он рассчитывал одолеть сына, «слабака» и «хлюпика»... — задумчиво проговорил Ерохин.

— Что значит «одолеть»? Убить Лукошко-младшего? Но второе убийство ни на шаг не приблизило бы его к цели. Оно не сделало бы его владельцем коллекции.

— А вот и ошибаетесь, — неожиданно проговорил Ерохин. Он зажег сигарету, затянулся, и его худое лицо стало еще худее — щеки запали, глаза заслезились от дыма. — Есть одна мыслишка... В случае смерти Дмитрия Лукошко законной хозяйкой коллекции стала бы его жена. Так?

— Так.

— А она, судя по всему, только и мечтала, чтобы соединить свою судьбу с Булыжным. Соображаете?

— Пойдите, пойдите, — проговорил Коноплев. — Если преступники собирались подобраться к коллекции Лукошко с помощью Булыжного, то какой был смысл его устранять?

— А вот это, подполковник, вам с Сомовым и предстоит выяснять, — жестко, тоном приказа произнес Ерохин.

Под ногами капитана скрипели половицы. Он расхаживал по кабинету, ступая тяжеломерно, основательно. Точно так же, с тяжеломерной основательностью он развивал свою версию участия Ивана Булыжного в убийстве старика Лукошко.

Слова следователя, что у Сомова появилась «своя» версия, неприятно подействовали на Николая Ивановича, не без оснований полагавшего, что капитан прежде всего должен был переговорить с ним, своим непосредственным руководителем, а потом уже лезть с своими догадками к Ворожееву и Ерохину. Но делать нечего — придется выслушать Сомова.

— Версия-то у вас есть. А где факты? Где доказательства?

Капитан подошел к столу, уселся на хлипкий стул, затрепавший под его тяжестью, и на всякий случай ухватился ручищами за крышку стола:

— Доказательства есть.

— Я вас слушаю.

— Мы можем предположить, что старика Лукошко шантажировали. Инструмент шантажа — табакерка с изображением Наполеона, которую он с помощью Пустянского «изъял» из коллекции Александровского. У кого оказалась эта табакерка? У Булыжного. Именно он, по свидетельству лейтенанта Тихонова, пытался сбыть вещицу с рук в подъезде напротив комиссионки.

— А зачем, по-вашему, Булыжному понадобилось продавать табакерку?

— Старик погиб. Надо быть во что бы то ни стало избавиться от улики.

— Проще было бросить табакерку в реку, нежели продавать, рискуя попасться.

— Вполне может быть, — сказал Сомов, — что Нина и наказывала Булыжному бросить табакерку в реку. Но он поступил по-своему. Почему? Жаль стало 150 рублей. Ему на выпивку нужны были деньги. Он ведь зашибает. И крепенько.

— Допустим. Дальше.

— Как вы знаете, при обыске попавшего под машину Булыжного в кармане у него была обнаружена старая «Вечерка» с заметкой, в которой упоминалась табакерка.

— Знаю.

— На полях был нацарапан адрес дома, где совершено преступление. Почему-то мы решили: Булыжный выслеживал убийц. А не логичнее ли допустить, что Булыжный был их сообщником?

Коноплев произнес мягко, почти ласково:

— Пока это только ваше допущение, капитан... Но более того.

Сомов ответил твердо, пристально глядя в лицо подполковнику немигающими глазами:

— Не совсем так. Соседка убитого Изольда по фотографии опознала в Булыжном человека, который примерно за год до убийства в дневное время под каким-то надуманным предлогом заявился к старику в квартиру и вызвал у последнего подозрение. Лукошко поделился им с Изольдой. Возможно, Булыжный хотел собственными глазами взглянуть на коллекцию. Прикинуть: стоит ли овчинка выделки.

— Или интересовался планом квартиры на тот случай, если старика будет решено убивать дома? — продолжал мысль Сомова Коноплев.

— И это не исключено...

— Вон вы куда маханули. А Изольда не могла ошибиться? Это точно был Булыжный?

— Ошибка исключена. Ей было предъявлено несколько фотографий. Она указала на него.

— Скажите, Сомов... А какое вы имели право разрабатывать эту линию расследования без предварительного согласования со мной?

Сомов стал красным, как бурак. Громко засопел.

— Понятно, — со вздохом произнес подполковник. — Хотели показать себя. Выслужиться перед начальством. Ну ладно. Не вы первый, не вы последний. Не будем уклоняться от сути. У вас все?

— А разве сказанного мало? — с вызовом спросил Сомов. — Тогда можно добавить... Булыжный и Шакин были связаны между собой, по-видимому, через Антонину Дмитриевну Лопухову. Первый — ее воспитанник, второй — жених, а вернее, полюбовник.

— Ну, что за выражение — «полюбовник»! — Коноплев поморщился. — Вы свободны, капитан!

Ему были известны все, или почти все, факты, о которых говорил капитан, но тот выстроил их в це-

почку. И довольно умело, надо это признать. В том и заключается работа сыщика — добывать и выстраивать в ряд факты, восполняя при помощи логики, интуиции и воображения отсутствующие звенья. Работа это непростая и небезобидная: малейшая неточность в подставке — и вся цепочка летит к черту.

МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО

Странное дело, Ворожеев будто бы сменил гнев на милость. При встрече внимательно смотрел в лицо Коноплеву своими светлыми глазами, задерживал руку в своей шершавой, как терка, руке, интересовался: «Ну, как дела? Помощь не нужна? А то заходи... Одна голова хорошо, а две лучше». И уходил по коридору основательной поступью человека, облеченного властью.

Николай Иванович, по своей привычке ничего не оставляя неразгаданным, попытался осмыслить происшедшую в Ворожееве перемену. А что тут, собственно говоря, удивительного? Огляделся человек на новом месте, успокоился, собрался с мыслями, понял, что работать надо дружно, отбросив в сторону все мелкое, наносное... «Надо и мне... того... помягче с ним... А не лезть по всякому поводу в бутылку».

С этими добрыми намерениями Коноплев и явился на очередной вызов ВРИО начальника отдела.

— Садись, Николай Иванович! Я слышал, у Сомова дельная мыслишка появилась?

Аким Федотович улыбнулся, мускулы лица расслабились, распустились, он сделался неузнаваем. «Оказывается, улыбаться тоже надо уметь», — сделал для себя заметку Коноплев.

— В нашем деле как бывает, — продолжал Ворожеев, — лучшие пинкертонеры головы ломают, самые сложные версии строят, в психологии копаются. А тут вдруг бац — решение-то вот оно, рядом. Протягивай руку и бери. А начальство довольно. Ему ведь все равно, много ты труда затратил или мало. Ему важен результат.

— До похвал начальства еще далеко, Аким. Надо разобраться — не липа ли.

— Разберетесь, разберетесь... — хохотнул Ворожеев. — Уж на это у вас силенок хватит.

— У нас на многое силенок хватит, не только на это, — ответил Коноплев.

Ворожеев внезапно согнал с лица улыбку:

— Так ты что — не веришь в версию Сомова?

— Честно говоря, не очень... Конечно, надо прояснить роль Булыжного в деле с табакеркой. Это все так. Но подозревать его в убийстве Лукошко или пособничестве преступникам никаких оснований у нас пока нет. Это все выдумки Сомова.

— Выдумки, говоришь? А ты вот что сделай. Поручи-ка это дело капитану. Пусть он свою версию сам и разрабатывает. Лады?

— Ах вот, оказывается, куда гнет Ворожеев! Коноплев ответил сухо:

— Насколько я понимаю, розыскные действия по этому делу поручены мне. И Сомов передан в мое полное распоряжение. Следовательно, я имею право действовать так, как сочту нужным. Или вы отстраняете меня от расследования? Тогда прошу объяснить причины.

Теперь настал очередь Ворожеева успокаивать Коноплева:

— Ну и человек. Прямо порох! Трудно с тобой... — Он отвел глаза от Николая Ивановича и вперил взгляд в крышку стола. — Никто тебя не отстраняет, что ты выдумал. Но ведь и я, кажется, пока еще начальник отдела.

— ВРИО начальника, — Коноплев все-таки не удержался от резкой реплики.

— Да, ВРИО, — мрачно согласился Ворожеев. — То есть временно исполняющий. Но времени у меня хватит, чтобы... чтобы...

— Ну, договаривайте, — Коноплев встал с места.

— Чтобы навести порядок в отделе.

Оба замолчали, боясь наговорить лишнего. Потом Ворожеев заговорил как ни в чем не бывало:

— Легче всего подобраться к Булыжному со стороны его возлюбленной. То есть жены Лукошко.

— Честно говоря, я не вижу смысла в твоём, чтобы «подбираться» к Булыжному.

— Ах, так... И сам не хочешь, и Сомову не даешь. Что ж, обойдемся без тебя.

Поначалу внезапно возникшая в голове капитана Сомова версия о причастности к убийству Лукошко Ивана Булыжного не сулила Коноплеву больших забот. Ему казалось, что эта ветвь следствия засохнет и отомрет сама собой, как засыхает неудачно привитый к дереву черенок. Однако он, видимо, не учел той большой и деятельной силы, которую представляли собой объединившиеся Сомов и Ворожеев. А они, судя по всему, не дремали...

Вскоре Коноплева снова пригласил к себе следователь Ерохин и, попеняв ему на непонятное бездействие, сказал:

— На-ка вот, почитай, Фома неверующий...

Николай Иванович взял в руки и быстро пробежал глазами документ — заявление Антонины Дмитриевны, женщины, когда-то неизвестно зачем усыновившей Ивана Булыжного, а затем отказавшейся от него. Антонина Дмитриевна подробно описывала порочные наклонности детдомовского воспитанника, начиная от волчьего аппетита, неприятно поражавшего ее, до других, опять-таки «волчьих», по ее мнению, повадок мальчишки, вечной угрюмости, отсутствия благодарности, упорного нежелания признавать за собой проступки, которые постоянно вменялись ему в вину. Заканчивалось заявление описанием пьяного дебоша, который учинил ее бывший воспитанник из-за не принадлежавшей ему иконы, которую ему, конечно, не терпелось пропить, а также изложением обстоятельств ограбления. Это ограбление по каким-то непонятным Антонине Дмитриевне соображениям было приписано милицией некоему гражданину Клебанову, хотя и слепому ясно, что забрался к ней в квартиру этот пьяница и ворюга Ванька, которого милиция явно выгораживает. Доказательство его вины — пропажа, увы, вместе с другими дорогими вещами и той самой иконы, из-за которой он закатил ей незадолго до этого шумный скандал...

— Ну, с этой дамой я лично знаком... Знаю цену и ей самой, и ее показаниям, — пробормотал Коноплев, отбрасывая заявление Антонины Дмитриевны. — Чепуха на постном масле.

— Чепуха, говоришь... А это?.. А это? — из ерохинского ящика, как из волшебной шкатулки, посы-

пались на стол разные бумажки — листки допросов, актов опознания, писем и записок...

— Ого! — только и вымолвил Коноплев, пододвинул к столу стул, основательно уселся и стал разбираться в бумажном ворохе. Прежде всего его внимание привлекла выписка из показаний Дмитрия Лукошко — сына убитого коллекционера. На вопрос капитана Сомова, какие отношения связывали его с сослуживцем Иваном Булыжным, Лукошко ответил: самые неприязненные. Булыжный хотя и находился в подчинении у него, однако подчинения этого не признавал, постоянно нарушал субординацию, на вызовы не являлся вовсе или являлся с явным опозданием, неоднократно оспаривал данные ему указания, по каждому вопросу у него имелось собственное мнение, которое он не стеснялся высказывать, как правило, дерзко и грубо. Такое его поведение тормозило реализацию крупного проекта, которым занималась группа под руководством Лукошко, на что последний не раз обращал внимание начальства.

На вопрос, чем было вызвано такое поведение Булыжного, Лукошко ответил, что сам задумывался над этим. И поначалу пришел к выводу, что причина кроется в отношении Булыжного к его жене Нине. Булыжный неоднократно делал ей нескромные предложения, требовал, чтобы она порвала с мужем и ушла к нему, поскольку они, Нина и Булыжный, якобы больше подходят друг другу. Митя заявил, что, хотя назойливые приставания этого типа к его жене ему, конечно, не могли нравиться, вызывали у него возмущение, тем не менее он иногда как бы даже жалел Булыжного, павшего жертвой внезапно охватившей его страсти. Однако в свете событий последнего времени Лукошко по-иному расценивает поступки Булыжного. Он не может отделаться от ощущения, что охоту за его женой этот человек начал под влиянием далеко не бескорыстных мотивов. Более того, его возжеленной целью является не Нина, а коллекция, к которой он стремится подобраться. Эта версия, Митя употребил именно такое слово — «версия», многое объясняет для него: и необыкновенную, доходящую до наглости настойчивость, с которой он преследовал бедную женщину, и

личную ненависть к нему, к Мите, стоящему между Булыжным и драгоценной коллекцией... Понятным становится и странное посещение Булыжным квартиры на старом Арбате, посещение, о котором отец в свое время рассказывал Мите...

На прямой вопрос капитан Сомова, не думает ли он, что Булыжный имеет отношение к убийству старика, Митя ответил, что прямо утверждать этого не может — для этого у него нет фактов, но он не удивился бы, если бы ему сообщили что-нибудь подобное...

— Но это все цветочки, — сказал Коноплеву Ерохин. — Вот с этим ознакомьтесь.

Коноплев осторожно, как гремучую змею, взял в руки листок, который, судя по всему, заключал в себе особенно неприятную для него новость. То были показания Федора Шакина, полученные у него при допросе капитаном Сомовым. Из протокола явствовало, что Шакину был предъявлен для опознания ряд фотографий. Он выбрал одну из них и показал, что на ней изображен некий Валера, имя которого он не раз упоминал на допросах. Он говорил, что этот самый Валера подсказал ему мысль навлечь на себя подозрение в совершении тяжкого преступления, испытать на себе все тяготы дознания, чтобы потом использовать полученный таким образом жизненный опыт для создания художественного произведения. Однако ему, Шакину, не верили, потому что он не мог в подтверждение своих слов назвать фамилию этого самого Валеры, а также указать место его проживания. К сожалению, Шакин не знал ни того, ни другого. Однако теперь наконец получено доказательство его правоты, за что он горячо благодарит капитана Сомова, этого прекрасного милицейского работника, на которого он, Шакин, в свое время возвел напраслину, в чем сейчас искренне раскаивается. Этот самый Валера не только толкнул Шакина на сомнительный путь, который привел его в тюремную камеру, но и, по-видимому, совершил в действительности то страшное преступление, вину за которое он уговорил взять на себя Шакина. Теперь, слава богу, истина восторжествует, негодяй понесет наказание, а он, Шакин, получит долгожданную свободу.

— Ну и кем же оказался этот самый Валера? — спросил Коноплев.

— Вот, полюбуйся, — Ерохин выбросил из ящика фотографию. С глянцеви́той ее поверхности на Коноплева глянуло угрюмое лицо Ивана Булыжного.

— Так... Еще что? Не тяните. Выкладывайте все, что припасли Ворожеев с Сомовым.

— А Ворожеев тут при чем? — зорко глянул на подполковника Ерохин.

— Ну, без него тут не обошлось. Узнаю знакомый почерк.

— А что, ребята поработали на совесть. Ясно: Булыжник и Шакин знакомы. Иначе бы Шакин не опознал своего дружка на фотографии...

— Так уж и «дружка»?

— А вы все не верите? Не спорю, доказательств того, что Булыжный убил старика, у нас нет, свидетельство Шакина не в счет. Но то, что они, Шакин и Булыжный, находились в сговоре, это, по-моему, доказано.

— Не будем торопиться, — проговорил Коноплев.

— Да ты и так, брат, не торопишься. Скажи спасибо, что другие поторопились.

Вернувшись в свой кабинет, подполковник подошел к окну и стал пристально, до рези в глазах, вглядываться в знакомую до деталей картину: ограду, зеленые ветви деревьев, мельтешенье машин на проезжей части улицы — как будто где-то там крылась отгадка мучившей его тайны... Возможность какого-либо нажима на свидетелей со стороны Ворожеева и Сомова Николай Иванович полностью исключал. Почему же тогда все, как будто сговорившись, вдруг принялись валить вину на Булыжного? Что случилось?

Повинуясь какому-то непонятному импульсу, Коноплев повернулся к столу, снял трубку, набрал номер телефона больницы, где лежал Булыжный. Услышав голос дежурной, поинтересовался состоянием здоровья Ивана. С удивлением услышал ответ:

— Состояние крайне тяжелое.

Положил трубку. Странно. Еще два дня назад лечащий врач лично убеждал его, что Булыжный вскоре придет в себя. Неожиданное ухудшение? Но почему тогда об этом немедленно не доложили Ко-

ноплеву? Он же строжайше наказал держать его в курсе дела!

Николай Иванович вспомнил, что, услышав в телефонной трубке голос дежурной сестры, он не представился, не назвал себя.

Ему ответили то, что отвечают каждому, кто позвонит в больницу. Значит, весть об ухудшении состояния Булыжного, о его возможно скорой смерти уже могла распространиться по городу. И тогда кто-то начал действовать. Это не исключено.

Николай Иванович снова поднял телефонную трубку, вызвал машину и поехал в больницу.

...Прошел в кабинет главного врача. Тот встретил его, как старого знакомого.

— Давненько вы у нас не были, товарищ подполковник.

— А вы давненько не звонили. У вас ухудшение, а вы молчите. Мы же договаривались.

— То есть как молчим? — не понял главный врач. — А вы разве не в курсе?

Теперь настал черед удивляться Николаю Ивановичу:

— Что вы имеете в виду?

Он узнал, что несколько дней назад в больницу позвонил Ворожеев, поинтересовался здоровьем Булыжного:

— Выкарабкается или нет?

— Лично я полагаю, — ответил главврач, — что выкарабкается. Сердце здоровое. При правильном лечении и заботе...

— Заботиться о нем, кажется, есть кому. Мы слышали, Булыжного почти ежедневно навещает женщина, некая Нина Лукошко.

— Да, — ответил врач. — Настойчивая особа. Каждый день заходит ко мне, осаждает вопросами.

— Какими вопросами?

— Ее интересует то же, что и вас, — будет Булыжный жить или нет?

— Ах нет... Можете ли вы пригласить ее к себе и сообщить, что в положении Булыжного наступило резкое ухудшение?

— Но ведь никакого ухудшения нет. Наоборот, я

уверен, что не сегодня-завтра нам удастся вернуть ему сознание.

— И возвращайте. Это будет всего лишь маленькой военной хитростью в интересах следствия.

— А не слишком ли жестоко по отношению к этой женщине?

— Насколько мне известно, она — женщина крепкая, выдержит. Кроме того, Нина Лукошко не является родственницей пострадавшего. Формально она совершенно чужой, посторонний человек.

— Ах так... — сдаваясь, проговорил главврач. — Ну хорошо, я скажу ей, что положение Булыжного ухудшилось.

— Сильно ухудшилось.

— Да, да. Сильно.

— И не пускайте ее несколько дней в палату.

Коноплев побарабанил пальцами по крышке стола, спросил:

— И вы не пускаете?

— Как было велено, не пускаем. Я ее сегодня видел в коридоре, она, наверное, и сейчас еще здесь.

Коноплев поднялся с места:

— Мне пора. Не сегодня-завтра, я уверен, вы получите сигнал об отмене полученного указания. Вы не выйдете со мной в коридор? Я хотел бы, чтобы вы представили меня Нине Лукошко.

— Если вы хотите с ней поговорить, могу предоставить вам свой кабинет. У меня сейчас вечерний обход.

— Благодарю.

Нина Лукошко стремительно вошла в кабинет. Красивое лицо выбелено тревогами и заботой. Тонкие брови сдвинуты к переносице. Видно, она приняла какое-то важное для себя решение и теперь собирается идти до конца, чего бы это ей ни стоило. Коноплев встал, пододрнул ей стул.

— Вы подполковник Коноплев? Я должна сделать важное заявление.

У Николая Ивановича сердце начало биться чуть быстрее. Что скажет ему жена Мити Лукошко? Неужели Ворожеев и Сомов правы и Булыжный — соучастник убийцы?

— Я вас слушаю.

— Иван Булыжный пал жертвой бандитского нападения, — облизав пересохшие губы, говорит Нина. — Организатором этого нападения явился мой муж Дмитрий Лукошко.

— Ваш муж?! Митя?

Он готов был услышать что угодно, только не это.

— Один раз, это было несколько месяцев назад, он уже нанимал хулиганов, чтобы избить Булыжного... Теперь он решился пойти на...

Ее голос пресекся.

— Вы хотите сказать «на убийство»? Это очень серьезное обвинение. Чтобы его сделать, нужно иметь доказательства.

— У моего мужа были для этого причины.

— Причины? Какие?

После некоторого промедления она произнесла:

— Я и Булыжный любим друг друга.

— Любите друг друга? — как эхо, повторил Коноплев.

— Вот уже несколько месяцев, как мы с ним близки...

«Эта женщина не привыкла ходить вокруг да около, — думает подполковник. — Называет вещи своими именами». Мозг его начинает лихорадочно работать. Что кроется за неожиданным заявлением Нины Лукошко? Какие обстоятельства привели ее сюда? Отчаяние женщины, желающей отомстить за гибель любимого человека? Стремление избавиться от ставшего ненавистным мужа и приблизиться к осуществлению преступной цели — овладению коллекцией? Над всем этим Николай Иванович поразмыслит потом, когда останется один. А сейчас он пользуется случаем, чтобы задать жене Дмитрия Лукошко несколько вопросов.

— Как вы думаете, вашим мужем двигала только ревность?

— Было и другое, — четко, без раздумий отвечает Нина. — У Дмитрия с Булыжным были столкновения по службе. Они работают в одной организации.

— Ну, столкновения по службе — еще маловато, чтобы пойти на убийство, — вспомнил недавнюю размолвку с Ворожеевым и усмехнувшись, роняет

Коноплев. — А откуда мужу стало известно о ваших отношениях с Булыжным? Пошли сплетни?

— Однажды ему удалось нас выследить. Это случилось за несколько дней до первого нападения на Ивана.

— За несколько дней? А если точно — за сколько именно.

— За два дня.

— Два дня — срок слишком небольшой, чтобы организовать нападение, — бормочет Коноплев.

Нина строго смотрит на него:

— Вы мне не верите?

— Что вы, что вы! Ваше заявление будет самым тщательным образом проверено...

Нина Лукошко облизала пересохшие губы:

— Это еще не все... Однажды Иван сказал: «Если со мной что-нибудь случится, найди в комнате за шкафом большой конверт. И передай его куда следует». Поедьте, я покажу вам, где этот конверт.

— А почему вы вспомнили о нем только сейчас? — удивился Коноплев. — Почему не сказали раньше?

Нина подняла на него затуманенные слезами глаза:

— Я верила, что он будет жив. Он был такой сильный, крепкий. А теперь... — голос ее прервался.

— Что теперь? Ах, да... понимаю. Едем. Машина ждет.

Они высадились у небольшого деревянного дома, темного, покосившегося, явно предназначенного к слому. По осевшим ступенькам поднялись в подъезд. В темноте Нина нашарила дверь, зазвенела ключом. Они вошли. Комнатка была небольшая, с косо срезанным лестницей потолком. Скучная мебель холостяцкого жилища: покрытый болгарским ярко-зеленым келимом топчан, одно кресло, один стул, этажерка, однотумбовый столик с поцарапанной во многих местах крышкой. Шкаф с техническими книгами.

Нина сунула руку между задней стенкой шкафа и обоями, вытащила толстенный конверт. Протянула Коноплеву.

Тот заглянул в него, увидел какие-то чертежи, формулы.

— Что это?!

Нина пожала плечами.

Николай Иванович подошел к окну, с трудом разобрав при слабом вечернем свете написанные угловатым почерком строки: «Проект автоматической системы управления городским хозяйством». Под названием стояло: «Вариант инж. Булыжного».

Коноплев повернулся к Нине Лукошко, сидевшей в единственном кресле в позе плакальщицы — закрытое руками лицо, понуро опущенные плечи, — и сказал:

— Да вы не убивайтесь. Я сегодня говорил с главврачом — Булыжный будет жить. Завтра же вас пустят к нему. Я распоряжусь. И насчет этого, — он потряс тяжелым пакетом, — тоже не беспокойтесь. Передадим по назначению. Можете сообщить своему другу, когда он очнется...

Нина, как распрямившаяся пружина, легко вскочила с кресла:

— Он будет жить? Это правда?

— Скажите, Нина Александровна, не поручали ли вы некоторое время назад Булыжному продать одну вещьцу? А именно — табакерку с изображением Наполеона?

«Сейчас будет отрицать», — проносится у него в мозгу.

Но Нина спокойно отвечает:

— Да, поручала... А что? Эта табакерка принадлежала нам. То есть моему мужу.

— А как она попала в ваши руки? Вам дал ее муж?

— Нет. Она валялась в столе. Я взяла ее сама. Деньги были нужны.

— Ну и как Булыжный выполнил ваше поручение?

Нина пожимает плечами:

— Продал табакерку, и все. За сто семьдесят пять рублей. И передал мне деньги.

Теперь удивляется Коноплев:

— Передал вам деньги?

— Да... Я купила на них у сотрудницы платье.

«Час от часу не легче... — думает полковник. — Оказывается, Булыжный не сказал ей, что операция по продаже сорвалась и табакерка попала в руки милиции. Вернул ей деньги, и все». Вслух говорит:

— Неужели вы испытываете недостаток в деньгах? Ведь ваш муж унаследовал после смерти отца целое состояние.

— Он жуткий скупердяй! Весь в старика. У него снега в зимний день не допросишься. Если бы вы только знали, какой он мне закатил скандал из-за этой несчастной табакерки!

— Быть может, им движет желание сохранить коллекцию отца в нетронutom виде? — высказал предположение Коноплев. — Вы, кстати, не знаете, какие у него планы насчет коллекции? Не собираетесь ли он передать ее государству?

— Что вы — такой жадюга? Впрочем, судьба коллекции меня лично ни капли не интересует! — Она говорит с подчеркнутым равнодушием. Может быть, наигранным?

После того как Нина удаляется, Коноплев возвращается к себе, вызывает лейтенанта Тихонова, просит его позвонить в объединение Системтехника и выяснить, не занимал ли Булыжный некоторое время назад в кассе взаимопомощи каких-либо сумм. Через пять минут Тихонов дает справку:

— Занимал.

— Сколько?

— Сто семьдесят пять рублей.

— Когда именно?

— 5 июня.

— То есть...

— Да, товарищ подполковник. В тот самый день, когда я упустил его в подъезде напротив комиссионного магазина.

— Видите, лейтенант, что вы наделали? Заставили честного человека по уши влезть в долги... Кстати, не хотите ли вместе со мной прокатиться по Подмоскovie? Сегодня профессор Александровский передает свою уникальную коллекцию картин музею одного старинного русского городка. Мы с вами приглашены на торжественную церемонию.

...Так случилось, что восьмидесятилетний юбилей старого русского коллекционера Георгия Дмитриевича Александровского отпраздновал целый город. Пятьдесят тысяч человек.

Вовсю светило щедрое июньское солнце, дробясь на золотых куполах соборов, выбеливая и без того белоснежные зубчатые стены местного кремля, растилая искрящуюся серебряную дорожку в плавной текущей внизу, за городским валом, реке, превращая в зеркала огромные (недавно прорубленные в толще кирпича) окна старых купеческих лабазов, отданных городскими властями под картинную галерею. В этой галерее, торжественное открытие которой было специально приурочено ко дню рождения Александровского, уже обрели свое новое и постоянное пристанище собранные им сокровища — более сотни полотен мастеров русской живописи: Кипренского и Брюллова, Тропинина и Венецианова, Сурикова и Репина, Нестерова и Коровина.

Даритель и юбиляр из всех сил старался сохранить присущее ему спокойствие, но это плохо удавалось. Владевшее им волнение прорывалось во всем: в стремительном движении его худощавой, облаченной в слишком просторный белый полотняный костюм фигуры, в дрожании голоса, то и дело сбивавшегося на фальцет, в обильной россыпи капель пота, который он ежеминутно стирал темнобордовым клетчатым платком с широкого лба, обрамленного венцом седых растрепанных волос.

До этого дня никакой художественной галереи в городе не было. Имелся только малосенький краеведческий музей, где стайки школьников — поколение за поколением — с интересом рассматривали позеленевшие от времени шлемы русских и иноземных воинов, найденные археологами под городской стеной; глиняные черепки, оказавшиеся не менее долговечными, чем железо, а также искусно выполненный макет древнего городища, обнесенного плотно пригнанными друг к другу заостренными кольями.

Но этого музея городку по нынешним временам было уже недостаточно. По воле обстоятельств и Госплана маленький этот городок, раскинувший лужки своих пестро раскрашенных церквушек по высокому зеленому берегу тихой реки, был избран местом строительства крупного промышленного комплекса. И тотчас же древнего Святогорска стало не узнать. Во все стороны от раскинувшегося на

холме кремля лучами разошлись проспекты с белоснежными многоэтажными домами, возник кинотеатр на две тысячи мест, своими размерами и плавно закругленными линиями напоминавший самолетный ангар, как грибы после дождя, высыпали «стекляшки», где разместились магазины, парикмахерские, ателье бытового обслуживания...

Стоило городку услышать о желании чудака коллекционера подарить ему свое уникальное собрание, как началось нечто невообразимое. Волнение охватило всех — от начальства и до рядовых граждан. Сообщения сыпались как из рога изобилия: нашли двести сорок квадратных метров... Решили, что мало... Нашли девятьсот квадратных метров... Комбинат выделил строителей... Ткацкая фабрика готовит специально для галереи портьеры. На субботники, посвященные строительству галереи, вышел весь город...

Александровский прибыл в Святогорск на специально присланной за ним в Москву черной горкомовской «Волге». Он прихватил с собой Коноплева и Тихонова.

— И все-таки я не думал, что вы решитесь на этот шаг, — сказал Николай Иванович Александровскому.

Тот обернул к нему взволнованное, покрытое капельками пота лицо, промакнул лоб клетчатым платком и ответил:

— Я и сам не думал... Но это оказалось сильнее меня. Я понял, что шел к этому всю мою жизнь. С того самого далекого утра, когда купил на дешевой распродаже на Кузнецком мосту первый эскиз... Понимаете, на излете своей жизни я произвел ту великую переоценку ценностей, которая сообщила моему бытию высший смысл!

Александровский поднял кверху указательный палец и помолчал, углубленный в себя и торжественный.

— Думаете, это было легко — отдать? — продолжил он, будто очнувшись.

— Конечно, я понимаю, — склонил голову Коноплев. — Вы столько посвятили этому делу сил, энергии, наконец, средств! И вдруг все отдать!

— Да вы меня не поняли! — Александровский да-

же рассердился. Он махнул рукой, широкий рукав толстовки надулся, точно парус. — Разве в этом дело? Я хотел отдать, но никто не хотел брать. Вы не верите? Однако это так. Постоянно действующая картинная галерея — это обуза. И еще какая. Ее надо построить, содержать, о ней надо заботиться, поправлять ее. Кто захочет взвалить ее на свои плечи? А они захотели! — он ткнул своей палкой вперед, в направлении свежеокрашенного в красивый кремовый цвет здания галереи. — Им это надо!

— Кому — им?

— Им всем! Всему городу! Разве это не чудо? Они хотят, чтобы я разрезал ленточку. Как вы думаете, это будет не слишком нескромно с моей стороны?

— Что вы! Что вы! Отдали городу коллекцию, которая стоит больше миллиона. И еще испытываете сомнения, не будет ли нескромностью разрезать ленточку...

Коноплев оглянулся, отыскал взглядом в толпе знакомую округлую фигуру с покатыми плечами и сказал:

— Я вижу здесь Дмитрия Лукошко. Вы послали ему приглашение прибыть на открытие музея?

Александровский удивился:

— Но ведь вы сами меня об этом просили!

— Просил. Не отпираюсь. Более того, у меня к вам еще одна просьба. Не могли бы вы задать Лукошко-младшему вопрос: не собирается ли и он подарить отцовскую коллекцию государству?

— Почему бы и нет? — тотчас же согласился Александровский. — Кстати, меня тоже это интересует.

Алая лента уже была натянута, преграждая вход в новое здание картинной галереи. Здесь же с ножницами в руках стоял пионер. Но из-за опоздания какого-то важного лица возникла пауза. Александровский воспользовался ею, чтобы выполнить просьбу Коноплева. Он шагнул к Мите, который стоял поодаль:

— Скажите, Дмитрий Семенович... А вы не собираетесь последовать моему примеру — подарить коллекцию государству?..

Круглое лицо Мити исказилось. Он обвел

взглядом толпу и, брезгливо скривив губы, проговорил:

— За здорово живешь отдать все свое добро им?.. Нет уж, увольте! Дураков нет.

— То есть как? — опешил Александровский. — Вы не хотите выполнить последнюю волю вашего отца?..

— А вы откуда знаете о его воле? Вы кто — его душеприказчик? — грубо оборвал старика Митя. И, круто повернувшись, зашагал прочь.

Александровский завертел головой, отыскивая Коноплева. Тот оказался рядом. Кивнул: мол, я все слышал.

— Георгий Дмитриевич! Сюда! Пора начинать! Просим! — раздались голоса. Навстречу Александровскому бросился пионер и протянул ему сверкавшие на солнце никелированные ножницы.

— Можно возвращаться в Москву, лейтенант. — В голосе Коноплева звучало удовлетворение.

Тихонов с удивлением посмотрел на подполковника. Честно говоря, он так и не понял, зачем они совершили путешествие в этот старый русский городок.

На другой день Коноплев отправился еще в одно путешествие, на этот раз более дальнее. Он вылетел самолетом в Сибирск. Прямо с аэродрома направился в городское отделение связи.

Николай Иванович облокотился на высокий деревянный барьер, за которым сидела девушка с красивой голубой заколкой в темных волосах. Она доставала из ящика стола и раслаживала перед собой «Книгу для записи выдаваемых отправлений», наполовину использованную книжицу квитанций, копирку, карандаши, печать и чернильную подушечку...

Часы на стене показывали ровно восемь. Почтовое отделение Сибирска только что открылось.

Коноплев специально пришел пораньше: он хотел поговорить с приемщицей без свидетелей. Конечно, можно было бы прийти перед самым обеденным перерывом, но тогда девушка наверняка торопилась бы закончить разговор, а это не входило в его планы.

Показав девушке свое удостоверение, подполков-

ник попросил у нее «Книгу для записи выдаваемых отправлений». Тщательно изучил название граф: «Порядковый номер», «Подавательский номер», «Место подачи», «Кому адресовано», «Расписка в получении и служебные отметки».

Полистав несколько страниц, отыскав мартовские поступления. Провел пальцем сверху вниз: Павлову, Онищенко, Семеновой, Пospelову, Балояну... Его ждала удача. 7 марта Шакин получил телеграмму из Москвы. Это уже кое-что... Вполне возможно, что телеграмма непосредственно связана с планировавшимся убийством коллекционера Лукошко. Но как определить, кто послал Шакину телеграмму и о чем в ней шла речь? Ведь заполненный отправителем бланк хранится в том отделении, откуда она отправлена. Здесь же, в месте получения, никаких ее следов, кроме отметки в книге, нет. Конечно, зная точно срок отправки телеграммы и фамилию адресата, можно попытаться отыскать заполненный бланк в Москве. Но для этого надо провести проверку во всех московских почтовых отделениях. А их там ровным счетом 641. Может быть, удастся сузить размеры поиска?

Коноплев внимательно посмотрел на приемщицу. Милое девичье лицо. Довольно интеллигентное. Должно быть, вчерашняя десятиклассница. Память у нее наверняка хорошая.

— Простите, как вас, девушка, зовут?

— Зина.

— Хорошее имя... Зиночка, а в марте вы уже здесь работали?

— Да... Я здесь с ноября прошлого года... Как срезалась на экзаменах, так и пошла работать. Этой осенью снова буду поступать.

— От души желаю вам успеха. Память у вас хорошая?

Зина улыбнулась и поправила тонкой рукой в волосах голубую заколку:

— Не жалуюсь.

— А вот мы сейчас проверим. Можете вы, скажем, припомнить текст хотя бы этой телеграммы. Врученной гражданину Шакину седьмого марта. Накануне Международного женского дня.

— Я этого Шакина знаю. Самостоятельный муж-

чина, — неожиданно сказала Зина. — Он с Катей дружил, она вахтером в институте работает.

— Ах вот как... — обрадованно проговорил Коноплев. — Так о чем ему сообщали из Москвы?

На лице Зины появилось замкнутое выражение, и она строго сказала:

— А вот этого вам я сообщить не могу. Запрещено законом. Тайна переписки.

Коноплев одобрительно кивнул:

— Молодец! Правила надо соблюдать. Но у меня на этот случай есть постановление прокурора.

Получив протянутый ей подполковником документ, Зина по-детски ойкнула:

— Что же он такое натворил?

— Хуже некуда, — вздохнул Коноплев. — Ну, постарайся, девонька, вспомни.

Зина наморщила выпуклый лобик:

— Постойте, постойте... Там шла речь о двух числах... Мол, только такого-то и такого, а в другие дни никак нельзя. Я еще удивилась: чего нельзя?

— Так... — задумчиво проговорил подполковник. — Чего нельзя, мы как-нибудь догадаемся. А вот числа-то были какие?

— Не помню...

— А если я назову одно число, то другое вспомнишь?

Она ответила запинаясь:

— Попробую.

— Одно число — 28.

— Правильно! — Зина даже подскочила на стуле. — А другое число — 6. Вспомнила! «Только двадцать восьмого или шестого тчк. Я настаиваю».

— А кто настаивал-то? Подпись была?

— Нет, без подписи. Я потому и обратила внимание. Думала, какая-нибудь московская подружка Шакина свидание ему назначает. Даже Катерине об этом сказала.

— А как же с тайной переписки?

Зина залилась краской до корней волос.

— Ну, ладно, ладно... — успокоил ее Коноплев. — Это останется между нами. Я не выдам.

Вернувшись из Сибирска, Николай Иванович позвонил следователю Ерохину.

— Ну как, не зря слетал?

— Да нет... Кое-что есть. За три недели до убийства Лукошко на имя Шакина пришла довольно любопытная телеграмма.

Он прочел ее следователю.

— Ого! А от кого?

— Пока не знаю.

— Это же самое главное!

— Будем искать! А как дома? Внушка здорова? Зять документы в училище отнес?

— Не отнес, шельмец! В понедельник нельзя — тяжелый день, тринадцатого негоже — несчастливое число... Так и ищет отговорки. Что за молодежь пошла!

— Тринадцатое, говорите, несчастливое число!

— А ты что, сам не знал?

— Знал, да забыл. Ну всего! Спешу.

Положив трубку, Коноплев достал чистый лист, крупно вывел на нем две цифры — 6 и 28. Отыскал телефон профессора математики Воздвиженского, позвонил — представился. Поинтересовался «счастливыми» и «несчастливыми» числами. Тот объяснил. Древние приписывали некоторым числам магические свойства. Например, так называемым совершенным числам. Совершенными называются числа, равные сумме их правильных делителей.

— А шесть и двадцать восемь — совершенные числа?

— Точно! Вы как быстро сориентировались. $1+2+3=6$. $1+2+4+7+14=28$. Настоящие магические числа!

— Спасибо за помощь! — сказал Коноплев.

Положил трубку и долго сидел, обхватив голову руками. Похоже на то, что он только что «вычислил» еще одного участника зверского убийства коллекционера Лукошко. Николаю Ивановичу порадоваться бы... Он же не испытывал ничего, кроме нечеловеческой усталости и... отвращения.

Заставив себя собраться, Коноплев быстро «провернул» несколько неотложных дел. Целиком передал капитану Сомову расследование по линии Булыжного, чем весьма обрадовал как самого капитана, так и Ворожеева. Запросил разрешение на

обыск квартир Иткина и Голубкова. И распорядился разрешить Иткину свидание с его подругой Любой, которого она давно уже добивалась.

ТЕЛЕГРАММА

Лейтенанту Тихонову было поручено взять Любу под особое наблюдение. О ней было известно много нехорошего: девчонка беспутная, уже в шестнадцать лет прижила неизвестно от кого ребенка, специальности не имеет, одно время работала курьером в министерстве, потом билетером на аттракционе в парке «Сокольники», затем секретаршей в каком-то учреждении. Но подолгу нигде не задерживалась. Работать, видимо, не любила, зато любила проводить время в кафе и ресторанах. Ей нравилось также раскатывать по городу на оранжевом «Запорожце» Кеша Иткина...

Но теперь Кеша сидел в следственном изоляторе, а Люба обивала пороги на Петровке, безуспешно добиваясь свидания с ним. Это свидание неожиданно было ей разрешено.

После того как Люба, проведя в следственном изоляторе с полчаса, вышла на улицу, лейтенант Тихонов незаметно последовал за нею. Однако, к его разочарованию, Люба отправилась к своему дому и скрылась в подъезде.

Тихонов уселся на лавочке в скверике напротив и достал из кармана «Вечерку».

Но долго ждать не пришлось. Люба появилась вновь. За руку она держала крошечную девочку в ярко-зеленом комбинезоне.

— Люба! Давай играть! — крикнула малышка и побежала по тротуару.

«Это же надо, мать по имени называет! — подумал Тихонов. — И то сказать, какая она ей мама».

Нагулявшись, Люба с дочкой снова скрылась в доме. «Теперь обедать будут», — догадался Тихонов, с тоской поглядывая на вывеску пельменной, расположенной напротив Любиного дома. Но прерывать наблюдение было никак нельзя.

Через полчаса опять показалась Люба. Она вы-

шла на проезжую часть улицы и подняла руку. «Наверное, в кармане ни гроша, а ловит такси», — отметил про себя Тихонов и побежал искать машину, на которой мог бы следовать за ней.

Такси, в котором ехала Люба, остановилось возле учреждения, где до ареста работал Кеша. Лейтенант забеспокоился. В этом старом, переоборудованном из церкви, здании вести наблюдение будет нелегко. Можно натолкнуться прямо на Любу в длинном коридоре, куда выходят двери всех помещений, или вовсе утерять ее из виду в этих катакомбах. Нет, упустить Любу он никак не мог. Достаточно ему той давней истории с Булыжным, которого он упустил в подъезде, увлекшись разглядыванием шкатулки с изображением Наполеона.

Зачем же Люба приехала в Системтехнику? За какой-нибудь понадобившейся Кеше справкой? Хочет упротребить общественность организации взять ее дружка на поруки? Ну, из этого вряд ли что выйдет. А может, цель ее поездки совсем другая? Недаром же подполковник строго наставлял его: «Глаз с нее не спускать! Фиксировать каждый шаг, каждый контакт!»

Лейтенант припомнил: в Системтехнике работают Булыжный, сын Лукошко и его жена Нина. Булыжный в больнице. Остаются Лукошко и Нина... Так кто же из них ее интересует?

Погуляв по длинным коридорам, Люба вошла в одну из комнат и обратилась к сотруднице с вопросом:

— Я могу увидеть Дмитрия Семеновича?

«Ей нужен Лукошко!» — отметил Тихонов. Сквозь полуоткрытую дверь ему отчетливо был слышен весь разговор.

— Его сегодня нет... И видимо, не будет.

— А где он?

— Дома... Вы хотите ему что-нибудь передать?

— Нет. Мне нужен он сам. Значит, я застану его дома?

— Да, только дома-то у него два, — вступила в разговор еще одна женщина. Она сидела за столиком у окна и нажимала разноцветные кнопки вычислительного устройства.

— Как два? — не поняла Люба.

— Он или у себя дома, или у жены. Они еще не съехались, — отвечала женщина.

Узкое лицо Любы еще более вытянулось:

— А вы не знаете случаев адрес жены?

— Да она у нас в плановом отделе работает. Вторая дверь налево. Вы к ней самой обратитесь. Она скажет, где его найти...

— Спасибо.

Она вышла из комнаты и, не заходя в плановый отдел, направилась к выходу. «К жене не хочет обращаться. Ей нужен Лукошко».

Люба снова остановила такси и поехала на старый Арбат. Долго звонила в квартиру Лукошко. Затем в раздумье постояла на площадке, не зная, что делать. Теперь она, должно быть, жалела, что не узнала адреса жены Лукошко. Когда Люба спустилась вниз и вышла из подъезда, Тихонов подошел к ней. Представился, показал удостоверение.

— Вас интересует адрес жены Лукошко? Я вас сейчас провожу... Но по дороге мы кое-куда заедем.

На этот раз такси пришлось останавливать лейтенанту. Люба уселась на заднее сиденье с подчеркнуто независимым видом. Она старалась бодриться, но вид у нее был довольно жалкий.

На Петровке Тихонов провел Любу к Коноплеву.

— Вот что, Люба, — сказал Николай Иванович. — Мы узнали, что во время свидания Иткин тайно передал вам записку. Не спешите отрицать, не ставьте себя в глупое положение. Вот фотография, здесь отчетливо видно, как Иткин вручает вам свою писульку. Записка лежит вот в этой вашей красивой сумке. Натуральная кожа?

— Да... — машинально ответила Люба. Она была сбита с толку обходительной, почти ласковой манерой разговора, который вел с ней подполковник.

— Расстегните сумку и покажите мне записку. Если вы не сделаете это добровольно, то мы...

— Понимаю. Возьмете силой? — вызывающе произнесла хриплым голосом Люба.

— Силой? Кто вам такие глупости про нас наговаривал? Нет, мы обратимся к прокурору с просьбой вынести постановление об изъятии у вас нужного нам документа. Это, конечно, займет время... Вам придется подождать...

— В тюрьме? — на Любином бледном личике отразился ужас. — Я не могу. У меня дочка одна дома сидит.

— У вас уже есть дочка? Сколько ей? Три? Самый милый возраст. Ну так как, Люба?

Поколебавшись, Люба открыла сумочку, оттуда достала тюбик губной помады «Лакме», сняла колпачок, вытащила скомканную в шарик записку. Коноплев взял ее из Любиных рук, аккуратно развернул, разгладил, прочел.

— Понятно. Кому велено передать сие?

— Дмитрию Семеновичу Лукошко.

— Поручение надо выполнять. Подождите минуточку. Мы сейчас снимем с записки ксерокопию, а оригинал вернем вам. И вы его доставите по назначению. Лейтенант Тихонов вас проводит. Я сейчас...

Через полчаса Люба нажала кнопку звонка квартиры, где проживала жена Лукошко. Послышалось шарканье ног, в дверях показалось бледное, одутловатое лицо Мити.

— Вам кого? — он запахнул на голой груди халат, поежился.

— Это вам. От Иткина.

На лице Мити отразился ужас:

— Господи! Зачем это... — Он не договорил фразы. Трясущимися руками развернул записку. Шевеля пухлыми губами, прочел: «Где же ваш кореш с Петровки? Почему бездействует? Самое время нажать, а то поздно будет. А если все это лажа и мы загремим, то вам тоже несдобровать. Так что действуйте. Не жалейте ни сил, ни денег. К.».

— Он с ума сошел! Вовсе и не кореш, а так, знакомый. С чего он взял? Писать мне оттуда — это безумие!

Митя затравленно оглянулся. Схватил Любу за плечо, притянул к себе. Зашептал в ухо:

— Передайте, чтобы он молчал. А то ему же будет хуже! Все! И больше ко мне не ходите!

Он почти силой вытолкал ее на лестничную клетку, с грохотом захлопнул дверь.

— Ну как? Передали? Он вас не обидел? — заботливо спросил Тихонов девушку, когда она вышла из подъезда.

Люба ответила неожиданно грубо:

— А-а, идите вы... Подвели под статью и радуйтесь! А в душу не лезьте!

Тихонов нахмурился:

— Ваш дружок Иткин запутался сам и вас впутывает в грязную историю. Чем дальше вы будете от него держаться, тем лучше. Подумайте о своей дочке... Кстати, почему она вас зовет по имени?

Люба ответила:

— Она бабушку зовет мамой. А меня: Люба да Люба... как подружку... Говорит, что таких молодых мам не бывает.

— Идите домой. Дочка небось заждалась.

Он повернулся и быстрым шагом направился к станции метро.

Выслушав отчет лейтенанта, Коноплев поскреб плохо выбритый подбородок (утром отказала электробритва, а свежего лезвия под рукой не оказалось) и проговорил:

— Пора всерьез заняться Иткиным. Выяснить его связи. Вполне возможно, что он знаком с Шакиным. Побывайте у парня дома...

Лейтенант Тихонов показал фотографию Шакина соседке Кеши Иткина, поинтересовался, не бывал ли здесь этот человек. Ответ был краток:

— Нет, не бывал.

Тихонов в последний раз окинул комнату Иткина внимательным взглядом. Обратил внимание на красивые раковины. Нежно-розовые, сверкающие, будто перламутровые.

— Это он откуда привез?

— Из-под Сухуми. Он в октябре на неделю туда летал. Отдыхать. И откуда у него, паршивца, такие деньги?

— Говорите, в Сухуми летал? Один или с подругой?

— Один. Сначала хотел свою Любку прихватить, а потом передумал. Так она ему такой скандал заката! Девчонка с характером.

«Почему он передумал и в последний момент отказался от общества Любы? Меркантильные соображения? Вряд ли. Может быть, ему кто-нибудь запретил?»

Своими соображениями Тихонов поделился с Коноплевым. В тот же день лейтенант вылетел в Сухуми. Назад он вернулся с «уловом».

Привез большую розовую, отливающую перламутром раковину, подобную той, которую видел в квартире Иткина, и фотографию, обрезанную зубчиками, — дело рук пляжного фотографа из Гульрипши. На ней были изображены двое мужчин в плавках. Они стояли обнявшись.

— Молодец! — взглянув на фотографию, похвалил его подполковник. И вызвал на допрос Кешу Иткина.

— Итак, вы по-прежнему продолжаете утверждать, что не знакомы с Шакиным?

Кеша отрицательно покрутил головой на цыплячий шее:

— Впервой увидел его здесь... у вас. А кто он такой?

— Плохи ваши дела. Иткин. Очень плохи.

У Кеши забегали глаза:

— А что я такого сделал? Что?

Коноплев молча протянул Иткину фотографию, привезенную Тихоновым из-под Сухуми.

— Вы утверждали, что не знали Шакина, а на снимке стоите с ним в обнимку.

Иткин взглянул на фото и закрыл лицо руками. До Коноплева донеслись рыдания. Сквозь Кешины пальцы, как вода сквозь гнилую запруду, хлынули слезы.

— Подождите плакать. Это еще не все. Во время свидания со своей знакомой Любой Зезюлиной вы вручили ей записку для Дмитрия Лукошко. Отпираться, Иткин, смысла нет. Люба во всем призналась, да и записка у нас в руках. Кстати, до Лукошко ваше послание дошло, но помогать вам, судя по всему, он не собирается. Да и вряд ли помог бы, даже если бы захотел. Будете по-прежнему запирайтесь или постараетесь облегчить свою участь чистосердечным признанием? Я вам советую второе...

Кеша шмыгнул носом и часто-часто закивал головой:

— Я все скажу... все... Я не убивал... Это они... Это они.

Сквозь окно сочился белесый тусклый свет. Митя проснулся, примерно с час ворочался в постели, потом вновь впал в забытие. И теперь чувствовал себя неотдохнувшим, разбитым, голова была тяжелая.

Сел в кровати, свесил короткие ноги. Ощутил, какой пол грязный. Старая мастика, смешавшись с пылью и неизвестно откуда налетевшим пухом, образовала плотный липкий слой грязи. Она липла к коже, пока он шарил ногой по полу, отыскивая шлепанцы.

В нем вспыхнуло яростное раздражение против Нины. Запустила квартиру, грязь непролазная. И еще. Проснувшись, раздвинула шторы, чтобы нарисоваться у зеркала, что висело в углу, рядом с огромным разошедшимся старым шкафом. А между тем могла бы включить маленький кованый фонарик «под старину», для этого достаточно было потянуть за шнурок с белой пластмассовой воронкой на конце. Митя сам прилаживал эту воронку, проделал шнурок сквозь маленькое отверстие и завязал узлом. Пришлось потрудиться после очередного скандала: он-де ничего не делает по дому, уж такую-то мелочь, казалось, мог взять на себя, раз от него все равно никакого толку.

Последнее время она открыто высказывает свое пренебрежение к Мите, хотя это он должен был бы гневаться на Нину, а не она на него. Подумать только: изменить ему и с кем — с его личным врагом Булыжным!

Распаляя себя, вспомнил, как однажды (это было прошлой осенью) он выследил Нину. В тот день жена слишком долго возилась у зеркала, и у него возникло подозрение. Не успела Нина выйти из дому, он кубарем слетел с лестницы, выскочил из подъезда.

Плавные линии по-девичьи гибкой фигуры жены, знакомое движение головы, которым она стряхнула упавшие на лоб волосы, заставили его сердце болезненно сжаться. Как будто это не серо-голубой троллейбус, а сама безжалостная судьба вот-вот унесет жену от него...

— Такси! Такси! — его голос сорвался на крик.

Метнулся на проезжую часть мостовой, едва не попав под колеса. Усаживаясь на заднее сиденье,

с мгновенно вспыхнувшим острым сожалением подумал: «А может быть, было бы лучше, если бы... угодил?»

— Товарищ водитель! Следуйте за тем троллейбусом!

Митя чуть было не упустил жену из виду. Сойдя с троллейбуса, Нина быстрым шагом отошла от остановки, пересекла улицу и свернула на сквер у памятника Лермонтову. Ровные шпалеры аккуратно подстриженных кустарников, гранитная площадка у подножия памятника... Поеживаясь от утренней сырости в своем плащике, Нина поднялась на гранитную площадку и поглядела вверх, на часы, украшавшие башенку напротив.

Она явно кого-то ждала.

Митя и сам не мог понять, зачем он взялся выслеживать жену. Для того чтобы убедиться, что у нее кто-то есть? Он давно подозревал это. Чтобы узнать, кто этот человек? Но зачем? Как только отвлеченная фигура третьего материализуется в конкретную личность, Митины страдания наверняка не только не уменьшатся, а, наоборот, во сто крат усилятся, станут невыносимыми... Чтобы застигнуть жену на месте преступления и потребовать развода? Но она и так не держит его. Уходи. Скатертью дорожка.

И все-таки испытывал необоримое желание узнать и увидеть, с кем встречается Нина, и довести свои отношения с женой до той последней грани, за которой ничего нет, бездна, мрак, темнота.

Откуда-то вынырнула знакомая высокая, чуть сутуловатая мужская фигура и направилась к Нине. Они легко соприкоснулись лицами, засмеялись.

А Митя испытал прилив тошноты. Иван Булыжный! Почему именно он, сослуживец и личный враг? Неужели не могла выбрать кого-нибудь другого? Или она сделала это нарочно? Чтобы побольнее ужалить его, Митю? За что Нина так ненавидит его?

Взявшись за руки, Нина и Булыжный удалились, а он, медленно и нетвердо, как больной, поднялся на гранитную плиту, где еще минуту назад они стояли. На черном камне четко выделились две пары мокрых следов.

Нина не любит его. Он знает это. Зачем же же-

нился? Да затем, что всегда жаждал обладать тем, на что не имел права, что не давалось ему в руки, ускользало от него. Добившись невозможного, заполучив желанное, укреплялся в сознании собственной значимости. Ему постоянно пужны были весомые доказательства его ума, находчивости, удачливости; только получив их, он мог жить дальше.

Женитьба на красавице Нине была одним из таких доказательств.

...Из кухни донесся резкий звук, кто-то с силой бросил на дно раковины нож и вилку. Значит, Нина еще не ушла.

Митя схватил махровый халат, оставшийся от отца, — синий в красную и белую полоску. Натянуть его на себя оказалось делом нелегким: рукава были вывернуты внутрь. Митя запутался в плотной, хранящей резкий запах отцовского тела ткани, он был спеленутым, как бы связанным... Глупый детский страх сжал сердце: вдруг почудилось, что ему никогда не вырваться на волю.

Шаркая спадающими с ног шлепанцами, отправился на кухню. Нины здесь не было. Приоткрыл дверь в ванную. Нина старалась дотянуться к высоко вбитому в стену крючку и повесить на него тяжелые мешок с бельем.

Завидев Митю, сердито бросила:

— Это ж надо умудриться так прибить крючок! На нем только вешаться... Что за недотепа! Лучше бы я вбила крючок сама! А ну-ка, дай табуретку! Живо!

Он послушно принес из кухни табуретку. Нина легко, словно ей было двадцать, а не тридцать, вскочила наверх. Подняла руки с мешком, потянулась, край халата приподнялся, и стали видны верхние полоски чулок, слегка вытянутые пластмассовыми застежками от резинок.

Как будто кто-то толкнул его вперед, он шагнул и обхватил руками теплые, плотные ноги жены, прижался. И тотчас же ощутил сопротивление. Она резко отстранилась, табуретка качнулась.

— А ну-ка, пусти! — голос был резкий, неприятный.

Высвободившись из его рук, Нина спрыгнула с табуретки.

— Бесстыжая, — хныкал Митя. — Завела себе любовника, а мужа гонишь.

— Замолчи!

Он испугался, прикусил язык.

За завтраком Нина заявила:

— Так и знай, я им все сказала!

Митя не донес ложку до рта, замср. Длинная макаронина свисала вниз, того и гляди, упадет. Казалось, его интересует только одно — упадет или нет. Глядел на макаронину с таким напряжением, что покраснели глаза. Наконец выдавил из себя:

— Сказала? Что сказала?

Нина сорвалась на истерический выкрик:

— Это ты подговорил их убить Булыжного! Какая подлость!

Митя почувствовал облегчение. А он-то думал... Слава богу, пронесло. Разжевав макаронину, спокойно произнес:

— Я подговорил убить Булыжного? Да ты с ума сошла! Какая глупость! Ничего себе обвиненьице! Скоро твой дружок поправится и сам все скажет... Но как ты можешь говорить о любовнике со мной, твоим мужем, ставить нас рядом?

Нина возмутилась:

— Ты и он... Да разве вас можно поставить рядом? Ты мелок, корыстен, для тебя жить — это значит владеть чем-нибудь. Таким, что превышает твои возможности, потреблять то, на что у тебя нет никакого права... Ты не всамделишный, чтобы существовать, тебе нужно постоянно самоутверждаться! Причем за счет других... А он... Ему не надо самоутверждаться, он такой, каков он есть, умен, добр, честен, смел. И ему ничего не нужно: ни денег, ни тряпок, ни комфорта — ничего! Он и меня сделал другим человеком. Я ему стольким обязана!

Ложка вновь двинулась к Митиному лицу, но в последний момент макаронина все-таки сорвалась, прокатилась по мятой пижаме, оставляя на ней масляные следы, и упала на грязный линолеум.

— Вот не везет! — не проговорил, а проныл Митя, заглядывая под край криво свисающей со стола клеенки. Ему жаль было утерянной макаронины.

Митя постарался пропустить обидные слова жёны мимо ушей. Риторика влюбленной дуры. Ничего, одумается.

Нет, он не переоценивал своих личных достоинств. Красавица Нина никогда бы не остановила на нем свой выбор, если бы однажды не увидела его в блестящем окружении редких и дорогих вещей отцовской коллекции. А раз так — можно не опасаться, что Нина поддастся своему чувству к этому нищему забулдыге Булыжному и уйдет к нему. Особенно сейчас, когда Митя наконец добился своего и отцовская коллекция переходит в его руки. Может быть, пора поставить Нину перед выбором: или коллекция, или любовник. Она испугается и отступит, непременно отступит! — пробовал убедить себя Митя. Но червь сомнения грыз его изнутри, иногда ему начинало казаться, будто коллекция внезапно потеряла свою власть над Ниной, уступив ее какой-то иной, непонятной и поэтому неодолимой силе.

После ухода Нины Митя некоторое время без толку слонялся по маленькой квартире, не зная, чем заняться. Он не любил этого обиталища. Его убожество раздражало Митю. Особенно болезненно он воспринимал дешевые безделушки: кованный фонарик ценой в 20 рублей, чугунный подсвечник — 8 рублей, чайный сервиз из керамики — 30 рублей, чеканку, изображавшую грузинскую девушку с кувшином на плече на фоне улыбающегося солнца, — 18 рублей. Ему, выросшему среди уникальных и бесценных вещей, среди сокровищ, претила вся эта дешевка.

Теперь, когда отца не стало, они, конечно, могли бы жить в квартире с антресолями, на старом Арбате. Но Нина почему-то не хочет. Это все из-за Булыжного! Шлюха! Может, прогнать ее к чертовой матери? Один он, во всяком случае, не останется.

Митя решительным шагом подошел к телефону. Сначала позвонил на работу; мол, нездоровится, потрудится дома, к тому же у него есть отгул... Потом набрал номер Ляли. Услышав ее голос, спросил:

— Можешь быстро приехать ко мне?

— Конечно! — в Лялином голосе звучала радость.

— Жду!

Хотел было привести квартиру в порядок — по-

махал щеткой, разгоняя пыль по углам, сунул носки и пижаму в мешок с грязным бельем. Но ему это быстро надоело. Зачем стараться? Ляля любит его таким, каков он есть.

Может быть, Ляля тоже хотела, чтобы Митя любил ее такой, какая она есть? Примчалась на свидание форменной растеряхой: волосы разметались, набухшая от обилия материнского молока грудь, того и гляди, вырвет с корнем пуговицы на блузке, встречающая складка на юбке смялась и при ходьбе выворачивается наружу, петля на колготках спущена. Митя подсадовал: «Дуреха, не могла как следует приготовиться к встрече с любимым человеком! Сама портит свое счастье».

— Извини, Митенька, Толик совсем замучил — верчусь как белка в колесе, от него отойти на шаг нельзя, а ведь у меня еще и диссертация. С ребенком так трудно!

— Я же тебе говорил... Сама захотела, — буркнул Митя, полностью снимая этими словами с себя бремя отцовской ответственности.

Он с азартом подчкнул к Ляле:

— Прочь, прочь все лишнее, иди сюда, скорей!

Но зря он так торопился, напрасно возбуждал себя. Крах!

Откинулся на подушку, закинув кверху локоть, прикрыл глаза, пробормотал:

— Ты сама виновата...

Хотя, в чем именно была виновата Ляля, сам не знал.

— Митенька, любимый... Не расстраивайся. Это от переутомления. Ты же столько работаешь!

Ему стало жалко самого себя. Повернулся к Ляле спиной и, спрятав в ладони лицо, громко расплакался.

Она придвинулась к его плечу жаркой грудью, стала ласково, как маленького, гладить по голове.

— А волосики-то у тебя, Митенька, поредели, — сказала она.

Он зарыдал еще горше.

— Митя, что случилось? — забеспокоилась Ляля.

Тогда он повернул к ней некрасивое, красное, мокрое от слез лицо и, издавая лающие звуки, произнес:

— Твой отец погубил меня! Мой проект... Если

бы он прошел... я бы никогда... понимаешь, никогда... А теперь все погибло! Боже, все погибло!

Когда они прощались, он достал из кармана халата заранее приготовленную сложенную вчетверо двадцатипятирублевку, протянул Ляле:

— Вот возьми... Купи что-нибудь маленькому...

Ляля отшатнулась:

— Что ты, Митя? Как ты можешь?

Она повернулась и пошла к двери. Ожидала, что он задержит ее, объяснит свой жест, рассеет недоумение. Но Митя не двинулся с места. Только вяло подумал: «Ну и шут с тобой! Скатертью дорожка!»

Мите было не по себе. Страшно разболелась голова. Надо было выпить анальгину, но он не знал, где лежат таблетки, а Нины все не было. Должно быть, прямо с работы она отправилась в больницу к Булыжному. Господи! Почему он, Митя, так несчастен? На глазах снова навернулись слезы.

Забрался на диван, с головой накрылся пледом. Ему стало немного легче. Словно опасности и страха остались там, снаружи... Он забылся в тяжелом сне.

...Митя стоял на площади под низким, набухшим серыми тучами небом, а вокруг ничего и никого не было, и ощущение покинутости, одиночества сдавливало грудь. Он пытался закричать, но у него не получилось, в обезлюдевшем, опустевшем мире не было ничего — ни красок, ни запахов, ни звуков.

Но вдруг все переменялось, небо приподнялось в верхней, центральной точке и опустилось по краям, приобретя форму брезентового полога, шатра... Митя догадался, что это купол цирка шапито, куда он однажды в детстве ходил с отцом. На этот раз отца не было, а он, Митя, не сидел в амфитеатре, а стоял на неустойчивой, то и дело ускользающей из-под ног дощечке под самым куполом. Ему предстояло совершить опасный прыжок, сальто-мортале — оторвавшись от спасительной веревки, в которую судорожно вцепились его руки, отринув дощечку, не-

сколько раз перевернуться в воздухе и потом вернуться назад, в свое утлое прибежище. После того как все будет кончено, вновь заиграет музыка, будут цветы, поздравления...

О, как было бы хорошо, если бы страшный прыжок уже был позади и он, скользя по веревке, со скромной гордостью победителя уже спускался на арену!.. Но нет, прыжок еще только предстоит совершить.

Митя бросает взгляд вниз, в зияющую пустоту под ногами, у него кружится голова, тошнота подкапывает к горлу. Все. Сейчас он потеряет сознание и упадет.

Страх останавливает сердце. Не хватает воздуха, он задыхается, в ушах звон.

Митя вскрикивает, сбрасывает с головы плед.

Тишину пронзает трель звонка.

Митя, шлепая босыми ногами, трусцой бежит в переднюю. У двери задерживается. Его вдруг охватывает ужас. А вдруг там, за тонкой деревянной перегородкой, Шакин? Обнаженное до пояса звереобразное существо ворвется в квартиру и набросится на него. С отрезком свинцового кабеля. Пройдет мгновение, и он, Митя, бесформенным кулом будет валяться на полу посреди комнаты, небрежно прикрытый пестрым пледом... От страха у него подкашиваются ноги, он прислоняется спиной к стене, чтобы не упасть.

Снова резкий и длинный звонок в дверь.

— Кто там?

— Откройте! Телеграмма!

Голос кажется знакомым. Знакомым с детства. Но он никак не может вспомнить, кому именно этот голос принадлежит.

— Откройте же!

Митя трясущимися руками отодвигает засов.

На пороге — бывший сосед по подъезду, инспектор угрозыска Коноплев. За его спиной еще двое.

Коноплев протягивает Мите бланк телеграммы. Тот берет его трясущимися руками. Читает: «Шестого или двадцать восьмого. Настаиваю категорически». Митя таращит глаза, ничего не может понять:

— Это не мне...

— Да, это не вам, — соглашается Коноплев. — Эта

телеграмма послана Федору Шакину. Но послали-то ее вы...

— Почему я? Смотрите, тут нет подписи.

— И тем не менее бланк телеграммы был заполнен вашей рукой. Экспертиза установила... Кстати, почерк у вас, должен сказать, неважнецкий. С детства. Вы назвали Шакину числа, наиболее подходящие, с вашей точки зрения, для убийства отца. Магические числа. Но магия не сработала. Вы, гражданин Лукошко, задерживаетесь по подозрению в совершении тяжкого преступления. Одевайтесь... Поедьте с нами.

«ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА»

Сидевший посреди комнаты на табурете человек вызывал омерзение. Нездорового цвета одутловатое лицо, трехдневная щетина на щеках, черные полоски грязи под ногтями пальцев, судорожно вцепившихся в мешковатые брюки на жирных коленях... Коноплеву требовалось много усилий, чтобы разговаривать с Дмитрием Лукошко спокойно, не повышая голоса. Один раз он даже заставил себя назвать его по имени-отчеству — Дмитрий Семенович. Но осекся, почувствовав всю чудовищность столь близкого сопряжения этих двух имен — имени отца и имени его убийцы.

Только что Лукошко-младшему были предъявлены доказательства его вины.

Однажды, как это явствовало из показаний Кеши Иткина, Дмитрий Лукошко обратился к нему с неожиданным предложением: проучить инженера Ивана Булыжного, с которым у Лукошко были какие-то личные счеты. Посулил: «Отблагодарю как следует». Слово свое сдержал: после драки в кафе «Лира», в ходе которой Булыжному порядком досталось, Кеша и его дружки были вознаграждены ста пятьюдесятью рублями. Вручая деньги, Лукошко сказал со вздохом:

— Дал бы больше, да нету, скупердяй-отец сидит на сотнях тысяч, а сына держит в черном теле.

Кеша брякнул:

— Вот умрет старик, тогда враз разбогатеете...

Митя уныло произнес:

— Да он дольше меня проживет; крепкий, черт. Его оглоблей с ног не собьешь.

— Вы это всерьез? — будто бы испугался Кеша.

— Что всерьез?

— Ну, насчет этого... оглобли...

Митя сделал брезгливую гримасу:

— Ну, почему именно оглоблей... Разве других средств нет?

В тот раз они оба испуганно замолчали и разошлись. Но спустя некоторое время Митя вновь заговорил об отце: от старика житья нет. Мерзкий человек: мать в гроб загнал и теперь до него, до Мити, добирается. «Вместе нам не жить. Или он или я», — патетически произнес Митя и отвел глаза.

Впоследствии Митя часто заводил разговоры на эту тему. Ныл, жаловался на безденежье, на тяжелый характер отца, обвинял его во всевозможных грехах, сулил золотые горы тому, кто избавит от злыдня. Поначалу Кеша пропускал все эти жалобы мимо ушей. Но потом призадумался.

...Шмыгая носом и часто-часто моргая, Кеша докладывал:

— Вскоре после знакомства с Шакиным я рассказывал ему о речах, которые вел Лукошко. Шакин сильно обрадовался, потер руки, сказал: «Ну вот, деньги сами к нам в руки текут». Он поручил мне провести с Митей решительный разговор и уточнить сумму, которую он нам вручит после того, как... — Кеша вздрогнул и запнулся.

— После того, как отец Лукошко будет убит?

Кеша завертел головой на цыплячьей шее:

— Нет... нет... Разве я бы согласился? Ни за что! Честное слово! Мы хотели обмануть Митю. Выдурить у него деньги, а старика отпустить на все четыре стороны. Шакин сказал: при таких обстоятельствах Митя жаловаться на нас в милицию не пойдет.

— От кого и когда вы узнали, что убийство состоялось?

Кеша поник, скукожился, пот полил с него ручьем:

— В тот же самый день... 28 марта мне позвонил Шакин и сказал, что старика пришлось убрать. Он потребовал, чтобы я немедленно поставил Митю в

известность о случившемся, привез его и приехал сам туда... в Казачий переулок.

— И вы...

— Нет... Я сказал, что Митю пришло, а сам не поеду... Ни за что... Я мертвяков не переносу. Я сказал, что мы так не договаривались. Что я не хочу иметь к этому делу никакого отношения.

— А он?

— Шакин? Прикрикнул на меня, пригрозил, что убьет. Сказал: посидишь десять минут на кухне, ничего с тобой не случится.

— Вы выполнили поручение Шакина? Сообщили Мите Лукошко, что его отец убит? И присутствовали при его визите в Казачий переулок?

Иткин кивнул:

— Я позвонил в больницу, где в то время находился Митя, подозвал его и сказал: «Все кончено!» Он воскликнул: «А где доказательства?» Я ответил, как наказывал мне Шакин: «Поезжайте в Казачий переулок, в строение 13, и сами во всем убедитесь. Вас там ждут. Не забудьте захватить деньги». Он ответил: «Всей суммы при мне нет. Я же в больнице». — «Берите то, что есть. Остальные потом отдадите».

...Ознакомившись с этим местом в показаниях Иткина, Коноплев воскликнул:

— Так, значит, алиби у Лукошко-младшего липовое! Вы разве не проверяли, капитан?

Сомов побагровел:

— Проверял... Даже получил от заведующего отделением письменное подтверждение того факта, что 28 марта Дмитрий Лукошко из больницы не отлучался.

— Покажите!

Сомов порылся в бумагах:

— Вот...

— Придется мне самому съездить в больницу.

Прибыв на место, Коноплев первым делом проверил списки, согласно которым больным отпускались лекарства. И обнаружил: напротив фамилии Лукошко 28 и 29 марта стояли прочерки.

После этого со списком в руках отправился к заведующему отделением. Тот запирался недолго. Пояснил: 28 марта Митя Лукошко попросил отпустить

его на денек-другой из больницы, сославшись на семейные неприятности. Попросил, чтобы это осталось между ними. Заведующий отделением согласился. «Он ведь мой друг со школьных лет», — объяснил он Коноплеву. «Дружба дружбой, а служба службой, — строго ответил ему подполковник. — Вы совершили сразу два серьезных нарушения: во-первых, нарушили больничный режим, что, как мне известно, запрещено... А во-вторых, ввели в заблуждение следственные органы. У вас будут неприятности, обещаю вам это».

И вот Мите Лукошко предъявляются: заключение графологической экспертизы, установившей, что бланк телеграммы с обозначением предполагаемого дня убийства был заполнен его рукой, признания Шакина и показания Иткина... Заявление заведующего отделением больницы о Митиной отлучке 28 и 29 марта, свидетельство официанта, опознавшего в Лукошко и Шакине тех двух посетителей, которые на другой день после убийства «сильно угощались» коньяком в ресторане аэропорта Домодедово. Официант видел, как Лукошко передавал Шакину большую пачку денег. Он же расплачивался за выпивку.

Короче говоря, у Лукошко не остается ни одной лазейки, чтобы скрыться, увильнуть от ответственности. И все-таки он пытается свалить свою вину на других.

— Я не убивал! И не хотел этого! Попугать — да. Что они наделали? Нужно было вырвать у него согласие немедленно передать мне коллекцию. И все. А они... Изверги! Зачем они это сделали? Пусть их накажут, пусть сгноят в тюрьме. А я тут ни при чем! — истерично восклицал он. — Я хотел лишь одного: чтобы коллекция осталась дома. А он хотел ее отдать. Мне назло, поверьте, он был очень плохим человеком.

— Да, мы знаем: вы с младенческих лет ненавидели отца, — проговорил Коноплев. — Он был занят коллекцией, а на вас не обращал внимания. Часто наказывал. Отомстить отцу не хватало силенок. В бессильной злобе вы писали угрожающие записки и рассовывали их по шкатулкам и вазам. Это были ваши послания к отцу, не доходившие до адресата.

Одну из них я обнаружил в горловине вазы при осмотре коллекции. Клочок бумаги со считалкой, написанной детским почерком: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана...» Сейчас это звучит зловеще, не правда ли? Вы страшны, как только может быть страшен мещанин, когда ему кажется, что покусилась на его собственность. Он готов защищать ее ценой жизни. Но не своей, конечно! Ваше жалкое существование вам дороже всего на свете. А вот жизнь других людей для вас ломаного гроша не стоит!

У Мити расширились зрачки, он прикрыл глаза синеватыми веками.

— Как все это ужасно! — прошептал он. И начал говорить...

...Ему позвонил в больницу Кеша и сказал: «Все кончено». У Мити сел голос, он долго не мог выговорить вертевшиеся на языке слова: «Что с ними?» — «Приезжайте и посмотрите». Кеша бросил трубку.

Сколько раз за эти последние дни Митя просыпался среди ночи в холодном поту и спрашивал себя: зачем он это сделал? Зачем тогда как оглашенный помчался из больницы в Казакий переулок? Ему не терпелось увидеть *это* собственными глазами. Хотел убедиться: теперь коллекция принадлежит ему. Ему одному. Вбежал в строение № 13. Шакин стоял в передней, курил. Свет из кухонного оконца освещал нижнюю часть туловища, лицо было в темноте. Только вспыхивала, гасла кроваво-красная точка сигареты.

— Где?

— Там...

Шакин толкнул дверь ногой. Несмазанные петли заскрипели. Дверь медленно раскрылась. Митя сделал шаг вперед, его била дрожь. Заглянул в комнату. Посередине лежали два больших свертка, накрытые плащами. Он узнал плащи отца и Ольги Сергеевны.

Он хотел было крикнуть, но из его горла вырвался шепот:

— Это же убийство!

За спиной Шакин мрачно спросил:

— А вы чего хотели?

— Я... Нет... Нет... я хотел другого.

— Перестаньте валять дурака. Раскошеливайтесь. Митя растерянно проговорил:

— Но у меня с собой всей суммы нет. Я — из больницы. Вот возьмите. А остальное потом... Это так ужасно. Я хочу уйти.

— Деньги должны быть у меня не позже чем завтра! Поняли? Привезете их к двум часам дня в аэропорт Домодедово. Я буду в ресторане. Вместе и пообедаем.

— Можно, я пойду? — голос Мити зазвучал просительно.

Шакин пожал плечами. Презрительно бросил:

— Ступайте. И запомните: ровно в два!

Митя, пошатываясь, вышел из комнаты. И сквозь полуотворенную дверь увидел в кухне тщедушную фигуру Кеши Иткина. Тот шмыгнул носом и отвернулся. «Все ясно. Шакин специально для меня свидетеля приготовил... Чтоб я с крючка не сорвался», — вяло подумал Митя и поспешил выбраться из мрачного помещения на улицу.

На другой день послушно отправился в аэропорт Домодедово и там, в ресторане, передал Шакину три тысячи рублей. После чего вернулся в больницу и занял свое место на кровати у окна.

Этим дело не кончилось. Угрожая Мите разоблачением, Шакин и его дружки настойчиво требовали денег. Пришлось ему выписаться из больницы и тайком, словно вору, по черной лестнице через балкон проникнуть в опечатанную отцовскую квартиру, вынести оттуда скрипку Вильома, которую продал Зайцу. Заодно прихватил и табакерку с изображением Наполеона. Ему хотелось иметь ее при себе: улика против отца, доказательство его грехопадения. Ему казалось: то, что отец был плохим человеком, как бы снимает с него, с Мити, часть вины за содеянное. Позже, когда печати сняли и Митя переселился в отцовскую квартиру, стало полегче. Однажды какой-то тип забрался в квартиру. Лукошко застал незадачливого вора на месте преступления, спугнул его, а потом свалил на незнакомца пропажу нескольких ценных вещей. На самом же деле он сам тайно передал их надежным людям. Одним из этих «надежных» людей был все тот же Борис Никифорович Заяц. Взамен скрипки Вильома, которую по

требованию следствия ему пришлось возвратить в коллекцию, историк получил от Мити серебряный складень.

— С гражданином Зайцем у нас будет особый разговор, — строго проговорил Ерохин. — Сперва закончим с вами. Следствие считает вашу вину доказанной. На днях вам будет предъявлено обвинительное заключение. Все!

— Нет, не все, — проговорил Коноплев. — У меня для Лукошко есть одно сообщение. На отзыв профессора Воздвиженского были посланы два проекта... Один — Лукошко, другой — Булыжного... На днях получено заключение. Профессор считает, что оба проекта содержат позитивные моменты и могут послужить базой для решения важной проблемы. Может быть, вам будет интересно это узнать?

— Да... Спасибо.

Митя попытался ответить с деланным равнодушием, но по напряженности взгляда, устремленного на Коноплева, тот понял, что это сообщение потрясло Митю. Подполковник кивнул:

— Да, да, вы могли, Лукошко, проявить себя как творческая личность, а вместо этого...

Митя всхлипнул. Уронил голову на грудь. Произнес непонятное:

— Амур в нищенском одеянии...

Слеза выкатилась из глаза и прочертила след на шероховатой и серой коже лица.

— Теперь проект придется осуществлять Булыжному.

У Мити вырвалось:

— А он разве жив?

— Вы надеялись, что ваш соперник умрет. И посоветовали Шакину и Иткину свалить убийство отца на покойника. Но, как видите, не удалось: Булыжный жив и поправляется. И кстати, дал показания... Некоторое время назад он вышел на след убийцы вашего отца, поэтому-то ваши дружки и постарались его устранить.

У Мити затряслись губы:

— Нет, на этот раз я ни при чем. Честное слово!

— Вам ли говорить о честности, Лукошко? Увидите!

Когда конвойный увел Лукошко, следователь Ерохин произнес:

— Лукошко... Шакин... Иткин... Голубков... просто удивительно, как они отыскиали друг друга? Словно какая-то сила сцепила их так, что не расцепить!

— Эта сила — коллекция, — проговорил Коноплев. — Коллекция! Вдумайтесь: из чего она состоит, эта коллекция. Картины, часы, скрипки, изделия из фарфора. В нормальной жизни они стать вещами не могли. Они становятся ими в руках приобретателей, стяжателей, людей глубоко аморальных и циничных. Митя воображал, что это он отыскал Шакина, что тот служит его интересам. Но он ошибся. Это Шакин отыскал его.

Из признаний Федора Шакина

«Началось все с того, что я одолжил у одного человека большую сумму денег... Сначала три тысячи рублей, потом еще две. Срок возврата долга давно минул, а я все не мог достать денег. Время шло. Надо было что-то делать. Тут подвернулась эта самая коллекция. Хозяину она была вроде бы и не нужна, он торопился от нее отделаться. Только не знал, кому подарить — институту, городу или Дому ученых. Я решил, что богатство само плывет мне в руки. Надо только завладеть... Я уговорил мать написать Петру Антоновичу, чтобы он приютил меня в Москве. Я знал: ее слово для старика закон.

Приехав в Москву, я уговорил Петра Антоновича позвонить Лукошко, пригласить на чашку чая и предложить ему редкую икону.

Встреча была назначена на 28 марта. Готовясь к ней, я привел в порядок жалкую комнатенку старика. Раскладушку, на которой я обычно спал, выкинул, в ближайшем мебельном магазине приобрел у продавца-пьяницы, за взятку, конечно, красивый зеленый диван из импортного гарнитура. Но тут возникли осложнения... Петр Антонович позвонил в Кострому к соседке моей матери, которая обычно подзывала ее к телефону. От нее узнал, что случилось несчастье, мать умерла от инфаркта, а дом сго-

рел. От этой новости Петр Антонович повредился рассудком. Почему-то он счел виновным меня. Он говорил, что я должен был находиться рядом с больной матерью, что ее нельзя было оставлять одну в доме. Приступы буйного бешенства, когда он кидался на меня с кулаками и страшными обвинениями, чередовались с периодами полного упадка сил. Он ничего не ел. Лежал на своем топчане, глядел в потолок и шевелил губами.

Я понял, что в таких условиях свидание с коллекционером не может состояться. Позвонил в районную поликлинику, назвал соседом Петра Антоновича, описал его бедственное состояние. В тот же день за ним приехали и увезли в больницу.

Мой план заключался в том, чтобы, встретившись с Лукошко, попытаться его уговорить доверить мне передачу коллекции государству. Я собирался пообещать ему выполнение всех его требований — выхлопотать пенсию, добиться, чтобы коллекции был посвящен особый выставочный зал, чтобы ей было присвоено его имя. Короче говоря, я намеревался втереться к нему в доверие, чтобы впоследствии завладеть всеми этими вещами или хотя бы их частью.

Мне удалось позвать его к себе 28 марта. Я сказал, что говорю от имени Петра Антоновича, у которого есть для него сюрприз — редкая по красоте икона.

Мне не повезло, он явился не один, а с какой-то женщиной. Разговор в ее присутствии был, конечно, невозможен. Кроме того, Лукошко был неприятно поражен отсутствием Петра Антоновича и хотел было немедленно уйти. Мне удалось заинтересовать его иконой. Это был образ «Пресвятой Богоматери от бедственно страждущих». Он потянулся к нему с такой страстью, как будто сам был бедственно страждущим.

Я не знал, что делать, но тут женщина неожиданно сказала, что оставит нас ненадолго, ей надо в гастроном. Она сказала, что вернется через полчаса.

Разговор с Лукошко не получился. Он оказался совсем не таким человеком, за которого я его принял там, в Сибирске. Наивности, простодушия в нем не было и в помине. Помимо всего прочего, он сра-

зу узнал меня, несмотря на то что я изменил свою внешность: наклеил бороду, отпустил волосы... От пронзительного взгляда его маленьких глаз ничто не могло укрыться. Он почуял неладное и сразу хотел было уйти, только боязнь разминуться со своей спутницей удержала его, я это видел. Маленький, сухонький, он уселся на край дивана и замкнулся, ушел в себя.

Надо было действовать. И как можно быстрее. Я попытался припугнуть старика. Сказал, что мне известно о его грязных махинациях, посредством которых нажита коллекция, что у него много врагов и только я один могу его от них защитить. Но этот старик был тверд как камень. Его ничем нельзя было пронять. Он закричал на меня тонким визгливым голосом, назвал проходимцем и вымогателем, сказал, что сейчас же пойдет и заявит в милицию... И в эту минуту вошла она, его спутница. Лукошко сказал ей: «Мы немедленно покидаем этот дом!» Но она захотела переложить в сумке купленные в гастрономе продукты. Не знаю, что тут нашло на меня. Гнев, отчаяние, злость... За какие-то двадцать минут я успел возненавидеть Лукошко, как самого лютого врага. Он стоял на пути к осуществлению всех моих планов. Я понял, что мне легче будет совладать с его сыном. Он ведь мямля, размазня... Я выбежал в кухню, стянул с себя рубашку, оголился до пояса, ввел себе адреналин, чтобы возбудиться, схватил с кухонного стола нож, а с подоконника отрезок свинцового кабеля и ворвался в комнату.

Они не кричали, а только смотрели на меня удивленными, широко открытыми глазами. Я стал наносить беспорядочные удары... Женщина кричала. Тогда я бросился к ней и стал душить ее руками...

Позвонил Иткину, приказал доставить сюда из больницы сына Лукошко и приехать самому. После того как они оба побывали в Казачьем переулке, я был спокоен: теперь Митя у меня в руках. Оставшись один, я сорвал со стен обои (они были забрызганы кровью), притащил из коридора брезент от спального мешка, веревки, целлофан (в него был в свое время упакован купленный мною диван), тщательно завернул трупы. Дождавшись ночи, вышел на улицу. Остановил автофургон, посулил шоферу

хорошую плату, если подбросит с вещами к Крымской набережной. «Тут неподалеку, рукой подать...» — «Что это ты надумал пересезжать среди ночи?» — спросил шофер. «С женой разругался... Пилит и пилит, стерва. Переседу к матери, а там видно будет». Шофер подогнал фургон к строению № 13, открыл задние дверцы. «Помочь?» — «Нет, иди в кабину. Я сам». Остановил фургон на набережной возле небольшого домика с темными окнами. «Спит ваша мать». — «Ничего, разбудим». Шофер, проникшийся симпатией ко мне, снова предложил свои услуги, чтобы выгрузить поклажу и перенести ее в дом. Я отказался. Положил мешки на тротуар, помахал водителю рукой: «Трогай. К утру будешь в своей Рязани». — «К утру вряд ли... а вот к обеду...» Автофургон скрылся в темноте. Я волоком перетаскивал тяжелые мешки один за другим к набережной. Связал их вместе. Персвалил через парапет. С шорохом скользнув по наклонной каменной стене, они упали под воду. Я долго всматривался в черную реку. Все в порядке, ничего не видно.

У Крымского моста поймал такси и отправился на аэродром. Оттуда позвонил Кеше Иткину и отдал необходимые распоряжения — сменить обои, отциклевать пол. Сказал: «Сделаешь — получишь две косях, не сделаешь — убью». После этого отправился в ресторан и стал дожидаться Дмитрия Лукошко. Он явился в назначенное время и привез оговоренную сумму — три тысячи рублей. Мы пообедали с коньяком, и я улетел в Сибирск. Мысль свалить вину за убийство старика на «Валеру», выдав за него Булыжного, мне подал с воли, через верного человека, Митя Лукошко. С Булыжным я знаком не был, однако видел его фотографию. Ее показывал мне Кеша Иткин после нападения Булыжного на Голубкова. Просил проучить парня. Поэтому для меня не составило труда указать на Булыжного, когда капитан Сомов предъявил для опознания несколько фотографий».

Ерохин брезгливо отодвинул признание Шакина в сторону:

— Это все мы и без него знаем... Я думаю, пора передавать дело в суд.

Из приговора народного суда

Коллегия по уголовным делам городского суда, рассмотрев уголовное дело Лукошко Дмитрия Семеновича, до ареста работавшего заведующим отделом объединения Системтехника, Шакина Федора Борисовича, работавшего и. о. заместителя директора Сибирского Дома ученых, Иткина Константина Леонидовича, работавшего мастером технического отдела объединения Системтехник, и Голубкова Анатолия Сидоровича, солиста вокально-инструментального ансамбля, приговорила: Лукошко и Шакина к высшей мере наказания...»

— А ведь признайся, Николай Иванович, все же тебе повезло, — проговорил Ворожеев. Он был не в себе: начальственное выражение сползло с лица, а другого он не приготовил.

— Ты это уже говорил, — усмехнулся Коноплев. Про себя подумал: «Что угодно, только не везение. Дело Лукошко далось с трудом, уже слишком незнакомой, причудливой оказалась среда, с которой пришлось столкнуться».

Голос Ворожеева вывел Коноплева из задумчивости:

— А меня вот учиться посылают. На Высшие курсы...

— Вот как?

«Отчего это получается? — подумал Коноплев. — Если работник не тянет, посылаем его учиться... А ведь от учения, как от битья, умным сделаться нельзя. Пролетят незаметно три года. Вернется с еще одним дипломом».

— Я думаю, Николай, на мое место тебя назначат. Станешь начотделом — Сомова не обижай.

— Пустое говоришь, Аким... Во-первых, я еще не начальник отдела. А во-вторых, я вовсе не уверен, что капитан не запросится в другой отдел.

Минут через пятнадцать к Коноплеву зашел капитан Сомов.

— Разрешите обратиться? — сдвинув каблуки, официальным тоном произнес он.

— Давайте обращайтесь.

Сомов, однако, не спешил начать разговор, тяже-

ло переступал с ноги на ногу, кровь толчками приливала к его голове. Сначала сделались кроваво-красными уши, потом — щеки и шея.

«Ну, смелее!» — Коноплев мысленно поторопил Сомова. Он ожидал этого объяснения. Капитан давно затаил против него обиду. Как ни старался Николай Иванович преодолеть возникший между ними холодок, ничего не получалось, Сомов не шел на сближение, всем своим видом подчеркивая, что их сотрудничество временное и вынужденное. Теперь, когда Ворожеев уходит, а его место, по-видимому, займет Коноплев, ничто не удерживает молодого капитана в отделе. Коноплеву известно, что Сомов присматривает себе новое место. Сделать это нетрудно, работник он неплохой, толковый, исполнительный, напористый, такого с руками оторвут.

Короче говоря, Коноплев внутренне был готов к уходу Сомова, хотя это и создавало проблемы: Тихонов на его место пока еще не тянет, придется искать другого человека...

— Слушаю, капитан, — повторил он.

— Я хочу остаться, товарищ подполковник, — выпалил Сомов.

— Остаться? — Коноплев удивился. Этого он не ожидал.

— Но к сожалению, не могу...

— Не можете? А почему?

Теперь он уже с любопытством смотрел на взволнованное лицо капитана. Тот снова переступил с ноги на ногу.

— Все подумают, что я был настроен против вас, пока начальником отдела был Ворожеев, а стоило вам стать начальником, как я переметнулся на вашу сторону.

— Но ведь это не так? Причины какие-то другие?

— Другие, товарищ подполковник. Помните, вы встали на мою защиту, когда этот подлец Шакин оговорил меня. Будто я пересчитал ему шейные позвонки... Я много думал над вашим поступком...

— Ну и что надумали, почему я встал на вашу защиту?

Сомов потупился, словно красна девица:

— Вы относитесь ко мне не настолько плохо, как мне до этого казалось.

— Тьфу ты, черт! — с досадой воскликнул Коно-

плев. — Значит, вы-таки ничегошеньки не поняли! При чем тут отношение? — Он прошелся по кабинету. — Вы инициативный, исполнительный, преданный делу работник. Это мне не может не нравиться. Но у вас есть черты, которые я никак не могу принять. Попробую вам объяснить, что имею в виду. Вам кажется, что ваша главная и единственная задача — задержать преступника и дать в руки следствия доказательства его вины. Это действительно главная задача. Тут я согласен. Но не единственная! Мы с вами выступаем как представители закона, а ведь закон имеет огромную нравственную силу. Эта нравственная сила должна быть присуща и нам с вами. Никакой успех в расследовании преступления не может оправдать безнравственного или неэтичного поступка с нашей стороны! Да, я был убежден, что Шакин подло клеветает на вас. Сделать то, в чем он вас обвинил, вы не способны. Но вот побудить врачей сказать неправду родственникам больного, дать неверные сведения обвиняемому или его родственникам, — это, к сожалению, вы считаете допустимым. Вам кажется, что таким образом вы действуете в интересах дела, применяете некую военную хитрость, но вы заблуждаетесь. Нам поручено огромное святое дело, и делать мы его должны исключительно чистыми руками! И еще... Хороших людей неизмеримо больше, чем плохих. А тем более, чем преступников. Поэтому ставить человека под подозрение можно только тогда, когда для этого есть очень, очень серьезные причины. Военная хитрость допустима лишь на войне, да и то только против заведомого врага.

Сомов потупился:

— Мне не хочется уходить из отдела.

— Не хочется? Ну и не уходите! А если кто-то что-то скажет по этому поводу — не все ли равно! Главное, чтобы вы сами чувствовали себя правым. Сами!

...В тот же день, поднимаясь после обеда на свой этаж, Коноплев увидел на лестничной клетке знакомую фигуру яйцеголового рыжевато-го мужчины в пиджаке-куртке «сафари» и легких брюках из серебристой ткани. То был Борис Никифорович Заяц. При виде Коноплева тот, прихрамывая, устремился вверх.

Подполковник прибавил шаг, настиг историка:
— Скажите, вы действительно рассчитываете, что я вас не догоню?

Борис Никифорович остановился, пожал плечами:

— Издеваться над физическими недостатками людей грешно.

— А обманывать ближних не грешно? — спросил Коноплев. — Может, обсудим этот вопрос у меня в кабинете?

— Меня ждет начальство, — важно изрек Заяц.

— Знаю. Но оно, как вы выражаетесь, ждет вас в четырнадцать ноль-ноль, а сейчас без двадцати. Нам еще надо закончить начатый когда-то разговор. Для меня это — дело принципа.

Переступая порог кабинета, Заяц произнес с иронией:

— Вот вы какой! Прин-ци-пи-альный! Впрочем, я об этом давно догадался, еще тогда, когда вы провели целый месяц на даче, у меня в гостях.

Слово «в гостях» он произнес с нажимом.

— Какие там «гости», — поморщился Коноплев. — Ведь я, кажется, уплатил вам за постой? Или мало?

— Нет, что вы... Мы с вами квиты.

— Не совсем... Помните, вы утверждали, будто разбогатели от трудов праведных? На поверку, однако, выходит: не совсем так. Рыльце-то у вас в пушку!

— Оставьте мое рыльце в покое! Я и без того знаю, что оно вам не нравится.

— Не стану скрывать, совсем не нравится. А знаете почему?

— Знаю. Потому что мы с вами разные люди. Вы «бессребреник», аскет, а я — нормальный человек, не считающий за зло богатство и комфорт. Вы, кажется, заглядывали в библию. Так вот, там сказано: «Имеющему и дадено будет».

— Лично мне эта библейская истина, Борис Никифорович, напоминает рекламный девиз одного крупного банка в ФРГ: «Что у тебя есть, то ты и есть». Но так ведь то капитализм! А мы живем в социалистическом обществе.

— Между прочим, — с вызовом сказал Заяц, — аскетизм не имеет ничего общего с принципами научного коммунизма!

Коноплев иронически поглядел на него:

— Вон вы где поддержки ищите! Не найдете. Те-

ория научного коммунизма отвергает не только «аскетический», но и «потребительский» социализм. Собственно говоря, это две стороны одной и той же медали «бедного» человеческого существования, где материальное и духовное находятся в состоянии антагонизма...

— А может быть, вам известен секрет гармонии, Николай Иванович? — Заяц не скрывал издевки.

Коноплев окинул собеседника презрительным взглядом:

— Кое-что на этот счет известно. И не мне одному. Еще Карл Маркс сказал: «Для того чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть способен к пользованию ими, то есть он должен быть в высокой степени культурным человеком».

— Я, конечно, к числу последних не отношусь? — осклабился Заяц.

— Нет. Не относитесь. Между прочим, деньги за скрипку Вильома были вами переданы Дмитрию Лукошко не до смерти отца, как вы клялись и божились, а после.

Заяц ответил с вызовом:

— Я мог бы отрицать, но не стану. Да, после! Я пошел на эту невинную ложь по просьбе Мити, с отцом которого был очень дружен.

— Эта «невинная», как вы изволили выразиться, ложь способствовала сокрытию преступления, отодвинула его разоблачение!

В лице Заяца что-то дрогнуло, но голос его был по-прежнему спокоен:

— Ерунда!

— Нет, не ерунда. Деньги, которыми вы оплатили похищенные Митей из опечатанной квартиры скрипку и складень, пошли на оплату убийства старика Лукошко!

В лице Бориса Никифоровича Заяца произошли перемены. Стянулась, обнажив скулы, бледная кожа, стали заметнее многочисленные веснушки, глаза ушли глубоко в глазницы. Губы затвердели, подбородок выпятился вперед.

— Меня не запугаете! — неожиданно грубо сказал он. — Можете говорить что угодно. Но инкриминировать мне нарушение Уголовного кодекса вам все равно не удастся!

— Пожалуй, — спокойно согласился Коноплев. —

А вот грубейшие нарушения нравственного кодекса здесь налицо. Вы не находите?

Наступило молчание. Первым его прервал Заяц. В его голосе прозвучали просительные нотки:

— А вы не знаете... зачем меня вызывают сейчас туда? — Заяц завел глаза под потолок.

— Знаю. Так и быть... Один раз в жизни выдам служебную тайну. Вас вызывают, чтобы раз и навсегда отказаться от ваших услуг! Ну, а причину вам, должно быть, объяснять не надо?

— Не надо, — со вздохом проговорил Заяц и стал подниматься со стула. В дверях он задержался на мгновение и, помявшись, спросил:

— Последняя просьба. Удовлетворите мое любопытство, скажите: что станется с коллекцией Лукошко?

Коноплев пристально посмотрел на Зайца.

— Оставьте свои надежды, — резко ответил он. — Обещаю: я лично прослежу, чтобы вам тут больше ничем не удалось поживиться!

Заяц скорчил одну из своих гримас и, прихрамывая, покинул кабинет. Коноплев остался один. Однако только что прозвучавший вопрос требовал незамедлительного ответа.

Николай Иванович прошелся по кабинету, повторил про себя: «Что же станется с коллекцией Лукошко?» И в то же мгновение будто пелена сошла с глаз и с вещественной осязаемостью ему вдруг открылась судьба несчастной коллекции... Лишившись при трагических обстоятельствах своего хозяина, потеряв нравственное право оставаться единым художественным организмом, она прекратит свое существование...

Разойдутся по музейным запасникам, комиссионным магазинам, частным рукам: лампа настольная, белого металла на овальной подставке красного мрамора; люстра золоченой бронзы с хрусталем и синим стеклом; портрет женщины с шалью западноевропейского мастера XIX века; тарелка с изображением Париса и Елены (Вена, середина XIX века); шкаф Буль (вторая половина XIX века); столик дамский с перламутровыми украшениями; кувшин в виде фигуры Обьедалы (завод Ауэрбаха, XIX век).

Фарфоровая фигурка Амура в нищенском одеянии...

**Валерий Аркадьевич
ГОРБУНОВ**

КРОВЬ НА ПОДРАМНИКЕ

Роман

**Над изданием работали:
Т. Дыга, О. Корбу, Т. Науменко**

Сдано в набор 1.01.94. Подписано в печать 23.03.94.
Формат 84 × 108/32. Бумага газетная. Печать высокая.
Усл. п. л. 25,2. Уч.-изд. л. 27. Тираж 100 000 экз.
Заказ 121. Цена договорная.

Издательство «Надежда-1»
129366, Москва, ул. Космонавтов, 8

Рыбинский Дом печати
Министерства печати и информации Российской Федерации
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8

